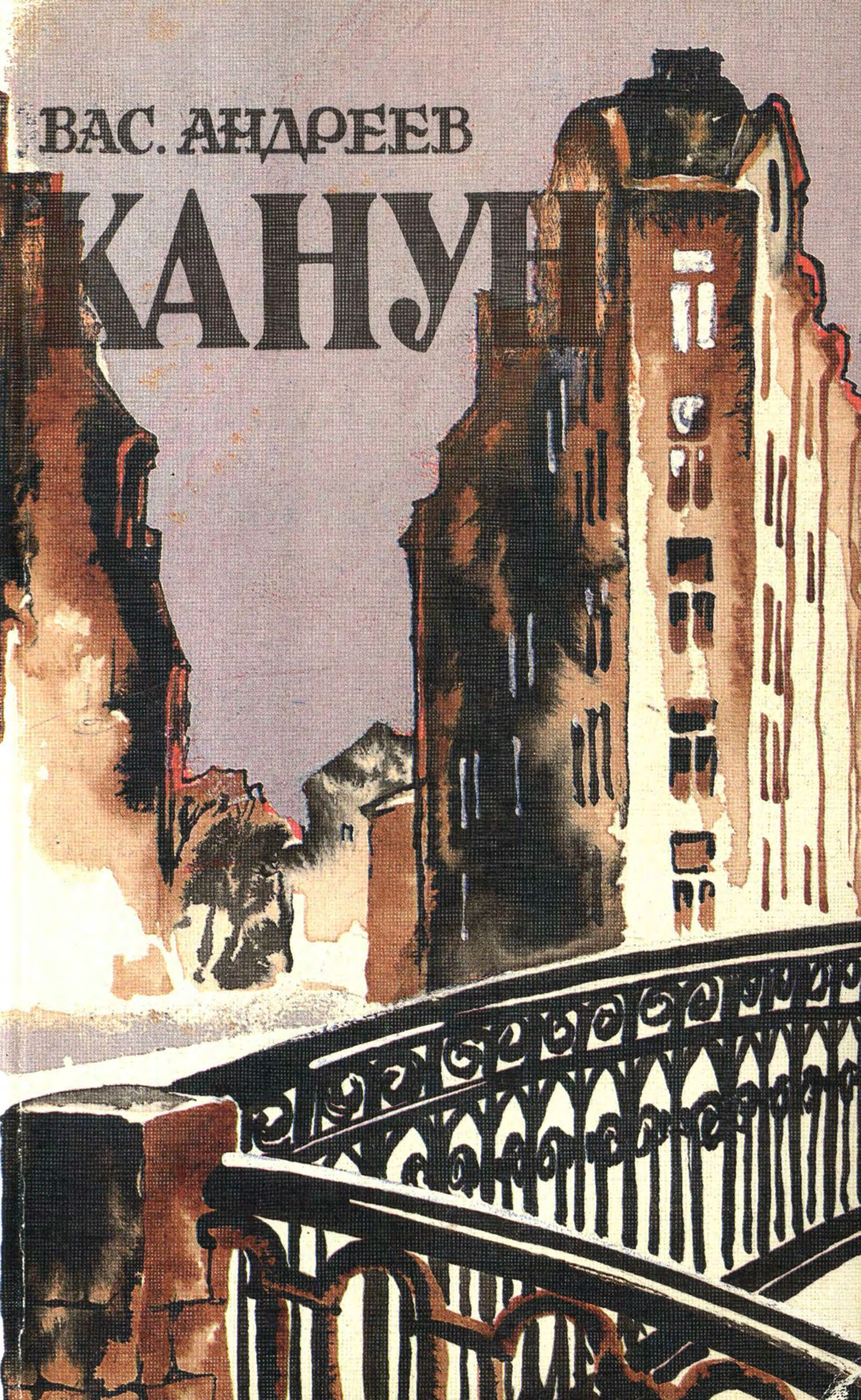

ВАС. АНДРЕЕВ
КАНУН

ВАС. АНДРЕЕВ

КАНУН

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
1989

ББК 84.Р7
А 65

Предисловие
Д. Гранина

Составление и послесловие
С. Тиминой

Подготовка текста
М. Черияк

Редактор
Р. Игошина

Оформление художника
Т. Панкевич

А $\frac{4702010201-075}{028(01)-89}$ КБ-53-64-88

ISBN 5-280-00880-X

«НЕУДОБНАЯ ПРОЗА» ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА

Году чуть ли не в 1970-м попался мне старый, двадцатых годов, альманах «Ковш». Стал я его листать и наткнулся на повесть Василия Андреева «Волки». Имя это ничего мне не говорило, поэтому и листал повесть без особого интереса, но что-то в ней вдруг зацепило, что-то проглянуло, блеснуло. Короче говоря, я вернулся к началу и прочел ее залпом. Поразился, обрадовался замечательной, крепкой прозе, где и жизненный материал, и язык, и мысль авторская — все привлекало, ничего не устарело. Были еще живы в Ленинграде писатели, которые хорошо знали начало советской литературы, жизнь литературного Петрограда — М. Л. Слонимский, Г. С. Гор, В. Н. Орлов и другие «хранители огня». Они помнили Василия Андреева. О нем сохранилось несколько легенд. Полузабытые, смутные, потраченные временем, они рисовали образ человека неусмиренного, характером — самобытного, чудаковатого. Он появлялся в их рассказах то спившимся, то издевающимся — то ли над литературным этикетом, то ли над страхами перед талантом. Рассказывали такую историю. Был Андреев сослан в Туруханский край за участие в революционной деятельности. Там он познакомился со Сталиным. Было это не то в 1915, не то в 1916 году, и тогда Андреев, перед отправкой Сталина по этапу в Красноярск, одолжил ему свою шубу.

Перед Великой Отечественной войной, бедствуя,— а надо заметить, что после 1937 года почему-то книги его перестали издаваться,— так вот, будучи совсем без средств,

решил он напомнить Сталину про свой «заячий тулупчик» и попросил помощи. Написал. Как говорят, получил ответ. Тут сведения расходятся: ответ строгий, ответ холодный, ответ, советующий умолкнуть... Во всяком случае, должник не обрадовался появлению своего старого приятеля. А в 1941 году, через несколько месяцев после начала войны, В. Андреев исчез. Вышел из дому и исчез. Более о нем ничего не известно. Опять же вспоминали какие-то странные слухи о самолете, на котором его вывезли или увезли...

В биографии В. Андреева много невнятного, упущенного, никто ею не занимался, и когда займутся, а займутся обязательно, ибо фигура эта незаурядная, то восстановить факты будет уже трудно. Произошло это потому, что литература двадцатых-тридцатых годов стала литературой упрятанной, представленной куцым списком дозволенных имен.

В 1986—1988 годах читателю открылись целые пласты не известной ему ранее первоклассной литературы. Однако многие явления советской литературы 20—30-х годов еще ждут своего часа. Огромный ее слой оказался изъятым из обращения, даже из истории. Не переиздавались с тех роковых 1937—1938 годов книги Пантелеймона Романова, Михаила Кузмина, Константина Вагинова, Леонида Добычина, Николая Баршева, затерялся в книгохранилищах роман Бориса Житкова «Виктор Вавич». Нормальная жизнь литературы сама производит отбор, что-то выходит из моды, что-то возвращается из забвения. Тут же естественное движение было прервано, искажено, восстанавливать его непросто.

Одним из таких утаенных писателей оказался Василий Андреев. Литературное наследство его еще не приведено в порядок. При его жизни всего было издано примерно двенадцать книг повестей и рассказов. Первая книга рассказов «Канун» вышла в Ленинграде в 1924 году, а последняя — «Комроты шестнадцать»— в 1937-м.

При всей их неравноценности есть в них прочность, которая отличает настоящий талант. Жизнь городских низов, воровской мир, кабаки и пивные, питерские окраины тех лет — судя по всему, писатель превосходно знал эту среду, сочный ее, своеобразный язык, ее обычаи, ее мораль. С проникновенным пониманием он писал о детях («Славнов двор»); их скрытая от взрослых жизнь хорошо ведома ему. Кстати сказать, как правило, именно на этом проверяется писатель — на умении писать для детей, о детях.

Героев В. Андреева можно считать типичными обывателями, петербургскими мещанами, которых растревожила революция, его герои хотят чем-то стать, найти себя или по крайней мере свою мечту, свой идеал в этом внезапно перемешанном распорядке, среди разрухи чувств, традиций, прежних ценностей.

Предлагаемая книга повестей и рассказов Василия Андреева, по сути, заново открывает нашему читателю интереснейшего писателя. Написанное им не только устояло под напором лет (и каких!), но обрело еще дополнительную привлекательность выдержанной временем литературы.

В зеркалах прошлого то и дело мелькает облик сегодняшнего дня. Повесть «Волки», лучшие рассказы создают эффект актуальности не случайно; раздумья и боли, созревшие спустя десять лет после революции, вдруг смыкаются с нашими тревогами о нравственных основах нынешнего общества.

Мы мало знаем о жизни Василия Михайловича Андреева. Известно, что в ссылке он находился с 1912 года за убийство жандарма. Кажется, на этом его участие в революционном движении кончилось. В ссылке он познакомился с известным большевиком И. Ф. Дубровинским. О нем, спустя двадцать лет, он написал книгу «Товарищ Иннокентий» (Л., 1934). Написал он перед войной воспоминания о ссылке, пьесу о Сталине, но все это, кажется, не сохранилось. После революции

он жил и работал в Ленинграде. Здесь выходили его книги; одну из них, «Преступления Аквилонова», выпустило в Берлине в 1927 году издательство «Петрополис». В середине двадцатых годов успешно была поставлена на сцене пьеса «Фокстрот». Судя по всему, В. М. Андреев стоял в стороне от литературной борьбы тех лет. Леонид Радищев писал о нем: «Его не включали ни в одну из существовавших обойм. Он не состоял в группировках. Не участвовал в склоках. Не ходил на заседания. Не был аргументом в критических битвах. Не состоял членом редколлегий. Не сообщал, «над чем я работаю»... и так далее». Андреева, разумеется, ругали за интерес к «никчемным людишкам», «ненужным, убитым революцией». Его замалчивали. Поощрительно похлопывали по плечу за переход от «уголовно-люмпенских тем» к широкому социальному охвату. Не желая при этом видеть, что социальный этот охват получается у него хуже, мельче, чем мир деклассированного человека с его удалью, философией, жестокостью и тягой к иной жизни.

Нет сомнения, что один за другим будут возвращаться, становиться в строй писатели, несправедливо забытые, припрятанные. В них было слишком много неудобной правды, они не укладывались в каноны, предназначенные для «правильной» советской литературы. Такой неудобной была и проза Василия Андреева, одно из счастливых открытий, которое обретает наш читатель.

Даниил Гранин

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



БОЕЦКИЙ ПУТЬ

Повесть

1

Васьки-Пловца, сапожника Соболева сына, родина — дом Городулина.

Дом этот известен всем: на канал Екатерининский и на Садовую — проходной. Слава о нем — как о «Васиной деревне», что на острову.

Впрочем, были и еще знаменитые в Питере дома: лавры Вяземская и Пироговская, Порт-Артур, Зурова и Сакулина дома на Фонтанке — мало ли!

Только в них ворье больше, а в лаврах даже сплошь; в Городулином же один вор всего — Ванька-Чухна, да и то — какой он вор?

Звание воровское только пачкает.

Когда у городулинцев что пропадает, всегда — к Чухне, и всегда находят.

В Городулином — все рабочие. Мастеровые с Франко-Русского (бывшего Берда), с Бекмана, из порта, с Балтийского, с островка Галерного, а также ремесленники: столяры, картузники, портные и сапожники, конечно.

Интеллигентов, как и воров, один всего — Иван Иваныч, адвокат.

Иван Иваныч — деляга, законник, опустившийся, правда, донельзя, пьет ежедневно, а временами сверх того — запоем; но все у него по статьям закона, даже рюмка водки.

По специальности и работает: за шкалик прошения пишет, за сороковку — любое судебное дело ведет, а если вина, закуски, пива — вообще угостить честь честью — самое безнадежное дело выиграет.

Законник!

Зато к нему и с уважением все, даже фараоны.

На что племянник Софрона Карпыча Конягина, владельца «Белых Лебедей», трактира «с крепкими», Митька-Коняга, дерзкий на руку парень, а вот Ивана Иваныча за воротник никогда не брал. А ведь Коняга спуску — никому, особенно благородным пьяницам как элементу случайному в «Лебедях» и навязчивому, нетерпимому никакой компании. Все у них, у благородных этих, с точки зрения да с амбицией, а какая тут амбиция да особенная точка, если до точки допился?

Коняга для интеллигенции — бич. Раз он даже попа, до положения риз допившегося, со всех шестнадцати («Лебеди» во втором этаже) — спустил.

Тогда Софрон Карпыч, на что человек, что шар бильярдный — нечувствительный, и то не одобрил.

— Ты,— говорит,— Митька, это зря. Священное лицо — по шее. Конфузно, брат, это.

А Коняга:

— Мне все единственно, хуть кто, ежели в собачьем виде. Я и митрополиту Антонию откупорю со всем удовольствием.

Коняга, это верно, вышибал с удовольствием.

А вот Ивана Иваныча — ни-ни и даже с уважением.

И сотку иной раз от Карпыча тайно ставил.

Васька Соболев кличку Пловец заслужил за плавание изумительное. Мальчишкой еще сопливым, порты подпоясывать не умел, а в Ворониных банях, в бассейне, или на Бабьей речке, на Гутуевском, куда городулинцы шатией за кокосом ходили, а также на «Балтинке», на четвертой от Питера версте, на водопаде — даже матросов удивлял: рыба, а не плашкет. Вода для него — что квартира со всеми удобствами: спать, вероятно, мог в воде... не только что. Спиной становясь к воде — нырял. И ничего.

Городулинские ребятишки каждый чем-нибудь выделялся: Васька, вот, плаванием, Мишка-Левый, братишка его,— в драке бесподобен (бил с левши), Колька-Меднолобый — музыкантом роскошным стал впоследствии.

На афишах его портреты печатали. Что шафер на афишах: во фраке, в «гаврилке», прическа — «бабочкой». Будто и не городулинский вовсе. Павлушка-

Пестик — революционер, эксист, «максималист» по-газетному, у Фонарного, в шестом году, застрелился.

Городулинские все — с талантами.

На что Афонька дворников, Говядина по кличке, деревня: только и есть в нем — мясо да жир. И тот отличился: вора на чердаке изловил и единолично в участок доставил.

Здоров, толстомясый! Одного вора ему, пожалуй, мало.

Городулинская плашкетня — талантливая.

В игру всякую — мастера, в драке — не качают, языком — любому трепачу сорок очков. И правильные. Фальши — никакой.

Воровства или чего такого — ни-ни!

Народ крепкий телесно и духовно, да иначе и нельзя: жизнь по головке не гладит.

Хочешь не хочешь — крепись.

Жизнь такая — ничего не попишешь!

Голод, холод, труд с малолетства. Большинство — по отцовской линии: на завод, в мастерскую, на липку сапожную или на верстак портновский.

Васька жил не унывая, несмотря на то, что жизнь сложилась неказистая: отец — пьяница, бил его и брата Мишку смертным боем. Когда Ваське минуло двенадцать, братишка ушел от отца. Жил с Марусею-Цыганкой, черненькая девочка, глаза — что вишни в дождь. Славненькая!

Мать умерла давно, от побоев мужа, наверное. Отец на одном Ваське душу и отводил. Но потом заболел. Пьяный, в покров, проспал на земле, схватил крупозное. Скрючило, хотя и вынес. Васька же к тому времени выровнялся: ростом чуть не с отца, а в плечах шире. Перестал отца бояться. А когда тот, пьяный, както стал фасон показывать — тарелки бить, Васька за дворниковым Афонькою слетал. Вдвоем связали, бросили на кровать, а сами пошли играть в пристенок.

С тех пор отец притих. Иной раз зашебаршит по старой памяти, а Васька:

— Ложись добром. А то Афоньку позову. Он те угомонит в два счета.

Васька смышленый, грамотный. Читать любил, но книг не было. Кое-что у мальчишек доставал: «Италь-

янского разбойника Картуша», «Пещеру Лейхтвейса», «Магдебургского палача», «Пинкертонов» разных.

Книги эти занятные, завлекательные. Особенно про разбойников которые. Сердце от них растет и дух крепнет. Хорошие книги!

Так, без школы, без учебников, наглядно учился, а без этого тоже можно учиться: глаза, уши есть, вот и учись.

А школа — улица. Учитель — улица. За все она отвечает. Одна она — и мать, и наставник, и профессор.

Вольный и смелый, как городулинские, как питерские мальчишки, понял Васька, что жизнь заключается в том, чтобы человек права свои отстоять мог. А для этого надо быть сильным, бесстрашным. Иначе всякий обидит, с дороги столкнет, и будешь у людей в хвосте, в загоне. Бороться нужно. Но так как бороться одному часто не под силу, то нужна артель, шатия.

Везде так.

Вот у Покрова, в Коломне, покровская шатия. На Пряжке — пряжинская, затем — петергофцы, семенцы, песковцы. А самые знатные, первоначальные,— «Зеленая Роща» и «Гайда».

Создал и Васька городулинскую партию. Надумал, предложил парнишкам. Те, понятно,— с восторгом.

За атаманом дело. Ваське напрашиваться нельзя, должность атамана — выборная.

Ребятишки-то за Ваську:

— Пловец, ты атамань! Ладно, Пловец, а?

Но Филька столяров — злой, завистливый — запротестовал:

— Кто всех сильнее, тот и атаман.

Пришлось сходиться трем кандидатам: Ваське, Фильке и Афоньке. Остальные — мелочь.

С ними — нечего.

Говядина Фильке чуть ребро не высадил кулачищем.

И Васька Фильке влил.

Потом с Афонькою у них — боевая. Васька по драке — академик, но Афонька — силен. Техникой Васька только и взял...

2

Стали городулинцы набеги делать. На серебряковцев (соседний дом Серебрякова) и карповцев (по другую сторону городулинского — Карпова дом).

Мальчишки в этих домах — плохие, из интеллигентской мелочи: чиновников, учителей разных дети.

Через неделю по всей улице городулинцы прославились. Через двор чужие мальчишки проходить перестали. А мимо ворот, по другой стороне улицы — стрелой.

Городулинцы до вечера во дворе, а попозже в Покровский сквер, на партию покровскую смотреть ходили.

А у покровских в то время атаманил Валька-Баянист, высшей марки музыкант, в Народном выступал и других театрах.

За гармонную игру жетоны имел.

Парень Валька шикарный!

Поддевка темно-синяя поверх рубахи голубой, широченные, на голенищах лакирошей приспущенные, шаровары, московка широкополая — птичкою на золотистых кудрях.

А хлещется!

Красота! Глаз не отвести! Очарование!

Ураганом на середину улицы, светлыми сверкая голенищами, в толпу пряжинцев, петергофцев ли врежется — ровно литовкой пройдет: сразу полукруг свободный перед ним. А там: один, другой — кувыркаются, с булыжниками мостовой христосуются.

Хлестал толково!

А поддевка полами парусит, кисти пояса вихрятся, только нет-нет московку приминает.

Верткий, волчок. Не моргает. Раз — и в дамки! Человек такой!

И командует своим — четко, быстро, дельно:

— Бей, братцы! Не качай, мать вашу...

— Баламут, пятнай, сука! Огурец, крой слева! Э-эх!..

А неустойка если — встанет как вкопанный. Пальцы в рот — свист властный и грозный; потом — быстро руки в карманы и выбрасывает их уже охваченными железом кастетов.

Тут уже парнишки отовсюду что воронье. Тревога: «Пряжка напирает! Валька подмоги просит!»

Площадь застонет, от топота ног, пыль метелью запляшет.

И несмолкаемое гудящее «Понес!» — клич борьбы, геройства и обреченности — юности голос, сама юность — аккордно музыке битвы вторит.

И тревожно и настойчиво, клич этот заслыша, фараонов свист — стальными по улице горошинами.

И только конные когда покажутся, четкая Валькина команда «Зекс! Хряй!»— кладет конец битве.

Атаман отступает последним.

Валька погиб.

Страшной и памятной всем смертью.

Летом, в день воскресный, черносотенцы убили.

Каждое воскресенье собрание у них, у черносотенцев, в квартире казачьего есаула Дерзина.

Гульба, пляска, пение «Боже царя»— в рабочем-то квартале после пятого года!

Много сердец горело, много точилось зубов.

И Валька — не вынес.

Сердце у него открытое было, без остатка все целиком принимало.

Без рассуждений, без обходов — все!

Какие же рассуждения, когда сердце вот — как ворота в жизнь, как взор солнечный,— какие обходы?

Как услыхал вызывающее, из окон дерзинских несущееся: «на страх врагам», не выдержал.

За вызов принял черносотенное царского гимна пение Валька — рабочий Бердовского, Франко-Русского тож, завода.

Вызов. А раз вызов, надо принять.

Правда, хмелен был, но не в хмелю дело, а в сердце.

Сердце — ворота в жизнь. Солнечное сердце.

Решил: «Набегом. Волынку затеять. Пришить кого ни попало...»

А слово — дело.

Нужно бы артелью, скопом, но парней — никого; своих, покровских,— никого.

«Эх, была не была!»— птичку-московку примял, вихрем — по парадной, поддевкою паруся, блестя ла-

кирошами,— в есаулову, в дерзинскую квартиру, и прежде чем застрелили — четверых пером перепятнал...

Один из раненых умер скоро, троих — в Обуховскую. Но и Валька погиб.

Под глазом вошла, из затылка вышла пуля.

Одной убили, а выстрелов пять-шесть дали. С испуга, от неожиданности — в комнате в упор мазали, промахивались...

Вальку хоронили трогательно и шикарно.

Гроб на руках всю дорогу, а за гробом шестеро баянистов — похоронные марши и Вальки, покойничка, песни любимые: «Ах, зачем эта ночь!» и «Молдаванский вальс».

Шестеро баянистов и седьмой — плясун, Гаврик Златоцветов, за гробом.

Парни на подбор — что надо!

Шурка-Заграничный — жетоны у него, как и у Вальки, за игру гармонную.

Мишка-Пищик — человек, знающий гармонь лучше, чем любой поп «Отче наш». Сам мог гармонь сделать, если ему подходящий инструмент и материал дать.

Петька-Японец «Коробушку», «Выйду ль я на реченьку» играл так, что за оперу принять можно. А «Барыню» Петькину даже городовые играть ему на улице не запрещали.

Втулка-Серега — шестнадцать часов, на спор, на свадьбе у вора-домушника Кольки-Ершика гармонь из рук не выпускал. Выпьет. Закусит. Играет. Кругом — шестнадцать.

Мишка-Утопленник из-за гармони чуть не утонул. На Лахте. Лодку в драке опрокинули. Мишка сапоги сбросил, а гармонь не отпускает.

Тонет, а гармонь в руках.

Спирька-Омский из Питера до Омска и обратно пешком прошел, по городам и деревням на гармозе играя!

Пьяный играл — как никто. А в дым когда пьян, спит когда на гармозе — еще лучше. Сердцем играл, кровью.

Плясун Гаврик Златоцветов — красавец — поискать!

И плясун редкий.

Девочка из-за него отравилась. Катя, лафермовская.

Знаменитые похороны Вальки.

Гроб весь в венках, бердовцы на похороны сбор сделали. Гроб и венки — что надо.

А маркер Долголев из «России», трактира, приятель Валькин задушевный, накануне похорон купчика обыграл на полтыщи, и все деньги — Валькиной матке.

Сороковку из выигрышных только взял, а остальные все старухе — полтыщи без двадцати копеек.

Маркер, а сердце поимел — это понимать надо!

Знаменитые Вальки-Баяниста похороны. Шестеро баянистов — в поддевках выходных, в черных и синих, в рубахах шелковых и лаковых сапогах.

Заграничный — при жетонах.

А плясун красавец Златоцветов — в бархатной безрукавке поверх малиновой рубахи, с крепом на малиновом рукаве.

Не мог в другом костюме быть: как под игру Валькину в театрах выступал, так и за гробом шел.

При всей форме, значит.

Правильно это. Так надо.

Семеро за гробом: шестеро баянистов и плясун.

А сзади — футляры гармонные и московки игрунов девочки несли.

У каждого своя. Только Гаврика-красавца сестра, красавица Тася, братнину шапку плясунскую, ямщицкую, с павлиньими перьями шапку,— сестра несла.

После трагической Катиной смерти Гаврик девочек не заводил. Не имел.

Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.

Печально прекрасное отпевание — печальный «Молдаванский вальс».

И в такт задушевным молдаванского вальса звукам, стелющимся как пышные ковры, словно по ним, ласковым, мягким звукам-коврам, ступая, шел за гробом товарища Гаврик, не похожий на всех, тут же идущих, не похожий ничем: ни походкой, почти воздуш-

ной, плясунской, и костюмом ямщицким, в каком по городу не ходят, и лицом не городским: кровь с молоком, губы — цветик ал, глаза — звезды в лучах ресниц стрельчатых, волосы — льна чуть темнее, шелковые волосы в кружок.

И даже тем не похожий, что при ходьбе не махал, как все, руками, а, откинув атласом голубым подшитые полы безрукавки, заложил за серебряный поясок позументный белые руки свои, как у девушки нежные. На тут же идущих всем этим не похожий, от всего и всех — отменный,— Гаврик, редкий красавец, словно пришедший из древней, в веках затерявшейся сказки, древнерусский молодец-краса.

И символом сказочной этой красивости — траурная на малиновом рукаве повязка...

Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.

Ткутся шелком пестрым мягкие ковры, расшиваются золотом радости, серебром печали, устилают ковры всецветные атамана печальный путь.

Звуки, звуки — нити золотые, серебряные, всецветные нити. Сплетаются венками, падают венками, в скате раскатываются расписного ковра. И по ласково-бархатно звучащему пути верный погибшему другу-атаману древнесказочный друг идет.

И много-много сзади молодых, все молодых. Весною, молодостью, солнцем венчанных, жизнью возлюбленных молодцов и молодиц.

И чудится: жребий скорбный молодого атамана не мрачен вовсе, не печален, не страшен.

Жребий — смерть его, полного сил удалецких.

Жребий — смерть его — не врата ли, внезапно распахнувшиеся широко в расписными коврами устланный путь ворота?

Как и сердце его при жизни — солнечный взор — отверстые врата.

Много сзади парней и девушек. Много бердовцев, провожающих не покровского атамана, а бердовца — товарища своего, умершего смертью не последней.

И вели под руки не отнимавшую от глаз платка Веру, Валькину любу — девочку от Жорж Бормана, с шоколадной.

Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.

То взмывают заревым весельем, то ночной припадают печалью, то крылами рыдания бьются, то в тоске замирают, стынут молдаванского вальса звуки.

А по краям пути расписного, в такт раскатам ковров всецветных, мерно качаясь в седлах, маячат черные конники — злые стражи.

И зорко смотрят, чтобы не слишком широко расстилались ковры; ковры, легшие на манящие пути заветные, пути, влекущие в дали дальние, где жар-птицы солнечными реют крылами, где в камнях самоцветных — радостные дворцы, где все красоты и силы-сильные, солнце где, злую ночь пугающее солнце; по краям пути черные конники — злые стражи мерно покачивались в седлах.

И хмуры, и затаенно-тревожны, и злы затаенно черные конники — злые стражи.

Смолкает. Замирает. Смолк. Замер... «Молдаванский вальс»...

3

Городулинским простора мало. Драться не с кем. Мелкоту интеллигентскую из соседних дворов бить скучно.

Развлекались французской борьбой. В моду входила тогда.

На песке, на Екатериновке — против ворот городулинских летом всегда горами песок,— на песке борьба.

Филька целыми днями — под Говядиной. Иной раз и бороться не хочет, а Афонька его знай заламывает. На удивление мальчишкам и на потеху себе, по пятнадцати и больше раз укладывает на лопатки подряд.

Злой Филька ругается, плачет, зеленеет от злости и усталости, а Афонька, красный что свекла, ржет жеребенком и такими макаронами кормит Фильку, что у бедняги шея трещит.

Потом перед ребятами резонится.

— Я его легонько борю, а если б заправду — задавил бы. Чижелый я. Мы, деревенские, на борьбу здоровые.

Мальчишки не спорят. Деревенские, известно, всегда городского сомнут, а Афонька такой вполне Фильку может задавить.

Вот он как в борьбе навалится на Фильку, того совсем и не видно, только ножки дрыгают по песку.

Ваське скучно без дела — волыниться не с кем. Борьба надоела. Да и опасался столкновения с Говядиной: на борьбу Говядина — первый.

Надумал наконец к покровским поступить, но городулинцам заслабило.

— Куда нам? Там — большие. Нас и не примут.

Зиму много работы было у сапожника Соболева, и пил он почему-то мало — раз только Васька с Афонькою его связывали.

Всю зиму пришлось Ваське отцу помогать, но мысль о присоединении к «покрошам» покоя не давала. Часто во сне дрался с пряжинцами или петергофцами.

К следующему лету решил окончательно.

Предложил и Афоньке, но тот отказался.

Ленивый да и трусоват, даром что бык такой.

К Покрову пошел Пловец в праздник, после обедни.

«Атамана увижу и попрошусь в партию»,— думал радостно и тревожно.

Атаманил после Вальки Гришка-Христос, еврей, сын торговца из Александровского. Лет двадцати с лишком. Бородка небольшая, раздвоенная, и длинные волосы делали его похожим на Христа. Только глаза близорукие, насмешливые.

На вид невзрачный, Гришка между тем обладал большой силою.

Конкурентов в драке не имел...

Когда Васька пришел к Покрову, вдоль церковной ограды сидело несколько парней с Христом в центре.

Смелый мальчуган, победив минутное смущение, подошел к сидящим и подал Гришке руку:

— Здорово, атаман.

Гришка прищурился, засмеялся громко, сверкнув большими лошадиными зубами.

— Здорово, есаул, здорово!

Парни засмеялись. Васька слегка обиделся.

— Я не есаул, а атаман... городулинский.

Хохот усилился.

Васька продолжал, не смущаясь:

— Я хочу к вам в партию.

— А батька с маткою не выдерут?— насмешливо улыбнулся Христос.

— Матки у меня нет, а батьки я не боюсь,— спокойно ответил мальчишка.

— Молодец,— сказал Гришка серьезно,— крой его, старого черта, и в хвост и в гриву.

Обернулся к товарищам:

— Я пьяный и волынюсь же с батькою, ай-яй-яй!..

Приложил руку к щеке и покачал головой.

— Третьего дня буфер ему подставил.

Парни прыснули. Гришка обернулся к Ваське.

— Ты, плашкет, вот что... Деньги у тебя есть?

— Есть.

Васька радостно извлек два гривенника. Копил эти деньги. Готовясь поступить в партию, знал, что потребуется подмазка.

Гришка повертел в руках гривенники.

— Разве это деньги? Это — злыдня. Я думал, ты выпить поднесешь.

— Можно сороковку взять,— сказал Васька.

— Сороковку на такую шатию?— кивнул Гришка на товарищей.— Слетай за папиросами. «Бижу» возьми!

Васька мигом сбегал. Закурив, стали расспрашивать, кто он, кто его родные.

— Мишка-Левый — твой братишка?— спросил один белокурый в веснушках.

— Да.

— Какой это Левый?— прищурился Христос.

— А это бекманский, с Манькой-Цыганкою живет. В семенцах он сейчас.

— Знаю,— кивнул Гришка,— хлещется Левый дельно. Знаю. В «Коломне», в бильярдной, помню, с гужбанами. Пьяный Левый — в доску. Гужбаны прут на него, а он: «Тебе что, а?» Раз с левши — с катушек гужбан. Он — другому: «Тебе что, а?» Раз опять с левши — с катушек. Четверых, кажется, подряд. А коблы варюжки разинули — ждут очереди. Смех!.. Молодец, Левый, ей-ей!

— Неужели четверых всех?— спросил парень, круглолицый, полный, голубоглазый.— Что же гужбаны, газеты читали?

— Не газеты, а ждали очереди,— спокойно ответил Христос,— когда я коблов бью — они тоже дожидаются.

— До-ля-фа!— раздался чей-то тонкий голос, потом — пение:— Ты не ври, не ври, добрый молодец...

— Брось, Козел,— оборвал поющего Христос,— ты лучше выпить достань. Ведь получку вчера получил?

— Получил.

— Почему не пропил?

— Батька, сволочь, все забрал до копейки.

— Батька? Эх ты! Вот, смотри: плашкет и то батьки не боится, а ты... А еще парнишка покровский...

Он защипал бородку и, прищурясь, посмотрел на кончик лакированного сапога.

Потом быстро — к парню:

— Лети к батьке! Затей с ним бузу! Вырви из глотки на две бутылки! Слышишь?

Развел руками:

— Черт знает что! Парень с получки сотки не выпил, а батька теперь хлещет за него.

Парень нерешительно почесал за ухом:

— Попробовать, что ли?

— Бери за горло прямо стервеца! Понял? «Гони, старый хрен, монеты! Какого ты, мол, кляпа?» А зашебаршит — в морду его, сволочь такую.

Гришка, волнуясь, поднялся:

— Вот не люблю старых чертей! Батьку своего я когда-нибудь пришью, чтоб я был подлец!

— Не заливай, Гришка, Фонтанка еще не горит!— засмеялся круглолицый, голубоглазый.

— Будь я проклят, если не пришью,— сказал Гришка убежденно,— ведь это такая стерва! За копейку — удавится, за пятак — штаны спустит...

Замолчал и, тихо посвистывая, прищурясь, смотрел на голубоглазого.

— Ты чего, Гришка, смотришь?— усмехнулся тот.

— Хорошенький ты, Павлик, будто шмарочка. Люблю я тебя, честное слово!

— Тьфу, черт, а еще Христос!— плюнул, смеясь, Павлик.

Гришка не спускал с него насмешливо-ласковых глаз, а в них в упор глядели бесстыдно-ясные, веселые Павликовы глаза, красивые и глуповатые немного, как глаза кукол, и немигающие веки узором длинных ресниц бросали легкую тень на нежно-розовые, как персики, щеки, изредка слегка вздрагивающие от затаенного смеха.

Гришка отвел глаза и вздохнул:

— Стыда в тебе, Павлушка, ни на копейку.

— А на кой он нужен? Пропадешь с ним.

Гришка отвел глаза и опять вздохнул.

— Случается — без него пропадают. И часто.

В это время подошел новый парень, торопливо засовал руку.

— Пряжка катит.

— Врешь?— вскочил Христос.

— Чего — врешь? Скоро будут.

— Много?

— Хватит.

— Ты, плашкетик,— обернулся Гришка к Ваське,— хряй сейчас на Канонерскую, шесть. Окно с сапогом внизу увидишь — скажешь прямо в окно: «Пряжка идет, Христос у Покрова». Лети!

Ветром долетел Васька, бормоча всю дорогу условленные слова, и, добежав до окна с сапогом, выпалил всю фразу в лицо сидящему у окна парню в лиловой рубахе.

Парень высунулся:

— Христос послал?

— Да.

Дал Ваське нож, финку.

— Передай Гришке, скажи: «Перо мореное». Стой! Еще скажешь: «Придут Волк, Пепелов и Сахарный-Женя с перьями». А еще: «Пряжинский Фарватер хочет его, Христа, значит, запятнать».

Когда Васька прибежал к церкви, там уже шли сигнальные пересвистывания.

Радостно и жутко забилось Васькино сердечко от этих свистков.

Кучка покрошей, с Христом во главе, стояла в неподвижном возбуждении, а на другой стороне площади цепью растянулись пряжинские, подвигавшиеся неторопливо.

Только впереди цепи быстро, точно катясь, шли плашкеты —«задевалы», часто останавливаясь, и, засунув в рот пальцы, пронзительно свистели.

Васька вручил атаману нож и передал все, что велел парень с Канонерской.

Гришка хлопнул его по плечу, сказав:

— Молодчик!

Обратился к Павлику:

— Фарватер-Федька хочет меня запятнать, сука!

Потом быстро спросил:

— Самсончик здесь?

— Здесь!— полоснул голосок, и выскочил из кучки парней мальчуган, лет четырнадцати, плотный и загорелый, в тельной полосатой рубашке, босой, чернокудрый и черноглазый, как цыганенок.

— Самсончик и ты, как тебя?— кивнул Гришка Ваське.

— Пловец!— гордо вспыхнул тот.

— И Пловец, примите пряжинских плашкетов. Сколько их?— деловито осведомился он у Павлика.

— Трое.

— Сыпь, хлопцы!

Самсончик примял кепку и пошел, не торопясь. Шел, раскачиваясь, припадая на ноги, подражая походке заправских бойцов.

Васька догнал. Захлебнулся:

— Примем?

— При-мем,— спокойно протянул Самсончик и вдруг скомандовал:

— Стой!

Остановились.

Шагах в двадцати — пряжинские задевалы: двое босоногих, как и покровские, один даже без шапки, и третий — в лакировках, пиджаке и московке, как большой.

Скидывая с плеч пиджак, оставшись в одной розовой с синим поясом рубахе, нарядный мальчуган закричал нестерпимо звонким, как разбиваемые вдребезги стекла, голосом:

— Пок-ро-о-в! Выхо-ди-и-и! Пряж-ка приш-ла-а-а-а!

Билось в ушах от невыносимого крика, даже обругался Васька, а Самсончик — так же, как розовый,— стеклом дребезжа:

— Поне-ес! Пряж-ка! По-не-е-с!

Выбежал, выставив полусогнутую левую руку и на отлете — правую.

Ждал.

Розовый, бросив на мостовую пиджак и фуражку, кинулся на Самсончика, наклонив в светлых бараньих кудряшках голову.

Схлестнулись. Отскочили.

Словно два волчка, полосатый и розовый, завертелись: один — на бронзово-золотистых, другой — на черно-блещущих ногах.

В коротком взмахе стремительно взлетали руки, хлопали, отбивали одна другую, выстрелами влеплялись в полосатое и розовое тела.

Пловец, шагу не могущий сделать, дрожащий от неописуемо радостного волнения, забравший в рот ворот рубахи, смотрел на еще не виданное по красоте единоборство.

Сжимались непроизвольно кулаки, топтались нетерпеливо ноги, до боли напрягаясь в икрах, и теребился, как удила, скрипящий на зубах ворот рубахи.

А когда розовый клубок отлетел, в розовую развернувшись полосу, всклубивши пыль мостовой, а полосатый Самсончик, выжидая, с рукой на отлете, с грудью, крутой поднявшейся ступенью,— крепко стоял, будто врос в площадь стройными смуглыми ногами,— Пловец, вскрикнув торжествующе: «Понес!»— бросился на двух пряжинских плашкетов, так же, как он минуту назад, нетерпеливо топтавшихся. Увидел на мгновение спокойные, детские на чистом лице глаза и другие — острые, на рябом широконосом лице; потом ощутил тупую боль под горлом, пропали четыре глаза и два лица, а ноги сами скользнули вперед; боль в спине и затылке.

«Сшибли, черти!»— быстро подумалось, а в ушах хлестнуло:

— Пловец! Не качай!

Вскочил. Подбегали Самсончик и нарядный кудряш.

И снова десять рук, проворных и метких, замелькали; десять ног, упругих и быстрых, заклубили пыль площадную.

Но сзади и впереди, почти одновременно, свистки. И почти одновременно зазвенели нестерпимо резко розовый и Самсончик:

— Конча-а-а-ай!

— Пловец, хряй сюда!— отбегая в сторону, крикнул Самсончик.

— Куда?— догнал его Васька.

— Сейчас начнут...

Самсончик дышал порывисто, сплевывал закипавшую в уголках ярких губ белую слюну, вздрагивали ноздри и огоньки в цыганских глазах.

По площади — быстро-быстро — две цепи, одна навстречу другой.

Впереди покрошей — Христос-Гришка, невзрачный, сутулый, близоруко вглядывающийся, качающийся при

ходьбе, как и все, а во главе Пряжки — высокий, с шапкою золотистых кудрей, парень.

— Ихний атаман, Шурка-Казак, братишка Баранчика, того, с которым я сейчас хлестался, понял? — скороговоркою горячо задышал Самсончик и тут же в нескольких словах рассказал, как Гришка Казаку нос сломал.

— Один раз Гришка Казаку по сопатке ка-ак даст! Нос — хрясть и посичас на боку.

И добавил веско, будто точку ставя:

— Мо-о-лодчик!

Первыми схлестнулись атаманы.

Звонкие, по всей площади, удары.

Отскочили. Переменились местами, как петухи. Разошлись, покачивая раздвинутыми руками.

«Будто плывут»,— подумал Пловец.

Казак упал.

— Ловко! — радостно крикнул, обжигая Ваське ухо, Самсончик.— Ай да Христос! Видел, Пловец, а?

— Мо-о-лодчик, Гришка,— добавил, точку поставил.

Потом — глухой гул, свист; обе партии, сблизившись, стенку образовав каждая, двинулись.

Сошлись. Перемешались. Замелькали руки. Гулко зазвучали удары. И вместе с ударами — свистящими хлыстами по воздуху — бранные слова. С каждым мгновением бойцы оживлялись.

Руки — бесчисленные мельничные крылья.

Брань — все резче, но короче ударяла по воздуху.

Падали. Вскакивали. Падали.

Туманом — пыль над площадью.

Васька дрожал, топтался, перебегал с места на место, подпрыгивал, как от уколов.

И теребил зубами ворот, уже порванный и измокший от слюны.

Самсончик томился тоже: огнем горели смуглые щеки, свечками — глаза. На жарких губах высыхала пена.

Приседал к земле, вцепляясь темными крепкими пальцами в булыжины.

Как раскаленное железо рукою часто, порывисто хватал Ваську и обжигал:

— Гришка-то! Гришка! Толково бьет! А-а!

Васька, академик по драке, оценивал «работу» атамана добросовестно: угадывал каждое движение,

предусматривал результаты. Одобрял меткие удары и досадовал на промахи.

А Гришка, вошедший в раж, разлохматив волосы, в щелки сощурив близорукие глаза и оскалив крупные лошадиные зубы, бил метко, привычно, и каждый почти раз от стремительного удара его костлявого кулака полосой или пятном ложился знак удара на лицах, неосторожно под него подвернувшихся.

Вдруг двое налетели на Гришку.

И тотчас же один отскочил, а другой как-то странно сел на землю и медленно согнулся в боку.

Кто-то что-то крикнул. Сразу прекратилось побоище.

Опять крик:

— Запятнал!

А над ухом Васьки обжигало:

— Гришка... Фарватера-Федьку... перо-ом.

Васька вздрогнул от этого шепота и взглянул на товарища.

Ослепительно горели черные глаза, раздувались ноздри, а в углах губ, лоснящихся алостью, белая вскипала слюна...

Фарватера вынесли на руках из круга.

Трель фараонова свистка близко где-то настойчиво и беспокойно сверлила воздух.

4

Гришка-Христос, покровский атаман, убивший пряжинского бойца Фарватера «мореным», то есть отравленным, ножом, был парень что надо.

Своих товарищей любил, как Христос учеников.

Часто говорил, правда, полушутя:

— Стервецы, ведь я вас, как Христос, люблю. Христос я для вас или нет, суки вы паршивые?

Даже как у Иисуса Иоанн был любимейшим, так у Гришки — Павлик, поварок из греческой кухмистерской с Садовой.

Гришка любил Павлика за молодость и необычайную смелость.

Павлик действительно был смел.

Прямо не умел бояться. Не понимал боязни.

Гришка о нем говорил так (философствовать, как и Христос, он любил):

— Есть люди всякие, каких чудаков бабы не родят. Я вот музыки не понимаю. Один черт для меня, что пианино, что трензель или барабан. Шум, и больше ничего. А скрипку терпеть не могу. Пищит, скулит, точно нищего через Урал тянет. А вот Павлик страха не понимает. Как вот я — музыки. Верно, Павлик, не понимаешь?

Павлик смеется весело, по-детски. И по-детски смотрит глуповатыми, красивыми, как у куклы, глазами:

— Как не понимаю? Что я — чума, что ли? Я знаю: страшно. А только не знаю, как это страшно-то бывает.

— Погоди!— перебивает Гришка.— Идешь ты, скажем, с Лизкой со своей на Митрофаниевском кладбище.

— Никогда мы с ней там не гуляем. Скучно, да и воняет.

— Дурак! Это мы предположим. Понял?

— Ну ладно, понял.

— Ни черта ты не понял... Значит, идешь. Теперь, вдруг из могилы — мертвец. Паршивый такой, почти сгнил.

— Стой! Как же он может?..

— Э! Не перебивай... Это так, вроде сказки. Ну, вылез это... «Ты чего, мол, шкет, со шкицею треплешься, мне, мертвецу, спать не даешь?» Понял? Это мертвец тебя спрашивает.

Павлик смотрит на Гришку непонимающими глазами и начинает вполголоса:

— До-ля-фа!.. Ты не ври...

Гришка безнадежно машет рукой.

Парни смеются.

Павлик не понимает страха, а потому обнаруживание у людей страха, боязни интересует и забавляет его. Особенно если люди боятся пустяков: крыс, пауков, тараканов, щекотки.

Павлик, так же как и ничего, не боится и щекотки, и люди, боящиеся ее, для него необыкновенно смешны и забавны, даже необычайны, как какие-нибудь редкие существа.

Это заставляет его чуть не ежедневно щекотать одного из покрошей, Кольку-Бульонного.

Бульонный — из «чистых», сын вдовы-чиновницы, самый слабый из парней.

Даже малолетний Самсончик с ним справляется.

По будням, в послеобеденные часы, прямо из кухмистерской или после разноса обедов на квартиры, с пустыми судками, Павлик наведывается к Покрову.

Завидя его, покроши, смеясь, Кольке:

— Сейчас тебе, Бульонный, жара будет.

А Павлик, белым костюмом и колпаком, сытыми щеками и улыбкою мелкозубого рта напоминающий веселого здоровяка поваренка с жорж-борманских реклам, садится рядом с Колькою, вздрагивающим от одного взгляда своего вечного мучителя, и говорит, подмигивая парням:

— Бульонный, поди, по мне стосковался?

— Брось трепаться, Павлушка!— сразу пугался парень.

— Зачем трепаться? На гармозе сыграю, только и всего.

Павлик, не торопясь, засучивал на полных розовых руках рукава, скидывал с жарких ног башмаки.

Затем, так же не торопясь, валил слабосильного Кольку, садился верхом.

Точно нехотя проводил пальцами по вздрагивающим Колькиным бокам.

Тот отчаянно взвизгивал, начинал биться, силясь сбросить с себя тяжелого, полнотелого Павлика.

— Мало, брат, каши ел, матка, поди, бульоном кормила,— смеялся веселый палач.

Ловил Колькины руки, раскидывал их в стороны, прижимал в сгибах толстыми пятками и начинал работать вовсю: быстро мелькали пальцы, забегали под мышки, останавливались.

Внезапно схватывали Колькины бока.

Бешенство, ругань, смех, плач — от прикосновения пальцев.

Как гармонист — чего только пальцами не выделывает!

Весело неудержимо Павлику.

Колька — гармонь, значит?

Изумленными, счастливыми глазами смотрит в искаженное непонятным ужасом и мучениями лицо, вскрикивает не понимающий страха Павлик:

— Чего боишься? Вот чудак. Братцы, ведь я легонько, пальчиками только. Вот святая икона!.. Глядите! Во... А он!

— Гармонь, ей-богу! Баян!

Захлебывается от восторга. Раскраснелся весь. Даже полная обнаженная шея порозовела.

А Колька воет, визжит, умоляет:

— Пав... Пав... Ай! Ппп... Павлик! Ау! У-у-у! Ми... лень... не... на... на...

Весело, безумно весело Павлику на страхе человеческом, как на гармони, играть. Не выпускает из рук жертвы. Уже не сопротивляется обессилевший Колька, уже не сидит на нем Павлик, а, крепко зажав коленями Колькины ноги, держит его перед собою, как гармонь. И беспощадно-весело и глазами кукольными, красивыми, глуповатыми, и полнокровными персиками-щеками — смеется в измученное, потное, страхом и страданием искаженное лицо.

Не выпускает жертвы — гармони своей.

Все, что захочет, может сыграть.

— Вам что? Полечку? Краковяк?

Восторженными, счастливыми обводит всех глазами.

Но Гришка-Христос вдруг — грозно, зубы оскалив:

— Брось!

С Колькою — истерика. Ослаб. Мутные глаза — мимо Павлика.

Грубо отталкивает Павлика Христос:

— Черт толстомордый! До смерти ведь можно... Чума!

Опустившись на землю, к ограде прижался Колька.

А Павлик недоумевающе смотрит на него, зевает, потягиваясь:

— Настоящий ты, Колька,— бульонный. Поиграли с ним, а он и нюни распустил.

— Поиграли,— всхлипывает Колька.— Ты знаешь, защекотать можно насмерть. Это, брат, не игра.

— Почему же я не боюсь? Вот щекоти, на, где хочешь.

Павлик поднимает руку, подставляя бок, ногу сует Кольке на колени.

— На! Не бойся, щекоти!

— Уйди ты со своими лапами,— сердито отталкивает Павликову ногу Колька.— И так руки онемели от твоих пяток, толстущий черт.

Павлик ложится головой на Гришкины колени:

— Пятки, брат, у меня настоящие. Мясные. Вроде как биточки. Вкусные, сочные.

Павлик опять зевает, закидывает за голову руки. Потягивается. Бело-розовый, красивый. Спокойный, как счастье.

Вверх глядит, на широкие листья кленов.

— Гришка, разве от щекотки умирают?

— Умирают.

— От щекотки или от страха?

— От разрыва сердца.

Молчит, чешет глаза кулаками.

— А... разве...

Спит почти:

— Раз... ве... под мышками... сердце?

— У кого где,— смеется Гришка,— у другого совсем нет. У тебя вот, например. Слышишь, Павлушка?

Но Павлик не слышит. Сладко спит. Слюна струйкою из румяного, полуоткрытого рта. Жемчужинами — зубы в алой оправе губ.

— Заснул,— говорит Гришка шепотом.

Долго смотрит, прищурясь. Потом — задумчиво:

— Красив, сволочь. Полюбуйтесь-ка, братцы.

Парни осторожно заглядывают.

— Что? А?— обводит Гришка близоруко.

— Будто шмара,— прыскает Баламут.

— Шикарный паренек,— говорит тихо Козел.

— Только толстый зачем. Во, окорока-то,— гладит Женя-Сахарный полные, обтянутые белыми брюками, ляжки Павлика:

— А здесь!..

Он щупает ступни, толстые в подъемах и пятках, коротколапые, без следа костей.

— Ишь, леший, что у копорки какой, у толстопятой, ноги-то. Отъелся у грека-то своего. Грек его любит.

— К окорокам-то евонным грек, поди, подъезжает,— смеется Баламут,— любят греки да армяшки толстых мальчишек.

— Тише вы!— машет на них Гришка.— Дайте парнишке покимарить. Он с Лизкой вчерась всю ночь проканителился.

— Он с ей второй год канителится, а ничего промеж их нету,— говорит Козел.

— А ты их проверял?

— Моя Стешка сказывала. Лизка с ей — начистоту. «Сколь, говорит, разов в Варшавской гостинице ночевали, и хоть бы поцеловал когда, не только что». Лизка

говорит: «Я, говорит, что на угольях, а он — харю к стене. Спать, говорит, мешаешь»».

— Молодец! Не курит, не пьет и баб не целует,— смеется Гришка,—«Спать мешаешь»! Козел, а? Как?

— «Спать мешаешь»,— усмехается Козел.— Лизка утром — на работу, а он еще дрефить остается в гостинице.

— Будите Павлушку! Опоздает к греку-то,— говорит Женя.

Павлика долго расталкивают. Наконец поднимается. Красный, как мак. Кулаками — глаза. Плечами поводит. Сон долит.

— Баламут говорит — грек к твоим окорокам подсыпается, Павлушка,— спрашивает Женя,— правда это?

— Какие окорока?— зевает паренек.

— Вот какие,— звонко шлепает его по заду Баламут.

— А я думал — телячьи,— просто говорит Павлик.

Все смеются.

— Тебе сколько лет, Павлик?— спрашивает Гришка.

— В Петров день будет семнадцать.

— В Петров? Значит, ты — Петруха? А я и не знал...

— День Петра и Павла, двадцать девятого июня, знаешь?

Павлик собирает судки и кричит, уходя:

— Вечером ждите с пирожками.

— Припрешь?— кричат вслед парни.

— Ага!— отвечает, не оборачиваясь.

— С чем пирожки-то?

— С луком, с перцем, с собачьим сердцем!— выкрикивает, точно продает, Павлик.

Против ограды, через улицу, останавливается у аптекарского магазина и, дождавшись какую-то старушонку, кричит ей неожиданно в самое ухо:

— Го-рячие пирожки-и!

Старушонка шарахается.

Павлик — в восторге. Напугал!

Хохочет звонко, на всю площадь, глядя на озлобленную, стучащую клюкой бабку.

Обессилел от смеха, крышку уронил с судка. Крышка — на панели. Павлик — у стены.

В белом костюме, в белом колпаке, розовощекий, светлозубый — веселый рекламный поварок.

Бодрым эхом — хохот парней у ограды.

Баламут утверждал, что Павлик ничего не понимает.

— С гулькин нос у него понятия нет.

Павлик действительно не понимал иногда такое, что понял бы ребенок.

Шутки, остроты, анекдоты принимал или за чистую монету, или как «заливание»— обман.

Но главное — не понимал страха и боли.

Бывали с ним случаи, удостоверяющие, что он не знал, что такое боль.

Например, из озорства ходил на Пряжку, на Рижский проспект, в Семеновский полк — лез прямо в зубы «неприятелю».

Придет к пряжинцам.

— Здорово, трепачи!

Те во все глаза:

— Павлушка? Покровский? Бей его!

И — понесут.

В участках всегда волынился. Или околоточного дежурного облает, в лицо плюнет.

Бьют нещадно, как людей нельзя бить — бьют.

Однажды пристав остановил его на улице. Утром, в воскресенье. К обедне звонят, а парень — на всю площадь: «Любила меня мать, обожала...»

Безобразие! Пристав его — за рукав:

— Чего горланишь, хулиган?

А с приставом — жена беременная.

Павлик ее — ногой в живот.

Чуть пристав его не застрелил на месте.

Что делали с ним в участке после — неизвестно, но предположить можно все, кроме хорошего.

Когда спрашивали товарищи:

— И понесли же тебя здорово?

Павлик:

— Не помню, здорово или нет. Известно, в Коломенской здорово несут. А положим, не знаю. Черт их знает!

— Как же не знаешь?— приставали товарищи.

— Да вот — не знаю. Чего пристали? Идите и спросите.

— Да ты без памяти был, что ли?

— Зачем без памяти? Я все время пристава крыл почем зря.

Парни удивленно переглядывались, но не смеялись.

Над геройством — какой смех?

Не герой разве человек, избиваемый не по-человечески и через день-два забывший, как били: больно или не больно?

Это не геройство даже, а выше.

Имени этому — нет.

Так и товарищи Павликовы сознавали.

И уважали за это молоденького, с Садовой, из греческой кухмистерской, поварка.

Перед необъятной волей его — преклонялись.

Да и воля ли это была?

Имени этому тоже нет.

Есть, но имя — тайное.

Сказочная какая-то красота, изумляющая, поражающая, в Павлике цветущим цвела садом.

Садом этим роскошным он ограждался от всего, что плохо.

И огражденный — не должен был знать страха, боли и, может быть, всего, что омрачает, старит, изнуряет, убивает человека. Поэтому, насильно приучаемый к водке, табаку — в рот, случалось, вино вливали и совали папиросы,— не привык ни пить, ни курить.

Потому, с девицами ночуя, спал крепко, к стене обратясь.

Огражденный.

И — счастливый, как никто, как само счастье.

И потому знавшие Павлика преклонялись перед ним.

И когда Гришка-Христос называл его красивым, то щеки ли одни розовые, или кукольные глаза имел в виду?

Не другую ли, тайную красоту чувствовал Гришка в хорошеньком поварке?

5

Гришка-Христос из всех покровских умнейший и начитаннейший.

— Гришка любому студенту очки вотрет!— говорили про атамана товарищи.— Он все книги перечитал, оттого и ослеп.

Гришка действительно знал и читал много, но понимал как-то все по-своему.

Однажды Васька-Пловец слышал, как Христос беседовал с приятелями о книгах, о писателях.

— Самый первосортный писатель — это, братцы, Пушкин. Здорово писал. Все про нашего брата, шпану. Есть у него рассказ в стихах про наших, покровских.

— Брось лепить горбатого, Гришка! — смеялись парни.

— Чтоб я был подлец, если вру. Про Покров, ей-ей! И ловко как! Там у него парнишка, вор-домушник, нанялся к купчихе в кухарки.

— Парнишка? В кухарки? Как же это?

— Чего ржете, дураки? Очень просто... Подбрился, парик купил, косы, накрасился. Платье бабское. Подложил, где надо, ваты: титьки, там, и все прочее, честь честью. А купчиха слеповатая, вроде меня. Приняла за девчонку.

— Ну? — настораживаются парни.

— Ну, а теперь он живет и закрутил любовь с дочкой купчихиной. Открылся: «Так, мол, и так, люблю тебя, потому и платье бабское надел». Дочка спервоначалу испугалась. Уговорил. Баки вколотил, что надо, а после и дочка в него втрескалась.

— Врешь?

— Будь я сволочь! Так у Пушкина и сказано. Эх, черт возьми, забыл, а ловко у него про любовь ихнюю стихами... Так вот, парнишка живет у купчихи. А борода выросла. Стал бриться, а купчиха и закатись в комнату.

— Ну, ну? — уже теряют терпение парни, а у Павлика и рот полуоткрыт, и щеки зарумянились.

— Теперь купчиха шухер подняла. А парень ее — раз! — бритвой. Всю «хазовку» обчистил. Брильянтов одних на три тыщи, денег — не помню сколько, да и был таков. Шикарно писал Пушкин!.. И парень был что надо. Тоже, как и мы, хулиганил, но, конечно, по-благородному, с револьвером. Его и убил черносотенец, офицер. Вроде как Вальку-Баяниста. Только Пушкина — за шмару.

О книгах, писателях, хотя по-своему, фантазируя и сочиняя, много говорил Гришка, и кое-чему научился у него Пловец.

И то, что упорно стал искать книги и, найдя, читал запоем, и то, что на драки не как на безобразия стал

смотреть, а как на необходимый каждому пройти путь, то, что сознательным хулиганом стал,— всем этим обязан был Гришке.

И сознавал, и ценил это, и благодарен был учителю и наставнику, площадному своему Христу.

За два-три года Васька весь курс жизни прошел. Все, что необходимо знать городскому парню.

Уличный курс. Улица учила. Кто же больше?

Одна она и мать, и наставник, и профессор.

Школа ее — живая. И наука — живая. И вся она, улица,— сама жизнь.

С детства на улице. Ею воспитанный, живущий ею, знающий ее, чувствующий, осязающий грудь ее суровую, но ласковую необутыми ногами (не ходящий никогда босым по земле человек — несчастен, земли не знает, любить землю не может так сильно, как тот, кто телом своим ее ощущал), школу улицы прошедший суровую, но не обманную, закаляющую тело и окрыляющую дух школу, Васька-Пловец с юности стал улицы гражданином.

Знал науку — закон ее, как прилежный ученик урок.

А наука — закон ее — искание путей к борьбе и сама борьба.

И еще тверже знал, что один — не боец, что партия нужна, артель.

И не только знал — знать-то не штука,— а бороться умел.

И опасности прямо смотрел в глаза, как при «сходке», стычке, на врага в глаза — непременно надо. Опускать головы, глаз прятать — нельзя.

Гришкина еще наука это.

Гришка многому научил. Он же пробудил потребность к знанию. Пушкиным натолкнул. С Пушкина Васька и начал, с «Домика в Коломне».

Многого не понял, многое показалось скучным, ненужным, но полюбил Пушкина и гордился им.

— Пушкин — голова. Что надо парень! Такие люди — на редкость.

Так говорил. И с гордостью — еще:

— Наш, покровский.

Верил, что покровский.

Раз «Домик в Коломне» описал — значит, покровский.

6

Много воды утекло в Екатериновке и Фонтанке, много сменилось парней.

Гришка в Обуховской кончил, от ран. Сакулинский атаман Соловей запятнал.

Павлик, заменивший Гришку, утонул во время волынки с пряжинцами, близ Турухтанского, Вольный тож, острова.

Много смен и перемен. Баламут в Балаклаву пешком ушел и не вернулся. Зачем ушел — ему только, Баламуту, известно. А почему не вернулся — неизвестно никому.

Женя-Сахарный «котовить» стал, на проституткины деньги жить, с Анюткою жил, со шмарою.

Идет, бывало, по улице, а мелочь, плашкетня — посадскими кругом воробьями — скачут: «Кис-кис! Котик! Кис-кис!»

Дразнят.

Бульонный тоже по примеру его хотел жизнь устроить — на бабий перейти доход. Да только ошибся. Под каблук бабе попал. Со вдовой, ларечницей бывшей, торговкой, сошелся. А она — жох, торговать его заставила, с лотком: дули моченые, квас грушевый. И каждая копейка — на счету. Работником сделала. В черном держала теле, била — чуть что. Баба здоровая, деревенская. Бульонный против нее — прыщик.

Иной раз не выдержит Колька, сбежит. Неделями ночует в чайных, на «гопе», в ночлежке то есть. Ищет его Авдотья — жена. Разузнает. Разыщет.

Крик поднимет, на всю площадь:

— Изверг! Пьяница! Мучитель!

Да со щеки на щеку при всем-то народе!

Потом — за воротник и, как мальчишку, тащит домой. Очнуться не дает.

Плохое дело Бульонного!

Много перемен. Смен много.

После Павлика Самсончик атаманил. Самый молодой из атаманов, семнадцати не было — не запомнят таких. Но атаман приличный.

Потом Самсончик на добровольном транспортном судне в плавание кругосветное уехал.

Васька стал верховодить.

Тогда же, в первые месяцы атаманства, закрутил Пловец любовь с Нюткой-Немкою из чулочной, с Английского.

Нютка — шикарная, пышная, стройная; волосы только светлые очень не особенно нравились Ваське. «Будто немка»— так говорил о волосах. И лицом Нютка на немку похожа: полная, румяная, глаза — голубенькими стеклышками.

Немка — девица «не выкати шара»— артельная, не ломака.

Крепко Васька ее любил.

7

В германскую войну много ушло и от Покрова.

И Васька угадал, хотя ненадолго.

Потом в запасном полку служил. В Ораниенбауме.

В революцию, в первую, в пулеметном был, в Ораниенбауме тоже. Оттуда и пришли в Питер, но здесь уже все порешено было. Фараоны сняты были; Каблуков, околоточный, из серебряковского дома, на канале выброшенный, дней пять не убирался, после кто-то на санках, через спуск, в Екатериновку, в полынью, рыбам на закуску.

Васька потом на Балтийском работал, оттуда в Красную гвардию угадал, а потом и в армию.

8

Тяжелые дни... тревожные...

Словно земля из-под ног уплывала.

В воздухе будто бы повисал человек.

Дни испытаний, черных дум и тревожных волнений — тяжелые дни.

Город, завоеванный теми, кто строил, кто жизнь ему дал,— этот Новый город ждал нестерпимо, тревожно, тяжко, что придут, войдут в него те, что прав на него не имеют.

И они шли...

Неведомо откуда взявшиеся, близко уже подходили.

Тяжелые дни. Тревожные.

Земля из-под ног уплывала. Земля траншеями прорезалась.

Вышки, колокольни укреплялись мешками с песком.

Каждый дом — крепость.

Каждое окно — бойница.

Ни одной пяди — т е м!

Ни одного камня мостовой — т е м!

О, если бы камень каждый динамитным стал снарядом!

О, если бы каналы, реки города все — пламенеющей нефтью!

О, если бы цок конского копыта, каждый звук — громкогремящим молотом бил в мозг врага!

О, если бы огоньки окон, свечек, спичек — разящей молнией!..

Так пел бы Новый город молитву боевую, так пел бы, если б имел голос, сердце и мозг если б имел!

Но разве не имел?

Те, что выросли в нем, — не часть его разве?

Не нотки голоса его, не капли крови, не тонкое волокно мышц его сердца?

А все они — сыны. Разве не он сам отец?

Он — каменный.

Но они не каменные разве?

Твердостью духа, закалкою, силой мышц творящих, беспредельностью творящей мысли — не каменные?..

9

В тяжелые тревожные дни, когда сынам города — бойцам грозило лихо, гибель, смерть, когда враг двигался черной тучей, стремясь затмить возгоревшее ярко солнце, в те дни бойцы — а сыны, строители города, все бойцы — почувствовали, сознали, что должны победить или пасть.

Слава пережившим эти дни, не хоронившимся в углах, а идущим на поля загородные для встречи врага!

Слава ждущим его в городе, пядь каждую вооружа земли!

Счастливы жившие в эти дни!

Живший в эти дни, умирая, не скажет, что даром жил!

Жил ли кто даром, живет ли кто напрасно сейчас?

Не было и нет таких!

А если были, есть — умолчим о них, ибо они — мертвы.

Живя — мертвы.

Умолчим, ибо сказано о них все!

10

В те дни на питерском фронте встретился Васька со старым товарищем, Самсончиком-матросом.

В пехотный отряд сформированные моряки держали связь с полком, в котором находился Васька.

Самсончик — такой же цыгански черный, чернее еще, чем был, такой же горячий, вспененными губами произносящий горячие, часто не договоренные от поспешности слова.

В кожаной нараспашку куртке, смуглой грудью обнаженно встречающий октябрьский ветер и непогоду, грудь эту также обнаженно нес навстречу губящему ветру-непогоде вражьих пуль.

Не ложился, перебежек не делал при перестрелке, а силою молодого, воспламененного жаждой битвы сердца, жаждою, в крик переходящей, в звонкое, дерзкое «Даешь!»,— шел с этим вскриком, лозунгом и молитвою бойца и пал, четырьмя сраженный, четырьмя разрывными в грудь.

Во время короткого затишья, раненый, перевязанный, пришел в морской отряд Васька проститься с убитым товарищем.

Стояли хмурые над лежащим моряком товарищи-моряки.

Ни слова. И кругом тишина закатного осеннего часа. Изредка только вдалеке щелкнет одинокий выстрел.

Теплая зеленая земля, питерская, болотистая. И на ней, на земле на питерской,— питерец извечный, в жертву Питера, города своего, себя принесший,— на питерской, слезами и кровью двести с лишним лет поливаемой земле.

Не нужно ему отпеваний и ладана церковного, пусть это тем, при жизни мертвым.

Черный весь: волосами, лицом смуглым, на котором черные не закрылись глаза, черный одеждою кожаной, клешем, широко и ласково приникшим к ногам, весь словно отлитый из вороненого металла, как воро-

неным стволом блещущая, застывшая в руках винтовка и стволы торчащего из-за пояса браунинга.

Весь — одно; тело и металл, кость, мышцы, кровь и оружие, жизнь и борьба — одно.

Есть ли ярче, понятнее символ?

И не смел пожалеть тоскливо и мягко, да и не умел так жалеть Васька.

И сказал только:

— Парень был что надо! Выросли вместе. Плашкетами еще познакомились.

Обступили моряки. Спрашивал кто-то:

— Товарищ твой? Да? Может, знаешь батьку с маткой? Адрес знаешь?

Но не знал этого друг детства, да и знал ли кто?

— Не знаю, где жил. Знаю, что в Питере.

— Конечно, не в Москве,— засмеялся кто-то, но осекся.

Не потому ли осекся, устыдился, что понял, что не нужно знать родных убитого, ибо родные его, батька с маткой,— все батьки и матки, братья и сестры, товарищи-питерцы — в с е?

И адрес его — Питер.

Чего же еще?

11

Славная смерть товарища и встреча в городке под Питером с русским революционным вождем заставили Ваську поверить в победу.

Голос вождя из туго обтянутой кожаным груди, кованый голос, острый, твердый — металл, оружие — бил и резал воздух, бил и резал, и гнал страх, малодушие, недовольство, смятение.

И сюда же, в городок, летели вражьи свистящие, рвущиеся со злобно-зловещим треском в палисадниках и на мостовой снаряды, горохом прыгала по крышам шрапнель.

А он, черный металлически и говорящий металлически, твердо стоящий и твердо говорящий, не слышал, казалось, что смерть бешеную кружила карусель. И страх, малодушие и недовольство, а это же — смерть, бил и бил кованым острым металлом — оружием — голосом.

И когда уехал из городка так же быстро, как приехал, революционный вождь, не стало уже страха, ма-

лодушия, недовольства и смятения. И на другой день наступавший все время враг отступил, и отступал уже с каждым боем, с каждым часом, и земля, не могущая ему принадлежать по праву жизни и по праву права, но разбойно на время попранная кровавой его стопой, земля оживала, земля ликовала, и город, разорвавший охвативщее было змеей кольцо,— стоял твердо и незыблемо, кровью бойцов-строителей вспоенный. И, в знак возвеличения этой крови, кроваво-красными расцвеченный знаменами.

12

Василий Соболев года полтора как женат. Живет не у Покрова, а в улице, прилегающей к Невскому, но улице такой же отчаянной, грязно-разбитной, как родные улицы Коломны.

Много пережил Васька-Пловец передряг: войны германскую и гражданскую, и вот, женатый уже, а все такой же, как и парнишкою был, только внешне изменился, да и то больше костюмом: лакироши и шаровары, отошедшие в минувшее еще до революции, сменились клешем семидесятидвухсантиметровым, рубаха с кистями — беловоротниковым апашем. Чуб не зачесом, а приспущенная прядь над смелой тонкой бровью — темно-русым уголком.

И лицом почти юноша, хотя около тридцати.

Улица здоровьем неувядаемым наградила.

Хранила молодость, как сокровище драгоценное, сильная хранила воля.

Боец опускаться не должен.

А человек — боец, всю жизнь — солдат.

Знал это, чувствовал вернее, Соболев.

Жалел искренно, что нет фронтов.

Тогда исполнил бы все, смутно еще в детстве познанное, когда с замиранием сердца следил за борьбой атаманов и бойцов, горя от нетерпения, места не находя, и, как молодой конь удила, грыз ворот рубахи.

И жалел искренно подчас, что не постигла его участь Самсончика, так шикарно кончившего, Питер защищая,— четырьмя в грудь из пулемета вражьего.

Кровь волною приливала, губы кусал в такие минуты, как когда-то ворот рубахи.

Зная, что драки уличные не в моде, что бессмысленны, ни к чему они там, где все — товарищи (тех, нетоварищей, в счет не ставил, те —«мертвые души», по Гоголю прочитанному, называл),— зная это, драки любил, но безобидные, мальчишеские стычки.

Не отрываясь, подолгу смотрел на дерущихся. И нравились новые мальчуганы — очень смелые и бойкие, куда смелее и бойчее прежних.

Иногда думал: «Вот бы из таких — шатию».

Но тотчас же одергивал себя: «Ишь, черт Веревкин, что выдумал! Хулиганничать, брат,— не дело. Не такое нынче время».

Васька женат на Марусе Хавалкиной, с бывшего Лаферма. Хорошенькая. Глаза — что у ребенка или у телки годовалой.

Кроткая, хорошая. Только невеселая какая-то всегда.

Васька ее не обижает.

Таких — нельзя, неловко.

Первую свою любовь, Нютку-Немку, потерял, пока на германском фронте вшей кормил,— как в воду канула.

С Марусей живет ладно, скучновато только.

Не для такой он жизни — сам понимает.

Сидит, сидит иной раз дома, в праздник, и самому странно и неловко: он, Васька, покровский боец, в рубашке, подтяжки спущены, в туфлях, покуривает,— будто какой чиновник банковский, буржуй бурелый.

Непонятно и неловко.

И все странно: комната вот — мебель, комод, там этажерка.

Смех!

А главное — жена седьмой месяц ходит. Значит — ребенок, соски, пеленки...

Отец семейства — Васька-Пловец.

— Тьфу!

Плюется досадливо.

Жена — глаза ребячьи, кроткие, спокойные — телкины — поднимает.

— Что с тобой, Вася?

— Мыла нажрался, тошнит,— Васька сквозь зубы.

— Мыла? Откуда мыло?— удивляется жена.

— Мало ли откуда!

Губы кусает. Не в духе Васька.

13

Несколько дней, как с работы, с электрической станции, приходит — гуляет по вечерам по улицам.

Неспокойно что-то, не по себе.

Раньше улицы бромом действовали, а эти дни никак не успокоиться.

Дома же — совсем невозможно.

Дышать нечем.

Жена последний месяц ходит.

Скоро плач детский, пеленки, молоко — шаги предпоследние на Васькином, на боецком пути.

Да и боецкий ли путь?

На четвертый день своего вечернего блуждания по улицам встретил Нютку-Немку.

Спустилась. В барахле. Нос сизый. Голос — петлей ржавой.

Опытным глазом сразу «свешал».

— Проститутка последней марки — факт!

«Эх! Этого еще недоставало! Зачем встретилась? Старые раны бередит эта еще... Стерва, не могла соблюсти себя. Жили бы и сейчас честь честью...»— думает Пловец, губы кусая, быстро по улицам идя, парусся клешем семидесятидвухсантиметровым. Сплевывает направо и налево пену-слюну, как загнанный в беге конь.

И торопится, точно по делу.

А народу на осенних вечерних улицах много. Толпами густыми, парами больше, не торопясь, как в танце каком-то проплывают, в вальсе волнующем и красивом.

Вальс! Вспоминается «Молдаванский вальс».

Он — этот вальс — похоронная, отходная давнишнего атамана Вальки-Баяниста, песня-молитва, он — вальс этот — жизнь его, Вальки, путь боецкий,— Ваську толкнул из городулинской «нарочной» партии в «заправдышную», покровскую.

Зачем он, Пловец, не погиб такой же славной смертью, как Валька или Самсончик?

До конца не прошел заветного пути зачем?

Те оба, Баянист и Самсончик, бойцами и умерли, путь свой прошли весь, от первого до последнего шага.

До ночи бродит по улицам шумным, блещущим окнами домов и ослепительными подъездами электролото и ресторанов.

Из них, из шумных этих улиц, сворачивает в глухие темные, задумавшиеся, остановившие бег свой улицы, ожидающие точно чего-то.

Остановившиеся улицы, они — невыносимы. На них бодрость теряют ноги, неуверенно звучат шаги.

Жутки остановившиеся в беге своем, пустынные, без трамваев, людей и лошадей улицы.

Словно конечного пути, конца пути словно заворот.

Уходит из них Васька.

Их — тихих, безголосых, безглазых — как тлению подвергшихся мертвецов, не любит Васька.

Нет! Любит! Нельзя не любить улиц. Но любит тягостно, тоскливо, как мертвецов близких.

Мертвые улицы!

Опять — на проспект, блещущеглазый, с трамвайными, автомобильными восторженно-гулкими напеваниями, с трамвайными мигающими, как обещающие глаза женщин, огнями, на проспект широкий, открытый — иди все!— всех пропустит сквозь строй плечом к плечу стоящих гигантов — каменных солдат.

На проспекте всегда жизнь, лишь замедляется к ночи стремительный бег его.

У светлого угла, схватившись в крепких порывистых хватках, кричат звонко и смело, словно днем в саду каком, мальчишки-папиросники.

Падают на панель, не ушибаясь, не раздирая грубой кожи босых ног, будто не камень земля, а мурава шелковая.

Вот они, будущие бойцы, завоеватели мира!

Расцепились, воинственно смотрят друг на друга, готовы снова в бой.

Остановился Васька, улыбнулся приветливо, но согнал улыбку и грубовато-приятельски:

— А ну-ка, плашкетня, кто кого? Полста лимонов тому, кто накепает.

Подбежали оба, дышат горячо, горящими глазами — в тянущие из бумажника пальцы кредитку.

— Даешь!— оба пропели.

И быстро:

— Не обманешь, товарищ?

— Зачем? Вот — кладу.

Положил на ступеньку подъезда деньги.

Встали друг против друга.

Один — татарчонок, судя по говору и широкоскулому смуглому лицу, крутогрудый и мясистый — предлагает бороться:

— Пу-французску давай.

Другой — стройный и, видимо, ловкий, но менее сильный,— не соглашается.

Васька поддерживает его:

— Чего бороться? Стыкнитесь. Самое разлюбезное дело.

Сошлись. Дерутся долго, с переменным счастьем. Васька стоит, расставив ноги в колоколах клеша, откинув полы пиджака, кусает губы, как в детстве — ворот рубахи. Чешутся руки, направить хочется неправильные удары, усилить недостаточно сильные.

Ловкий, тонконогий хлещется хорошо, но татарчонок значительно сильнее.

Когда, забывая правило, схватываются руками, сила на его стороне. Сгибает тонкого противника, как ветер вербу.

Тогда Васька кричит недовольно:

— Не хватайсь! Вы! Маралы! На кулак — так на кулак! Ты, мордастый, не лапай.

Вспоминает, глядя на толстого татарчонка, городулинского Афоньку и добавляет:

— Говядина!

Наконец, решает кулачный спор:

— Ну, будет. Оба прилично хлещетесь, плашкеты. Полста прибавлю. Разделите поровну... Шикарно хлещетесь! Только ты, Ахметка, все руками лапаешь. В стычке так нельзя — это не борьба.

— Я на борьбу его ломаю, два счета ломаю,— говорит татарчонок,— во!

Он хватает тонкого в охапку:

— Во! Скольки фунт пойдет?

— Брось!— говорит Васька.— Получайте деньги.

— Говядина!— еще раз говорит...

Куда идти? На Лиговку, где, возможно, Немка опять?

Посмотреть на нее, рану разбередить?

14

Гулко звучат, звонко по тротуару ночному шаги. Кажется, говорят они, шаги.

Четкие, упорные.

Парусит, по ногам хлещет семидесятидвухсантиметровый клеш.

Как у Самсончика, вспоминается,— тогда, в бою...

Самсончик!

Черный весь, металлический, твердо-черный, на питерской пригородной земле. Лежащий, но как памятник — величавый, плоско лежащий, даже особенно плоско, как лежат мертвецы, но в то же время вознесенный монументом.

А вот и здесь памятник.

За оградою ночного сада Екатерины-императрицы памятник.

У подножья — любовники.

— Курва,— плюется Васька и, пройдя несколько шагов, сталкивается с женщиной.

Раскрашенное лицо. Глаза выжидающие из-под низко сидящей шляпы.

Улыбается слишком яркими, клоунскими губами.

«Такая же, как та»,— думает о женщине и о памятнике Васька.

Много *таких* в поздний час.

Ночью много.

А та, коронованная проститутка, скипетром как бы благословляет их.

Выпустила на улицу.

Благословила:

— Идите!

И вот пошли, ходят, ищут самцов, не знающие других исканий.

Ищут, ходят здесь, по проспекту, не день, не два — годы, десятки.

Их этот путь.

Свой путь они проходят.

Слепые на слепом пути.

Ночные — на ночном.

Быстрее идет Васька.

Скоро Лиговка. Немка, наверное, там.

И как бы испугавшись возможной с нею встречи, сворачивает в улицу боковую.

И опять — памятник!

«А,— вспоминает,— Пушкин! Александр Сергеевич!..»

Маленький, чахлый вокруг сквер. Робко и кротко, как листья металлических кладбищенских венков, чахлых деревцев сухая листва осенняя шелестит, позвякивает.

Грустно, как над могилою, склонив непокрытую голову, черный в ночной тьме улицы, узкой — коридором — улицы, черный, недвижный, камнем вознесенный бронзовый человек.

Пушкин!

Вот кого встретил, дошел до кого, в тоске бродящий Васька, путь свой затерянный ищущий,— вот до кого дошел.

До старого, в веках живущего бойца. И не может отойти, словно уйдя — потеряет что-то ценное, тайны какой-то не узнает.

Вспоминает, что стоял уже он, Васька, давно когда-то перед памятником и говорил что-то.

Мучительно, напряженно силится вспомнить — когда же это было!

И вдруг: «Ах, это у Пушкина, в истории одной есть, как с памятником чудик какой-то разговаривает, сумасшедший»...

И почему-то вслед за этой мыслью просветленному взору Васьки открылось, что весь путь его сегодняшний и раньше, с малых лет, был путем того сумасшедшего пушкинского «чудика», с памятником разговаривавшего, от памятника в страхе убегавшего,— ненужный, тяжелый и гибельный путь.

Главное же, не боецкий вовсе!

Задрожал даже от мысли такой, схватился за холодное, сырое железо ограды. «Как не боецкий? А Самсончика и Вальки разве не боецкие пути?»

И вдруг ясно до нестерпимости стало, что Самсончика и Вальки пути только и начались тогда, когда они пали.

А Христос-Гришка совсем не проходил пути.

Всю жизнь они готовились к нему и сделали наконец по одному шагу. Гришка же не сделал и шага даже.

Валькин шаг — набег на квартиру Дерзина и конец его там.

И потому похороны его так шикарны были, что для многих дорог стал, не для товарищей по дракам, а бердовцам, рабочим,— дорог.

И венки ихние, бердовские, были, и гроб на руках бердовцы несли.

И дальше нестерпимо яркие мысли: он, Васька, потому фронта жаждал и терялся, когда фронты закрылись, потому это, что хотел шаг хотя один сделать — первый шаг на боецком пути.

На пути, начатом бесчисленными рабочими питерскими и других городов. Но ведь и он, рабочий, разве не может он пойти по этому пути, указанному многими провидящими?

И этот вот, стоящий, указывал — бронзовый боец.

15

То, чего снизу не видно, видится стоящему на высоте.

Так увидел в миг короткий, с горы точно, с башни-каланчи какой-то, увидел Пловец раскинувшуюся под ногами свою жизнь.

Всю, с детских городулинских лет до последнего мига, не словами припомнил, не воспоминаниями, а так сразу у з н а л о с ь п р о с т о, с о з н а л о с ь с а м и м с о б о й, что не было пройдено им ничего, не было шага на пути своем, на Васькином, на Пловцовом пути, на боецком.

И от усталости ли, пришедшей нежданно, от тоски ли, охватившей внезапно, опустился, сел, полулег на холодный сыроватый тротуар.

Почувствовать хотел успокоение от земли, от б у л ы ж и н хотел бодрости набраться, ласку панельную принять.

Было так всегда, с детства, с городулинских еще лет.

Отцом ли обиженный, побитый товарищами ли, или так, неуверенность, тоска, что ли, когда овладевала, довольно было прилечь на землю, на камень дневной ли, горячий от солнца, или холодно-скользкий, вечерний — все равно, тишина какая-то, бодрость, вера в тело входили.

И снова живи.

Снова — бейся, боец, Пловец-Васька.

На тяжелое на что иди — земля родная, мать каменная, питерская булыжная земля — в тяжести поможет, не оттолкнет от себя — поверь в нее только.

Как тогда, попранная было врагами, идущими неведомо откуда,— попранная — снова ожила, воскресла, лишь только прислушались к ней, поверили когда в нее, с в о е й когда ее признали бойцы,— снова покой и мир дала, кровь пролитую приняла и сохранила. И возвеличила.

И так полулежал на холодной сыроватой ночной панели и словно ждал, что призовет она, земля-мать, путь укажет, какой шаг сделать и когда.

И вдруг услышал.

Невдалеке, но не в улице этой, а на проспекте ли том широком, неясное, но тревожное, шумливое что-то.

Звали точно, кричали, но без слов.

— У-у-у,— гулом неслось.

Вскочил, на шум этот кинуться хочет Пловец и не может понять — где.

Откуда — шум?

И — новый звук.

Заскакало, запрыгало звонкое что-то.

«Свисток,— понял Пловец,— милиционер свистит».

И точно обрадовался, поверил точно, что начнется сейчас долгожданное.

У земли родной просимое — дано.

А свисток свистал тревожнее, ближе.

И новый еще звук.

Трещащим, каменным словно, мячиком, не каменным даже, а более твердым,— ба-бах!

«Стреляют!»— мелькнуло быстро.

И не зная еще где, бежал, чувствовал, что туда, куда надо, прибежит — не ошибется.

Хлопал клешем, фуражку примял, как давно приходилось когда-то.

И быстро из улицы узкой, коридорной — на проспект. И сразу отовсюду нахлынули звуки, точно притаились и ждали за углом.

Звонко скачущий свист и:

— А-а, держи-и-и-и,— многогрудое — волнами в моряну — заколыхалось.

И покрывавшее сразу все — каменный мяч — ба-бах!

Видел: по мостовой бежит, углами режет мостовую, то вправо, то влево.

Приостановился. Полусогнутую — вытянул руку бегущий...

И — невидимый — каменно опять бабахнул мяч.

Не мыслями думается в такие моменты. Как думается, как делается — трудно определить.

Помнит Васька, что при виде бегущего, стреляющего бандита — радость почувствовал жуткую какую-то.

Не такая ли радость была хлещущая волнами в Вальке, когда ураганом влетел во вражьи покои, в черносотенный, в есаулов дом?

Не такая ли радость в Самсончике, когда не припадал к земле при перестрелке, а грудью обнаженной четыре принял разрывных?

Вылетел на середину улицы прямо наперерез, вскрикнул даже, кажется, этому бегущему с револьвером в руках или не вскрикнул, а показалось так, или сам был в с к р и к о м, сам, ураганом вылетевший, как вскрик. Комком звериным — прыжок.

Ахнуло, полыхнуло огнем в самое лицо. Острожгучая боль под глаз.

Но в короткий, страшно оборвавшийся миг, когда показалось, что громадные всколыхнулись и падают дома,— в миг этот видел: отлетел, по мостовой лицом проехал загремевший чем-то железным ли, стальным — человек.

1923 г. Весна

ПРАЗДНИК

1

Ленька Драковников с матерью в конце Моловской живут.

За домом — поле, ветка железнодорожная, вдали — лес. Весною лес — лиловый, летом — темно-синий, осенью — черный и еще чернее, углем — зимою.

Ленька — с матерью, родных — никого. Он на заводе, она поденно стирает, полы моет.

Отца убили, когда с петицией ходили к царю.

Прохор, котельщик, и посейчас ходит приплясывает — коленную жилу перебила пуля. А Крутикова, кузнеца Олимпиада, дочь, с кавалером, Ганей Метельниковым, убиты оба. Как шли под руку, так и убиты.

И в мертвецкой, в Ушаковской больнице, так и лежали рядом, застыли, долго не разъединить было.

Так, рядом: кавалер с барышней, жених с невестою. Сам кузнец об этом рассказывает, когда пьяный.

Страшен рассказ пьяного кузнеца.

Не дыша слушают. Молчат. Вопросов — никаких. Да и какие же вопросы?

Когда операцию тяжелую делают, говорят ли с оперируемым?

Швы на сердце класть — и вдруг: «Как да что?» Разве можно это?

Страшен рассказ Крутикова о дочери с женихом. Просто. Точно. Одинаково всегда. Без ропота, ругани, плача. Только глаза — пламень.

И тяжко сжатый, молотом на коленке, кулак.

У Леньки Драковникова рана вроде кузнецовой.

Отца убитого помнит. И убийц знает — царь и опричники.

Когда кто незнакомый спросит — отвечает:

— Царь убил.

А лицо не дрогнет. А глаза темно-коричневые — черным огнем.

2

Ленька, мальчуганом еще, с Мишей Трояновым познакомился.

Миша из «чистых», банковского служащего сын.

Ленька босиком, как и полагается в апреле, а Миша в ботиночках со светлыми галошами, в форменной шинели — в реальном учился.

Познакомились в драке.

На ветке железнодорожной Ленька «посадских» воробьев из рогатки, а Миша (в тот день он реальное прогуливал) — чашечки на телефонных столбах расстреливал.

Леньке это помеха.

Воробьев спугивал, да и чашечки разбивать — зря.

Ленька пригрозил. Миша носом не повел. Ну, стычка.

Ленька хотя «накепал» Мише, но и тот прилично хлестался.

Ничего что реалист!

И не плакал, а ведь нос ему Ленька расквасил и фонарь подставил — мог бы заплакать вполне.

А он — кровь высморкал на шпалы, ругнулся, правда, бледновато: «мать» не там, где надо, вставил, а потом ремень снял и медную пряжку к синяку.

Бывало, значит!

Все это Ленька учел и одобрил и в виде похвалы:

— Ты шикарно хлещешься.

А Миша спокойно:

— Дашь рогаточки в воробьев пострелять, а?

Так и познакомились. Потом подружились.

Миша оказался хорошим товарищем. На реалиста только фуражкой похож, да и то стал значок снимать, гуляя с Ленькой. Канты только желтые — ну да канты что: нищие и те очень даже часто в генеральских с красными околышами фуражках щеголяют. Ботинки у Леньки на квартире оставлял, босиком бегал из солидарности.

Артельный. В любую игру — не последний, в драке не спасует.

Бывало, шкетовье налетит вороньем — не отступит. Бьется, пока руки не опустятся либо с ног собьют.

Но пощады не запросит — парень что надо.

Только по фуражке — реалист, а так — нормальный парень. И видом — хорош. Волосы — на козырек, походка — вразвалку и по матушке крошит. (Ленька его обтесал.)

Многому Ленька его научил: курить махру, сплевывать, «цыкать» сквозь зубы, свистать тремя способами через пальцы, засунутые в рот: «вилкою», «лопаточкой» и «колечком».

Особенно «колечко» Мише удавалось — ни дать ни взять фараонов свист, трелью.

А в юных годах за девочками приударяли.

У Леньки Паша была из трактира «Стоп-сигнал» — услужающая барышня, лет семнадцати, что бочонок — кругленькая, подстановочки — тумбочками.

Крепенькая девочка.

У Миши — Тоня, голубоглазая, нежненькая, портниха.

На католическом кладбище, в Тентелевке, гуляли в летние белые ночи.

Ленька тогда на подручного слесаря уже пробу сдал, а Миша из пятого в шестой перешел.

3

Долго не приходил Миша к Леньке.

Вдруг, часу в двенадцатом ночи, пришел.

Весною было.

Ленька удивился.

— Ты чего этакую рань приперся?

Шутит.

А тот — серьезно:

— Пойдем. Дело есть.

Покосился на спящую Ленькину мать.

— Куда пойдем? Я уже разулся. Спать хочу.

— Ну, черт с тобой! Дрыхни.

Фуражку надел, руку сунул:

— Прощай!

— Да ты чего пузыришься? Говори, в чем дело, матка спит, говори,— задержал Мишину руку Ленька.

— Нельзя здесь,— твердо ответил Миша.

— Ну, погоди, оденусь.

Вышли во двор.

— Пойдем на ветку,— предложил Миша.

Пролезли через выломанный забор заднего двора. Перепрыгнули через канаву.

Была тихая мартовская ночь. Звездная. Без морозца. Снег, уцелевший местами, не хрустел, а мягко поддавался ногам. Насыпь сухая была.

Сели на шпалах, под откос ноги свесили.

Миша опять закурил. И Ленька.

Помолчали.

— Хочешь в революционеры записаться?— вдруг спросил Миша тихо, словно боясь, что кто-нибудь услышит.

Ленька вздрогнул.

Миша стал рассказывать.

Вышло так: в Петербурге существует боевая революционная организация для свержения царского строя путем террористических актов, вооруженного восстания, агитации среди рабочих и солдат. Миша — член этой организации, вступил недавно.

Говорил Миша быстро, без запинки, как по книге или прокламацию читая.

Говорил, не спрашивал Леньку. И тот молчал.

Радостно и жутко было Леньке.

И познналось, определилось это чувство почему-то словом: «праздник».

4

Кто-то выдал Троянова и Драковникова и еще двух, но выдал неумело. Никаких улик. Видных членов организации предательство не коснулось.

«Мелко плавал, спина наружу!» — подумал Ленька о провокаторе, когда его допрашивал в охранке жандармский ротмистр.

Показания арестованных сводились к одному:

«Ни к какой революционной организации и партии не принадлежал и не принадлежу».

А Ленька, чтобы ротмистра позлить, приписал еще: «и принадлежать не буду...»

Эти слова жандарм, ругаясь, похерил.

Охранка бесилась от наглого упорства допрашиваемых. Знала отлично, что есть что-нибудь, иначе не стал бы провокатор доносить, но все четверо, как один:

«Знать не знаю и ведать не ведаю».

Молодо, глупо действительно, но дело на точке замерзания.

Даже специальные способы дознания не помогли.

Да и где помочь? Крайних мер принимать нельзя: битье, измор — от всего этого огласка может получиться.

Наконец особое совещание охранки предложило полковнику Ермолику «изыскать средство для раскрытия истины».

Средство изыскано: человеку не дают спать!

Сутки, двое, трое, четверо!

Сколько выдержит.

Пока не свалится. Пока не разбудят удары, встряхивания, холодная вода, уколы раскаленными иголками в позвоночник, выстрелы над ухом, — когда все эти возбуждающие средства бессильными станут, тогда, конечно, пусть спит, ничего не поделаешь.

Но вернее — раньше сдастся. «Раскроет истину».

Сразу обоих, тех, что помоложе: Троянова и Драковникова начали пытать.

В разных комнатах.

Два шпика — к одному, два — к другому.

Дело несложное. И приспособлений почти никаких. Иголки только, ну да они на седьмые-восьмые сутки потребуются, не раньше.

5

Сначала Мише интересно было.

Закроет нарочно глаза, а охранники оба сразу:

— Нельзя спать!

Или:

— Не приказано спать!

Засмеется и смотрит на них: «Экие, думает, дураки, серьезно и глупость делают».

Сменялись через шесть часов. А он без смены.

Сутки проборолся со сном. Голова отяжелела, но бодрость в теле не упала.

Кормили хорошо: котлетки, молоко, белый хлеб.

На вторые или третьи (хорошо не помнил) сутки беспокойно стало.

Так-таки вот беспокойно. Будто ждет чего-то с нетерпением, каждая минута дорога — а вот жди.

Скучно ждать, невыносимо.

«Чего ждать, чего я жду?»— спрашивал себя.

И вдруг — понял.

Ждет, когда можно спать лечь, заснуть когда можно, ждет.

Проверил. Верно. А проверил так: глаза закрыл и само почувствовалось: «Дождался».

Именно — почувствовалось.

Как очнувшийся от обморока чувствует: «Жив».

Задрожал даже весь. От радости! Нет!

От счастья! Первый раз почувствовал: счастлив.

В застенке, в пытках — счастье, от самых пыток — счастье.

Но миг только.

Вдруг увидел: в воду упал. С барки какой-то.

Вскрикнул. Глаза открыл.

Неприятная в теле дрожь. Мокрый весь.

А рядом — не сидят уже, а стоят, и он — стоит, рядом стоят шпики.

На полу — ведро.

Догадывается: «Водой облили».

Холодная, неприятная дрожь. Обиды — нет. Усталость — только.

А они, шпики,— не смеются.

Не смешно им и не стыдно, что водой человека окатили. И не злятся. Спокойны.

Один даже говорит:

— Переодеться вам придется. А то мокрые совсем.

Так и сказал: «Мокрые совсем».

В другой смене пожилой охранник, в форме околоточного, пожалел даже:

— Напрасно, молодой человек. Сказали бы, что знаете. Себе только вред и мучение.

— Я ничего не знаю.

— Наверное, знаете,— вздохнул околоточный.— Зря полковник не будет.

Молчал Миша. И шпики молчали.

И опять стало казаться, что «ждут» чего-то и они, эти, что не дают ему «дождаться», тоже — ждут. И все — ждало.

Они, трое: Миша и два охранника, и комната с забеленными мелом окнами, за которыми, за мелом, тени решеток, а вечером — окна как окна — белые только, стол некрашеный, длинный, вроде гладильного, диван кожаный, табуретов пара — вся эта странная комната, со странной сборной мебелью, неподвижным унылым светом угольной лампочки освещенная,— все ждет.

И люди странные, и комната странная — все.

И ждать — мучительно. Ждать — терпения нет.

Чувствовал и Миша, что миг еще, минута — нет! Секунда — нет! Терция — нет! Миг — не укладывающийся в мерах времени — сейчас вот-вот — лопнет!

— Скоро ли?— не говорит, а стонет, не жалобно, а воя.

И глазами — то на одного, то на другого.

И, должно быть, глаза не такие, как надо,— оба вскакивают и в упор на него.

А он тянет всем:

— Скоре-е-е... Не могу-у-у... больше-е-е...

И внезапно, отчаянно, обрывая:

— У-у-бейте!

И опять:

— У-у-у...

Словно занося тяжелый топор и опуская сильно: бейте!

И так много раз подряд.

Шпики суетятся. Один бежит в дверь. Другой подает воду.

А через несколько времени гремит замок — висячий на дверях замок — и входит ротмистр.

В пушистые, в бакенбарды переходящие усы говорит:

— Пожалуйте на допрос!

Сам Миша не идет, ведут — спит.

Без снов, глубоко спит, как в обмороке.

Острая, жгучая боль в спине. Кричит. Глаза открывает. Мягкий, бело-голубой свет.

Стол большой перед глазами, и нестерпимо блещет белый лист бумаги на нем.

И кто это напротив? Пушистые русые усы! Кто это?

«А,— вспоминает,— ротмистр!»

— Хотите спать?— мягко, точно гладит, ротмистр.

Или это слово «спать»— гладкое такое, как бархат, ласковое?

Улыбается Миша.

Счастлив от слова одного, от обыкновенного слова: «спать».

Говорит нежно, радостно, неизъяснимо:

— Спать... спать... спать...

Сладко делается даже от этого слова, рот слюной наполняется.

Жандарм опять, поглаживая:

— На один вопрос ответите — и спать. Ведь ответите? Да?

— Да... да... да...

— Льва Черного, Степана Рысса, Кувшинникова, Анну Берсеневу знаете?

— Льва Черного, Степана, Кувшинникова, Анну,— повторяет, как во сне, как загипнотизированный, Миша.

Четко, ходко мелькает перо, зажатое в толстых ротмистровых пальцах.

— Анну Берсеневу?

— Анну Берсеневу,— полусонно отвечает Миша.

— Где виделись?

Миша не понимает. Потом — вдруг понимает: «Выдал»,— остро в голове, как колючая недавно в спине боль,— остро в голове кольнула мысль.

— Не знаю,— с трудом, но твердо отвечает.

— Уведите его,— кричит ротмистр, и голос его жесткий, и щетками — жесткие усы.

«Опять — не спать, опять — не спать, опять — не спать!..»

Песней, стихами в голове, и особенно страшно созвучие слов «опять» и «не спать».

Исступленно, топая ногами, кричит:

— Не могу, не могу, не могу!.. Спать... спать... спаать!

— А будешь говорить? Скажешь — все, что знаешь?

Пушистые перед лицом Миши шевелятся усы, и кажется, что они, усы эти, говорят.

А глаза зеленовато-желтые колючими гвоздями.

— Буду... Скажу... Что знаю...

Говорит. Ротмистр пишет. Знает Миша немногое. Про Драковникова упомянул — тот больше знает.

Воли уже нет, есть одно: спать, спать...

Быстро, весело мелькает перо, зажатое толстыми пальцами жандарма.

Протягивает Мише бумагу.

— Здесь. Вот здесь. Крепче ручку, миленький. Имя и фамилию, да, да!.. Ага! Прекрасно, голубчик. Спите теперь спокойненько.

Мишу выносят на руках, несут через двор, в карету. Спит.

— В больницу прямо сдадите, в «Крестах». Доктору Шельду!— громко говорит кто-то из темноты подъезда.

6

Леньке значительно хуже было.

Связанного пытали шпики. А Ленька — бунтует.

Из «матери» в «мать»— шпиков и ротмистра. Тот и заходить перестал.

А как же Леньке себя вести? Миндальничать? С ними, что его отца убили?

Да и отец ли один? А Олимпиада Крутикова, а Метельников, а калека Прохор котельщик — не ихние разве жертвы?

Да только ли эти жертвы?

Пытают? Черт с ними! Пусть пытают! Спать не дают? Они жить не дают, не ему одному, а целой стране, целому миру. А спать — эка невидаль!

И он упорно борется со сном, с наслаждением борется. И кажется ему: победит.

Вера или воля? Десять суток без сна — осунулся только, ослаб, но тверд дух и голос — чист и звонок, как всегда. Лишь глаза — ямами, провалами, расширенные зрачки — без блеска. Жуткие глаза!

Встречаясь с ним, колющие глаза агентов отбегают, как от пропасти.

Но когда побеждала усталость...

Точно мягче становилось все: тело, голос, мысли даже. Мысли мягкие, припадающие, как хлопьями ложащийся снег, как свет лунный, бледный — бледные мысли,— поля лунные, снежные, зимние.

Поле, поле, ровное, искристое, луной залитое, ночное поле... В тройке — бубенцы веселые под дугой — в тройке едет Ленька, пьян-пьянехонек, песню поет.

И звенит голос, как колокольчики троечные.

Вдруг — острая, жгучая боль в спине.

Крик.

Поле, тройка — пропадают.

Комната. Агенты. Зло усмехаются.

— Спать нельзя, голубец!

Говорит круглолицый, волосы — черной щеткою.

— А тройка? — спрашивает полусонный Ленька.

— Не угодно ли пятерку?— смеется черный.

Другой, узкоглазый, как китаец, вторит:

— Шестерку. Лакея ему надо. Хи-хи!

Ленька, искушенный сном, решает, что невозможно больше не спать, а так как спать не дадут, то придется обманом как-нибудь.

«Воровать сон для себя. Покой, необходимый для каждого, красть».

«Черт с ними, буду спать!»

Закрывает глаза, откидывается на спинку дивана.

Укол в спину. Как ток электрический.

— А-а! Черт!.. Сволочи! Опричники!— вскрикивает Ленька.

Исступленно ругается страшной руганью, которая статьями уложения о наказаниях предусматривается: бога, царя, веру, закон — как черноморский матрос.

Но... замолкает.

Не хочется — ничего. Ни ругаться, ни говорить, ни двигаться, ни смотреть.

Главное — смотреть. Все предметы: стены, мебель, даже шашки паркетного пола — невыносимы для глаз: кажется, в глаза лезут, рвут веки, распирают до боли — невозможно смотреть.

А закроет глаза — огненные иголки по спине пляшут.

А потом делается смешно. Задорная мысль приходит.

— Доложите ротмистру, чтобы на допрос вызвал,— говорит черноволосому агенту.

Ротмистру Ленька деловито:

— Позвольте бумаги, сам буду писать показания.

— Лучше по вопросам,— предупреждает тот.

— Потом вопросы, а сейчас сам буду писать. Все до словечка — все!..

И ребром ладони наотмашь: все.

Жандарм потирает руки, белые, пухлые, с обручальным кольцом и перстнем-печаткой на безымянном пальце.

А Ленька вздрагивающей слабой рукой неровно выводит:

«Никаких показаний давать не буду, так как не намерен содействовать следствию».

Ротмистр багровеет, ругается тяжело и злобно, как извозчик на упрямую лошадь, и, когда Леньку связывают, кричит надорванно, с пеною на пушистых усах:

— Хорошенько, стервеца, морите! Он спит у вас, наверно? Я вас, мерзавцы!

Грубо ведут по темным коридорам, злобным шепотом ругаются шпики, а Ленька молодым, звонким, тьму затхлых коридоров разрывающим голосом — кроет все на свете: бога, царя, веру, закон и жизнь и смерть — все.

7

Новый способ придумал Ленька: спать с открытыми глазами и ногой качать.

Придумал или само так вышло. Вернее, само.

Чтобы не видеть открытыми глазами режущих веки предметов — туманил глаза сильным напряжением

глазных мышц и невероятным усилием воли удерживал веки, чтобы не опускались.

Сначала долго не мог добиться этого «обманного» сна, но потом как-то удалось.

И еще: стал качать ногой.

Сперва тоже не клеилось: заснет — нога с колена соскакивает или остановится — не качается.

Но потом пошло: и когда спал и сны видел, чувствовал, что открыты — точно на подпорках — веки и качается нога.

И если падали веки, прекращалось качание ноги — просыпался.

Но шпики все-таки обнаружили обман.

По храпению, дыханию ровному, глубокому, немиганию век и помутившимся глазам.

И снова — иголки и удары...

На шестнадцатые сутки, уже давно выданный Трояновым, принесенный агентами на допрос Драковников слабо, но гордо и насмешливо, сказал:

— Никаких показаний. Уже писал и расписался. Чего же еще?

Ротмистр и Ермолик, изыскавший радикальный способ для «раскрытия истины», молча и пытливо всмотрелись в жуткие провалы глаз на бледном лице и прочли в них:

— И смерть не страшна.

Увезли. Тоже в тюремную больницу.

8

Выдавший товарищей Троянов — потерял душевный покой навсегда.

Жизнь стала сплошной бессонницей.

Мучился долго и тайно.

Но человек привыкает ко всему. Привык и Троянов к новому себе — к предателю себе,— привык и даже малодушному поступку своему оправдание нашел: каждый делает то, что предпишет ему какой-то закон — неузаконенный, может, а закон. И если предательство — беззаконие, то закон этот — закон беззакония.

Выдумал так, уверил себя.

Но Драковникова — стыдился, хотя тот ничего не знал о его поступке — охранка умолчала.

Стыдился, а потом возненавидел. И был рад, что сослали обоих в разные места: его в Туруханский край, Драковникова — в Якутку.

И в ссылке живя, ненависть ко всем политически чистым разжигал, уверяя себя, что он, предатель, по закону беззакония, грязен, беззаконен,— должен и линию свою вести как надо.

Если беззаконие, грязь — так во всем.

И живя в ссылке, вел себя буйно.

Пьянствовал, картежничал, дрался, девушек бесчестил.

Но в глубине души чувствовал, что покой потерян.

А Драковников, в Якутке, сблизясь с ссыльными, многому научился, книг перечитал больше, чем съел за всю жизнь хлеба.

Радовался новой жизни, знаниям добытым.

И в революцию русскую, освобожденный, как и все, из ссылки, приехал в Питер, в новый, праздничный Питер, приехал праздничным.

В Питере товарищи встретились, и хотя Миша не тот стал: «разочаровался, в ссылке пробыв», как объяснил Ленька перемену в товарище,— но обрадовался далекому первому другу.

И жили, как и раньше, дружно; по крайней мере Леньке так казалось.

Наружно Миша поддерживал прежние отношения. Но политических убеждений он, по его словам, не имел уже никаких.

Спорили часто, и однажды, горячо поспорив, поняли оба, что касаться политики не стоит, и, чтобы не испортить прежних отношений, дали слово спора никогда не затевать.

Но прежних отношений — не было.

Сознавали: Троянов — что для него, бывшего бойца, а потом предателя, нет праздника.

Драковников, боец с первого шага на пути борьбы до шага победы, сознавал: пир для него, праздник для него и место на Празднике — Борьбе — Жизни — такое, как и всем бойцам.

Весь мир тогда разделился на праздничных и непраздничных, живых и мертвых.

Так жили вместе чужие, под одной кровлей.

Потом вместе и на фронт попали.

И в один полк: Драковников — комиссаром, Троянов — адъютантом.

На фронте в тяжелых, лихорадочных, невыносимых условиях чувствовал Драковников, что все в нем и кругом — празднично, и рассказывал об этом даже Троянову.

9

Комиссар Драковников и адъютант Троянов, раненые оба, захвачены белыми.

Оба приняты за красноармейцев — с винтовками в первых рядах шли в наступление.

Пулеметом их взяло.

Маленькая деревенька настойчиво обстреливалась выбитыми из нее красными. До тридцати пленных, в том числе комиссара и адъютанта, представили пред грозные очи всероссийского бандита-генерала.

Толстый, красный, в светлой шинели с блещущими погонами, перегнувшись на седле, хрипло кричал:

— Кто коммунисты? Выходи! Не то третьего расстреляю.

Багровело и без того красное лицо, и большая, жиром заплывшая рука расстегивала кобур.

Огражденная штыками, как частоколом, молча стояла шеренга пленных.

— С правого фланга каждый третий два шага вперед, арш!— до синевы побагровел генерал.

Первый третий — телефонист штаба полка, латыш — вышел, задрожав мелкой дрожью, но справился — только хмурое лицо посерело. Второй третий, Троянов,— белый как снег, приподнявший раненое плечо, тихо проговорил:

— Я укажу... коммунистов.

— Укажешь? Прекрасно.

Генерал зашевелился в седле.

10

День особенно радостный.

Оттого ли, что первый теплый, солнечный?

Оттого ли, что праздничный?

Колоннами, с красными знаменами, плакатами, шли и шли, с утра.

В этот день Троянов чувствовал себя особенно плохо.

Тоска невыносимая.

Бродил по улицам праздничным, среди праздничных людей — один.

Угрюмо, уныло шагал, точно за гробом любимого человека.

Думы разные: об одиночестве, о празднике, о расстрелянном Драковникове.

Унылыми обрывками, как в непогодь дождливые облака, плывут мысли.

Троянову не уйти с улицы. Уходил, впрочем, домой. Но дома — нестерпимо: давят стены, потолок, как в гробу.

И опять на улицу.

А кругом веселье, радость.

Весна. Праздник.

В улицу свернул, где не было шествия, в боковую, гладкую, солнцем залитую.

Остановился.

Вдалеке плывут-проплывают черные толпы, как черные волны, и красно колеблются ткани, как красные птицы.

Чудилось, что стоит на последней пяди, а сзади — стена.

И вот — хлынуло.

Хлынула, накатывалась волнами новая толпа манифестантов, и с нею вместе накатывается в блеске и зное солнца кующаяся песня, неумолимая, как море,— песня:

«Лишь мы, работники всемирной»...

Сейчас накатится.

Толпа черным, многоногим телом заливает, как волнами, мостовую.

Толпа — о д н о, как волны — неотделимы от моря.

Волны и море — одно.

И красными чайками — знамена.

Не помня себя, отделился от стены, сошел с последней пяди и крик издал звериный, задавленный какой-то, похожий на крик эпилептика, и грянулся под ноги идущих. Кричал громко, раздельно, как заклинания:

— Волна! Топи! Скорее! Захлестни!

— Ваше имя, отчество и фамилия?— спрашивает человек в ремнях.

Вынимает из портфеля лист бумаги, кладет на стол.

Троянов называет себя.

Несколько пар глаз напротив и с боков неподвижно уставились в одну.

— Чем вы объясните, гражданин, ваше поведение на улице при появлении манифестации?

— Постойте, товарищ!— прерывает Троянов.

Человек в ремнях удивленно и пристально смотрит на него.

А он тихо, но внятно:

— Я, Троянов Михаил Петрович, уроженец Петербурга, провокатор, выдавший в 19** году организацию «С. С. Т.», кроме того, на N-ском фронте предал комиссара N-ского полка, товарища Драковникова, расстрелянного белыми в деревне С.

Потом он ясно и обстоятельно отвечает на вопросы, рассказывает, как выдал еще в царское время членов боевой организации «С. С. Т.», потом так же подробно — о предании им и расстреле белыми Драковникова.

Человек в ремнях задает вопрос:

— Что вынудило вас на ваш поступок на улице сегодня? И вот на это... признание?

Тихо, но внятно отвечает:

— Праздник.

— Объясните яснее,— снова говорит человек в ремнях.

Но ответ тот же:

— Праздник.

⟨1924⟩

ПАЛЬТО

С Калязина, Адриана Петровича, грабители пальто сняли. Вечером, на улице. Пригрозили револьверами.

Заявил в милицию. Время шло, а злодеи не обнаруживались.

Да и как найти? Руки-ноги не оставили. Найди попробуй. Петербург не деревня.

Сначала случай этот Калязина ошеломил, но спустя день-два, когда горячка прошла, новое чувство им овладело: сознание невозможности положения.

Нельзя так!

Невозможно без пальто.

Осень, холода на носу, а тут — в рубахе.

Да и неловко, неприлично: дождь, ноябрь, у людей воротники подняты, а он — в рубахе, в светлой, в кремовой. «Майский барин»— так сказал про него мальчишка-папиросник на Невском.

Не сказал даже, а бесцеремонно вслед крикнул.

«Майский барин»— гвоздем в голове, сколько дней.

Положение безвыходное. Как достать пальто — не придумаешь. Денег не было. И ничего такого, чтобы на деньги перевести, тоже.

И без работы. Жил так, кое-чем, случайным заработком, перепискою.

Но на этот скудный и редкий заработок не только из одежды что купить, а питаться и то впроголодь. А подмоги — неоткуда. Родных или знакомых таких, чтобы выручили,— никого.

Время же осеннее, скоро и белые мухи. А затем и морозы.

Но не только холод пугал.

К нему, к морозу-то, может быть, можно и привыкнуть. Ведь ходили же юродивые, блаженные, круглый год босиком. Хотя, говорят, с обманом они: салом ноги смазывали, спиртом.

Но все-таки привыкнуть, может быть, и можно.

Главное же: один в целом городе, в столице северной (именно северной),— один, в рубашке одной!

Центр внимания! Все смотрят.

Невозможно!

Лучше голому. Голый так уж голый и есть — что с него возьмешь?

Спортсмен или проповедник культуры тела — бывают такие оригиналы, маньяки разные!

В прошлом году мальчишка один, юноша, часто Калязину на улицах попадался. В трусиках одних. Мальчишка, двадцати нет, а здоровый, мускулистый, бронзовый, что африканец какой, индеец.

Такого даже приятно видеть. Герой, природу побеждает, с холодом борется, с непогодою. Глядя на него, завидно даже.

А вот в рубашке если, дрожит если, семенит, а коленки этак подогнулись от холода, нос синий, а рубаха прилипла к спине, примерзла,— это уж другое.

Это всем — бельмо.

И недоверчивые, нехорошие при виде такого «франта» у людей возникают мысли: «Пьяница, жулик. Такой ограбит за милую душу, убьет. Встреться-ка с ним глаз на глаз в переулке глухом — что липку обдерет. Что ему, отпетому такому, бродяге-оборванцу, забубенной головушке, что ему? Ограбить, обобрать — профессия его, поди. Промышляет этим...»

Казалось, так думали эти, встречные, вслед недружелюбно, с опаскою поглядывающие...

Сначала чувства отчаяния, угнетения, потом — недовольство, злоба против людей.

Против всех, что на улицах в теплой, в настоящей по сезону одежде.

Злоба на бесчувственность людскую, на то, что человек человеку (как у писателя одного сказано) — бревно.

Да как и не быть злобе?

Разве можно, чтобы в республике свободной, в братской, так сказать, стране, где все за одного и один за всех, коллектив где,— чтобы в столице, в городе первом первой по свободе страны, не в угле каком медвежьем, где люди с волками глаз на глаз, а в самом Петербурге, и вдруг — на-те!— человек без одежды — рубаха какая же одежда?— человек в рубахе, поздней осенью и не по своей вине, а ограбленный, раздетый бесчеловечно. И рубаха-то пускай бы черная, с воротом глухим, а то с шеей открытой, кремовая, в брюки забранная, с галстучком пестреньким, и пояс резиновый с кармашком для часов.

Ведь так на даче только гуляют, купаться так ходят, а не в городе, когда снег того и гляди...

Так думал Калязин, по улицам в поисках заработка бегая, под взорами встречных, недоверчивыми и нехорошими, пробегая, злобно кляня бесчувственность, деревянность бревенчатую людскую, и часто становилось невыносимо, казалось, миг еще, и не совладает со злобою — кинется на первого встречного, за пальто уцепится, за воротник; как кладь какую из мешка, человека из пальто вытряхнет, как его тогда грабители грубо раздевали, вытряхивали из новенького демисезонного его пальто...

Свежее, пасмурнее становились дни. По утрам в комнате Калязина, если дохнуть,— парок изо рта.

Скоро утренники, а потом и снежок первый, и морозец первый. Быстро в Питере наступает зима.

Сжимается сердце калязинское от отчаяния — хоть в петлю.

Утром одним Софья Семеновна, квартирная хозяйка, вдова, спекулянтша, спросила:

— Что ж вы в рубашке так и ходите?

В жар бросило от слов этих и ответить что — не знал.

Унылое что-то, нескладное, вроде:

— Уж и не знаю, как и быть, вообще...

А хозяйка — наставительно так и строго:

— Работы ищите. Мужчина, а работы не можете найти. Без работы не оденетесь.

А сама в глаза прямо смотрит. Сверху. Высоченная. Калязин ей ниже плеча, толстая бабища, спекулянтша Софья Семеновна!

И в десятый раз бесцеремонно начинает расспрашивать, как раздели, ограбили.

И почему-то смущаясь, путаясь, рассказывает Калязин, и рассказ получается неискренний — не верит ему Софья Семеновна. И странно, он тоже не верит — по рассказу путаному, робкому самому даже поверить нельзя.

После, один, лежит на узкой своей кровати, вспоминает недавний разговор с хозяйкою и злится тяжело и затаенно.

Стыдно, досадно, что не мог рассказать так, чтобы Софья Семеновна, бревно это толстое, поверила. Представляет, как стоял перед нею, растерявшийся, как школьник, глаза опустив, и пуговку рубахи зачем-то теребил. Чего смущался, стыдился? Будто не о том рассказывал, как его ограбили, а наоборот — он ограбил кого-то, раздел.

«Дрянь, паршивец: человек тоже!— мысленно ругает себя Калязин.— Щенок, которого каждый, кому не лень, ударит, ногой пнет...»

И ограбили потому, что такой уж подходящий человек. Беззащитный, что пес, щенок. Наверное, так. Ведь грабители не первого встречного грабят, а выбирают, кого полегче.

Вспоминается, как тогда, ограбленный, не бежал, не кричал — стыдно было в рубашке ночью по улице

бежать и кричать,— только шаг ускорил, постового милиционера ища, а найдя, подошел не сразу, прошелся мимо раза два и заявлял-то словно между прочим, с извинениями:

— Извиняюсь, товарищ... Сейчас, это... пальто с меня...

Путался, сбивался и тихо так говорил, точно не о грабеже, налете вооруженном, а о самой обыденной случайности и даже просто будто улицу спросить к милиционеру подошел.

Милиционер переспрашивал часто и косился все.

«Тьфу!»— плюет Калязин и гонит неприятные воспоминания, в подушку утыкается, глаза жмурит...

Туго заработки случайные отыскивались.

Или это отказывать стали в работе «такому», в рубашке, но так как и такому, а неловко же напрямик: «Ничего тебе не будет!»— вот и говорили, что срочной, необходимой переписки пока не предвидится.

Без дела же сидеть нельзя. Нанялся как-то на поденную, мост перемащивать, доски перестилать.

Работать было тяжело, не привык к такой работе — раньше ничего тяжелее карандаша в руках не бывало.

Работать пришлось с мальчишкою деревенским, из беженцев, с голодающих, наверное, мест.

Мальчишка к работе привычный, здоровый, ломил, как медвежонок. Загнал Калязина в короткий срок. В ушах звенело, ноги дрожали, подкашивались, боялся, что разорвется сердце,— плыли круги в глазах.

А мальчишка подгонял, грубо покрикивал. И ворочал без устали. Только лицо загорелое, блином — точно маслом покрывалось, и грудь рубаху топорщила.

Делалось тяжело — безысходно.

Сердце жгло. Мутило всего.

День холодный.

Первый был утренник.

На лужах тонким стеклышком ледяная корочка.

Розовые, бодрые люди попадались навстречу Калязину. Шел вдоль стен. Привык стенкою пробираться, как животное бездомовое, пес. Не так заметно, не всем — на глаза.

Холодно ушам, кончикам пальцев. И спине.

Железом притиснулся холод между лопаток.

Последний день сегодня ходит — так решил. Последний день без пальто.

Украдет, ограбит, как его ограбили, а достанет.

Чего в самом деле? Если люди — не люди, то и церемониться нечего. Снимай пальто, и баста!

Разве люди это? О чем они думают, к чему стремятся?

Вот на углах червонцами, валютой торгуют.

Или щенков чуть не лижут, сеттеров каких-то чистокровных покупают — миллиарды за щенков сопливых.

Они и собак держат при себе и кошек не потому, что любят животных, а для того, чтобы существо подвластное иметь, командовать. Чтобы пресмыкалось перед ними оно.

Потому после революции, как власть от них отняли, особенное стремление они к животным чувствуют. И торговцы, собачники потому на каждом углу. Учли психологию, шельмы-собачники! Люди!

Злоба кипит в сердце Калязина. Жарко даже. В рубахе — жарко. Быстро, рысью вдоль стен. Как в котле паровоза в теле, в сердце, в жилах кипятком кипит кровь — оттого холод не чувствуется, и бежит оттого, стремительности своей не замечая.

Не чувствовал усталости, мыслей не было никаких, только сознание: вечером, лишь стемнеет, в переулке, уже облюбованном, ждать будет жертвы.

Без выбора. Первого. В пальто который.

Временами нащупывал в кармане складник. Целый вечер на бруске точил. Софья Семеновна в кино уходила, а он целый вечер — на бруске, на свободе один весь вечер.

Улицу за улицей обходит, колесит, то расширяя, то суживая роковые круги-обходы; кружит, колесит все в районе одном, в том, где переулок облюбованный, место расплаты идола-человека.

Серые, быстро надвигаются ноябрьские сумерки, роют в углах ямы-темноту, блекнут человеческие лица, не видно пытливых, знакомых Калязину людских глаз.

Замедляет шаг быстрый, не раскидывает обход свой, а у́же и у́же смыкает круг, ближе, все ближе к переулку облюбованному, к месту примеченному, месту расплаты за бесчувственность идола-человека.

Долго стоит в переулке, у забора, нож уж за пояс заткнув, зорко вглядываясь в узкий, вечерне потемневший переулок.

Вздрогнул.

Вдалеке, среди мостовой, на отсветах окон — человеческая фигура.

«Сюда идет!»— соображает Калязин.

И ждет. Но не деятельно, не так, как готовящийся к чему-то жуткому, необычайному, не как разбойник жертвы в ночном лесу ожидает, зверино к нападению готовый, хищный наскок в недвижности каменной ярче, чем в самом прыжке, вылив, в недвижности, что сама уже — дело, акт почти завершенный, не так ждал Калязин, а просто чересчур, как бы улицу нужную спросить у прохожего или спичку, огня для папироски.

«Э, черт!— с досадою ругается про себя.— Как тогда милиционеру заявить стеснялся... Тьфу!..»

Близко уже черная высокая фигура. Мерно, гулко на подмерзшей дороге звучат шаги.

Вот сейчас подойдет.

Делает шаг вперед Калязин, крепко рукоять ножа сжав. Еще шаг.

«Стой!»— хочет крикнуть этому черному, бесстрашно идущему навстречу, но почти столкнувшись, различив белеющее пятно лица, отступил почему-то вбок, неловко, в лужу подмерзшую льдом, затрещавшую, ступив, пробормотал:

— Извиняюсь.

И, обойдя черную длиннополую фигуру, остановившуюся нерешительно и опасливо, торопливо зашагал.

А в ушах нестерпимо звучали, с каждым мигом затихая, шаги прошедшего мимо, того, в пальто который...

‹1924›

РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В доме Алтухова у многих были дети, но только Тропина, переплетчика, сынишка Андрюша один на языке у всех.

И мальчик-то как мальчик, кажется, и говорить о нем нечего.

Ну, там у доктора Габбеля сынок Оскар, красавец на редкость — все так и звали Краса-Королевич.

Это понятно. Кто красоты не любит!?

Или владельца овощной и хлебной Кузьмы Назарова Галяшкина Савося. Четырнадцати от роду, а весу четыре двадцать, в одном нижнем и без сапог.

Это понятно тоже. И неудивительно. Есть о чем поговорить.

Чудо-Юдо — так прозвал толстяка студент из двадцать третьего, Тихон.

А вот Андрюша-то что? В нем-то что особенного?

Габбелевской красоты в нем не было, хотя и недурен: круглолицый, румяный, сероглазый.

Так ведь у любого паренька, даже у самого простого вот из лавки, что того же Галяшкина, у Пашки такого, лицо гораздо круглее и румянее, чем у Андрюши. И сероглазый тоже.

Далее, толстым таким, как Савося,— не был, а если для своих лет широк и мясист, а руки и ноги даже на диво крепкие, то опять ничего в этом нет замечательного.

У того же лавочного Пашки жиру-мяса хоть отбавляй. Идет — щеки дрожат, грудь — ходуном, а зад — что у барана откормленного, вперевалку.

И силы у Пашки больше, чем у Чуда-Юда.

Алтуховские ребята издали только Пашку и дразнят.

Ко всему этому и талантом каким Андрюша не выделялся.

Не музыкант какой, вундеркинд, не краснобай — философ малолетний — бывают такие!— вовсе не это.

Наоборот, шалун большой. И уличник.

Хлебом не корми, а побегать дай.

Обыкновенный малец, босоножка. С пасхи до снега не обувается.

Тихон, студент из двадцать третьего, земляк Андрюшин, самарский тоже, шутит всегда:

— Землячок. Подошвы-то на сапогах не сносил еще?

И Андрюша — шуткою:

— Подошвы первый сорт. Еще надолго хватит.

Так что на проверку выходит: заурядный мальчуган, каких тысячи.

А между тем все как сговорились:

— Интересный мальчишка! Замечательный! Любопытно, что из него выработается!

Но было ли что действительно замечательного в переплетчиковом сыне?

Было, действительно. Но имени тому — нет. Есть, впрочем, имя — слово. На все ведь есть слово. Даже на то, чего нет, и на то есть слово.

И вот это, что влекло к мальчику людей, что говорить о нем заставляло, таинственность эта в действительности никакой таинственностью и не была, а наоборот — явью. Самой явной явью, слепящей своей явностью.

Слишком светлое всегда слепит. Слишком явное — призраком, миражем кажется.

Мудрость ли в этом, трагедия ли жизни — кто скажет, докажет?

Не в этом ли и безысходность, круг заколдованный, что н е с о к р ы т о г о — и щ у т, не желая или не умея увидеть?

И вот эта тайна, влекущая к Андрюше людей и в тупики лабиринта приводящая, самим им бессознательно определялась одним коротким словом: «да». Кратчайшее, отрывное, сухое, механическое слово определяло огромное, чего не охватить, не вместить, не взвесить.

Всё: мир, миры, люди —«да».

Хорошее, необходимое, желаемое — «да».

И обратно: чего не существует, что умерло, исчезло, а также что дурно, ненужно, нежелаемо — «нет».

В двух этих коротких словах, оба в пять букв,— всё: жизнь, жизни, закон, беззаконие, счастье и горе и мудрость. Сократы, Христы, Заратустры — всё.

И это — первая Андрюшина явность.

И еще: сердце у него — о т к р ы т о е.

Все в него, в сердце, входит и растворяется. Все воспринимаемое растворяется, как пища.

Так о щ у щ а л. Ночью особенно. И утром. Лежит на спине, руки за голову — всегда так спал,— и кажется: все, что сейчас слышит: гудок ли далекий не то паровоза, не то парохода или вот лай Тузика во дворе, и видит что: комод ли с зеркалом туалетным или мерцающую лампадку, и, днем гуляя, играя, слышал что и видел — все словно плывет в него, с воздухом вдыхаемым входит.

И приятно, и радостно — даже рассмеяться хочется.

Будто он — в с ё: и земля, и звезды, воздух и все люди, кого знает и не знает, всё — он.

И тянет-тянет в себя воздух, и все еще не втянуть, все еще много. Выдыхает. И снова пьет, как пустыней истомленный, из источника.

И радость, радость — хоть смейся!

Так принимало жизнь о т к р ы т о е сердце. И потому был счастлив и хорош Андрюша.

П р о с т о й, как все, и оттого н е о б ы к н о в е н н ы й.

Все — просты и хороши, все необыкновенны, но боятся ли, стыдятся, как наготы,— простоты своей, и одеждою — необыкновенностью укрывшись — н е о б ы к н о в е н н о с т ь скрывают.

Ибо и с т и н н а я о н а — в обыкновенности.

И потому не могущие воспринять ее, я в н у ю ее — тайною делают.

И потому, что прост был Андрюша, хорош,— хорошо и всем от него было.

И объясняя счастье свое сердцем открытым, не объясняя, а ощущая, верил ли, ощущал ли опять, что богатырь он сказочный, с землею слитый: земля и богатырь — одно.

Слышал ли, читал ли такую сказку, или детский п р о с т о й ум, как всегда сказками плодовитый (из всего сказку делает), был причиною, но вышло так: он — богатырь, какого не осилит никакая сила, так как слитый с землею — непобедим. И потому что сердце у него открытое, а значит — большое, как думалось Андрюше, то и грудь у него такая широкая и крутая, богатырская.

По сердцу и грудь была.

А от всего этого всегда хорошо было. Не скучно и не страшно.

Если иной раз и возьмет робость в темноте — стоит сказать в темноту:

— Страшно.

И выйдет облаченный в слово страх и растворится в темноте. Так же и со скукою.

— Скучно.

И — нет скуки. И легко.

Все равно что груз какой, тяжесть. Если разложить на всех — незаметно, будь в грузе этом хоть миллион миллионов пудов, а на всех и золотника не останется.

Андрюша любил воду. Капля, волна и озеро, море — одно — всё.

Как и он в постели — всё. Так и море.

Потому море и любил. Вода, море — дружное. Если бушует море — все бушует; спокойно — все оно спокойно. И люди, если в м е с т е, такие же. Любил многолюдие.

Улицу предпочитал двору, улице — сад городской.

Там всегда люди. И долго. И сегодняшнего человека можно и завтра встретить. А на улице — пройдет, и нет его. Будто не было или умер.

Сад тоже море напоминал: люди — волны, ограда — берега.

Летом он целые дни — в саду.

Со всеми сверстниками и со многими взрослыми знако́м. Сам знакомился. Самых нелюдимых, одиночек и даже женщин не дичился: сядет, заговорит. Все его знали.

Взрослые любили с ним болтать, ребята играли охотно.

Согласный. И не жи́ла. Чтобы поддержать игру, всегда уступит, а это в любой игре важно.

И играть мастер. В лапту такие свечки запускал — прямо в небо.

А еще — в «казаки-разбойники». Когда Андрюша «разбойник»— любую прорвет облаву, а если «казак»— встанет у «города»— не вбежит никто. Больших, куда старше себя, гимназистов разных, и тех — ухватит — крышка!

В «голики» тоже метко пятнал. Раз-два промажет, не больше, а то и с первого раза.

А другой гоняет, гоняет, водит, водит — замучается. А тут еще шлепают по спине, когда промажет, да если еще Чудо-Юдо шлепнет?

Беда! Плохонький и не играй лучше.

Весело в саду проходило время. И дождь, бывало, не выгонял.

Как зашлепают над головами, по листьям, первые капли — Андрюша:

— Ребята! В беседку! Кто первый?

В беседке, в дождь, особенно хорошо.

Полным-полна. А он знай в толпе шныряет, каждого коснуться может, заговорить с любым.

Хоть пустяк какой спросить, вроде:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, который час?

Разве не наслаждение?!

Хорошо в дождь в беседке. И жалко, когда кончался дождь и редела толпа.

Также жалко, когда закрывался вечером сад. Отходной звучал звонок сторожа.

Грустно делалось, но на миг только.

Ведь завтра же опять — целый день! С утра, когда Федор, сторож, подметает.

У дома говорил Жене Голубовскому, вечному своему спутнику:

— Завтра пораньше, смотри! Как откроется. Подметать будем. Федор даст. Я ему папироску нашел. Слышишь, пораньше, Женя?

— Не знаю, как пораньше-то. Я здорово сплю,— отвечал, зевая, Женя.

— Сплю! Соня! А ты не спи. Утром, как свистну под вашим под окном, чтобы ты был вставши.

И угрожал:

— А не то играть с тобой не буду. Так и знай!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Было Андрюше четырнадцать, когда он совершил первый подвиг. На Чудо-Юдо «вышел» единолично.

И не из похвальбы и не науськанный никем. Не простая это была стычка, а значение имеющий ход, акт.

Так было.

В жаркий полдень алтуховские ребятишки отправлялись купаться на Гутуевский, на Бабью Речку.

Речка эта паршивая, но главное — кокос прельщал.

Со всего Питера ребята на Гутуевском кокос воровали. Всегда это было.

А кокос — шикарная штука! Сладкий и маслом деревянным пахнет. Объедение!

Иной раз — назад, молоком прямо, а все не бросить.

И вот ребята алтуховские, когда уже выкупались по разу,— за кокосом.

Все удачно набрали из мешков, конечно, прорванных. А Савосе не удалось. Одну только корку успел взять, а тут таможенный идет.

Понятно, тягу. Опять на речку.

Чудо-Юдо корку свою слопал и облизывается. А ребятишки смеются.

— Эх ты, а еще Чудо-Юдо, а засыпался.

Савося до кокоса большой охотник. Не утерпел. Стал просить у товарищей. По кусочку дали, а больше — на-ка, выкуси!

— Теперь не достанешь!

Но Савося не долго думая отобрал кокос у Федьки сапожникова — самый тот слабенький, уродец сухоруконький.

Отобрал и жрет.

Федька на что трусливый (Савоси же он боялся больше всех, тот его частенько бивал не по злобе, а по здоровью и по силе), а тут полез:

— Отдай,— хнычет,— черт, Чудо-Юдо!

А тот знай чавкает да поддразнивает:

— Скуснай.

У сухоруконького одна рука действует, да и в той силы меньше, чем у Савоси в одном пальце. А полез, несправедливостью возмущенный. Вцепился в Савосю.

Ребятишки окружили, забесновались от восхищения, предвкушая интересное зрелище.

Только глазенки большие стали, воспламененные. И не понять по глазам этим, чего ждали от силы: правды или насилия.

Детские глаза непонятны и жутки. Оттого ли, что ясны чересчур и прямы,— непонятны?

От прямоты ли и ясности — беспощадность?

И вот стояли и смотрели, восхищенные, на уродца сухоруконького, уцепившегося единственной действующей слабосильной ручонкою в толстое плечо здоровяка.

А тот посмеивался, жуя кокос, и масло текло по толстым губам.

А потом ухватил под мышку голову уродца, повалил. Улегся, всего закрыл пятипудовой почти своей тушей. Даже писка уродца не слышно.

И жрет кокос. Масло так и течет.

А толстяк посмеивается:

— Скусно.

Ребятишки бесятся, на месте не стоят:

— Ишь, черт толстомясый, совсем задавил!
— И руками не держит. Брюхом смял.
— Савося! Долго так держать можешь, а?
— Хошь весь день!— сопит Савося. Кокос чавкает.
Кажется, задавит человека и не заметит сам — все будет чавкать.
Но вдруг — Андрюша.
— Брось, Чудо-Юдо! Отстань! Зачем трогаешь? И кокос отдай! Не твой.
Отпустил тот уродца и к Андрюше, грозно:
— А ты чего вяжешься? К тебе лезут, да? Ты — чего?
Андрюша, выросший вместе с алтуховскими, никогда не пускавший в ход кулаков, всегда веселый, смеющийся — бледный теперь, побелевшими губами выкрикнул звонко, как никогда в самых крикливых играх не кричал:
— А вот чего!
И ударил Савосю.
Алтуховцы, выросшие вместе с Андрюшею и знавшие хотя его силу, не предполагали все-таки такого ее действия.
Савося точно не стоял. Точно землю из-под ног выдернули. Пополз на четвереньках, поднялся, шатаясь.
И кровь из зубов и носа.
Женя Голубовский, задушевный приятель Андрюши, не разделял восторга алтуховских ребят по поводу происшествия на Бабьей Речке.
— Напрасно ты Савосе в морду дал,— сказал Женя Андрюше наедине,— за такого урода — и бить. Ну остановил, и баста. А то у него и теперь еще зуб шатается.
Андрюша горячо отстаивал свой поступок, но Женя не соглашался.
— Я не люблю уродов и слабеньких, сухоруконьких разных. Я, если бы царь был, послал бы на войну карликов там да горбунов, кривоножек. Пускай перебьются. А которые останутся — на них бы борцов-чемпионов напустить. Борцы-то, видел, какие? Нурла, турок такой есть, двенадцать пудов весит. Такой, как тараканов, их подавит. Пяткой наступит, и готово! Ха-ха!— зло смеялся Женя.
— Злой ты, Женька!— говорил Андрюша.
А тот нес свое:

— А пускай злой. А я их не люблю. Они вот злые-то и есть, а не я. Они только боятся, а то бы они делов понаделали. Уж я знаю! Злюки они самые настоящие. Ты знаешь, что я раз сделал с одним таким уродцем? С Пашкой мы вместе. Знаешь Пашку от Галяшкина из лавки? Видал, какой Пашка-то? Здоровее еще Савоси. Люблю здоровых. Да. Вот иду я по Фонтанке за Яковлевым домом. Заборы там все. За угол зашел. А там идут Пашка и какой-то противный. Ноги вот так, как буква «Х». Колченогий. Из школы шел. Ковыляет, это. А Пашка озорной, сам знаешь. Здоровяк. Не боится никого, потому и озорной. Вот он обгоняет колченожку. Сгреб с того шапку да в корзинку — пустая у него корзинка. Корзинку — на голову и идет. Посвистывает. Здоровяк. Чего ему? А колченожка лезет: «Отдай шапку, чего лезешь?» Ну, Пашка его пихнет — он с ног. Какие же ноги у колченожки? А я сзади иду и хорошо мне смотреть. Интересно. А Пашка встал у перил и смотрит на буксир «Бурлачок», как тот барку тянет. А колченожка встал, близко боится, сколько раз ведь летал от Пашки. Издалека говорит: «Отдай шапку. Зачем взял?» А сам злится. Плакать уж начинает. Пашка меня спрашивает: «Отдать, что ли?» Смеется. «Пускай, говорю, попросит, как следует, а то он злится все». Засмеялся Пашка: «Верно, говорит, злой он страсть, я его знаю...» И вдруг, смотрю, заплакал колченожка, затрясся. И ножик из кармана достал — и на Пашку. А тот и не видит, зазевался на «Бурлачка». Я как заору: «Пашка, гляди, с ножом!» Тот обернулся. Хлоп! Корзиной. Раз! Раз! Еще! Сшиб колченожку. На руку наступил. «Отпущай, кричит, ножик!» А нога у Пашки что утюг, толстенная. Хорошо еще — босой был, жарко. А то раздавил бы колченожкину руку. А тот все ножом вертит. Пашка надавил ногой — выпустил колченожка ножик. Тут Пашка ногами его, под бока пятками нашпорил. Тот только «ах» да «ах». Потом за шиворот — забрал, что котенка. Как тряхнет, как тряхнет! У того даже пена! Плачет. Брыкается. Злой. А Пашка по щекам, все по щекам. Накрасил, как следует быть. А я Пашке и говорю: «В участок надо. С ножом дрался. Верно?» Пашка: «Верно»,— говорит. Потащил. Да все коленом сзади, все коленом. Прохожие останавливают: «Что такое?» А я: «Ножом дрался, вот что. Вот мальчика этого зарезать хотел». Ну, прохожие: «Тащите его, хулигана, к отцу, к матери». А злюка-колче-

ножка адреса не дает. Тогда Пашка его под бока. А кулаки у Пашки, сам знаешь, во! Указал дом. А под воротами захныкал: «Мальчик! Пусти! Я больше не буду!»

Женя вытирает влажные губы. В восторге весь непонятном. И томит Андрюшу Женин рассказ.

А Женя продолжает, упивается:

— Пашка — фефела. Как дотащили до лестницы, да как тот завыл: «Мальчики, милые! Пустите, дорогие (ей-богу, так и говорил!). Я больше не буду. Меня отец убьет за нож. И матка убьет...» Пашка и растаял: «Пустим, спрашивает,— чево ли? Я ему и так хорошую мятку дал». А я ему: «Дурак, говорю, а если бы он тебя зарезал?..» Ну, Пашка говорит: «Верно. Нечего рассосуливать». Схватил в охапку, на плечо закинул — и по лестнице, в четвертый этаж. Силища у толстого черта страшная! Притащил. И не устал ни капельки. Только морда — что блин на сковородке, так и пышет. Стучали, стучали, звонили, звонили. А Пашка-фефела. «Ушодцы»,— говорит. А я сразу догадался, что, наверное, в пустую квартиру привел заместо своей. «Пустая, говорю, квартира. Чего ему верить, подлецу». Колченожка: «Нет, говорит, милые, я здесь живу. А пустая, говорит, вот та, так она и открыта». И показывает рядом.

Женя волнуется. За руку хватает Андрюшу. Глаза — огонь. Матовое всегда лицо вздрагивающим вспыхивает румянцем. А голос — сказочного злого волшебника.

И еще тяжелее, страшнее дальнейший его рассказ.

И странно. Нетерпение какое-то охватывает Андрюшу. И не может понять: оттого ли, что злое открылось Женино сердце, оттого ли, что правда какая-то небывалая в этом была рассказе, но с нетерпением, как неслыханного чего-то, ждал.

И томился, как в неволе. Торопил:

— Ну? Ну?

— Ну, тогда я говорю: «Давай, Пашка, в пустую его. И дай ему там, чтобы век помнил, как с ножом на людей кидаться». Поволок его Пашка за шиворот. А он плачет и ноги Пашкины целует: «Не бейте, говорит. Простите». Притащили в самую последнюю комнату. Я все двери прикрыл. Завыл колченожка: «Милые мальчики! У меня все косточки ломит. Довольно с меня. Ведь я, говорит, слабый, миленькие». Я тогда: «Ну,

так в участок пойдем. Там тебе не такие косточки покажут. За нож...» А он что с ума сошел. Плачет, дрожит весь, ползает и Пашкины ноги целует. Пашка хохочет, тычет ему в нос своими ножищами: «Целуй, говорит, хорошеньче. Кажный пальчик, да под пальцами, где, говорит, мяса много. А теперь, говорит, пятки!» Издевается, толсторожий, любо ему. Здоровяк! А молодец, Пашка, так и надо! Я ему пятиалтынный дал. Последний. Шоколадку хотел купить, а отдал, не пожалел. Честное слово! Даю пятнадцать копеек и говорю: «Смотри, мол, хорошеньче дай ему». Взял Пашка, сказал спасибо. А я: «И ножичек тебе будет. Вот». Колченожкин ножик показываю. Ну, Пашка, конечно, рад стараться. «Сейчас, говорит, я с ним штукенцию сострою. Разукрашу». Повалил, сел тому на живот, а ноги вот так, чтобы головой не вертел. А ноги у Пашки, сам знаешь, какие. Что у слона. Деревенские все толстопятые, а такой, как Пашка, в особенности. Толстяк. Сжал он колченожкину харю, тот и пошевелиться не может, пищит только, один нос меж Пашкиных ног. Потом послюнил палец указательный. Натянул. Отпустил. Щелк колченожку по носу. Будто пружиной. На втором пальце у того кровь носом. Захныкал пуще. А Пашке смешно: «Двух пальчиков не выдерживает, а их еще восемь». Колченожка скулит, а Пашка щелкает. Преспокойно. Кровь брызжет. А он сидит да щелкает. Кончил с носом, за губы принялся. Нажал щеки пятками — губы так и выпятились, а Пашка и по ним, как по носу. Как пружиной: щелк. Опять со второго щелчка — кровь. Пашка смеется: «Ей-богу, больше двух не выдерживает». А сам щелкает. Как кровь увидал — лучше защелкал. Прямо резина, а не пальцы. Здоровый, деревня!.. По глазам — по одному щелчку, по легонькому, мизинчиком. И то завыл колченожка. Бросил Пашка, надоело. И мне надоело. Пашка говорит: «Ежели б захотел, до смерти мог бы защелкать. Много ли ему, заморышу, надо. Что вшу, можно раздавить ноготком». На прощанье заставил Пашка его золы съесть. Из печки. Горсть целую. Съел. Всю съел. Горсть. Плачет, а ест... Пошли мы. Пашка рад. Еще бы! Пятиалтынный заработал. И ножик. И ножик хорошенький. Перочинный. Два ножичка: маленький один и большой один. Ручка костяная. Хорошенький ножик.

Только когда кончил Женя, увидел Андрюша, что подходят они к саду, и удивился.

Ведь во дворе же Алтуховом разговаривали. Откуда же — сад?

— Женька? Сад?— недоумевал.

— Сад? А что же? Ведь мы же в сад и шли.

— Нет, я не то.

Андрюша почувствовал, что то, что томило его во время Жениного рассказа,— оставило его, лишь произнес он слово «нет».

И повторил громко:

— Нет!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хотя Женя открыл свое злое сердце, хотя «нет» была Женина к красоте и силе любовь — Андрюша был с ним по-прежнему дружен.

Также в саду до звонка вместе — летом, зимою же — на коньках, на Фонтанке, по льду.

А после второго Андрюшиного подвига тесно спаялись их отношения. Будто что один, то и другой. Не похожие друг на друга близнецы.

А второй Андрюшин подвиг такой: в Алтухов дом переехала вдова, полька Русецкая, душевнобольная.

Почему она не в больнице была, а свободно в частных домах проживала — неизвестно.

Была она одинокая. Квартиры меняла часто. И по таким причинам: всегда спокойная и на вид нормальная, Русецкая впадала в настоящее сумасшедшее буйство, если слышит продолжительное хлопанье в ладоши.

В каждом доме, где она жила, подвергали ее этой, созданной больным ее мозгом пытке. И из каждого ей за беспокойство отказывали. И в каждом доме откуда-то узнавали об ее мании и доводили несчастную до бешенства, сначала ребятишки, а потом и взрослые — любители.

Особенно кухарки и горничные.

Русецкая ежедневно с утра уезжала к каким-то родственникам и возвращалась поздно вечером. И вот, когда она появлялась во дворе в пышном шелковом платье, в тальме, с неизменным зонтиком, отороченным черными кружевами, странная, не по моде одетая, смешная для многих,— раздавались одновременно из разных концов двора хлопки.

И безумная полька всегда кричала одно и то же:

— А-а! Швабы проклятые! О, варвары! А-а, а! Все равно я найду вас!

И металась, широко распустив старомодные шелка платья, злобно радуясь, когда затихали на минуту ненавистные звуки.

Кричала в исступленном восторге:

— Ага! Боитесь? Ага! Перестали-и!..

Но дикий взрыв хлопков гасил радость.

И отчаяние, и ужас охватывали несчастную.

Визгливым, пронзительным голосом, точно заклинания творя, выкрикивала:

— О-о-о! Дьяволы, дьяволы, дьяволы!

Бросала в не видимого, а может быть, видимого ею врага зонтиком, кидалась со стремительностью, возможной только у безумных, в разные концы двора, забегала на лестницы, откуда ее выгоняли тем же способом.

И вот, когда алтуховские ребятишки на второй, кажется, вечер травли довели несчастную женщину до того, что бешенство даже улеглось в ней и только надежда на молитву осталась, встала когда на колени среди двора и, по-польски с левого на правое плечо кладя кресты, рыдала, призывая «Матку боску», «Езуса коханего» и «Юзефа-швянтого», чем особенно развеселила детей, стоящих кругом ее и бесстрашно, открыто уже хлопающих,— в этот тяжелый, неизвестно чем окончившийся бы миг Андрюша, возвращавшийся домой из сада, растолкал беснующихся ребят и, встав лицом к лицу с сумасшедшей, сказал просто:

— Пойдемте, тетенька! Я вас проведу до вашей квартиры.

И оттого ли, что прекратилось хлопание, или голос мальчика подействовал почему-то на женщину, поднялась она сразу с колен и, протянув руки, как артистка, проговорила протяжно и жалобно:

— О, уведи! Выведи меня из этого страшного круга!

И когда вел под руку по темной — летом не зажигались лампы — лестнице, не чувствовал ни страха, ни беспокойства, словно не безумную вел.

А она все хватала его рукою за руку и целовала в плечо. И все спрашивала:

— Ты — витязь? Ты — прекрасный витязь? О, я тебя знаю! Ты заколдованный круг расколдовал. Я знаю! Я знаю!

А когда на другой вечер начались опять чьи-то неуверенные хлопки, Русецкая, подняв руки, словно к небу обращаясь, закричала голосом, полным глубокой веры:

— О, мой прекрасный витязь, спаси!

Андрюша не замедлил явиться на зов. Он нарочно ждал на лестнице.

Несколько вечеров так спасал несчастную. И травля прекратилась.

Это и был второй Андрюшин подвиг.

И как ни странно: озорной, любивший мучить людей, бабушку единственную свою родную доводящий до слез Женя Голубовский сказал Андрюше:

— Ты хороший.

И прибавил, нахмурясь почему-то:

— Если бы не ты, мы бы ее до смерти замучили.

И от этого радостно Андрюше стало.

За Женю радостно, не за себя:

— Погоди, и ты будешь хорошим. И уродцев будешь любить.

— Уродов — нет, не буду. Но трогать не буду тоже,— ответил Женя.— Замечать их не буду, так же как кошек и собак. Я кошек и собак не замечаю, а они меня боятся. Не трогаю, а боятся.

Тихону, студенту из двадцать третьего, рассказал Андрюша о своей истории с Русецкой.

С Женей заходил к Тихону нередко. Так заходил, поболтать, рассказов послушать веселых и разных интересных.

Любил Тихон детвору. Особенно землячка Андрюшу.

И теперь, как всегда, поил Тихон мальчуганов чаем с филипповскими баранками, сам же (что с ним случалось очень редко) пил водку и закусывал огурцом и зеленым луком.

Выслушав Андрюшин рассказ, нахмурился отчего-то.

— Круг заколдованный... Да?.. Так... Для всех заколдованный... Что — сумасшедшая? Ей-то, пожалуй,

лучше. Просто у них, у сумасшедших, мировые вопросы разрешаются.

Взял вот ты ее под руку и вывел из заколдованного круга. Эх, кабы всем так-то просто! Под руку и — пожалуйте. А на деле-то не так. Не так, Андрей, братец мой, землячок.

— А что это за круг?— с любопытством спросил Андрюша.

Много думал об этом таинственном круге, для этого и Тихону рассказал историю с Русецкой, чтобы о круге том что-нибудь узнать.

Женя нетерпеливо перебил:

— Да разве же не знаешь? В сказках круг такой заколдованный. Не выйти будто из него.

— Не в сказках, а в жизни, везде,— загорячился отчего-то Тихон,— вот, смотрите. Что этот стол, круг или нет?

— Вот так круг!— оба мальчика, в один голос.— Разве круг это?

— А я говорю — круг,— настойчиво и хмуро ответил студент,— не смотрите, что углы у него. Все — круг. И глазенки ваши, ребятишки глупые,— кругляши тоже. И мои зенки пьяные — кружки. Э, да что — глазенки, зенки! Жизнь наша в отдельности и всего человечества — разве не круг? Не заколдованный разве круг?!

Поднялся, большой, кудластый, уже значительно опьяневший. Такой не похожий на себя. Всегдашняя насмешливая улыбка скорбной какой-то, новой, молящей стала.

Грабли-руки на плечи Андрюшины положил и заговорил тихо:

— А ты расколдовывай, Андрей! Сними печать. Выводить старайся из круга. Не сумасшедших одних только... Зачем? Всех! И себя, и всех. И не спрашивай, как выводить и что за круг такой. Сердце подскажет. Сердце учует. И путь нащупаешь, сердцем опять же.

Отошел. Сел. Задрожавшей от волнения или опьянения рукою зазвенел горлышком сороковки о рюмку.

Но не выпил. Пьяно, думно запророчествовал. Гудел басистым своим голосом:

— Сердце, братцы, главный в человеке пункт. Мозг тоже, но мозг — подлец. А сердце как мать родная. Ты, Женька, эх! Злой Женька, не усмехайся! Чего — ничего? Вижу я... Сердце твое кремневое из глаз твоих

смотрит. Ну, ну! Не сердись! Хороший ты, Женька! Без камня тоже не жизнь... Верьте! Не жизнь и без сердца. Знаете — не маленькие. Его слушайтесь. В него, в сердце, вслушивайтесь:

> О люди, я вслушался в сердце свое
> И вижу, что ваше — несчастно...

Сердце, братцы мои, все... А ты, землячок ты мой любезный, Андрюшка, Андрей Первозванный, сердцу своему сугубо верь. Твое — не обманет. Им, сердцем-то своим, и иди, а не только ногами. Ноги что? Машина. Сердцем иди. Не по всякому пути ногами пройдешь, Андрюша!..

Задрожал густой, колокола словно последний удар, голос Тихона:

— Андрюша! Подвиг большой тебе предстоит. Можешь свершить, по глазам вижу. И этот, Женька, может. Железный Женька. Слышишь, Женька Голубовский? Зло в тебе есть. Его — обуздай. Обузданное зло иной раз добра полезнее. Но помни, железный! Совсем ожелезниться человеку нельзя. Не паровоз он.

Тяжело, как бы опуская наземь непосильную тяжесть, думно пророчествовал Тихон:

— Раскол-до-вы-вайте! Но помните! Тяжкий путь. Вера нужна — во! больше самого себя. А главное — сила. Слабый и не берись. Да не ломовую, не мускульную силу, ее-то у каждой лошади хватит, а сердце надо большое. Чтобы всё вместить. И если потребуется — всё отдать. Понимаете, что значит в с ё?

Опустил на руку, на ладонь огромную, кудластую свою голову, закачал ею над столом, над недопитой рюмкою, пьяным мужиком вдруг стал, самарским каким-то, и загудел дрожью последнею замирающего колокольного удара:

— Ох, пареньки, мальчишечки! Мальчишества своего не гнушайтесь. Всю бы жизнь в мальчишестве пробыть. Вот тогда бы — без ошибки.

И опять вскочил, загрозил пальцем:

— Эй! Мальчишества не бойтесь! Не губите мальчишества-то своего! До конца вот такими будьте. Что в бабки играть, что в черепа — все равно кость-то... Только без ошибки чтобы. Сердцем, повторяю, идти надо. А куда? Оно, сердце же, и укажет. И по-мальчишески: не причесываясь идите, без денег, без платков носовых. И посоха не берите: пусть они останутся, по-

сохи-то, слепым. И препоясываться не нужно. Пусть это Христос «препоясывать чресла» наказывал... А вы так. Штаны поддергивая, по-твоему, Андрюшка, штаны поддергивая! Всё так идите. На лобное место или в землю обетованную — все равно! по-андрюшенски! Но без ошибки чтобы...

Загрозил опять.

— Предостерегаю!.. Или выиграть, или проиграть. Проигрыш тоже — не ошибка. Ошибка у того, кто никогда не ошибался. Вот моя мужичья мудрость, самарский парадокс! А еще — не вразброд, а артелью. Силой расколдовывается колдовство, а не хитростью. Помните это! А не то вместо креста — балалайка получится, вместо Голгофы — балаган, а о земле обетованной и думать забудь... А теперь играть идите. Как играете-то? В войну небось? В солдатики?.. Не играйте! В рюхи лучше или в мячики, в лапту. А в убийство играть не нужно... Вот скоро война с немцами, верно, будет. И тогда не играйте. Немцы тоже самарских мужиков не хуже и не счастливее. И Андрюшки у них такие же и Женьки есть, только Фрицами их зовут... Марш, ребятки! Поддерни портки, землячок! А ты в подтяжках, поди, Женька? Напрасно. Учись без опояски ходить — пригодится сия наука.

Затуманенные, завороженные вышли приятели от студента из двадцать третьего...

— Пьяный,— сказал Женя лениво.

— Умный,— Андрюша сказал задумчиво.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бывает, возмужает душа в юности и в отрочестве даже.

Тогда действовать должен человек, путь какой-то нащупать и звезду возжечь, а от нее — к другой идти звезде, к более яркой, более возженной.

Но — действовать! Не стоять, не ждать.

Ждущий никогда не дождется. Действовать!

Иначе возмужалая одряхлеет душа.

Великие события: войны, революции — младенцев отроками делают, юношами — отроков; юноши мужают, и одряхлевают старики.

Родина двух юношей, Тропина и Голубовского, сотни лет сжатая кандальным кольцом, безысходностью

заколдованного круга, выходила из этого круга, расколдовывала его не колдовством; более могучим, не хитростью наихитрейшею, не магизмом более магическим, а силою.

И — пошли несметные рати новых, по новому пути.

Сердцем пошли.

Твердо, мужественно, ибо многие возмужали.

И Тропин и Голубовский пошли.

Тропин, «да» свое воочию увидевший, сердцем и умом пошел.

Не подлец был ум для Тропина.

Голубовский, силу почитающий и красоту, спутником был товарища.

Но жутка душа Голубовского.

Железно — сердце.

И им, железным, с трудом обуздываемым и управляемым, как в латы закованным средневековым конем, тяжко шел по новому пути Евгений Голубовский.

В февральскую революцию Голубовский в одном из первых восставших полков командовал полуротою.

Присоединил к восставшим частям полки, расположенные в окрестностях Питера.

В Октябрьскую — участвовал. Дрался против Керенского.

Но жутка душа Голубовского. Железно — сердце.

Потому не мог признать правду, признал только силу.

Потому говорил искренно:

— Силу в большевиках люблю. Сила — красота. Слабость — уродливость.

— Обуздывай злобу!— говорил Тропин, счастливый, «да» воочию увидевший.

— Обуздываю и так, но трудно.

Жгучие на матовом, возмужалом не по летам лице мрачным огнем горят глаза Евгения Голубовского.

— Мне бы перевестись на самый жуткий фронт, где в плен не берут, убивают на месте.

Голубовский давно не улыбается, давно не шутит.

Страшно, когда говорит:

— На Плесецкой мою невесту убили, коммунистка была. В поезде, к полу штыком пригвоздили.

Шепотом жутким, как фитиль бомбы:

— Тризну бы по ней... Мне бы на фронт, на самый беспощадный.

Придумывает пытки. Говорит:

— Надо записать их. И рисунки — хорошо. Целую систему.

— Злой ты, Женька!— как в детстве когда-то, говорит, вздыхая, Тропин.

Голубовский откомандировался в Сибирь, в действующую армию, на должность командира одного из красных полков.

Писал товарищу редко, но слышал о нем Тропин не раз. От людей, приезжающих с фронта, из газет узнал о ратных подвигах друга, о двух орденах Красного Знамени, полученных за безумные по храбрости ратные Голубовского дела.

Командир полка Голубовский, переписчик штаба полка Факеев и вестовой Иверсов бежали из неприятельского плена.

Дерзкий побег. Во время следования поезда в тыл.

Из вагона. К станции уже подходил поезд.

Так было.

В лохмотьях, разутые неприятелем, под конвоем часового, сидели в темном товарном вагоне.

Полуголые, жались друг к другу.

А слабый, болезненный Факеев зубами даже дробь выстукивал и все жался к Иверсову, здоровенному двадцатилетнему сибиряку, теплом молодого могучего тела старался согреться.

И вот командир Голубовский тихо на ухо Иверсову:

— Бежим.

И ответа не дожидаясь:

— Бери за горло!

Таким шепотом тихим, точно не слова, а мысль.

И, сам не помня, что делает, поднялся Иверсов.

И через миг...

Загремел винтовкою, сапогами — часовой, ноги зачертили вагонный пол. Хрипел. Горло — в кольце могучих пальцев Иверсова.

Голубовский часового два раза штыком — так и оставил винтовку воткнутою в грудь штыком — пригвоздил к полу.

Насмерть ли, нет — неизвестно.

Ночь. Темь. Поезд свисток давал.

Станция. Повыскакивали на ходу.

Факеев ногу чуть не сломал. Неумело прыгал. Боялся.

Потом — в тени, за вагонами.
Полуголые. Босиком по щебню.
Лес близко.

Всю ночь. Лесом всё, тайгою. Молча. Опасливо жмурясь — ветки по лицу.

Изредка только Факеев жаловался на болевшую ногу.

Дрожал. Ушибал босые ноги.

— Все равно пропадем!

Иногда озлобленно:

— Чего бежали? Все равно в их расположение выйдем. Наши-то теперь черт знает где! Отступают. Так, может, и не расстреляли бы. А уж теперь — непременно...

Богатырь Иверсов хлопал его по плечу лапищей, которой несколько часов назад душил белогвардейца.

— Подтянись, друг! Живы будем — не помрем.

— Брось!— ежил плечи Факеев.

Опять молча. Жмуря глаза. Отводя ветки. Спотыкаясь.

Утром — привал.

— Провианту недостаточно. Плохо,— покрутил головой Иверсов.

— Тебе эти места известны?— спросил его Голубовский.

— Эти плохо знаю. А дальше — наши места на проход. Дойдем, товарищ командир.

Улыбнулся толстощеким добродушным лицом.

Голубовский сказал тихо:

— Не дойдем. Один может дойти, а троим — невозможно.

Поднялся во весь свой высокий рост.

Голос зазвучал, как недавно в полку.

— Иверсов! Необходимо хоть одному из нас дойти до наших частей, для того чтобы этим путем в тыл зайти неприятелю. На первом его фланге силы невелики. Зашедший в тыл даже небольшой отряд, лучше всего кавалерийский, может решить дело всего фронта. Иверсов! Путь этот ты приблизительно запомнишь. Тайгу ты знаешь лучше, чем я питерские улицы. Поэтому раздели по своему расчету весь этот провиант, чтобы хоть понемногу хватило на каждый день. А если

сразу сожрешь, то не доползешь и раком даже половины пути. Понял?

— Что ж, я один разве? А вы?— не понимал Иверсов.

— Тебе одному дойти впору только. Ты здоровее нас. Этот...

Сунул пальцем на побледневшего Факеева:

— Этот определенно не выдержит. Я контужен и ранен был недавно, сам знаешь. Тебе места знакомы.

— Товарищ командир!..

— Стой! Идем вместе до тех пор, пока могу. А провиант тебе. Этот...

Опять ткнул пальцем:

— ...уже не может. Ноги — колодками, сам на черта похож. Привяжем его к дереву, Иверсов. А то вернется. В расположение белых выйдет... Знаю!.. И себя погубит, и нас, а главное — дело погубит, побоится в лесу умирать и хоть к черту в зубы, а полезет. Знаю! Трус.

— Товарищ командир!.. Нельзя. Помирать — так всем. Идти — всем... Как же человека к дереву...— скороговоркою заговорил Иверсов.

— Товарищ Голубовский!

Бледное, судорогою сведенное лицо. Шатается на вспухших ногах Факеев.

— Товарищ Иверсов! Мы не в плену. Запомните это. В порядке боевого приказа — привязать Факеева! — грянул голос, от которого недавно еще трехтысячный полк застывал, как один человек, или в атаку стремительную кидались тысячи, как один.

— И дальше тихо, но твердо, чеканно:

— Иверсов! Я спас тебя под Беляжью. Спаси теперь не меня, а дело. И себя. Себя сбереги для дела. Проводником наших будешь сюда... Наше дело ясное: трое — погибнем. Один — дойдет!.. Молчи! Иверсов! У тебя невеста, помнишь, говорил?..

Тихим голосом, не слова точно, а мысль:

— Помнишь? Катя... Иверсов! Из-за нее тебе спастись надо... О чем разговаривать? Десять суток разве пройдем трое на однодневном пайке и босиком?! А один, если понемногу будешь есть, дойдешь... Козыри, правда, маленькие, но все-таки не бескозырье.

Стоял, голову потупив, красноармеец, вестовой штаба разбитого уже номерного полка, Иверсов.

И — окончательный удар его сомнению и нерешительности:

— Я еще начальник! Повторяю, мы не в плену. Последний раз говорю: в порядке боевого приказа!..

Ругань, бешенство, мольбы, проклятия безобразным свивались клубком.

И безобразным клубком — тело. Бессильное, узкогрудое, с отекшими ногами под ширококостным, твердомясым, крепконогим телом.

Голубовский говорил:

— Крепче вяжи!

— Товарищи!.. Милые!.. А-а-а!.. Что же это, ай!.. Тов... ком...

Голубовский совал в рот Факеева оторванный, скомканный рукав рубахи.

— У-у-у!..

Стиснулись зубы.

— Открой рот, не дури!— сказал Голубовский.

Отчаянно мотал головою, стукаясь об ствол дерева, Факеев.

Снизу глядели глаза в слезах — ноги завязывал лентами оборванной одежды Иверсов.

— Разожми ему рот!

Карие, испуганные, в слезах, глаза. А в них, точно плевок — холодные слова:

— Дурак! Ведь кричать будет!

Опустил глаза. Засопел могучим сопением богатырь Иверсов. Слезы заполосовали загорелые, круглые молодые щеки.

Большим широким телом заслонил маленькое, к дереву притянутое. Руки красно-грязные, жилистые, каждая больше зажатого в них узкого маленького лица.

— То-а-а... у-у-у...

Зубами ловил — Факеев.

— У-ва-а... у-ва...

Тряпкою задыхался.

Толстые, крепкие пальцы разжали обессилевшие челюсти.

Голубовскому вспомнилось: давно мальчишка-колченожка так же вертел головой. Отплевывался от золы. Плакал. Отплевывался, но ел... Всю съел...

Опять шли. Теперь уже двое.

Только изнемогали когда — делали привал.

Голубовский делал привал. Но ненадолго.

Снова — в путь.

Босыми, по жестким кочкам, по сучьям колющим, ногами. Поджимая пальцы, чтобы не так кололо.

Искровавлены, вздуты Иверсова даже привычные твердокожие крестьянские ноги.

Слабело его молодое, мощное, сибирское тело.

Падал вольный таежный дух. Но всегда первый Голубовский говорил:

— Идем! Рассиделись, что на именинах.

Бледный под смуглостью. Голодающий несколько дней. Исхудалый.

Но глаза — огонь черный. Камень.

И голос тверд.

Со страхом, с уважением, граничащим с раболепством, смотрел на высокую, колеблющуюся от слабости фигуру Голубовского Иверсов.

И вслух думал, шепотом:

— И все идет. И все — не евши. Ах ты, дело-то какое!..

На привалах выдавал Иверсову кусочек хлеба — непонятный, сам себя морящий голодом командир Голубовский.

И в отдыхах этих недолгих один разговор — приказание.

— Места запоминай. Поведешь сюда. Слышишь? Даешь слово, поведешь? Любую, первую, которую найдешь, часть. Слышишь?..

— Слушаю, товарищ командир!

И потом жалобно, как нищий:

— Товарищ командир, вы кушайте-то и сами. Что же это? Да я не могу так. Как же я один-то?

Или, сам голодный, решительно отказывался от пищи:

— Не буду есть! Хошь убейте! Не желаю! Голодовка, так всем.

Но неизменный ответ:

— Не дури, баба! Заплачь еще! Воюет тоже! Дыра, а не солдат.

— Да как же? Я зверь, что ли, скотина? Человек голодует, а я...

— А ты — дурак!— отрывисто, плевком.

Потом, секунду спустя:

— Не будешь, значит?

— Один — нет!

Ребром ладони, как лопатою:

— Нет!

Спокойное:

— Ну, тогда идем!

Хлеб оставлен на кочке. Весь запас.

— Товарищ командир...

Жалобно, сзади.

— Ну?

Мнется. Топчется на огромных ножищах. Густо краснеет сквозь грязь и загар.

В больших, животно-коричневых глазах слезы, как у страдающей лошади!

Голубовский поворачивается спиной.

— Разговоры!.. В хоровод, что ли, плясать идешь?.. Забирай хлеб без канители!

И когда идут — отрывисто, через плечо:

— Чтобы это в последний раз, слышишь? Я не девка, чтобы меня уговаривать.

Но был день.

Голубовский прошел с утра с версту, не больше.

Сел на кочку.

Молча, с затаенным страхом смотрел на него Иверсов, на бледно-желтое отекшее лицо, на ходуном ходящую от трудного дыхания костлявую грудь.

Стал подниматься... Сел...

— Отдохни, паря, отдохни...— тихо сказал Иверсов.

И вздохнул.

Жалостливо, по-бабьи как-то прозвучали и слова эти, и вздох.

— Прокопий!— вдруг тихо позвал Голубовский.

Давно когда-то, в штабе еще, называл так, по имени, любимца своего, Иверсова.

И теперь беспокойно Иверсову стало.

Голос задрожал:

— Что? А?

Даже обычного «товарищ командир»— не прибавил.

— Иди... Я не могу. Теперь дойдешь.

Лег. Головой на мшистую кочку, как на подушку.

Ветерок прилетел откуда-то.

Затрепались черные над смугло-восковым лбом волосы.

И кустики брусничника задрожали, зашелестели над запрокинутым лицом.

Вздрогнул Иверсов.

Припал к кочке, с кустиками брусничника, с лицом этим знакомым, но неузнаваемым. Глаза только прежние: не глаза — черный камень.

— Товарищ командир! Как хотите, а не оставлю. На себе понесу. У меня силы хватит еще...

Торопился, захлебывался:

— Два ведь дня только, ей-богу! А вы поешьте!.. Вот, кусочек остался... А то насильно накормлю и понесу на себе. Спина у меня здоровая. И ноги — вот!

Вытягивал толстые сильные ноги.

— Во, ножищи! Выдержат! Товарищ...

Еле слышно, но твердо:

— Не дури! Времени не трать.

Но Иверсов томился. Хватался за голову. Зубы застучали. И слезы, вдруг, слезы.

Запричитал, как баба по покойнику:

— Ба-атюшки! Родимые! А-а-а-яй! Ого-о-о! Тошнехонько моему сердцу! Мил-а-ай, голубчик! Да кой раз уже ты меня спасаешь? Под Беляжью под этой за меня принял пу-у-лю. А-а-а! Да таперича вот, мила-ай! Голодной смертью! Ай, да что же это? Ба-атюшки! За меня-а-а! За дурака-чалдона! Человек ведь нужнай, командир учена-а-й!

Но грозностью своею знакомый голос, голос, от которого трехтысячный полк, как один человек, замирал:

— Сволочь! Дело предаешь! Нежности тут разводит! Арш!

Черно блеснули, прокатились на жуткой бледности лица глаза.

Всхлипнул, губы закусил Иверсов.

Поклонился в землю.

И не выдержал — зарыдал в землю. Богатырь-воин, как баба на кладбище.

И опять:

— Товарищ командир!.. Не могу я один-то!.. Жалко мне!..

Жутко улыбнулось. Первый раз за несколько лет улыбнулось неузнаваемое лицо:

— Жалость, дурь эту, доброту — обуздай.

Тихо, будто не лежащий говорил, а брусничник шелестел.

Поклонился земно Иверсов.

— Прости, товарищ командир... Прощай! Ах, дело-то какое!

— Иди, иди же! Ну?

Зашлепали неуверенные шаги. Зачавкали мхи.

И — опять назад. Как заблудившийся. Как птица у гнезда.

Забыл словно, оставил что-то, чего никогда-никогда не найдешь.

Голову сжал. Чудилось — потеряется, не удержится на плечах голова.

— Ах ты, дело-то какое? Ну как же? Как же тапе-рича? Как же?

Отчаяние томило.

Но тихо, как шелест брусничника, что на кочке, над запрокинутым лицом, с черными играя волосами ветром треплется, тихо прозвучало:

— Опять ты?... Обуздай, говорю.

Зарыдал в голос. Побежал, как малолеток, богатырь-сибиряк.

Через несколько дней кавалерийский разъезд, имея проводником бежавшего из плена красноармейца Иверсова, после долгих поисков наткнулся на труп комполка Голубовского.

Глаза были выклеваны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Человек, много живущий, не годами много, а жизнью, знает какую-то правду жизненную, какой-то неявленный закон ее.

Многоживущий сердце имеет открытое, ибо иначе много не вместить.

Многоживущий в безысходности выход находит, коридор такой в головокружительных закоулках лабиринта.

В непроницаемой слепоте стен — вдруг!— дверь, а то и врата широкие.

Если бы все, или хотя многие, жили много — безысходность, круг заколдованный был бы бессилен.

Мрачное волшебство его не пугало, а забавляло, как балаганный наивный фокус.

Многоживущий Андрей Тропин с детства правду жизненную узнал, поверил в нее.

И была та правда как всякая истинная правда.

И если бы спросил кто Тропина Андрея, что же это за правда такая, от которой ему хорошо, безбоязненно и немучительно,— ответил бы, и отвечал, случалось.

— Правда не особенная какая, а просто правда, настоящая. Правда-сила.

И доказательство — сказка, в детстве им найденная, о богатыре, слитом с землею.

— Встанет богатырь, упрется. И подумает только: «Мать-земля! Выручай!» И притянет его земля, сольется будто с ним. Силу и многотяжелую тяжесть свою передаст. Точно что он, то и земля — одно. Неотделимы.

И где же осилить такую мировую мощь! Где опрокинуть всю землю?

— Это — сказка,— разочаровываются люди.

— Это — правда,— Андрей Тропин говорит.

— Да какая же сила — правда? Зло, несправедливость чаще бывают силою.

— Только правда — сильна. А зло, несправедливость — насилие, а не сила.

И не свернуть с пути, не отвести в сторону в правдивые или неправдивые уверившего в законы жизни Тропина.

Как богатыря, слившегося с землею,— кто сдвинет, поколеблет?

И счастлив был Тропин. И хорошо ему было, светло.

И пошел Тропин по пути новому, проложенному многими новыми, пошел сердцем более еще светлым, чем всегда.

Не сердце, а солнце.

И возмужавший, как и все по новым идущие путям, в возмужании своем и юность, мальчишество свое сохранил.

Не причесываясь, себя не видя, не замечая, не препоясанный шел.

И путь временами тяжкий, из крестного крестный, казался свадебным в звонах троечных, в песнях заливистых, в блеске слепящем, в дух захватывающем ветре — жениховым праздничным путем.

Слава тому, чье сердце открыто!

Слава тому, чья сила — правда!

Слава юность сохраняющим в пути!

Слава юным!

Она сказала...

Она всегда говорила не так, как говорят.

Не кокетливо это было, не оригинальничанье, а как-то складывались слова не как у всех.

Она сказала:

— Когда вас видишь, оттепель вспоминается. Иногда, знаете, в конце зимы — тепло. Снег, а тепло. Хочется сбросить надоевшую за зиму тяжелую одежду. Кажется — выкупайся в проруби, и не простудишься, даже не озябнешь... Знаете, вы весенний какой-то. Солнечный. Вам, вероятно, всегда хорошо, радостно? Вы — счастливец? Необыкновенный счастливец! Не правда ли?

Он два дня как приехал с фронта, чтобы по предписанию Реввоенсовета снова ехать на другой уже фронт, на опасный, беспокойный, где царствовали паника, измена, дезертирство, где каждая деревня — гнездо бандитов.

У него ныла контуженая нога.

И еще: перед глазами его мелькали строки недавно полученного письма, извещавшего о гибели бежавшего из плена друга детства. Гибели от истощения, в лесу.

Он улыбнулся.

— Никакого необыкновенного счастья я не испытываю.

— Нет! Нет! Не говорите! Вот вы улыбнулись, и... Разве несчастливые могут так улыбаться?

Она много еще говорила.

Он о т к р ы т ы м своим сердцем чувствовал, что она его любит.

Если бы она спросила:

— А ты меня любишь?

Сказал бы:

— Да.

И не солгал бы. Любил.

Через два-три дня, отправляясь на фронт, в вагоне, почувствовал, что оставил что-то хорошее, радостное.

Грустно стало.

Прошептал:

— Грустно.

Но не сделалось легко, как в детстве. Не вышла облаченная в слово грусть, не растворилась, как бывало.

Тяжелая, непроницаемая стояла толпа.

Эта толпа укрывала бандитов, дезертиров. Прятала в землю, гноя, продовольствие. Случалось, убивала митингующих агитаторов.

Она и теперь молчала затаенно.

Тяжелая, непроницаемая, как стена, скала, как лес непроходимый.

Но не было ропота, выкриков и свиста. Раньше всегда так во время митинга, а теперь не было.

Комиссар Тропин знал, что не будет. И не в себя верил, не на силу своей убедительности надеялся, а верил толпе этой, не боялся ее.

Как выступил, открыл митинг, как сказал первое, призывное: «Товарищи!»— сразу поверил в толпу, почувствовал, что он, что она — одно.

Потому и верил и не боялся. Потому просто говорил, как о самом простом, что объявляется мобилизация, что дезертирство и саботаж будут караться по всей строгости закона.

И толпа, убивавшая, случалось, агитаторов, как конокрадов — так же зверски, до неузнаваемости, до смешения с землею,— молчала.

И когда сходил с возвышения, с телеги какой-то ломаной спрыгивал комиссар — не было ропота, насмешек и свиста.

И проходил когда через толпу — расступались.

И глаза, в которые мельком вглядывался, много глаз — не хитро сощуренные, звериные, выжидающие (много таких было, когда открыл митинг), а детски печальные, немигающие.

Такие печальные, немигающие и внимательные глаза бывают у сознающих свою виновность детей.

Странное, небывалое стало твориться с Тропиным.

От условий ли жизни беспокойных, опасных на беспощадном фронте, где каждый день бои, каждый миг — опасность, где отдых мимолетен и долог упорный путь борьбы, где спокойствие — мгновение, а ужас, страдание и кровь — цепь мгновений, одно другого страшнее,— от жизни ли такой странное и небывалое стало твориться с Тропиным.

Начелось после одного из упорных боев под деревней Кедровкою.

По словам комбрига Жихарева, Кедровка — «могила».

И действительно, деревнюшка в болотистой низине: обстреливай со всех сторон, пока не выбьешь.

Но Кедровка — важный пункт. В версте, не больше,— железная дорога, в двух верстах — река.

Потому и бились из-за нее.

Вырывали друг у друга. По три раза в неделю переходила из рук в руки. И казалось, будто из-за нее и застыли грозными фронтами неприятели, враг против врага. Казалось, из-за Кедровки этой и война затеялась и вечно будет продолжаться.

И вот в Кедровке у Тропина и началось то странное и небывалое, что заставляло задумываться.

Заняли красные тогда Кедровку второй раз.

Ехали в нее комбриг Жихарев и военкомбриг Тропин.

И вот на пути недолгом, лесом, опушкою, стало казаться Тропину, что всегда, всю жизнь ехал он именно здесь, вот в этом низкорослом унылом лесу с деревцами, пулями обшарканными.

И так ясно почувствовалось, что, кажется, и сомнения не могло быть никакого.

Стало неловко. Не по себе.

Даже теснить стала одежда, френч. Крючок отстегнул на воротнике, хотя свежо, ветрено было. «Что за белиберда? Беллетристика, мистика, ерундистика»,— нарочно подбирал созвучные слова.

А комбриг говорил, оборачиваясь в седле:

— Дня два побудем. И опять выбьют. Так взад и вперед и будем шляться. Третья бригада месяца два крутилась здесь.

Замурлыкал что-то. Опять оборотился:

— Будто танцуем. Пройдемся. И назад. Опять — сюда, опять — назад. Вальс сумасшедшего.

Тропин засмеялся насильно. И сказал насильно:

— Заколдованный круг.

«Расколдуем»,— подбодрил себя мысленно.

В деревню въезжали.

Неприятель делал пристрелку.

С этой Кедровки и началось.

И каждый раз, когда в нее вступали после отступления белых, ощущал Тропин то же, что и раньше.

И еще: неотступно преследовала мысль, что в с е г д а так будет.

Всегда и в е з д е.

И в другой деревне, и в городе. И не на фронтах, а и в детстве, в Питере, в Алтуховом даже доме так было.

«Как? И в детстве — Кедровка?»— спрашивал себя насмешливо.

И смеялся принужденно:

«Дурак! Комиссар еще. Беллетристику развел. Тьфу!..»

Но неспокойно было.

И не Кедровка уже смущала. А всё. Будто везде проникло что-то такое к е д р о в о ч н о е, уныло-безысходное.

«Нервы, что ли»,— думал с досадою Тропин и говорил себе твердо: «Обуздать себя надо!»

«Зло обуздай»,— вспомнились давнишние слова Тихона-студента. И Голубовский вспомнился. Смерть трагическая его.

И вдруг...

В штабе было. Бумагу, рапорт подписывал.

И перо отложил — так мысль внезапная поразила.

А мысль была: «Голубовского — н е б ы л о вообще. Не умер, а вовсе не было, не жил...»

Боролся с мыслью этой. А она упорно, водой капала: «Не было, не было, не было»!..»

До того стало странно и неприятно — быстро, не читая, подписал бумагу и, отдавая ее секретарю, сказал:

— А у меня, товарищ Борисов, был друг такой, Голубовский...

Сделал ударение на слове «был».

— Я знал одного Голубовского на колчаковском фронте,— сказал Борисов,— вероятно, тот и есть.

— Ага, знали!— вскрикнул, неожиданно для себя, Тропин.— Был? Значит, был?

Бумага выскользнула из рук секретаря. Прошелестела, упала на пол.

— Фу, как вы меня напугали!— вздрогнул Борисов, нагибаясь за бумагой.

Тропин молчал. Не рассказывал про Голубовского. К окну отвернулся.

Синее, за окном, точно вымытое сентябрьское небо. Чуть заметно проплывающие облака.

Что это?

Затуманилось в глазах.

— Черт возьми!

Поспешно вытащил платок. Покосился на Борисова.

А в груди тесно.

В детстве, вспомнил, раз так было, плакал тогда.

Ясно понял: жалко Голубовского.

Не за то, что погиб Голубовский, а за то, что мрачен и темен, как в ночи беззвездной, путь был Голубовского.

Ясно понял: прежнее, открытое его, Тропинское, недавнее еще радостное — тучами ли, облаками, вот такими незаметно проплывающими, заволакивается.

А если — погаснет солнце?

А если — беззвездная ночь?

И новое в жизнь Тропина вошло.

Ночь обнимала светлое, солнечное небо его.

Тоска, не знал которой никогда, тихо, незаметно вкрадывалась, вором хищным вошла в душу Тропина, в открытое сердце его.

А от тоски и страх.

В бою одном особенно сильно почувствовал.

И бой не особенный какой, не такие видел Тропин, не в таких участвовал. Перестрелка небольшая.

И вдруг — страх. И не от мысли, что убьют, не смерть пугала, а назойливый неотступный вопрос: «Зачем — смерть?»

И после уже боя все стоял этот вопрос: «Зачем?»

И главное: слишком велико значение слова «зачем?».

Каждое слово, если оно представляется (самое простое слово) во всей величине своей — значительно, колоссально.

И теперь у Тропина выросло в необъемлющую величину, в неизмыслимые размеры слово «зачем?». Все видимое, познаваемое, чувствуемое в один облеклось вопрос.

И по вопросу этому понятно стало, почему угнетала Кедровка, почему Голубовский казался не существовавшим никогда, почему беззвездной ночью объят был его, тропинский, мир — жизнь.

И все — необъясняемо понятно стало.

И необъясняемо понятен «заколдованный круг» — «зачем?».

После радости огромной, такой как и раньше — жениховой,— вдруг — печаль.

Чудилось: ноги его, ноги богатыря, отрывались от земли.

Изменила ли земля?

Враг ли неведомый какой осиливал?

Бессильны ли стали слова «Мать-земля! Выручай!»?

Или — богатырь перестал верить в землю?

Дрогнула, может, богатырская сила?

Кто знает? Кто скажет?

Но только вместо радости, которая — возможность всех возможностей, наступила печаль — невозможность.

Было это в городке маленьком, затерянном — села бывают больше и горделивее, чем приникший тот покорный городок.

И печаль эта наступила вслед за радостью. После того как приехала в городок она, Люся.

Она говорила:

— Я не могла больше! Я так исстрадалась. Думала, сойду с ума. Я не могу без тебя.

Говорила не так, как раньше.

Просто. Без оттепелей, без солнца.

Просто:

— Не могла. Не могу без тебя.

Искренно.

Знал Тропин, что искренно.

И залились тройки свадебной лихие бубенцы, грудь захватил воздух — ветер буйный, встречу летящий свадебному поезду.

И опять восторженно шептала, глаза вперив молящие и жадные, влюбленные глаза:

— Счастливец! Счастливец! Дай на счастье посмотреть! От солнца твоего погреться.

Но печаль и тревога охватили Тропина.

Обходя однажды караулы, остро почувствовал печаль и тревогу.

На красноармейца-татарина, одиноко стоящего, взглянул — и стало печально и тревожно.

И неловко перед ним, перед татарином-красноармейцем, перед часовым.

Одинокий часовой!

Один, как часовой!

Так неловко стало, что, пройдя мимо, вернуться хотел и сказать часовому:

— Прости, что изменил тебе, часовой. Ты один, а я — не один. Я ведь тоже часовой, но я — не один.

И повернул уже назад.

И фраза эта, внезапно, без воли его в мозгу его возникшая, уже шевелилась на губах.

Но не подошел, а, глаза опустив, ускорив шаг, прошел мимо часового, равнодушно смотрящего вслед.

В тот же день говорил Люсе:

— Видеться нам часто нельзя. Да и лучше бы тебе ехать домой, в Питер.

Городок был почти в тылу. Жители не эвакуировались, но он говорил:

— Здесь — фронт. Тебе жить здесь неудобно.

Люся дулась:

— Ты меня гонишь, я отлично вижу. Все живут, а мне нельзя?..

Она не уехала. Но виделись реже.

Тропин всегда был с нею. В с е г д а. Минуты не забывал о ней.

Но — печаль не проходила.

И тревога и неловкость.

Точно изменил ч е м у-т о.

Как-то раз почувствовал: богатырь изменяет земле.

Теперь земля не выручит.

Было страшно.

Первый раз в жизни испытал такой страх.

Сковывающий, железный, как кандальное кольцо.

Но так просто.

Это всегда п р о с т о.

Она сказала:

— У вас здесь, при бригаде, арестованный, пленный. Мой родной брат.

Тропин вспомнил:

— Да, да! Я думал — однофамилец.

— Ничего подобного. Родной брат.

Она заволновалась:

— Боже, что с ним сделают?

Тропин молчал. Он знал, что сделают. Контрразведчик, на фронте, попавший в плен.

— Я завтра отправляю его в тыл.

Тропин сказал неправду.

Он пошлет сегодня следственный материал.

Знал, что расстреляют здесь, что ему придется отдавать распоряжение о приведении приговора в исполнение.

И знал еще, что дело Люсиного брата никому не известно, что он может отослать его в тыл как обыкновенного пленника.

Она спрашивала тихо, но настойчиво:

— Но что же с ним сделают? Расстреляют?

Тропин ответил:

— Да.

Не мог лгать.

Она кричала:

— Нет! Это невозможно! Я... О, боже мой! Звери! Изверги! Сумасшедшие дикари!..

Ругалась бешено. С ненавистью в голосе и глазах. Плакала долго, до истерики.

Тропин подавал воду. Успокаивал. Происходило это в ее маленькой квартирке, в доме вдовы-почтальонши, на окраине города.

У порога лежала. Растерзанная. В ленты рвала не платье уже — лохмотья.

Тела не стыдясь обнаженного, кричала до сипоты:

— Не уйдешь, пока не скажешь: «Да!» Или по мне пойдешь? Через меня, через невесту — переступишь?

Он молчал. Он знал: будет надо — переступит.

Она, не ослабевая, кричала.

Требовала, молила, чтобы он прекратил братино дело.

— Ведь никто-никто не знает, сам говорил. Отправь в тыл... Ведь он же безвреден будет там для твоей партии. О, ты сделаешь это, да? Ведь да? Ну скажи: «Да!»

Он молчал.

Первый раз понял, что и «да» бывает как «нет».

И потому с трудом, но твердо ответил:

— Нет!

Ползала у ног, ловила его ноги, в отчаянии и тоске безмерной молила:

— Нет, ты не сделаешь этого! Ты же любишь меня! Ведь не сделаешь, да?

— Нет! Не могу! Ты пойми...

Говорил много о том, что ясно, на что и слов тратить нечего.

Ясно: нельзя! Ясно: нет!

И двух слов, оба в пять букв, так ужасна была борьба.

И понял сразу, не мыслями, а как-то всем собою, всеми чувствами, жизнью своей всей: настоящей, прошедшей и даже будущей, понял, чтó такое заколдованный круг. Не «зачем?», как думалось раньше, а круг тот — из двух слов: «да», «нет».

И еще понял: расколдовать или, наоборот, заколдовать его, этот круг, еще сильнее можно опять-таки этими же словами: «да» или «нет».

И страх, и тоска, и неловкость — пропали мгновенно, и силу почувствовал в мыслях и ясность, каких никогда не бывало.

И радость, радость — хоть смейся. Твердо на земле (которая — он сам), незыблемо стоял богатырь.

Выручила правда — земля.

Сделал шаг к двери.

Люся вскочила. И глаза ее (навсегда запомнил Тропин) были знающими.

Тихо прошептала:

— Ты... не любишь... меня?..

Он так же тихо:

— Люблю, но не так, как люблю...

— Как что?

Спросила не как кого, а что.

Молча сделал еще шаг.

Она открыла дверь:

— Иди! Уйди!..

Голос ее задрожал.

Звонко крикнула вслед:

— Проклятый! Убил меня! Убийца!

На минуту, обезумевшая, выбежала:

— Убийца!

На другой день Тропин получил два пакета: один — из тыла, в ответ на «следственное производство» о контрразведчике Любимове.

В конце стояло: «По исполнении немедленно донести».

Второе письмо — записка. Два слова: «Убийца! Проклинаю!»

Через час, не больше, прибежал мальчуган, приносивший записку.

Задыхался. Бежал, вероятно, с самой окраины.

— Товарищ... комиссар... Барышня...

Тропин смотрел на раскрасневшееся, потное лицо мальчика, на испуганные глаза.

Все понял.

Закружилась голова. Но совладал с собою.

— Ишь запыхался. Ну что — барышня?

— Барышня... отравилась.

Вздрогнувшей рукой погладил мальчика по мокрым волосам и недвижимыми губами произнес:

— Иди... милый.

Взял портфель. «Портфель,— думал напряженно.— Зачем — портфель?»

Стоял минуту, держа в обеих руках сложенный вдвое портфель.

Вспомнил: в портфеле — бумага, утром полученная из тыла.

Вспомнил, в конце той бумаги значилось: «По исполнении немедленно донести»...

Вечером того же дня комбриг спрашивал Тропина:

— Неужели вы сами расстреляли того... Любимова, что ли?.. Собственноручно?

— Да,— ответил военкомбриг Тропин.

1924 г. Лето

ВОЛКИ

Повесть

1

Ваньки-Глазастого отцу, Костьке-Щенку, не нужно было с женой своей, с Олимпиадою, венчаться.

Жили же двенадцать лет невенчаные, а тут вдруг фасон показал. Граф какой выискался!

Впрочем, это все Лешка-Прохвост, нищий, тоже с Таракановки, поднатчик первый, виноват.

— Слабо,— говорит,— тебе, Костька, свадьбу сыграть!

Выпить Прохвосту хотелось, ясно! Ну, а Щенок «за слабо» в Сибирь пойдет, а тут еще на взводе был.

— Чего — слабо? Возьму да и обвенчаюсь. Вот машину женкину продам, и готово!

А Прохвост:

— Надо честь честью. В церкви, с шаферами. И угощение чтобы.

Олимпиады дома не было. Забрал Щенок ее машинку швейную, ручную, вместе с Прохвостом и загнали на Александровском.

Пришла Олимпиада, а машинку Митькою звали. Затеяла было бузу, да Костька ей харю расхлестал по всем статьям и объявил о своем твердом намерении венчаться, как и все прочие люди.

— А нет, так катись, сука, колбасой!

Смех и горе! Дома ни стола, ни стула, на себе — барахло, спали на нарах, в изголовье поленья — «шестерка», как в песне:

На осиновых дровах,
Два полена в головах.

И вдруг — венчаться!

Но делать нечего. У мужа — сила, у него, стало быть, и право. Да и самой Олимпиаде выпить смерть захотелось. И машинка все равно уж улыбнулась.

Купили водки две четверти, пирога лавочного с грибами и луком, колбасы собачьей, огурцов. Невеста жениху перед венцом брюки на заду белыми нитками зашила (черных не оказалось), и отправились к Михаилу Архангелу.

А за ними таракановская шпана потопала.

Во время венчания шафер, Сенька-Черт, одной рукою венец держал, а другой брюки поддерживал — пуговица одна была и та оторвалась.

Гости на паперти стреляли — милостыню просили.

А домой как пришли — волынка.

Из-за Прохвоста, понятно.

Пока молодые в церкви крутились, Прохвост, оставшийся с Олимпиадиной маткою, Глашкой-Жабою, накачались в доску: почти четверть водки вылакали и все свадебное угощение подшибли.

Горбушка пирога осталась да огурцов пара.

Молодые с гостями — в дверь, а Прохвост навстречу — с пением:

Где ж тебя черти носили!
Что же тебя дома не женили?

А старуха Жаба на полу кувыркается — и плачет, и блюет.

Невеста — в слезы. Жених Прохвосту — в сопатку. Тот его.

Шпана — за жениха, потому он угощает.

Избили Прохвоста и послали настрелять на пирог.

Два дня пропивали машинку. На третий — Олимпиада опилась. В Обуховской и умерла. Только-только доставить успели.

Щенок дом бросил и ушел к Царь-бабе, в тринадцатую чайную.

А с ним и Ванька.

Тринадцатая чайная всем вертепам вертеп, шалман настоящий: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.

Хозяин чайной — Федосеич такой, но управляла всем женка его, Царь-баба, Анисья Петровна, из копорок, здоровенная, что заводская кобыла.

Весь шалман держала в повиновении, а Федосеич перед нею, что перед богородицей,— на задних лапках.

С утра до вечера, бедняга, крутится, а женка из-за стойки командует да чай с вареньем дует без передышки — только харя толстая светит, что медная сковородка.

И не над одним только мужем Царь-баба властвовала.

Если у кого из шпаны или из фартовых деньги завелись — лучше пропей на стороне или затырь так, чтобы не нашла, а то отберет. Самых деловых собственноручно обыщет и отнимет деньги.

— Пропьешь,— говорит,— все равно. А у меня они целее будут. Захочешь чего, у меня и заказывай. Хочешь — пей!

Водку она продавала тайно, копейкою дороже, чем в казенках.

Ванька-Селезень, ширмач, один раз с большого фарту не захотел сдать деньги Царь-бабе, в драку даже полез, когда та начала отбирать.

Но ничего у Ваньки не вышло.

Да и где же выйти-то?

Сила у него пропита, здоровье тюрьмою убито, а бабища в кожу не вмещается.

Принялась она Селезня хлобыстать со щеки на щеку — сам денежки выложил.

Так Царь-баба и царствовала.

Одинокие буйства прекращала силою своих тяжелых кулаков или пускала в ход кнут, всегда хранящийся под буфетом.

Если же эти меры не помогали, на сцену являлся повар Харитон, сильный, жилистый мужик, трезвый и жестокий, как старовер.

Вдвоем они как примутся чесать шпану — куда куски, куда милостыня.

Завсегдатаи тринадцатой почти сплошь — рвань немыслимая, беспаспортная, беспорточная; на гопе у Макокина и то таких франтов вряд ли встретишь.

У иного только стыд прикрыт кое-как.

Ванька-Глазастый, родившийся и росший со шпаною, не предполагал, что еще рванее таракановских нищих бывают люди.

В тринадцатой — рвань форменная.

Например — Ванька-Туруру.

Вместо фуражки — тулейка одна; на ногах зимою — портянки, летом — ничего; ни одной заплатки, все — в клочьях, будто собаки рвали.

А ведь первый альфонс! Трех баб имел одновременно: Груньку-Ошпырка, Дуньку-Молочную и Шурку-Хабалку.

Перед зеркалом причесывается — не иначе.

Или вот «святое семейство»: Федор Султанов с сыновьями Трошкою, Федькою и Мишкою-Цыганенком.

Эти так: двое стреляют, а двое в чайной сидят. Выйти не в чем. Те придут, эти уходят.

Так, посменно, и стреляли.

А один раз — обход.

«Святое семейство» разодралось — кому одеваться?

Вся шпана задним ходом ухряла, а они дерутся изза барахла. Рвут друг у дружки.

Всю четверку и замели: двое в одежде, двое чуть не нагишом.

Или еще король стрелков, Шурка-Белорожий. В одних подштанниках и босой стрелял в любое время года. В рождество и крещенье даже.

«Накаливал» шикарно! Другой вор позавидует его заработку.

Да и как не заработать?

Красивый, молодой и в таком ужасном виде.

Гибнет же человек! В белье одном. Дальше нижнего белья уж ехать некуда.

Не помочь такому — преступление.

А стрелял как!

Плачет в голос, дрожит, молит спасти от явной гибели.

— Царевна! Красавица! Именем Христа-спасителя умоляю: не дайте погибнуть! Фея моя добрая! Только на вас вся надежда!

Каменное сердце не выдержит, не только женское, да еще если перед праздником.

А ночью к Белорожему идет на поклон шпана. Поит он всех, как какой-нибудь Ванька-Селезень, первый ширмач, с фарту.

Костька-Щенок Ваньку своего отдал Белорожему на обучение.

Пришлось мальчугану босиком стрелять, или, как выражался красноречивый его учитель, «симулировать последнюю марку нищенства».

— Ты плачь! По-настоящему плачь!— учил Белорожий.— И проси — не отставай! Ругать будут — все равно проси! Как я! Я у мертвого выпрошу.

Действительно, Белорожий у мертвого не у мертвого, а у переодетого городового (специально переодевались городовые для ловли нищих) три копейки на пирог выпросил.

Переодетый его заметает, а он:

— Купи, дорогой, пирога и бери. Голодный! Не могу идти!

Тот было заругался, а Белорожий на колени встал и панель поцеловал:

— Небом и землей клянусь и гробом родимой матери — два дня не ел.

Переодетый три копейки ему дал и отпустил. Старый был фараон, у самого, поди, дети нищие или воры, греха побоялся — отпустил.

Ванька-Глазастый следовал примерам учителя: плакал от холода и стыда. Подавали хорошо. Отца содержал и себе на гостинцы отначивал.

Обитатели тринадцатой почти все и жили в чайной.

Ночевали в темной, без окон, комнате.

На нарах — взрослые, под нарами — плашкетня и те, кто позже прибыл.

Комната — битком, все вповалку. Грязь невыразимая. Вошь — темная; клопы, тараканы.

В сенях кадка с квасом — и та с тараканами. В нее же, пьяные, ночью, по ошибке мочились.

Только фартовые — воры — в кухне помещались, с поваром.

Им, известно, привилегия.

«Четырнадцатый класс»— так их и звали.

Выдающимися из них были: Ванька-Селезень, Петька-Кобыла и Маркизов Андрюшка.

Ванька-Селезень — ширмач, совершавший в иной день по двадцати краж. Человек, не могущий равнодушно пройти мимо чужого кармана.

Случалось, закатывался в ширму, забыв предварительно «потрёкать», то есть ощупать карман,— так велико было желание украсть.

Селезень — вор естественный.

«Брал» где угодно, не соображаясь со стремой и шухером.

На глазах у фигарей и фараонов залезал в карман одинокого прохожего.

Идет по пятам, слипшись с человеком. Ребенок и тот застрёмит.

А где «людка»— толпа,— будет втыкать и втыкать, пока публика не разойдется или пока самого за руки не схватят.

Однажды он «сгорел с делом», запустив одну руку в карман мужчины, а другую — в карман женщины.

Так, с двумя кошельками — со «шмелем» (мужской кошелек) и с «портиком» (дамский) в руках — повели в участок.

У Знаменья это было, на литургии преждеосвященных даров.

Петька-Кобыла — ширмач тоже, но другого покроя. Осторожен. Зря не ворует. Загуливать не любит. С фарта и то норовит на чужое пить.

Из себя — кобёл коблом.

Волосы под горшок, но костюм немецкий. И с зонтиком всегда, и в галошах. Фуражка фаевая, купеческая.

Трусоват, смирен. Богомол усердный. С фарта свечки ставил Николаю Угоднику. В именины не воровал.

Маркизов Андрюшка — домушник.

Хорошие делаши, вроде Ломтева Кости и Миньки-Зуба, с Маркизовым охотно на дела идут.

Сами приглашают, не он их.

Маркизов — человек жуткий.

Не пьет, а компанию пьяную любит, не курит, а папиросы и спички всегда при себе.

Первое дело его, в юности еще: мать родную обокрал, по миру пустил. Шмару, случалось, брал «на малинку».

Вор безжалостный, бесстыдный.

На дело всегда с пером, с финкою, как Колька-Журавль из-за Нарвской.

«Засыпается» Маркизов с боем.

Связанного в участок и в сыскное водят.

В тринадцатую перебрались новые лица: Ганька-Калуга и Яшка-Младенец.

Не то нищие, не то воры или разбойники — не понять.

Слава о них шла, что хамы первой марки и волыночники.

Перекочевали они из живопырки «Манджурия».

Калуга «Манджурию» эту почти единолично (при некотором участии Младенца) в пух и прах разнес.

Остались от «Манджурии» стены, дверь, окна без рам и стул, что под бочонком для кипяченой воды стоял у дверей.

Остальное — каша.

Матвей Гурьевич, хозяин трактира, избитый, больше месяца в больнице провалялся, а жена его — на сносях она была — от страха до времени скинула.

И волынка-то из-за пустяков вышла.

Выпивала манджурская шпана. Взяли на закуску салаки, а хозяин одну рыбку не додал.

Калуга ему:

— Эй ты, сволочь! Гони еще рыбинку. Чего отначиваешь?

Тот — в амбицию:

— А ты чего лаешься? Спроси как человек. Сожрал, поди, а требуешь. Знаем вашего брата!

Калуга, вообще не разговорчивый, схватил тарелку с рыбою и Гурьевичу в физию.

Тот заблажил. Калуга его — стулом. И пошел крошить. Весь закусон смешал, что карты: огурцы с вареньем, салаку с сахаром и т. д.

Чайниками — в стены, чай с лимоном — в граммофон.

Товарищи его — на что ко всему привычные — хрять.

Один Младенец остался.

Вдвоем они и перекрошили все на свете.

Народ как стал сбегаться — выскочили они на улицу. Калуга бочонок с кипяченой водою сгреб и дворнику на голову — раз!

Хорошо, крышка открылась и вода чуть тепленькая, а то изуродовать мог бы человека.

Калуга видом свирепый: высокий, плечистый, сутулый, рыжий, глаза кровяные, лицо — точно опаленное. Говорит сипло, что ни слово —„мать".

Про него еще слава: в Екатерингофе или в Волынке где-то вейку ограбил и зарезал, но по недостаточности улик оправдался по суду.

И еще: с родной сестренкою жил, как с женою. Сбежала сестра от него.

Калуга силен, жесток и бесстрашен.

Младенец ему под стать.

Ростом выше еще Калуги. Мясист. Лицо ребячье: румяное, белобровое, беловолосое. Младенец настоящий!

И по уму дитя.

Вечно хохочет, озорничает, возится, не разбирая с кем: старух, стариков мнет и щекочет, как девок, искалечить может шутя. Убьет и хохотать будет. С мальчишками дуется в пристенок, в орлянку. Есть может сколько угодно, пить — тоже.

Здоровый. В драке хотя Калуге уступает, но скрутить, смять может и Калугу. По профессии — мясник. Обокрал хозяина, с тех пор и путается.

Калуга по специальности не то плотник, не то кровельщик, картонажник или кучер — неизвестно.

С первого дня у Калуги столкновение произошло с Царь-бабою.

Калуга заговорил на своем каторжном языке: в трех словах пять „матерей"— Анисья Петровна заревела:

— Чего материшься, франт? Здесь тебе не острог!

Калуга из-под нависшего лба глянул, будто обухом огрел, да как рявкнет:

— Закрой хлебало, сучья отрава! Не то кляп вобью!

Царь-баба мясами заколыхалась и присмирела.

Пожаловалась после своему повару.

Вышел тот. Постоял, поглядел и ушел.

С каждым днем авторитет Царь-бабы падал.

Калуга ей рта не давал раскрыть.

На угрозы ее позвать полицию свирепо орал:

— Катись ты со своими фараонами к чертовой матери на легком катере.

Или грубо балясничал:

— Чего ты на меня скачешь, сука? Все равно с тобой спать не буду!

— Тьфу, черт! Сатана, прости меня господи!— визжала за стойкою Анисья Петровна.— Чего ты мне гадости разные говоришь? Что я, потаскуха какая, а?

— Отвяжись, пока не поздно!— рявкал Калуга, оскаливая широкие щелистые губы.— Говорю: за гривенник не подпущу. На черта ты мне сдалась, свиная туша! Иди вот к Яшке, к мяснику. Ему по привычке с мясом возиться. Яшка-а!— кричал он Младенцу.— Бабе мужик требуется. Ейный-то муж не соответствует. Чево?.. Дурак! Чайнуху заимеешь. На паях будем с тобою держать!

Младенец глуповато ржал и подходил к стойке.

— Позвольте вам представиться с заплаткой на...

Крутил воображаемый ус. Подмигивал белесыми ресницами. Шевелил носком ухарски выставленной ноги, важно подкашливал:

— Мадама! Же-ву-при пятиалтынный. Це зиле, але, журавле. Не хотится ль вам пройтиться там, где мельница вертится?..

— Тьфу!— плевалась Царь-баба.— Погодите, подлецы! Я, ей-богу, околоточному заявлю!

— Пожалуйста, Анись Петровна!— продолжал паясничать Младенец.— Только зачем околоточному? Уж лучше градоначальнику. Да-с! Только мы усю эту полицию благородно помахиваем, да-с! И вас, драгоценнейшая, таким же образом.— Чего-с?— приставлял он ладонь к уху.— Щей? Спасибо, не желаю! А? Ах, вы про околоточного? Хорошо... Заявите на поверке. Или в обчую канцелярию.

— Я те дам — помахиваю! Какой махальщик нашелся! Вот сейчас же пойду заявлю!— горячилась, не выходя, впрочем, из-за стойки, Анисья Петровна.

А Калуга рявкал, тараща кровяные белки:

— Иди! Зови полицию! Я на глазах пристава тебя поставлю раком. Трепло! Заявлю! А чем ты жить будешь, сволочь? Нашим братом шпаной да вором только и дышишь, курва!

— Заведение закрою? Дышишь?— огрызалась хозяйка.— Много я вами живу. Этакая голь перекатная, прости господи! Замучилась!..

Калуга свирепел:

— Замолчь, сучий род! Кровь у тебя из задницы выпили! Заболела туберкулезом.

Младенец весело вторил:

— Эй! Дайте стакан мусору! Хозяйке дурно.

Такие сцены продолжались до тех пор, пока Анисья Петровна не набрала в рот воды — не перестала вмешиваться в дела посетителей.

В тринадцатой стало весело. Шпана распоясалась. Хозяйку не замечали.

Повар никого уже не усмирял.

2

В жизни Глазастого произошло крупное событие: умер отец его, Костька-Щенок.

Объелся.

Случилось это во время знаменитого загула некоего Антошки Мельникова, сына лабазника.

Антошка — запойщик, неоднократно гулял со шпаною.

На этот раз загул был дикий. Все ночлежки: Макокина, Тру-ля-ля (дом трудолюбия), на Дровяной улице гоп — перепоил Мельников так, что однажды в казенках не хватило вина — в соседний квартал бегали за водкою.

Мельников наследство после смерти отца получил. Ну и закрутил, понятно.

В тринадцатую он пришел днем, в будни, и заказал все.

Шпана заликовала.

— Антоша, друг! Опять к нам?

— Чего — к вам?— мычал, уже пьяный, Антошка.— Жрите и молчите! Хозяин! Все, что есть,— сюда!

Царь-баба, Федосеич, повар и шпана — все зашевелились.

Антошка уплатил вперед за все, сам съел кусок трески и выпил стакан чая.

Сидел, посапывая, уныло опустив голову.

— Антоша! Выпить бы? А?— подъезжала шпана.

— Выпить?.. Да... И музыкантов! — мычал Антошка.— Баянистов самых специяльных.

Разыскали баянистов. Скоро тринадцатая заходила ходуном. От гула и говора музыки не слышно.

Вся шпана — в доску.

Там поют, пляшут, здесь дерутся. Там пьяный, веселый Младенец-Яшка задирает подолы старухам, щекочет, катышком катя по полу пьяного семидесятилетнего старика, кусочника Нила.

Бесится, пеною брызжет старик, а Яшка ему подняться не дает. Как сытый большой кот сидит над мышонком.

— Яшка! Уморишь старика. Черт!— кричат, хохоча, пьяные.

Привлеченный необычайным шумом околоточный только на секунду смутил шпану.

Получив от Мельникова, секретно, пятерку, полицейский, козыряя, ушел.

На следующий день Мельников чудил.

За рубль нанял одного из членов «святого семейства», Трошку, обладателя шикарных, как у кота, усов. Сбрил ему один ус.

До вечера водил Трошку по людным улицам, из трактира в трактир, и даже в цирк повел.

С одним усом. За рубль.

Потом поймал где-то интеллигентного алкоголика, Коку Львова, сына полковника.

Кока, выгнанный из дома за беспутство, окончательно спустившийся, был предметом насмешек и издевательств всех гулеванов.

Воры с фарта всегда нанимали его делать разные разности: ходить в белье по улицам, есть всякую дрянь.

Даже богомол Кобыла и тот однажды нанял Коку ползать под нарами и петь «Христос воскресе» и «Ангел вопияше».

А домушник Костя Ломтев, человек самостоятельный, деловой, при часах постоянно, сигары курил и красавчика-плашкета, жирного, как поросенок, Славушку такого, будто шмару содержал,— барин настоящий Костя Ломтев, а вот специально за Кокою приходил — нанимал для своего плашкета.

Славушка — капризный, озорник. Издевался над Кокою — лучше не придумать: облеплял липкой бумагою от мух, заставлял есть мыло и сырую картошку,

кофе с уксусом пить и лимонад с прованским маслом, пятки чесать по полтиннику в ночь.

Здорово чудил плашкет над Кокой!

Теперь Мельников, встретив Коку, приказал ему следовать за собою, купил по дороге на рубль мороженого, ввалил все десять порций в Кокину шляпу и велел выкрикивать: «Мороженое!»

За странным «продавцом» бродили кучи народа.

Мельников натравлял мальчишек на чудака.

Полицейские, останавливающие Коку, получали, незаметно для публики, от Мельникова на водку, и шествие продолжалось.

В тринадцатой, куда пришел Мельников с Кокою, уже был Ломтев со Славушкою.

По-видимому, кто-нибудь из плашкетов сообщил им, что Кока нанят Мельниковым.

В ожидании Коки Ломтев со Славушкою сидели за столом.

Ломтев, высокий густоусый мужчина, с зубочисткою во рту, солидно читал газету, а Славушка, мальчуган лет шестнадцати, крупный и очень полный, с лицом розовым и пухлым, как у маленьких детей после сна, сидел развалясь, с фуражкою, надвинутою на глаза, и сосал шоколад, изредка отламывая от плитки кусочки и бросая на пол.

Мальчишки, сидящие в отдалении, кидались за подачкою, дрались, как собаки из-за кости.

Славушка тихо посмеивался, нехотя сося надоевший шоколад.

Когда вошли Мельников с Кокою, Славушка крикнул:

— Кока! Лети сюда!

Тот развязно подошел. Сказал, не здороваясь и с некоторой важностью:

— Сегодня он меня нанял.

И кивнул на Мельникова.

— И я нанимаю! Какая разница?— слегка нахмурился мальчуган.

Протянул розовую, со складками в кисти, руку, с перстнем на безымянном пальце:

— Целуй за гривенник!

Кока насмешливо присвистнул.

— Полтинник еще — туда-сюда.

Мельников кричал:

— Чего ты с мальчишкою треплешься! Иди!

Кока двинулся. Славушка сказал сердито:

— Черт нищий! Пятки мне чешешь за полтинник целую ночь, а с голодухи лизать будешь и спасибо скажешь. А тут ручку поцеловать и загнулся: «Па-алтинник!» Какой кум королю объявился!.. Ну ладно, иди, получай деньги!

Кока вернулся, чмокнул Славушкину руку. Тот долго рылся в кошельке.

Мельников уже сердился:

— Кока! Иди, черт! А то расчет дам!

А Славушка копался.

— Славенька, скорее! Слышишь, зовет?— торопил Кока.

— Ус-пе-ешь,— тянул мальчишка.— С петуха сдачи есть?

— С пяти рублей? Откуда же?— замигал Кока.

— Тогда получай двугривенный.

Но Ломтев уплатил за Славушку. Не хотел марать репутации.

Кока поспешил к Мельникову. Славушка крикнул вслед:

— Чтоб я тебя, стервеца, не видал больше! Дорого берешь, сволочь!

Нахмурясь, засвистал. Вытянул плотные ноги в мягких лакированных сапожках.

Ломтев достал сигару, не торопясь вынул из замшевого чехольчика ножницы, обрезал кончик сигары.

Шпана зашушукалась в углах. Ломтева не любили за причуды. Еще бы! В живопырке, и вдруг — барин с сигарою, в костюме шикарном, в котелке, усы расчесаны, плашкет толстомордый в перстнях, будто в «Буффе» каком!

Ломтев, щурясь от дыма, наклонился к мальчугану, спросил ласково:

— Чего дуешься, Славушка?

— Найми Коку!— угрюмо покосился из-под козырька мальчишка.

— Чудак! Он нанят. Сейчас он к нам не пойдет! Ты же видишь — тот фраер на деньги рассердился.

— А я хочу!— капризно выпятил пухлую губу толстяк.— А если тебе денег жалко, значит, ты меня не любишь.

Ломтев забарабанил пальцами по столу. Помолчав, спросил:

— Что ты хочешь?

Славушка, продолжая коситься, раздраженно ответил:

— А тебе чего? Денег жалко, так и спрашивать нечего!

— Жалко у пчелки. А ты толком говори: чего хочешь?— нетерпеливо хлопнул ладонью по столу Ломтев.

— Хочу, чтобы мне, значит, плевать Коке в морду, а он пущай не утирается. Вот чего хочу!

Мальчишка закинул ногу на ногу. Прищелкнул языком. Смотрел на Ломтева вызывающе, слегка раскачивая стул раскормленным телом.

Ломтев направился к столу, где сидели Мельников с Кокою, окруженные шпаною.

Повел переговоры.

Говорил деловито, осторожно отставив руку с сигарою, чтобы не уронить на костюм пепла. Важничал.

— Мм... Вы понимаете! Мальчик всегда с ним играет.

— А мне что?— таращил пьяные глаза Мельников.— Я нанял, и баста!

— Я вас понимаю. Но мальчугашка огорчен. Сделайте удовольствие ребенку. Мм... Он только поплюет и успокоится. И Коке лишняя рублевка не мешает. Верно, Кока?

— Я ничего не знаю,— мямлил пьяный Кока.— Антон Иваныч мой господин сегодня. Пусть он распоряжается. Только имейте в виду, я за рубль не согласен. Три рубля, слышите?

— Ладно! Сговоримся там!— отмахнулся Ломтев.— Так уступите на пару минуток?

Мельников подумал. Махнул рукою:

— Ладно! Пускай человек заработает. Этим кормится, правильно! Вали, Кока! Видишь, как я тебе сочувствую?

Ломтев любезно поблагодарил. Пошел к Славушке. Кока, пошатываясь, за ним. А сзади шпана, смеясь:

— Кока! Пофартило тебе! Два заказчика сразу.

— Деньгу зашибешь!

— Только смотри, Славка тебя замучает!

А мальчишка ждал, нетерпеливо постукивая каблуком.

Кока подошел. Спросил:

— Стоя будешь?

— Нет! Ты голову сюды!

Славушка хлопнул себя по колену.

— Садись на пол, а башку так вот. Погоди!

Взял со стола газету, расстелил на коленях:

— А то вшам наградишь, ежели без газеты.

Кока уселся на полу, закинул голову на Славушкины колена, зажмурился:

— Глаза-то открой! Ишь ты какой деловой!— сердито прикрикнул мальчишка.— Задарма хошь деньги получать?

Взял из стакана кусочек лимона, пожевал, набрал слюны.

Капнула слюна. Кока дернул головою.

— Мордой не верти!— сказал Славушка, щелкнув Коку по носу.

Опять пожевал лимон.

— Глаза как следует чтобы. Вот так!

Низко наклонил голову. Плюнул прямо в глаза.

Кругом захохотали. Смеялся и Славушка.

— Кока! Здорово?— спрашивала шпана.

— Черт толсторожий! Специально!

— Ладно!— тихо проворчал Кока.

Ломтев, щурясь от дыма, равнодушно смотрел на эту сцену.

— Плашкет! Ты хорошенько!— рявкнул откуда-то Калуга.— Заплюй ему глаза, чтоб он, сволочь, другой раз не нанимался.

— Эх, мать честная! Денег нет!— потирал руки Яшка-Младенец.— Я ба харкнул по-настоящему.

Славушка поднял на него румяное смеющееся лицо:

— Плюй за мой счет! Позволяю!

Младенец почесал затылок.

— Разрешаешь? Вот спасибо-то!

Кока хотел запротестовать, замямлил что-то, но Славушка прикрикнул:

— Замест меня ведь! Тебе что за дело? Кому хочу, тому и дозволю. Твое дело маленькое — харю подставлять!

Младенец шмарганул носом, откашлялся, с хрипом харкнул.

— Убьешь, черт!— загоготала шпана.

— Ну и глотка!

Младенец протянул Славушке руку:

— Спасибо, голубок!

Кока поднялся. Мигал заплеванными глазами. Пошел к Мельникову.

— Смотри, не утирайсь! Денег не получишь!— предупредил Славушка.

— Я за им погляжу, чтобы не обтирался,— предложил свои услуги Младенец.

Славушка заказал чаю.

Ломтев дал Царь-бабе рублевку, важно сказав:

— Это, хозяюшка, вам за беспокойство.

Царь-баба ласково закивала головою:

— Помилуйте, господин Ломтев, от вас никакого беспокойства. Тверезый вы завсегда и не шумите.

Ломтев обрезал кончик сигары.

— Я это касаемо мальчика. Все-таки, знаете, неудобно. Он шалун такой.

— Ничего. Пущай поиграет. Красавчик он какой у вас. Что боровок прямо.

Царь-баба заколыхалась, поплыла за стойку.

— Ну ты, боровок, доволен?— улыбнулся Ломтев.

Мальчуган подошел к нему и поцеловал в лоб.

Ломтев погладил его по круглой щеке.

— Пей чай и пойдем.

А Мельников в это время уже придумал номер: предложил Коке схлестнуться раз на раз с Младенцем.

— Кто устоит на ногах, тому полтора целковых, а кто свалится — рюмка водки.

— А если оба устоят — пополам?— осведомился Кока.

— Ежели ты устоишь — трешку даже дам!— сказал Мельников.

Младенец чуть не убил Коку. Ладошкою хлестанул, да так — у того кровь из ушей. Минут десять лежал без движения. Думали — покойник.

Очухался потом. Дрожа, выпил рюмку водки и ушел, окровавленный.

Славушка ликовал:

— Отработался, Кока? Здорово!

А по уходе Коки составилось пари: кто съест сотню картошек с маслом.

Взялись Младенец и Щенок.

Оба обжоры, только от разных причин: Младенец от здоровья, а Щенок от вечного недоедания.

Премия была заманчивая: пять рублей.

Перед каждым поставили по чугуну с картошкою.

Младенец уписывает да краснеет, а Щенок еле дышит.

Силы неравные.

Яшка — настоящий бегемот из Зоологического, а Костька-Щенок — щенок и есть.

Яшка все посмеивался:

— Гони, Антон Иваныч, пятитку. Скоро съем все. А ему не выдержать. Кишка тонка.

И все макает в масло. В рот — картошку за картошкою.

Руки красные, толстые — в масле.

И лицо потное, блестящее — масляное тоже. Течет, стекает масло по рукам. Отирает руки о белобрысую толстую голову.

Весь как масло: жирный, здоровый.

Противен он Ваньке, невыносим. И жалко отца.

Отец торопится, ест. А уж видно — тяжело. Глаза растерянные, усталые.

А тот, жирный, масляный, поддразнивает:

— Смотри, сдохнешь. Отвечать придется.

Хохочут зрители. Подтрунивают над Щенком:

— Брось, Костька! Сойди!

А Мельников резко, пьяно, точно с цепи срываясь:

— Щенок! Не подгадь! Десятку плачу! С роздыхом жри, не торопись. Оба сожрете — обем по десятке. Во!..

Выбрасывает кредитки на стол.

Костька начинает «с роздыхом».

Встает, прохаживается, едва волоча ноги и выставив отяжелевший живот.

— Ладно! Успеем. Над нами не каплет!— кривится в жалкую улыбку лицо.

Бледное, с синевой под глазами.

А Младенец ворот расстегнул. Отерся рукавом. И все ест.

— Садись, Костька! Мне скушно одному!— смеется.

А сам все в рот картошку за картошкою. Балагурит:

— Эта пища что воздух. Сколь ни жри — не сыт.

Хлопает рукою по круглому большому животу:

— Га-а! Пустяки барабан!

Противен Ваньке Младенец. Жирный, большой, как животное.

И тут же, вроде его, веселый румяный толстяк — Славушка восторженно хохочет, на месте не стоит, пе-

реминается от нетерпения на круглых плотных ногах, опершись розовыми кулаками в широкие бока.

И он тоже противен.

И жалко отца.

Бледный. Вздрагивающей рукою шарит в чугуне, с отвращением смотрит на картошку. Вяло жует, едва двигая челюстями.

— Дрейфишь, а?— спрашивает Младенец насмешливо.— Эх ты, герой с дырой! А еще: «Я, говорит, я». Где ж тебе со мной браться? Я и тебя проглочу и не подавлюсь. Ам! И готово!

Глупо смеется. Блестят масляные щеки, вздрагивает от смеха мясистый загривок.

— Сичас, братцы, Щенок сдохнет. Мы из его колбасу сделаем.

Кругом тихо.

Только Славушка, упершись в широкие бока, задрав румяное толстощекое лицо, звонко смеется, блестя светлыми зубами.

— Яшка-а! Меня колбасой угостишь, а? Ха-ха! Слышь, Яшка? Я колбасу очень уважаю.

Захлебывается от смеха.

И больно, и страшно Ваньке от Славушкиного веселья.

И еще страшнее, что отец так медленно, точно во сне, жует.

Вспоминается умирающая лошадь.

Тычут ей в рот траву.

Слабыми губами берет траву. Так на губах и мнется она. Так и остается около губ трава.

Вспоминает умирающую лошадь Ванька — дрожа подходит к отцу, дергает за рукав.

— Папка! Не надо больше!

Поднимается Щенок. Оперся о стол руками.

Наклонился вперед, будто думает, что сказать.

— Ух!— устало и жалобно промолвил и тяжело опустился на стул.

Поднялся. Опять постоял.

— От... правь... те... в боль... ни... цу!— непослушными резиновыми какими-то губами пошевелил.

Тихо стало в чайной.

Только Младенец чавкает. С полным ртом говорит:

— Чаво?.. Жри, знай!

А Щенок не слышит и не видит, может, ничего.

Мучительный, ожидающий чего-то взгляд.

И вдруг — схватился за бока. Открыл широко рот.

— А-а-а!— стоном поплыло.— А-а-а...

Мельников вскочил, схватил Костьку за руку.

— Ты чего, чего?

Растерялся.

— Братцы! Извозчика найдите!

Ванька бросился к отцу:

— Папка! Зачем жрал? Папка-а!— в тоске и страхе бил кулаком по плечу отца.— Зачем жрал? Па-ап-ка жа!

А отец не слышит и не видит.

Болью искаженное, темнеющее лицо.

Раздвигается резиновый, непослушный рот:

— А-а-а!— плавно катится умоляющий стон.— А-а-а!

И поднимается суматоха.

Мельников — взлохмаченный, растерянный, отрезвевший сразу:

— Извозчика, братцы! Скорее, ради бога!

Пьяные, рваные бессмысленно толкутся вкруг упавшего лицом вниз Щенка.

Гневно взвизгивает Царь-баба:

— Черти! Обжираются на чужое! Сволочи! Тащите его вон отсюдова! Не дам здеся подыхать!

И вдруг, в суматошно гудящую смятенную толпу грозно ударил рявкающий голос:

— Па-гулял богатый гость, купец Иголкин! Теперь наш брат нищий погуляет!

Калуга — пьяный, дикий от злобы,— расталкивая столпившихся, приблизился к Мельникову, взмахнул костистым, в рыжей шерсти, кулаком.

Загремел столом, посудою опрокинутый жестоким ударом Мельников.

Загудела, всполошилась шпана.

— Яшка!— кричал Калуга.— Яшка! Сюды! Гуляем!

Схватил первый подвернувшийся под руку стул и ударил им ползущего на четвереньках окровавленного Мельникова.

— Яшка! Гуляем!

А Яшка опрокидывал столы:

— Ганька! Бей по граммофону!

Шпана бросилась к выходу.

Заковыляли, озираясь, трясущиеся старухи, с визгом утекали плашкеты. Не торопясь, ушел со Славушкою под руку солидный Ломтев.

Царь-баба визжала где-то под стойкою:

— Батюшки! Караул! Батюшки, убили-и-и!..

И покрывавший и крики, и грохот — рявкающий голос:

— Я-а-шка! Гу-ляй!

И в ответ ему — дико-веселый:

— Бей, Ганька! Я отвечаю!

Трещат стулья, столы.

Грузно, как камни, влепляются в стены с силою пущенные пузатые чайники, с веселым звоном разбиваются стаканы.

И бросается из угла в угол, как разгулявшееся пламя, рыжий, кровоглазый, с красным, словно опаленным, лицом Калуга, с бешеною силою круша и ломая все.

А за ним медведем ломит толстый, веселый от дикой забавы Яшка-Младенец, добивая, доламывая то, что миновал ослепленный яростью соратник.

И растут на полу груды обломков.

И тут же, на полу, вниз лицом — умирающий или уже умерший Костька-Щенок и потерявший сознание, в синяках и кровоподтеках Мельников.

А над ним суетится, хороня в рукаве (на всякий случай) финку, трезвый жуткий Маркизов.

Толстый мельниковский бумажник с тремя тысячами будет у него.

3

Осиротевшего Глазастого взял к себе Костя Ломтев.

Из-за Славушки.

Добрый стих на того нашел, предложил он Косте:

— Возьмем. Пущай у нас живет.

Ломтев пареньку ни в чем не отказывал, да и глаза Ванькины ему приглянулись — согласился:

— Возьмем. Глазята у него превосходные.

Приодел Ломтев Ваньку в новенькую одежду. Объявил:

— Ты у меня будешь все равно как курьер. Ежели слетать куда или что. Только смотри, ничего у меня не воруй. И стрелять завяжи. Соренка потребуется — спроси. Хотя незачем тебе деньги.

Зажил Ванька хорошо: сыто, праздно.

Только вот Славушки побаивался. Все казалось, что тот примется над ним фигурять.

Особенно тревожился, когда Ломтев закатывался играть в карты на целые сутки.

Но Славушка над Ванькою не куражился. Так, подать что прикажет, за шоколадом слетать, разуть на ночь.

Раз только, когда у него зубы разболелись от конфект, велел он, чтобы Ванька ему чесал пятки.

— Первое это мое лекарство,— сказал он, укладываясь в постель.— И опять же, ежели не спится — тоже помогает.

Отказаться у Ваньки не хватило духа. Больше часа «работал».

А Славушка лениво болтал:

— Так, Ваня, хорошо! Молодчик! Только ты веселее работай! Во-во! Вверх лезь. Так! А теперь пройдись по всему следу. Ага! Приятно.

Ваньке хотелось обругаться, плюнуть, убежать. Но сидел, почесывая широкие лоснящиеся подошвы ног толстяка.

А тот лениво бормотал:

— Толстенный я здорово, верно? Жиряк настоящий. Меня Андрияшка Кулясов все жиряком звал. Знаешь Кулясова Андрияшку? Нет?.. Это, брат, первеющий делаш. Прошлый год он на поселение ушел, в Сибирь.

Помолчал. Продолжал мечтательно:

— У Кулясова хорошо было... Да. Эх, человек же был Андрияшка Кулясов! Золото! Костя куда хуже. Костя — барин. Тот много душевнее. И пил здорово. А Костя не пьет. Немец будто. С сигарою завсегда. А как я над Кулясовым кураж держал! На извозчиках беспременно. Пешком ни за что. Кофеем он меня в постели поил, Андрияшка. А перстенек вот этот — думаешь, Костя подарил? Кулясов тоже. Евонный суперик. Как уезжал в Сибирь — на вокзале мне отдал. Плакал. Любил он меня. Он меня, Ваня, и к пяткам-то приучил. Он мне чесал, а не я ему, ей-богу! Утром, это, встанет, начнет мои ножки целовать, щекотать. А я щекотки не понимаю. Приятность одна, а больше ничего. Так он меня и приучал. Стал я ему приказывать. «Чеши, говорю, пяты за то, что они толстые». Он и чешет. Хороший человек! Первый человек, можно сказать. Любил он меня за то, что я здоровый, жиряк.

Я, бывало, окороками пошевелю. «Гляди, говорю, Андрияша. Вот что тебя сушит». Он прямо что пьяный сделается.

Славушка тихо посмеивается. Лениво продолжает:

— А с пьяным с ним что я вытворял. Господи! Он, знаешь... что барышня, нежненький. В чем душа. А я — жиряк. Отниму, например, вино. Сердится, отнимать лезет бутылку. Я от него бегать. Он за мною. Вырвет кое-как бутылку. Я сызнова отбираю. Так у нас и идет. А он от тюрьмы нервенный и грудью слабый. Повозится маленько и задышится. Тут я на его и напру, что бык. Сомну это, сам поверх усядусь и рассуждаю:

«Успокойте, мол, ваш карахтер, не волнуйтеся, а то печенка лопнет...» А он бесится, матерится на чем свет, плачет даже, ей-ей! А я на ем, жиряк такой, сижу преспокойно. Разыгрываю: «Не стыдно, говорю. Старый ты ротный, первый делаш, а я, плашкет, тебя задницей придавил?» Натешусь — отпущу. И вино отдаю обратно. Очень я его не мучил. Жалел.

Славушка замолкает. Зевает, потягиваясь.

— Еще немножечко, Ваня. Зубы никак прошли. Да и надоело мне валяться... Ты, брат, знаешь, что я тебе скажу? Ты жри больше, ей-богу! Видел, как я жру? И ты так же. Толстый будешь, красивый. У тощего какая же красота? Мясом, как я, обрастешь — фраера подцепишь. Будет он тебя кормить, поить, одевать и обувать. У Кости товарищи которые, на меня, что волки, зарятся. Завидуют ему, что он такого паренька заимел. Письма мне слали, ей-ей! Я тебе покажу когда-нибудь письма. Только ты ему не треплись, слышишь? Да... Всех я их с ума посводил харей своей да окороками, вот! И то сказать: такие жирные плашкеты разве из барчуков которые. А нешто генерал или какой граф отдадуть ребят своих вору на содержание? Ха-ха!.. А из шпаны если, так таких, как я, во всем свете не сыскать. Мелочь одна: косолапые, чахлые, шкилеты. Ты вот, Ванюшка, еще ничего, не совсем тощий. Много паршивее тебя бывают. Ты — ничего. А жрать будешь больше — совсем выправишься. Слушай меня! Верно тебе говорю: жри, и все!

Костя Ломтев жил богато. Зарабатывал хорошо. Дела брал верные. С барахольной какой хазовкою и пачкаться не станет. Господские все хазы катил. Или

магазины. Кроме того, картами зарабатывал. Шулер первосортный.

Деньги клал на книжки: на себя и на Славушку.

Костя Ломтев — деловой! Такие люди воруют зря. Служить ему надо бы, комиссионером каким заделаться, торговцем.

Не по тому пути пошел человек. Другие люди — живут, а такие, как Костя,— играют.

Странно, но так.

Всё — игра для Кости. И квартира роскошная, с мягкою мебелью, с цветами, с письменным столом,— не игрушка разве?

Для чего вору, спрашивается, письменный стол?

И сигары ни к чему. Горько Косте от них — папиросы лучше и дешевле.

А надо фасон держать! Барин, так уж барином и быть надо.

В деревне когда-то, в Псковской губернии, Костя пахал, косил, любил девку Палашку или Феклушку.

А тут — бездельничал. Не работа же — замки взламывать? И вместо женщины, Пелагеи или Феклы,— с мальчишкою жил.

Вычитал в книжке о сербском князе, имевшем любовником подростка-лакея,— и завел себе Славушку.

Играл Костя!

В богатую жизнь играл, в барина, в сербского князя.

С юности он к книжкам пристрастился.

И читал всё книжки завлекательные: с любовью, с изменами и убийствами. Графы там разные, рыцари, королевы, богачи, аристократы.

И потянуло на такую же жизнь. И стал воровать.

Другой позавидовал бы книжным и настоящим богачам, ночи, может, не поспал бы, а наутро все равно на работу бы пошел.

А Костя деловой был.

Бросил работу малярную свою. И обворовал квартиру.

Первое дело — на семьсот рублей. Марка хорошая! С тех пор и пошел.

Играл Костя!

И сигары, и шикарные костюмы, и манеры барские, солидные — все со страниц роковых для него романов.

Богачи по журналам одеваются, а Костя, вот, по книгам жил.

И говорил из книг, и думал по-книжному.

И товарищи Костины так же.

Кто как умел — играли в богатство.

У одних хорошо выходило, у других — неудачно. Из тюрем не выходили.

Но все почти играли.

Были, правда, другого коленкора воры, вроде того же Селезня из бывшей тринадцатой.

У таких правило: кража для кражи.

Но таких — мало. Таких презирали, дураками считали.

Солидные, мечтающие о мягких креслах, о сигарах с ножницами — Ломтевы Селезней таких ни в грош не ставили.

У Ломтева мечта — ресторан или кабаре открыть.

Маркизов, ограбивший Мельникова во время разгрома тринадцатой, у себя на родине, в Ярославле где-то, открыл трактир.

А Ломтев мечтал о ресторане. Трактир — грязно.

Ресторан или еще лучше — кабаре с румынами разными, с певичками — вот это да!

И еще хотелось изучить немецкий и французский языки.

У Ломтева книжка куплена на улице, за двугривенный: «Полный новейший самоучитель немецкого и французского языка».

Костя Ломтев водил компанию с делашами первой марки. Мелких воришек, пакостников — презирал.

Говорил:

— Воровать так воровать, чтобы не стыдно было судимость схватить. Чем судиться за подкоп сортира или за испуг воробья — лучше на завод идти вала вертеть или стрелять по лавочкам.

На делах брал исключительно деньги и драгоценности. Одежды, белья — гнушался.

— Что я, тряпичник, что ли?— обижался искренно, когда компаньоны предлагали захватить одежду.

Однажды, по ошибке, он взломал квартиру небогатого человека.

Оставил на столе рубль и записку: «Синьор! Весьма огорчен, что напрасно потрудился. Оставляю деньги на починку замка».

И подписался, не полностью, конечно, а буквами: «К.Л.».

Труд ненавидел.

— Пускай медведь работает. У него голова большая.

Товарищи ему подражали. Он был авторитетом.

— Костя Ломтев сказал.

— Костя Ломтев этого не признает.

— Спроси у Ломтева, у Кости.

Так в части, в тюрьме говорили. И на воле тоже.

Его и тюремное начальство, и полиция, и в сыскном — на «вы».

«Тыкать» не позволит. В карцер сядет, а невежливости по отношению к себе не допустит.

Такой уж он важный, солидный.

Чистоплотен до отвращения: моется в день по несколько раз, ногти маникюрит, лицо на ночь березовым кремом мажет, бинтует усы.

Славушку донимает чистотою.

— Мылся?

— Зубы чистил?

— Причешись!

Огорчается Славушкиными руками. Пальцы некрасивые: круглые, тупые, ногти плоские, вдавленные в мясо.

— Руки у тебя, Славка, не соответствуют,— морщится Костя.

— А зато кулачище какой, гляди!— смеется толстый Славушка, показывая увесистый кулак.— Все равно у купца у какого. Тютю дам — сразу три покойника.

Славушка любит русский костюм: рубаху с поясом, шаровары, мягкие лакировки. Московку надвигает на нос.

Косте нравится Славушка в матросском костюме, в коротких штанишках.

Иногда, по просьбе Кости, наряжается так, в праздники, дуется тогда, ворчит:

— Нешто с моей задницей возможно в таких портках? Сядешь, и здрасте. И без штанов. Или ногу задрать, и страшно.

— А ты не задирай. Подумаешь, какой певец из балета, ноги ему задирать надо!— говорит Костя, с довольным видом разглядывая своего жирного красавца, как помещик откормленного поросенка.

Ванькою не интересовался.

— Глазята приличные, а телом — не вышел,— говорил Ломтев о Ваньке.— Ты, Славушка, в его года здоровее, поди, был. Тебе, Ваня, сколько?

— Одиннадцать!— краснел Ванька, радуясь, что Ломтев им не интересуется.

— Я в евонные года много был здоровше,— хвастал Славушка.— Я таких, как он, пятерых под себя возьму и песенки петь буду: «В дремучих лесах Забайкала».

Запевал.

— Крученый!— усмехался в густые усы Костя.

Потом добавлял серьезно:

— Надо тебя, Ванюшка, к другому делу приспособить. Живи пока. А потом я тебе дам работу.

«Воровать!»— понял Ванька, но не испугался.

К Ломтеву нередко приходили товарищи. Чаще двое: Минька-Зуб и Игнатка-Балаба. А один раз с ними вместе пришел Солодовников Ларька, только что вышедший из Литовского замка из арестантских рот.

Солодовников — поэт, автор многих распространенных среди ворья песен: «Кресты», «Нам трудно жить на свете стало», «Где волны невские свинцовые целуют сумрачный гранит». Эти песни известны в Москве и, может, дальше.

Ваньке Солодовников понравился. Не было в нем ни ухарской грубости, ни презрительной важности. Прямой взгляд, прямые разговоры. Без подначек, без жиганства.

И Зуб и Балаба о Солодовникове отзывались хорошо.

— Душевный человек! Не наш брат — хам. Голова!

— Ты, Ларион, все пишешь?— полуласково, полунасмешливо спрашивал Ломтев.

— Пишу. Куда же мне деваться?

— Куда? В роты — конечно. Куда же больше?— острил Костя.

— Все мы будем там,— махал рукою Солодовников.

День его выхода из рот праздновали весело. Пили, пели песни. Даже Костя выпил рюмки три коньяку и опьянел.

От пьяной веселости он потерял солидность. Смеялся мелким смешком, подмигивал, беспрерывно разглаживал усы.

Временами входил в норму. Делался сразу серьезным, значительно подкашливал, важно мямлил:

— Мм... Господа, кушайте. Будьте как дома. Ларион Васильич, вам бутербродик? Мм... Славушка, ухаживай за гостями. Какой ты, право!..

Славушка толкал Ваньку локтем, подмигивал:

— Окосел с рюмки.

Шаловливо добавлял:

— Надо ему коньяку в чай вкатить.

А Ломтев опять терял равновесие. «Господа» заменял «братцами», «Ларион Васильича»—«Ларькою».

— Братцы, пойте! Чего вы там делите? Минька, черт! Не с фарту пришел.

А Минька с Балабою грызлись.

— Ты, сука, отколол вчерась. Я же знаю. Э, брось крученому вкручивать. Мне же Дуняшка все начистоту выложила!— говорил Минька.

Балаба клялся:

— Истинный господь, не отколол! Чтоб мне пять пасок из рот не выходить! Много Дунька знает. Я ее, стерву, ей-богу, измочалю! Что она, от хозяина треплется, что ли?

А Солодовников, давно не пивший, уже опьянел и, склонив пьяную голову на руку, пел восторженным захлебывающимся голосом песню собственного сочинения.

Скажи, кикимора лесная,
Скажи, куда на гоп пойдешь?
Возьми меня с собой, дрянная,
А то одна ты пропадешь.
О, мое нежное созданье,
Маруха милая моя!
Скажи, сегодня где гуляла
И что достала для меня?

Притихшие Минька с Балабою подхватили:

Гуляла я сегодня в «Вязьме»,
Была я также в «Кобызях»,
Была в «Пассаже» с посачами,
Там пела песню «Во лузях».
К нам прилетел швейцар с панели,
Хотел в участок нас забрать —
Зачем мы песню там запели,
Зачем в «Пассаж» пришли гулять.

Ломтев раскинул руки в стороны, затряс ими, манжеты выскочили. Зажмурился и, скривя рот, загудел басом:

Гуляла Пашка-Сороковка
И с нею Манька-Бутерброд,
Мироновские Катька с Юлькой
И весь фартовый наш народ!..

Потом все четверо и Славушка пятый:

Пойдем на гоп, трепло, скорее,
А то с тобой нас заметут!
Ведь на Литейном беспременно
Нас фигаря давно уж ждут.

А Солодовников поднял голову, закричал сипло:

— Стой, братцы! Еще придумал. Сейчас, вот. Ах, как! Да!

Запел на прежний мотив:

В Сибирь пошли на поселенье
Василька, Ванька, Лешка-Кот,
Червинский, Латкин и Кулясов —
Все наш, все деловой народ.

Солодовников манерно раскланялся, но сейчас же сел и снова, склонив голову на руки, закачался над столом. Дремал.

А Ломтев глупо хохотал, разглаживая усы. Поднялся, пошатываясь (Славушкин чай с коньяком подействовал), подошел к Солодовникову:

— Ларя! Дай я тебя поцелую! Чудесный ты человек, Ларя! Вроде ты как Лермонтов. Знаешь Лермонтова, писателя? Так и ты. Вот как я о тебе понимаю, Ларя! Слышь, Ла-аря? Лермонтова знаешь? Спишь, че-ерт!

Солодовников поднял на Ломтева бессмысленное лицо, заикаясь, промычал:

— По-вер-ка? Есть!

Вскочил. Вытянул руки по швам:

— Так точно! Солодовников!

— Тюрьмой бредит!— шепотом смеялся Славушка, подталкивая Ваньку.— Поверка, слышишь? В тюрьме же это — поверка-то.

Солодовников очухался. Прыгали челюсти.

— Пей, Ларя!— совал ему рюмку Ломтев.

— Не мо... гу... у,— застучал зубами.— Спа-ать...

Его уложили на одной кровати с Ломтевым. Минька с Балабою пили, пока не свалились.

Заснули на полу, рядом, неистово храпя.

— Слабые ребята. Еще время детское, а все свалились!— сказал Славушка.

Подумал, засмеялся чему-то. Уселся в головах у спящих.

— Ты чего, Славушка?— с беспокойством спросил Ванька.

— Шш!— пригрозил тот.

Наклонился над Минькою. Прислушался. Стал тихонько шарить рукою около Миньки.

— Погаси свет!— шепнул Ваньке.

— Славушка, ты чего?

— Погаси, говорят!— зашептал Славушка.

Ванька привернул огонь в лампе.

На полу кто-то забормотал, зашевелился.

Славушка бесшумно отполз.

Опять на корточках подсел. Потом вышел на цыпочках из комнаты.

Ванька все сидел с полупогашенной лампой. Ждал, что кто-нибудь проснется.

«Ошманал»,— догадался.

Славушка тихо пришел.

— Спать давай! Разуй.

Улеглись оба на кушетке.

— Ты смотри, не треплись ничего, а то во!

Славушка поднес к Ванькиному носу кулак.

— А чего я буду трепаться!

— То-то, смотри!

Славушка сердито повернулся спиною. Угрюмо приказал:

— Чеши спину! Покуда не засну, будешь чесать.

Ваньку охватила тоска.

Хотелось спать. Голова кружилась от пьяного воздуха. Душно от широкой, горячей Славушкиной спины.

Утром, проснувшись, бузили. У Миньки-Зуба пропали деньги.

Ломтев, сердитый с похмелья, кричал:

— У меня в доме? Ты с ума сошел! Пропил, подлец! Проиграл!

Минька что-то тихо говорил.

Ванька боялся, что станут бить. Почему-то так казалось.

Но все обошлось благополучно.

— Плашкеты не возьмут!— сказал Ломтев уверенно.— Моему — не надо, а этот еще не кумекает.

С лишним год прожил Ванька у Ломтева.

Костя приучил уже его к работе. Брал с собою и оставлял «на стреме».

Сначала Ванька боялся, а потом привык.

Просто: Костя в квартире работает, а ему только сидеть на лестнице, на окне. А если стрема — идет кто-нибудь,— позвонить три раза.

Из «заработка» Костя добросовестно откладывал часть на Ванькино имя.

— Сядешь если — пригодится,— говорил Костя.— Хотя в колонию только угадаешь, не дальше, но и в колонии деньги нужны. Без сучки сидеть — могила.

Славушка за год еще больше разросся и растолстел, здоровее Яшки-Младенца стал. Но подурнел, огрубел очень. Пробиваются усы. На вид вполне можно дать лет двадцать. Костю не боится, не уважает. Ведет себя с ним нагло.

И со всеми так же. Силою хвастает.

— Мелочь!— иначе никого не называет.

Озорничает больше, несмотря на то что старше. Костины гости как напьются, Славушка принимается их разыгрывать, в бутылку вгонять. Того за шею ухватит, ломает шею, другому руки выкручивает. Силу показывает.

И все боятся. На руку дерзкий. Силач.

Ванька ему пятки чешет каждый день беспрекословно.

Над всеми издевается Славушка. Больше же всего над Балабою-Игнаткою. Больной тот, припадочный. Как расскипидарится — сейчас его припадок начинает бить.

Славушка его всегда до припадка доводит.

Игнатка воды холодной боится — Славушка на него водой и прыскает. Орет, визжит Игнатка, будто его бьют. Рассердится — драться лезет, кусается.

А Славушка его все — водою. Загонит в угол, скрутит беднягу в три погибели и воду — за воротник,— тут Игнатка и забьется.

А Славушке потеха. Удивляется.

— Вона что выделывает, а? Чисто таракан на плите, на горячей.

Мучитель Славушка.

Коку Львова на тот свет отправил. Озорством тоже.

Кока был с похмелья, с лютого. Встретился на беду со Славушкою в Екатерингофе и на похмелку попросил.

А Славушка и придумал:
— Вези меня домой на себе.
Кока стал отнекиваться:
— Лучше другое что-нибудь. Не могу я!.. Тяжелый ты очень.
— Пять пудов, на той неделе вешался. Не так, чтобы чижолый, а все же. Ну, не хочешь, не вези!
И пошел.
Догнал его Кока.
— Валяй, садись! Один черт!
Повез. Шагов двадцать сделал, что мышь стал мокрый.
— С похмелья тяжело... Боюсь — умру.
— Как хочешь, тогда — прощай!
Кока и повез. И верно — умер. Половины парка Екатерингофского не протащил.
Славушка пришел домой и рассказывает:
— Коку Митькою звали. Калева задал — подох.
Не верили сначала. Потом оказалось — верно.
— Экий ты, Славка, зверь! Не мог чего другого придумать!— укорял Ломтев.
— Идти не хотелось, а извозчиков нету,— спокойно говорил Славушка.— Да и не знал я, что он подохнет. Такой уж чахлый.
— Так ты его и бросил?
— А что же мне его, солить, что ли!
А спустя несколько времени разошелся Славушка с Костею.
Прежний его содержатель — Кулясов — с поселения бежал, на куклима жил. К нему и ушел Славушка.
Пришел как-то домой, объявил:
— Счастливо оставаться, Константин Мироныч!
— Куда?— встрепенулся Ломтев.
— На новую фатеру!— улыбнулся Славушка.
Фуражка — на нос, ногу на ногу. Посвистывает.
Ломтев сигару закурил. Спичка прыгала. Волновался.
— К Андрияшке?— тихо, сквозь зубы.
— К нему,— кивнул Славушка.
— Тэк.
Ломтев прищурился от дыма.
— К первому мужу, значит?
Улыбнулся нехорошо.
Славушка ответил спокойно:
— К человеку к хорошему.

— А я, стало быть, плохой? Тэк-с. Кормил, поил, одевал и обувал.

— И спал — добавь,— перебил Славушка.

Ломтев повысил голос.

— Спал не задарма. Чем ты обижен был когда? Чего хотел — имел. Деньги в сберегательной есть. Андрияшка, думаешь, озолотит? Не очень-то. Мяса столько не нагуляешь — не закормит. Вона отъелся-то у меня, сам знаешь.

— Откормил, это верно,— сказал Славушка.— Чтобы спать самому мягче, откормил за это.

Подал руку Ломтеву:

— Всех благ!

Ломтев вынул из бумажника сберегательную книжку — выбросил на стол.

Сказал с раздражением:

— Триста пятьдесят заработал за год. Получай книжку!

Славушка повертел книжку в руках. Положил на стол.

Нахмурился:

— Не надо мне твоих денег.

Ломтев опять швырнул книжку.

— Чего — не надо? По правилу — твои. Имеешь получить.

Славушка взял книжку, запрятал в карман.

Толстые щеки покраснели.

— Прощай!— сказал тихо и пошел к двери, слегка нагнув голову.

— Так и пошел?— крикнул вслед Костя грустно и насмешливо.

Славушка не оглянулся.

4

Люди бывают разные.

Один что нехорошее сделать подумает, и то мучается, а другой отца родного пустит нагишом гулять, мать зарежет — и глазом не моргнет. Человечину есть станет да подхваливать, будто это антрекот какой с гарниром.

Люди, с которыми встречался Ванька, были такими.

Человечины, правда, не ели — не нужно этого было, ну а жестокость самым первым делом считалась.

Все хорошее — позорно, все дикое, бесстыдное, грязное — шик.

Самый умный человек, Ломтев Костя, и тот поучал так:

— Жизнь что картежка. Кто кого обманет, тот и живет. А церемониться будешь — пропадешь. Стыда никакого не существует, все это — плешь. Надо во всем быть шулером — играть в верную. А на счастье только собаки друг на дружку скачут. А главное, обеспечь себя, чтобы никому не кланяться. Ежели карман у тебя пустой — всякий тебе в морду плюнет. И утрешься и словечка не скажешь, потому талия тебе не дозволяет.

Ванька усваивал Костину науку: до совершеннолетия сидел в колонии для малолетних преступников четыре раза, девятнадцати лет схватил первую судимость. Одного его задержали — Костя успел ухрять. Все дело Ванька принял на себя — соучастника не показал, несмотря на то, что в сыскном били.

В части, в Спасской, сиделось до суда хорошо. Знакомых много.

Ваньку уже знали, торгашом считали не последним — свое место на нарах имел.

Воспитанный Ломтевым, Ванька был гордым, не трепло. Перед знаменитыми делашами и то не заискивал.

И видом брал.

Выхоленный, глаза что надо, с игрою. Одет с иголочки, белья целый саквояж, щеточки разные, зеркало, мыло пахучее — все честь честью.

Сапоги сам не чистил — старикашка такой, нищий Спирька, нанимался, за объедки: и сапоги, и за кипятком слетает, чай заварит и даже в стакан нальет.

Каждый делаш холуя имел — без этого нельзя.

Мода такая! А не следовать моде — потерять вес в глазах товарищей.

Модничали до смешного. Положим, заведет неизвестно кто моду курить папиросы «Бижу» или «Кадо»— во всей части их курить начинают.

Волынка, если не тех купят.

— Ты чего мне барахла принес, жри сам!— кричит, бывало, деловой надзирателю.

— Да цена ведь одна! Чего ты орешь? Что, тебя обманули, что ли!

— Ничего не понимаю! Гони «Бижу»!..

Или вот пюре...

Ломтев эту моду ввел.

Сидел как-то до суда в Спасской, стал заказывать картофельное пюре — повар ему готовил за плату. Костя никогда казенной пищи не ел.

Пошло и у всех пюре.

Без всего: без мяса, без сосисок.

Просто — пюре.

Долго эта мода держалась.

В трактирах, во время обходов, из-за этого блюда засыпались.

Опытный фигарь придет с обходом — первым долгом в тарелки посетителей:

— Ага! Пюре!

И заметает. И без ошибки — вор!

Так жили люди!

Играли в жизнь, в богатство, в хорошую одежду.

Дорого платили за эту игру, а играли.

Годами другие не выходили из-под замка, а играли. Собирались жить.

И надежда не покидала.

Выйдет другой на волю. День-два погуляет и снова на год, на два.

Опять — сыскное, часть, тюрьма. Сон — по свистку, кипяток, обед, «Бижу», пюре.

А надежда не гаснет.

— Год разменяю — пустяки останется,— мечтает вслух какой-нибудь делаш.

А пустяки — год с лишним.

А жизнь проходила. Разменивались года.

„Год разменяю!“— страшные слова.

А жизнь проходила.

И чужая чья-то жизнь. Многих, кого ненавидели, боялись и втайне завидовали кому эти мечтающие о жизни... жизнь проходила.

Война... Всех под винтовку. Кто-то воевал, миллионы воевали.

А тут — свисток, поверка, молитва, «Бижу», пюре — модные папиросы, модное блюдо.

Конец войны досиживал Ванька-Глазастый в «Крестах». Третья судимость. Второй год разменял.

И вдруг — освободили.

Не по бумаге, не через канцелярию, не с выдачею вещей из цейхгауза.

А внезапно, как во сне, в сказке.

Ночью. Гудом загудела тюрьма, словно невиданный ураган налетел.

Забегали по коридору «менты», гася по камерам огни.

И незнакомый, пугающий шум — пение.

В тюрьме — пение!

Помнит Ванька эту ночь. Плакал от радости первый раз в жизни.

И того кричащего, на пороге распахнутой одиночки, запомнил Ванька навсегда.

Тот, солдат с винтовкою, с болтающимися на плечах лентами с патронами, в косматой папахе,— не тюремный страж, не «мент», а солдат с воли, кричал:

— Именем восставшего народа, выходи-и!

И толпилось в коридоре много: и серые, и черные, с оружием и так.

Хватали Ваньку за руки, жали руки. И гул стоял такой — стены, казалось, упадут.

И заплакал Ванька от радости. А потом — от стыда. Первый раз — и от радости, и от стыда.

Отшатнулся к стене, отдернул руку от пожатий и сказал, потеряв гордость арестантскую:

— Братцы! Домушник я... Скокер!

Но не слушали. Потащили под руки. Кричали:

— Сюда! Сюда! Товарищ! Ура-а!..

И музыка в глухих коридорах медно застучала.

Спервоначалу жилось весело. Ни фараонов, ни фигарей.

И на улицах, как в праздник, в Екатерингофе, бывало: толпами так и шалаются, подсолнухи грызут.

В чайнушках — битком.

А потом — пост наступил. Жрать нечего. За «саватейкою», за хлебом то есть,— в очередь.

Смешно даже!

А главное — воровать нельзя. На месте убивали.

А чем же Ваньке жить, если не воровать?

Советовался с Ломтевым.

У того тоже дела были плохи. Жил на скудные заработки Верки-Векши, шмары.

Плашкетов уже не содержал — сам на содержании.

Ломтев советовал:

— Завязывать, конечно, нашему брату не приходится. Надо работать по старой лавочке, только с рассудком.

А как с рассудком? Попадешься, все равно убьют. Вот тебе и рассудок!

Умный Ломтев не мог ничего верного посоветовать.

Время такое! По-ломтевски жить не годится.

Бродил целыми днями Ванька полуголодный. В чайнушках просиживал до ночи за стаканом цикория, ел подозрительные лепешки.

А тут еще, ни к чему совсем, девчонка припомнилась, Люська такая.

Давно еще спутался с нею Ванька, до второй судимости было дело. А после сел, полтора года отбрякал и девчонку потерял.

Справлялся, искал — как в воду.

И оттого ли, что скучно складывалась жизнь, оттого ли, что загнан был Ванька, лишенный возможности без риска за жизнь воровать, почву ли потерял под ногами — от всего ли этого вдруг почувствовал ясно, что нужно ему во что бы то ни стало Люську разыскать.

С бабою, известно, легче жить. Костя Ломтев и тот на бабьем доходе.

Но главное не это. Главное, сама Люська понадобилась.

Стали вспоминаться прежние встречи, на Митрофаньевском кладбище прогулки.

Пасхальную заутреню крутились как-то всю ночь. И весело же было! Дурачился Ванька, точно не торгаш, не деловой, а плашкет. И Люська веселая, на щеках ямки, ладная девочка!

Мучился Ванька, терзался.

И сама по себе уверенность явилась: не найдет Люськи — все пропадет.

Раз в жизни любви захотелось, как воздуха!

С утра, ежедневно, путался по улицам, чаще всего заходил к Митрофанию.

Думалось почему-то, что там, где гулял с Люською когда-то, встретит ее опять.

Но Люська не встречалась.

Вместо нее встретил около кладбища Славушку.

Славушка его сразу узнал.

— Глазастый! Черт! Чего тут путаешься? По покойникам приударять стал, чего ли?

Громадный, черноусый, широченный. Московка — на нос. Старинные, заказные лакировки — нет, таких людей теперь не встречается.

Под мухою. Веселый. Силач.

Здороваясь, так сжал Ванькину руку — онемела.

— Работаешь? Паршиво стало, бьют, стервецы. Кулясова знаешь? Убили. И Кобылу-Петьку. Того уж давно. Теперь, брат, иначе надо. Прямо — за горло: «Ваших нет!» Честное слово! Я дело иду смотреть,— понизил тон Славушка.— Верное. Хочешь в компанию?

— В центре?— спросил Ванька.

— Не совсем. На Фонтанке. Баба с дочкою. Вдова. Верное дело.

Ванька слушал. Повеселел. Дело есть! Что же еще и надо?

Осведомился деловито. В прежнюю роль делаша входил:

— Марка большая?

— Чтобы не соврать — косых на сорок! Честное слово! Я, знаешь, трепаться не люблю... Шпалер есть у тебя?

— Нет.

— Чего же ты? Нонче у любого каждого плашкета — шпалер. Ну, да я достану. Значит, завтра? Счастливо, брат, встретились. С чужим хуже идти. Со своими ребятами куды лучше.

На другой день опять — на кладбище...

Славушка действительно достал наган и для Ваньки.

Похвастался по старой привычке:

— Я, брат, что хошь достану. Людей таких имею.

Торопливо шел впереди, плотно ступая толстыми ногами в светлых сапогах, высоко приподняв широкие плечи.

Ванька глядел сзади на товарища, и казалось ему, что ничего не изменилось, что идут они на дело, как и раньше ходили, без опаски быть убитыми.

И дело, конечно, пройдет удачно: будет он, Ванька, пить вечером водку, с девчонкою какой-нибудь закрутит, а может, и Люська встретится.

«Приодеться сначала,— оглядывал протирающийся на локтях пиджак.— Приодеться, да. Пальто стального цвета и лакировки бы заказать».

Хорошо в новых сапогах. Уверенно, легко ходится. И костюм когда новый, приятно.

Стало весело. Засвистал.

Свернули уже на Фонтанку.

В это время из-за угла выбежал человек, оборванный, в валенках, несмотря на весеннюю слякоть.

В руках он держал шапку и кричал тонким жалобным голосом:

— Хле-е-ба-а! Граж... да... не... хле-е-ба-а-а!..

Ванька засмеялся.

Очень уж потешный был лохматый, рваный старик, в валенках с загнутыми носками.

Славушка посмотрел вслед нищему:

— Шел бы на дело, чудик!

Недалеко от дома, куда нужно было идти, Славушка вынул из кармана письмо:

— Ты грамотный? Почитай фамилию. Имя я помню: Аксинья Сергеевна. А фамилию все забываю.

Но Ванька тоже был неграмотный.

Когда-то немного читал по-печатному, да забыл.

— Черт с ней! Без фамилии! Аксинья Сергеевна, и хватит!— сказал Ванька.— Хазу же ейную знаешь?

— Верно. На кой фамилия? Похряли!— решил Славушка, поднял воротник пиджака и глубже, на самые глаза, надвинул фуражку.

У дома, где жила будущая жертва,— рынок-толкучка.

Ванька, догоняя Славушку в воротах дома, сказал:

— Людки тут много. Черт знает!

А Славушка спокойно ответил:

— Чего нам людка? Пустяки. Тихо сделаем. Не первый раз.

Долго стучали в черную, обитую клеенкою дверь.

Наконец за дверью — женский голос:

— Кто там?

— Аксинья Сергевна здеся живут?— спросил Славушка веселым голосом.

— А что надо?

— Письмецо, от Тюрина.

Дверь отворилась.

Высокая худощавая женщина близоруко прищурилась.

— От Александра Алексеича?— спросила, взяв в руки конверт.— Пройдите!— добавила она, пропуская Славушку и Ваньку.

Ванька слышал, как женщина захлопнула дверь.

И в этот момент Славушка, толкнув его локтем, двинулся за женщиной.

— Постой!— сказал странным, низким голосом.

Она обернулась. Ахнула тихо и уронила письмо. Славушка держал в руке револьвер.

— Крикнешь, курва, убью!— опять зашептал незнакомым голосом.

Ванька сделал несколько неслышных шагов в комнату, оставив Славушку с женщиной в прихожей.

Револьвер запутался в кармане брюк. С трудом вытащил.

И когда вошел в комнату, услышал тихое пение.

Ах, моя Ривочка,
Моя ты милочка.

«Дочка. «Ривочку» поет»,— подумал Ванька и направился на голос.

Пение прервалось. Звонкий девичий голос крикнул:

— Кто там?

Девушка в зеленом платье показалась на пороге.

— Кто?..

И, увидев Ваньку с револьвером, бросилась назад в комнату, пронзительно закричав:

— А-а-й! Ка-ра-ул!..

Ванька вскрикнул, кинулся за нею.

Испугался крика ее и того, что узнал в девушке Люську.

— Люська! Не ори!— придавленным голосом прокричал, схватив ее за руку.

Но она не понимала, не слышала ничего.

Дернув зазвеневшую форточку, звонко закричала:

— Спасите! Убивают! Налетчики!

Ванька, не соображая что делает, поднял руку с револьвером. Мелькнуло в голове: «Никогда не стрелял».

Гулко и коротко ударил выстрел. Оглушило.

Девушка, покачнувшись, падала на него.

Не поддержал ее, отскочил в сторону, не опуская револьвера.

Голова ее глухо стукнулась о пол.

Вглядевшись пристальнее в лицо убитой, увидел, что это не Люська, а незнакомая девушка, и замер в удивлении и непонятной тревоге.

А в той комнате, которую только что пробежал Ванька, раздался женский заглушенный крик и два выстрела, один за другим.

Ванька стоял с револьвером в протянутой руке.

Тревога не проходила.

А из комнаты рядом послышался испуганный Славушкин голос:

— Ванька! Черт! Хрять надо! Шухер!

Ванька выбежал из комнаты, столкнулся со Славушкою.

У Славушки дрожали руки и даже усы.

— Шухер! Хрять!

Побежал, на цыпочках, к двери. Задел нечаянно ногою лежащую на полу, свернувшуюся жалким клубком женщину.

Ванька побежал за ним.

Слышал, хлопнула выходная дверь.

В темном коридоре не сразу нашел выход. Забыл расположение квартиры.

Слышал откуда-то глухой шум.

«Шухер!»— вспомнил Славушкин испуганный шепот.

Тоскливо заныло под ложечкою, и зачесалась голова.

Тихо открыл дверь на лестницу, и сразу гулко ударил в уши шум снизу.

Даже слышались отдельные слова:

— Идем! Черт! Веди! Где был? В какой квартире?— кричал незнакомый злой голос.

И в ответ ясно разобрал Славушкино бормотание.

«Сгорел»,— подумалось о Славушке.

Отступил назад, в квартиру, и захлопнул дверь.

Прошел мимо одного трупа к другому.

Не смотрел на девушку.

Шапку снял и бросил зачем-то на подоконник.

Со двора раздавался шум. Кто-то громко сказал: «В семнадцатом номере. Ну да!..»

Ванька поспешно отошел от окна.

В дверь с лестницы стучали.

В несколько рук, беспорядочно, беспрерывно.

Ванька вздрогнул.

Тонко и словно издалека зазвонили каминные часы.

Стал напряженно вслушиваться в неторопливый тонкий звон, и казалось — с последним часовым ударом прекратятся там, за дверью, стук и крики. «Три»,— сосчитал.

Звон медленно затих.

Стук не переставал. И крики, удаленные комнатами и закрытыми дверями, казались особенно грозными.

— Отворяй, дьявол!..

— Эй, отвори, говорят!.. Эй!

Пошел. Ноги еле двигались.

Стучали все так же громко, в несколько рук.

И вдруг откуда-то, со двора или с лестницы,— прерывистый, умоляющий крик:

— Православ... ные! У-у!.. А-а-а!.. Правосл...

Оборвался.

И когда затих, Ванька понял — кричал Славушка.

Вспомнились вчерашние Славушкины слова: «Убивают на месте».

Вынул револьвер из кармана.

Положил его на пол, за дверью.

Робкая надежда была:

«Без оружия, может, не убьют...»

5

А в дверь все стучали.

Уже не кулаками — тяжелым чем-то.

Трещала дверь.

«Ворвутся — хуже»,— тоскливо подумал Ванька.

Вспомнил, что, «засыпаясь», надо быть спокойным. Не грубым, но и не бояться.

По крайней мере не доказывать видом, что боишься.

Ломтев еще так учил.

«Взял и веди». «Не прошло, и не надо...»

Подумав так, успокоился на мгновение.

Подошел к двери, повернул круглую ручку французского замка.

В распахнувшуюся дверь ворвались, оттеснив Ваньку, люди.

Кричали. Схватили.

— Даюсь! Берите!— крикнул Ванька.— Не бей, братцы, только!..

— Не бей? А-а-а! Не бей? А вы людей убивать?

— Не бей!

— Ага! Не бей!

— Ага!

Глушили голоса.

Теребили, крепко впившиеся в плечи, в грудь, руки.

А потом — тяжелый удар сзади, повыше уха.

Зашумело в ушах.

Крики точно отдалились.

Вели после, по лестнице, со скрученными за спину руками.

Толкали. Шли толпою, обступив тесным кольцом.

Каждую секунду натыкался то на чью-нибудь спину, то на плечо.

Ругались.

Ругань успокаивала. Хотелось даже, чтобы ругали. Скорее остынут.

Когда вывели во двор, запруженный народом, увидел Ванька лежащего головою в лужу, с одеждою, задранной на лицо, Славушку.

Узнал его по могучей фигуре и толстым ногам в лакированных сапогах.

Страшно, среди черной весенней грязи, белел большой оголенный живот.

И еще страшнее стало от вдруг поднявшегося рева:

— А-а-а! Тащи-и!.. А-а-а!..

Шлепали рядом ноги, брызгала грязь. Раз даже брызнувшей грязью залепило глаз.

В воротах теснее было — там столпилось много.

Опять ругань. Опять ударил кто-то в висок.

— Не бей...— сказал Ванька негромко и беззлобно.

Из ворот повели прямо на набережную.

И сразу тихо стало.

Только мальчишеский голос, звонкий, в толпе, прокричал:

— Пе-етька! Скорей сюды! Вора топить будут!

От этого крика похолодело в груди.

Уперся Ванька. Брызнули слезы.

— Братцы! Товарищи!..

Умоляюще крикнул.

От слез не видал ничего.

И вспомнилось, как освобождали его в революцию, из тюрьмы. Оттого ли вспомнилось, что вели так же под руки, оттого ли, что крик такой же был несмолкаемый. Или оттого, что всего второй раз в жизни людям, многим, толпе, тысячам, понадобился он, Ванька-Глазастый.

Схватили за ноги, отдирали ноги от земли.

— Православные!— крикнул Ванька, и почудилось ему: не он кричит, а Славушка.

А потом перестали сжимать руки — разжались. Воздух захватил грудь, засвистел в ушах.

Падая, больно ушибся о скользкое, затрещавшее и не понял сразу, что упал в реку.

Только когда, проломив слабый весенний лед, погрузился в холодную воду, сжавшую, как тисками, бока и грудь, тогда взвыл самому себе не понятным воем.

Хватался за острые, обламывающиеся со стеклянным звоном края льдин, бил ноющими от холода ногами по воде.

А по обеим каменным стенам-берегам толпились, облепив перила, люди.

И лиц — не разобрать. И не понять — где мужчины, где женщины.

Черная лента — петля, а не люди.

Черная лента — змея, охватившая Ваньку в холодное беспощадное кольцо.

Рев с берега возрастал, гудело дикое, радостное:

— Го-го-го!.. О-о-о!..

— А-а-а! Го-го-го-о-о!

И нависало что-то на ноги, тянуло вниз, в режущий холод.

С трудом, едва двигая цепенеющими ногами, барахтался в полынье Ванька.

И в короткое это мгновение вспомнилось, как шутя топили его в Таракановке мальчишки.

В детстве, давно. Не умел еще плавать. Визжал, барахтался, захлебывался. А на берегу выли от восторга ребятишки.

А когда вытащили, сидел когда на берегу, в пыльных лопухах,— радостно было, что спасли, что под ногами твердая, не страшная земля.

И сейчас мучительно захотелось земли, твердости.

Собрав последние силы, вынырнул, схватился за льдину, поплыл вместе с нею.

А вверху, с берега опять детский веселый голос:

— Эй! Вора топют!

Впереди, близко, деревянные сваи высокого пешеходного моста.

Отпихнулся от налезавшей с легким шорохом на грудь льдины, поплыл к сваям.

А с моста, на сваю, спускался человек.

— Товарищ, спаси-и-и!— крикнул Ванька.

И непомерная радость захватила грудь.

— Милый, спаси-и!

Заплакал от радости.

А человек, казалось, ждал, когда Ванька подплывет ближе.

Вот — протянул руку.

Крик замер на губах Ваньки. Только слезы еще текли.

В руке у человека — наган.

Треснуло что-то. Прожужжало у самого уха. Шлепнулось сзади, как камушек, булькнула вода.

Снова треснуло. Зажужжало. Шлепнуло. Булькнуло.

И еще: треск, жужжание.

⟨1924⟩

ОШИБКА

1

Только накануне страшного того дня горячо поссорился Николай Акимович с женою.

Никогда за шесть лет совместной жизни не было такой дикой ссоры.

С кулаками — к испуганной женщине. Зубы стучали, дрожало что-то за ушами.

А жена — в слезах:

— Сумасшедший, я боюсь тебя! Жить с тобой не буду!

Хватала, отбрасывала и снова схватывала одежду, с треском зашнуровывала ботинки.

Потом, заплаканная, наскоро напудренная, хлопая дверьми, задевая за мебель,— ушла.

К сестре. Жаловаться. Поплакать. Успокоиться.

И вот, на другой день, Николай Акимович, придя домой, нашел жену в спальне, на полу, зарезанной.

Когда давал показания в милиции о случившемся — понял по вопросам дежурного помощника начальника раймилиции, что близко-близко что-то опасное, точно пропасть, обрыв.

Потом шли: он, помощник, милиционеры.

Молча. Поспешно. Всю занимая панель.

В квартире толкались, совались в углы. Шкафы открывали, комоды.

Цедил, про себя точно, помощник:

— Браслет, говорите? И кольцо?.. И только?.. Немного... Не успели, вероятно... Или...

Быстрый, щупающий взгляд.

И от этого взгляда — опять: пропасть — вот!

После второго допроса следователь хмуро, не глядя:

— Я должен заключить вас под стражу.

— Почему?— тихо, затвердевшими губами.

— Показания сестры вашей жены не в вашу пользу. Накануне убийства вы ведь грозились убить жену. Поссорились когда, помните?

— Поссорился — да... Но убить?.. Что вы!

— Во всяком случае, впредь до выяснения.

Вошедшему охраннику коротко:

— Конвоира.

В шумной камере угрозыска почувствовал себя спокойнее — будто ничего не произошло.

Длинноносый какой-то, с живыми карими глазами, подошел:

— Вы, гражданин, по какому делу?

— Видите ли... У меня... жену убили... Налетчики, конечно...

— А вас за что же?

Веселые блеснули глаза.

— Черт их знает!

Возмутиться хотел, но не вышло — в пустоту как-то слова.

А длинноносый вздохнул разочарованно.

Слышал Николай Акимович:

— Мокрое дело. Бабу пришил.

— Здорово!

Смех. Выругался кто-то сочно. Голос из угла:

— Вы, гражданин, из ревности?

— Ничего подобного... Понимаете...— направился к говорившему.

— Не из ревности, а из нагана,— кто-то в другом углу.

Камера задрожала от смеха.

Стало неловко и досадно. Но все-таки, когда затих смех, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Это ошибка.

Приподнялся на нарах черноволосый, цыгански смуглый. Прищурился:

— Что же вы нам заявляете? Заявите следователю.

— Да я не вам...

Умолк. Противно говорить. Лег на нары.

В ушах — ульем — шум.

2

Освоился. Пригляделся к новым товарищам. Знал уже некоторых по фамилиям, кличкам. Не нравились все. Наглые, грубые, вечно ругающиеся, даже дерущиеся.

Особенно неприятное впечатление производили двое: Шохирев, по кличке Сепаратор, слывущий в камере за дурачка, маленький, со сморщенным птичьим лицом, по которому не угадать возраста, и Евдошка-Битюг, самый молодой в камере, но самый рослый и сильный, по профессии — ломовой извозчик.

Евдошка почти все время занят травлей Шохирева, в чем ему деятельно помогает камера.

Обыкновенно утром, после чая, кто-нибудь начинает:

— Битюг, какой сегодня порядок дня?

Парень чешет за ухом и отвечает деланно-серьезно:

— Сегодня, товарищи, первый вопрос — банки поставить Сепаратору, потом перевозка мебели — это уж по моей специальности; потом — определенно, пение.

Шохирев быстро садится на нарах и взволнованно обращается ко всем:

— Товарищи, бросьте, ей-богу! Я совсем больной!

— Вот больному-то и нужно банки!— хохочут в ответ.

А сосед Николая Акимовича, рыжеватый веснушчатый парень, со странной не то фамилией, не то кличкою — Микизель,— радостно возбуждается:

— Сейчас его Битюг упарит! Здоровенный гужбан, черт!

Все с жестоким интересом разглядывают испуганную фигурку Сепаратора, забившегося в угол, хнычущего, как ребенок.

В диком восхищении хохочут, когда Евдошка, не поднимаясь с нар, ловит Сепаратора за ноги, дергает, зажимает голову коленами, не торопясь, задирает на животе рубашку, захватывает, оттягивает кожу и ударяет ребром ладони, большой и широкой, как лопата.

И, покрывая визгливый вой жертвы, кричит:

— Кто следующий? Подходи!

Торопясь, со смехом, подходят. Оттягивают. Бьют.

Дальше Битюг берет Сепаратора за ноги, держа их на манер оглобель, и, не торопясь, вразвалку ходит по камере, грузно переступая босыми мясистыми ступнями, а Сепаратор, держась только на руках, после двух-трех концов ослабевает, опускается на пол, и Битюг волочит его по полу.

Это и есть перевозка мебели.

Камера в восторге, особенно рыжий Микизель. Он валяется от хохота.

— Битюг! Рысью вали! Битюг!

Захлебываясь, кричит.

А Битюг поворачивает широкое темное лицо и говорит спокойно:

— Рысью нельзя! Не выдержит!

— Зачем он его так мучает?— спросил Николай Акимович Микизеля.

— А так! Здоровый. Да и скучно. Молодой — играть хочется.

— Однако, игра. Ведь убить так можно.

— Это верно,— согласился Микизель,— такой черт давнет — мокро будет от Сепаратора.

А задыхающийся, замученный Сепаратор, сидя на полу, пел визгливым голосом.

Евдошка, широко расставив ноги, стоял над ним и от времени до времени заказывал:

— Теперь «Яблочко»,— говорил серьезно, не торопясь, не обращая ни малейшего внимания на гогочущих во всех углах товарищей.

И в фигуре его, большой и громоздкой, в наклоне толстой шеи, переходящей крутым скатом в могучие лопатки, в широком мясистом заде и в твердом упоре крутоступных ног чувствовалось что-то тяжело-сильное, неумолимо-животное, битюжье.

И когда смотрел Николай Акимович на обоих: на Сепаратора, мужчину, похожего на заморенного мальчугана, и юношу — Евдошку, напоминающего

циркового силача, казалось ему, что ошибка какая-то произошла.

Как-то вышло по ошибке непонятной, что один вот человек, до зрелых доживя лет, обделен в силе тела и ума, а другой — юноша еще — ростом вытянулся и еще расти будет, костью широко раздался и мяса и силы нагулял и еще нагуляет.

И было тяжело почему-то Николаю Акимовичу, и казалось, что его участь чем-то походила на участь слабосильного, слабоумного Шохирева.

3

С каждым днем издевательства Битюга над Сепаратором становились возмутительнее.

Дошло до того, что Сепаратор при одном приближении мучителя забивался в угол, а Евдошка останавливался против него и протягивал руку, шевеля пальцами.

Сепаратор испуганно вскрикивал:

— Битюг, не тронь! Оставь!

Кругом хохотали. Микизель радостно удивлялся:

— Черт, Битюг, вот страху нагнал! Совсем дураком сделал!

Иногда Битюг забирался на нары и ложился рядом с Сепаратором. Приказывал:

— Рассказывай сказки.

— Я не знаю,— лепетал Сепаратор.

— Как не знаешь?— деланно сердился Битюг.— Чего ж ты зря на свете живешь? Рассказывай, а то...

Он приподнимался на локте, глядел в упор на Сепаратора.

— Ну? Слышишь?

Отовсюда кричали:

— Вали, Битюг, пускай рассказывает!

— Правильно! Чего он вала вертит?

— Товарищи! Я не умею!— жалобно молил Сепаратор.— Ей-ей, ни одной не знаю!

Битюг подвигался к нему.

— Ну не надо, не бей, я... сейчас!..— пугался Шохирев.

Начинал. Несвязное, дикое, созданное идиотской фантазией, не сказка, не быль — бред затравленного, от которого требуют невозможного.

Все хохочут. Евдошка говорит сердито:

— Ты чего лепишь? Разве это сказка? Смотри, худо будет.

— Братцы!— кричит Сепаратор.— Я же не умею!

— А вот сейчас заумеешь!

Битюг хватал его за грудь, встряхивал.

— Стой! Да! В некотором царстве, в государстве!..— поспешно выкрикивал Сепаратор.

И опять — нелепый бред.

— Записки сумасшедшего!— называет так Сепараторовы сказки налетчик Рулевой, самый образованный в камере.

В конце концов Евдошка мнет или ломает Сепаратора — травит до синяков, до потери сил.

Мокрый, как из бани, порывисто дыша, сидит измученный идиот в уголку.

На время забыт. Отдыхает.

Только Николай Акимович не может забыть Сепаратора. Все время тот ему попадается на глаза.

И еще — Битюг.

Эти две фигуры заполнили все мысли его. Странно, дело свое даже отошло на задний план.

Непреодолимое желание не дает покоя. Желание это — заступиться за Сепаратора, даже больше — самого Евдошку избить, подвергнуть таким же мучениям: банки поставить, «Яблочко» заставить петь.

Даже сердце начинает усиленно биться.

Лежит, закинув руки за голову, и смотрит на Битюга, развалисто бродящего взад и вперед по камере.

Вот садится Битюг к Микизелю и о чем-то говорит.

Николаю Акимовичу кажется, что он говорит о нем.

«А вдруг он со мной начнет играть от «делать нечего», как говорит Микизель?»— приходит в голову Николаю Акимовичу.

Пугается этой мысли.

И тотчас же со злобою думает: «Тогда я его убью».

Эти мысли окончательно захватывают Николая Акимовича.

«Убить придется, так не справиться».

Через минуту мысленно смеется над собою: «Чего я в самом деле? Мне какое дело и до него, и до того идиота?»

Но опять лезут непрошеные мысли.

«Боишься этого Битюга».

Битюг начинает насвистывать что-то.

Свист беспокоит Николая Акимовича. Кажется отчего-то, что Битюг что-то задумал против него.

Ночь Николай Акимович плохо спал.

Наутро Микизеля вызвали в суд.

Не вернулся. Рядом с Николаем Акимовичем, на опустевшем месте Микизеля, поместился Битюг.

4

Теперь целыми днями Битюг на глазах Николая Акимовича.

По ночам чувствует его горячее сильное дыхание. Спит Евдошка беспокойно, то руку, то ногу забрасывает на Николая Акимовича.

Николай Акимович плохо спит ночи.

Однажды Битюг, гоняясь за Сепаратором, поймал и приволок того на свое место.

Сепаратор закричал Николаю Акимовичу:

— Чего лезет? Товарищ! Заступись!

Николай Акимович сказал Евдошке:

— Перестаньте его мучить. Как вам не стыдно?

Евдошка отпустил Сепаратора, повернулся:

— А тебе чего надо?

Николай Акимович смотрел на него молча.

— Тебе чего?

Большое темное лицо, приплюснутый нос, животно-коричневые глаза.

Николай Акимович чувствовал — ни слова не в силах сказать.

И руки дрожали. И билось сердце.

— Брось, Битюг!— крикнул кто-то.— Он тебя пришьет, как бабу свою.

Николай Акимович что-то хотел сказать, но Битюг размахнулся.

Тупая, горячая боль в скуле. Завертелось в глазах. А в ушах — хохот, крики.

Николай Акимович поднялся с пола. Увидел опять близко знакомое широкое лицо.

Сердце тоскливо сжалось.

Почувствовал — крепко сдавило что-то шею.

Крик опять:

— Битюг, не убей, смотри!

Николай Акимович рванулся, но шея была как в тисках.

Давило на шею. Ноги подогнулись, стукнулся коленами об пол.

Видел у самого лица широкие мясистые ступни.

Рванулся, но шея — как в железе.

— Брось, Битюг!— слышал, крикнул кто-то.

Давление на шею прекратилось.

Ни на кого не глядя, дошел Николай Акимович до нар, лег.

Долго лежал, не открывая глаз.

В тот же день, вызванный следователем, Николай Акимович вспомнил о случившемся. Почувствовал, не может вернуться назад в угрозыск.

«Если не свобода, так пусть тюрьма или расстрел,— только не туда»,— назойливо в голове.

А следователь спрашивал:

— Так ничего нового и не скажете?

Николай Акимович вздрогнул.

И вдруг, сильно заволновавшись, сказал:

— Я убил жену.

Острые, на бледном лице следователя глаза минуту — не мигая.

Потом тихо:

— Как?

— Как?— насмешливо переспросил Николай Акимович.— В протоколе же видно — как. Ножом финским. У красноармейца на рынке купил нож.

И стал рассказывать подробно, как давно хотел убить жену. И когда накануне трагедии ругался с нею, то и тогда хотел убить.

Говорил и удивлялся, как складно выходит, но боялся — вдруг следователь не поверит.

Но тот писал. Спрашивал и писал.

5

Это было неожиданно и страшно. Вечером того же дня, как признался Николай Акимович в преступлении, которого не совершал, в камеру угрозыска, где еще пока находился Николай Акимович, пришел новый человек, какой-то Цыбулин, налетчик или вор — неизвестно.

Николай Акимович не обратил на него внимания.

Но ночью, когда новый арестант играл в карты, Николай Акимович, плохо спавший, отправился смотреть игру.

Новичок, по-видимому, проигрался. Играли уже долго.

Он горячился. Ругался матерно.

Игра была непонятная. И называлась непонятно: «бура».

Николаю Акимовичу стало скучно смотреть. Повернулся, чтобы идти спать, но Цыбулин окликнул его тихо:

— Товарищ! Посмотрите вещичку одну.

— Что такое?— обернулся к нему Николай Акимович.

Цыбулин протягивал ему что-то.

— Вот этот чума не верит, что настоящий брильянт!— кивнул он на своего партнера.— Вы, наверно, товарищ, понимаете! Скажите ему.

Николай Акимович смотрел на кольцо в руке Цыбулина и чувствовал, как холодно делается спине и дрожат ноги.

Цыбулинское кольцо было кольцом убитой жены Николая Акимовича.

— Это настоящие брильянты!— сказал слегка вздрогнувшим голосом Николай Акимович.

— Да вы возьмите в руки!— сказал Цыбулин.— Может, он не верит! Возьмите, посмотрите, как следует.

— Настоящие. Я знаю!— глухо сказал Николай Акимович.

Он отошел. Долго ходил по камере. В голове все мешалось: признание следователю, кольцо жены, Цыбулин.

Но как он может его уличить?

Кто может подтвердить? Женина сестра? Она кольца не видала — он только за неделю до смерти жены подарил ей кольцо.

«Теперь все поздно»,— думал Николай Акимович.

И вдруг вспомнил о Битюге.

«Что-то надо,— так и подумалось,— что-то надо».

Битюг громко храпел на нарах.

Николай Акимович нагнулся под нары — давно, еще с вечера, видел там большой медный чайник.

Взял его.

— Куда понес?— крикнул кто-то сзади.

Николай Акимович не обернулся. Влез на нары с чайником в руках.

Видел, несмотря на тусклый свет угольной лампочки, лицо Евдошки.

Темное, широкое, с раздувающимися от дыхания ноздрями.

Поднялся на нарах, не спуская глаз с этого лица.

Сзади опять негромко крикнули:

— Куда чайник упер? Даешь сюда!

Николай Акимович поднял над головой тяжелый, почти полный воды, огромный чайник и с силою опустил его на голову Евдошки.

— А-а-а!— глухо, страшно сзади ли крикнули или Евдошка — не мог понять Николай Акимович.

Только видел, как черным чем-то залилось Евдошкино лицо. И еще остро помнил: «Надо углом — ребром дна».

Сзади крик:

— Братцы, убьет!

Быстро взмахнул руками.

Опять мелькнуло: «Ребром».

Кто-то хватал сзади, за плечи, но руки были свободны.

Быстро и сильно взмахивал чайником.

Лилось теплое за рукава.

Потом больно ударило сзади, по затылку. Дернули за руки.

Загремело, покатилось что-то.

Не рвался из схвативших многих рук Николай Акимович.

Слышал кругом шум и крики.

Не мог ничего разобрать.

Потом затихло, когда внезапно расслышал один голос:

— Чайником, значит... Вот смотрите — череп своротил... Какой тут доктор...

⟨1925⟩

ПРО МИШУ РАССКАЗ

Куртка кожаная. Клеш — ступней не видать.

Фуражка кожаная тоже, с надломом над козырьком.

На висках — темно-русые прихотливые колечки.
Зорко смотрят серые, беззастенчивые глаза.
Звать — Миша. Гóда — семнадцать.
С малолетства — сирота. Родственников — никого.
У доброго человека жил. У сапожника Кузьмича.
Но надоело. Ушел.
Хорош был с ним Кузьмич. Не обижал. Работать не заставлял много.
Вроде отца Кузьмич ему.
А вот надоело же. Ушел.
Тайком. Без копейки. И в непогодь. Дождь. Ливень прямо.
На улице и жить стал.
С мальчишками сошелся бездомовыми. Вместе — уличным промыслом: бутылки, тряпье, хлам разный собирали, дрова «пикалили», воровством не гнушались подчас. Всего бывало.
Так незаметно до двенадцати лет, шутя, играя, на улице прожил.
Шутка ли? Четыре года на улице, шутя.
Будто не года, а часы: четыре.

Революция...
Ах, веселое для Миши настало времечко!
Фараоны-то с чердаков:
— Та-та-та-та-та-та-та!
А внизу волнами, морем в непогоду, жутко, радостно так:
— У-у-у! Ва-ва-ва! Ого-го-го-о-о!!
Веселое для Миши времечко!
Сроднился словно, уравнялся со всеми. И все точно с ним уравнялись. Поняли как бы, что не в домах-квартирах жизнь настоящая, а на площадях, на проспектах этих, переулках, где с чердаков — пули фараонские.
Веселые Мишины, великие дни!
Тюрьмы громили. Освобождали...
Плакали кандальники, вечники, видел это Миша.
И Миша тюрьмы громил, сыскное. Суд жег окружный.
Двенадцати лет был.
Да, да, да, да!..
Да и он ли один? Меньше его еще. Плашкеты прямо. Порты валятся, под носом мокро и:
— Отречемся от старого ми-и-ира!

Керенского свергли.

Зарвался, заимператорился.

Не по высоте — голова.

При Керенском тоже интересного много было.

Хвосты лавочные. Самосуды. Воров топили в Фонтанке, убивали на раз.

Черный, после, автомобиль.

Летит, стерва, без огней летит.

Охотились милиционеры на него.

— Стой!

И из винтовок.

Поймали, говорят, автомобиль-то этот.

Грозный восемнадцатый год. Великий.

Писатели о нем писали, поэты. И хорошо, и плохо.

Миша рассказывает о нем хорошо. И как господа «с голода дохли», и про налеты, расстрелы.

И про себя, как мешочничал, на крышах поездов — на Званку, в Оршу, в Торошино ездил.

Крепко рассказывает. Например, балда один встал на крыше. А поезд полным ходом. А тут мост железнодорожный. Трах — черепушкою об мост. Ваших — нет.

Ездил Миша много.

Сначала не мешочничества ради, а с машинистом познакомился. И поехал.

Все равно же, где быть.

В Питере, в другом ли каком месте.

В Америку — и то поехал бы, так, без всего, что на себе. Как тогда от Кузьмича восьмилетним — в дождь, в ливень.

Так бы и в Америку.

Белые как на Питер шли — добровольцем пошел в Красную Армию.

Много Мише работы с революцией.

Все нужно узнать: и в газетах что, и на улицах. И на фронт вот пошел, чтобы в курсе быть дела.

Сенька, его товарищ:

— Страшно,— говорит,— убьют еще...

А Миша:

— Ну и пусть.

И еще:

— В прошлом году шкет один на восьмерку залез, на колбасу. Сорвался, и зарезало прицепным. Вот тебе и без фронта без всякого, а без головы.

Сенька поскреб за ухом, помянул «мать»— и на фронт.

В живот в первом, под Гатчиной, бою осколок угадал.

Эвакуировался и умер, а Миша невредимым до реки Наровы дошел. Всю как есть кампанию.

— Черт их знает! Снаряды у белых не рвутся,— разочарованно говорил.

Хотелось быть раненым. Надо же все испытать.

У другого вон ран — пять. Ноги, живот шиты и перешиты, а его хоть бы царапнуло.

После, под Кронштадтом,— опять добровольно.

И опять уцелел.

Рядом убило красноармейца, а его только оглушил снаряд.

Суток двое в ушах перезвон, как у попов на пасхе.

И в голове потешно так: пустая будто голова.

Миша любил...

Из-за любви он и спекулировать стал. Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.

Снабжать нужно было девочку, Лидочку.

Не просила она.

И не из жиганства, не из хвастовства снабжал.

— Смотри, мол, какой я буржуй-спекулянт, ухарь-купец.

Другая была у Миши статья.

Видел: нуждается, голодает девочка, воблу, как севрюгу какую, уписывает; тянут с матерью унылый карточный хлеб — от выдачи до выдачи.

Кровь запеклась в Мишином сердце...

И в поездах, при обмене товаров, торговался-жилил, как последний маклак; шапку, как говорится, оземь бросал, что цыган на ярмарке.

Удивлял, сбивал с панталыку избалованных мешочниками крестьян.

— Ну, брат, видно, что спекулянт ты естественный!— крутили головами мужики.

— Этот, брат, далеко пойдет. Советский купец!

Гоготали. Но охотнее, чем кому другому, обменивали Мише.

Крестьянин деловитость любит.

Но не стало Лидочки.

Не умерла...

Просто — уехала, переехала — не знал Миша.

Из Красной Армии пришел — не было ее уже, и след ее всякий пропал.

Хочет Миша любви, тоскует по ней и без нее, слаб, неуверен без любви.

Смелый всегда, сероглазый взор — беспокоен, растерян.

Ищет этот взор. Впивается и откатывается — не находит.

И потому, возможно, не работает Миша нигде, а почти позорной профессией занят — торговлей уличной.

Потому что здесь, на улице, возможно, найдет потерянную, ту, любил которую, когда пятнадцать было.

Здесь же на углу — товарищи-компаньоны.

Так же, как Миша,— когда чем: папиросами, цветами —«нарцызами», «настоящим французским шоколадом».

У некоторых более солидная торговля: бумажный ранет, кандиль; «самые выдающие груши Вера и Александра».

И все — юнцы. И есть отроки даже.

Капли, отбрызнувшие от океанской волны, сохнущие на холоде камня, но еще горящие алмазами торжества.

Смелый, прямой когда-то, сероглазый взор — беспокоен, ищущ.

Пачками разных табактрестов, плитками «настоящего французского» нащупать точно хочет весенний свой, потерянный навсегда, может, путь.

— Миша? Вот встреча...

И было тогда Мише — семнадцать.

Не из жиганства, не из-за фасона: «Смотри, мол, вот как у нас. «Разграблю хоть сто городов», как в песне «Любовь разбойника» поется».

И не из преданной жалости, как раньше, когда четырнадцать было, а просто: «Что же я с тобой голодать буду? Нарцызами будешь кормить?»

Насмешливо: «ыз».

И еще: посмотрела, губку выпятив, на босые его ноги:

— Сапоги-то есть? Или... так?...

Сапог действительно не было.

Сандалии прошлогодние, не лезшие на разросшиеся за год ноги.

Много раз со стыдом рассматривал крупные свои, крутые в подъемах, загорелые ступни.

— Будто хулиган с Обводки, босяк.

На сапоги сколотился, да что сапоги?

Ведь она с крупье живет!

Однажды в особенно мучительную минуту, когда любви захотелось, как воздуха, подумалось: «А если... в налет?»

Не из жиганства, не из преданной жалости и не из конкуренции с крупье, с денежным любовником прежней своей возлюбленной, а от любви, которой хочется, как воздуха.

Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.

Выработал план. Дело на примете было: спекулянтша Соловейчикова.

В кафе с налетчиками-спецами познакомился.

Впрочем, и раньше знал. Папиросы у него постоянно покупали.

Стаська Валевский и Котик-Киля.

Через несколько дней, как задушена и ограблена была Соловейчикова (на двести червонцев дело одними наличными, не считая золотых вещей), Миша встретил Лидочку с мужем в ресторане.

Не стесняясь мужа, сам подошел.

И чего стесняться? Разве не он ее от голодной смерти когда-то спасал?

Да и вид у него теперь был приличный: не клеш, не кожанка, а костюмчик что надо, кепка английская и ботиночки новенькие — не хуже крупье Лидочкиного приодет.

Лидочка улыбнулась:

— Каким ты франтом стал!

Мужу сказала:

— Это мой знакомый, Миша Архипов!

Крупье вежливо раскланялся.

А Миша сел за Лидочкин столик и молчал.

И стало грустно и неловко.

А в зале — шумно, пьяно. Плачут скрипки. Их сменяет певец. А потом веселый кто-то и разухабистый, с напудренным, как у проститутки, лицом, сипловато поет:

Червон-чики-чики,
Голуб-чики-чики.

Ему хлопают, гогоча, пьяные.
И сами у столов подпевают:

Червон-чики-чики...

И крупье хлопает ладонями, широкими и белыми, в перстнях на трех пальцах.
И лицо у крупье, как и руки, белое и широкое. И улыбается он только губами.
Лидочка пьяна.
Беспричинно беспрерывно смеется.
Лукаво смотрит на Мишу. Спрашивает:
— С чего ты разбогател?
И опять долго смеется и лукаво смотрит.
А Миша тихо, чтобы не слышал крупье, говорит:
— Налет сделал.
Лидочка не верит, смеется — громко, вздрагивают серьги в маленьких розовых ушах.
— Соловейчикову, что ли, убил?
Миша вздрагивает от неожиданного вопроса. Косится на крупье.
Но тот не слышит. Он пьян. Встает, идет к эстраде и заказывает что-то таперу.
Пользуясь его отсутствием, Миша наклоняется к уху Лидочки и говорит торопливым шепотом:
— Соловейчикову — да!.. Из-за тебя, Лидка! Будешь жить со мной, Лидка?..
У нее скучное, пьяно-усталое лицо. Даже зевнула. Посмотрела на него, как когда-то при встрече с ним на улице, «нарцызами» когда он торговал.
Миша чувствовал, как загорелись у него щеки и уши.
А Лидочка отвела глаза и лениво сказала:
— Глупости ты говоришь, Миша.
Подошел крупье. Уселся, не глядя на Мишу.
Мише стало почему-то неловко.
Отошел к сидящим в углу зала Стаське и Котику.
— Это что за баба? — спросил Стаська.

Миша ответил:

— Так, знакомая...

— С фраером?

— С мужем,— ответил Миша.

А музыка играла что-то тоскливое, тягучее.

Скрипач раскачивался во все стороны, низко нагибался, точно разглядывал что-то на полу.

Потом закидывал голову и смотрел в потолок молящими, скорбными глазами. И дрожали и смычок, и скрипка. И голова скрипача вздрагивала.

Миша сидел, угрюмо склонив пьяную голову на руку, и думал о Лидочке.

Мучила мысль, что она не поверила ему.

«Ну и пускай!»— утешал Миша себя, но мысль настойчиво сверлила: «Не верит. Трепачом считает. Смеется и рассказывает своему крупье...»

А Лидочка действительно смеялась чему-то. И широколицый, белый крупье улыбался одними губами и, как показалось Мише, смотрел на него.

Миша почувствовал, как сильно забилось сердце.

Встал, слегка покачнувшись, чуть не уронил бокал со стола.

Киля огрызнулся:

— Тише ты! Окосел!

Миша прошел через зал.

В ушах тонко скулила скрипка.

В конце зала — будка с телефоном.

Долго вызывал справочное.

Потом говорил с управлением раймилиции.

— Пошлите наряд в ресторан «Лузитания».

Недовольный глухой голос спрашивал:

— А кто говорит?

— А вам что?— отвечал Миша.— Говорю: налетчики, которые Соловейчикову... Ну да, трое, в углу, направо от музыки...

Скрипка играла веселое что-то.

Прыгали, кружились звуки, закручивались спиралью. Разрывались, опять закручивались.

Скрипач дрыгал головой, локтями, ноги не стояли, казалось, вот-вот пустится танцевать удалой свой танец.

Стаська рассказывал хохочущему Котьке похабный анекдот, рассказывал не торопясь, смачно, по-польски цинично.

А Миша смотрел вдоль зала по направлению к выходу.

Там беспрерывно, блестя стеклами, открывались и закрывались двери.

Люди входили и выходили.

Миша зорко смотрел серыми своими, когда-то смелыми, теперь потерянными, глазами...

И опять, блеснув стеклами, отразив огни, распахнулась дверь и долго оставалась распахнутой.

Три фигуры, одна в шляпе и две в кепках, торопливо и четко, не так, как ходят посетители ресторанов, шли через длинный зал к эстраде.

А за ними, также гуськом, много еще: в красных фуражках, с блестящими пуговицами на черных шинелях.

И где они проходили — затихали говор и шум.

И когда подошли к эстраде, смолкла, не допев, скрипка...

⟨1925⟩

СЛАВНОВ ДВОР

Повесть

Посв. Отто О.-С.

1

В ДОМЕ СЛАВНОВА

Родители Вени Ключарева двадцать с лишним лет в доме Славнова прожили. И все в одной квартире, номер — тридцать.

Бывает такая оседлость, привычка у людей.

Квартира — тридцать, окнами во двор, но светленькая, веселая: четвертый этаж и сторона солнечная.

Коридор только темный, страшный.

По коридору этому Веня стал без опаски с девяти лет ходить. А раньше — днем и то бегом, с бьющимся сердцем.

Вечером же, бывало, ни пирожным, ни шоколадом каким и мармеладом не соблазнить. Не пойдет!

Славнов двор казался Вене огромным, рябым, серым полем, с двумя дорожками.

Дорожки эти — панели, от двух лестниц до ворот.

Остальные же три лестницы без дорожек, так.

В конце двора, далеко-далеко у кирпичной нештукатуренной стены, бревна-дрова сложены до второго почти этажа.

По утрам и вечерам их колол большущим, больше Вени и других славновских ребятишек, топором богатырь в белой рубахе, с засученными рукавами.

Колол не так, как колют,— ну, взять да колоть, а забивал железный клин, долго звонко стучал топором по клину, и с треском разваливалось потом толстое бревно.

Веня, осенними дождливыми днями, когда не пускали гулять, подолгу смотрел на работу богатыря. Даже приучился по звуку топора узнавать, когда бревно не поддается и когда скоро развалится.

Потом прибегал мальчуган, брал в охапку наколотые дрова и уносил куда-то.

Веня решил, что мальчуган — сын богатыря, будущий богатырь; и дрова им нужны для варки пищи в больших богатырских котлах.

Варят же они, конечно, целых быков.

Но когда Веня подрос — богатырь богатырство свое потерял. Оказался худощавым и невысоким вовсе обыкновенным мужичонкою, клинобородым, вроде пахаря из хрестоматии, там, где: «Ну, тащися, Сивка».

И — как узнал из разговоров с ним Веня — никаких он богатырских подвигов не совершал: со Змеем-Горынычем не дрался, о Соловье-Разбойнике слыхом не слыхал и не крал прекрасных царь-девиц.

И имя у него было не Илья, не Добрыня и не Еруслан, а совсем не богатырское — Харитон.

И мальчуган, прибегавший за дровами, вовсе не был ему сыном.

А оба они из овощной и хлебопекарни Малышева из Славнова же дома: Харитон — пекарь, а мальчуган Ванька — лавочный мальчик.

Узнав все это, Веня почувствовал недовольство и как бы досаду и против Харитона, и Ваньки, точно они были в чем-то виноваты: насмеялись или обманули его.

Многое, что в детстве кажется необычайным, таинственным или страшным, но всегда одинаково краси-

вым и интересным,— с годами теряет красоту, тускнеет, точно выцветает от времени.

Как обои. Оклеят комнаты: стены — яркие, цветочки розовые или какие синие. И пахнет со стен весело. А потом запах теряется. Цветы, как будто настоящие,— увядают, бледнеют, а потом еле-еле их различаешь.

Чем больше проходило времени, чем больше рос Веня — все менялось.

На что уже — двор славновский.

Когда еще только первый год стал Веня ходить в начальную —«в память св. св. Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских»— школу, двор славновский стал значительно меньше: раньше от лестницы до ворот было пятьдесят четыре и даже пятьдесят пять шагов, а тут — тридцать семь неполных.

От этого грусть какая-то, недоверие к прошлому и обида: точно насмеялся кто, обманул.

Одно лишь волновало в прошлом и не забывалось с годами — радостные, светлые какие-то дни.

Может, и не дни, а мгновения, минуты.

И не событиями какими особенными были они памятны — нет!

События запоминаются как события, а все, что их сопровождает,— неважно, бледно, не памятно.

Помнилась радость о с о б е н н а я, беспричинная.

Помнил Веня, как однажды, еще маленький, трех-четырех, не больше, забрался на окно в кухне — с ящиком такое окно было, кухонное. А напротив на таком же ящике лежали пучок редиски и огурцы — два огурчика.

И от солнца ли, или мокрые они были — так блестели р а д о с т н о, будто с м е я л и с ь.

Так и подумал тогда: «Огурчики смеются».

И в восторге запрыгал на подоконнике. И не выдержал. Не мог один упиться этой радостью, весельем, восторгом — слишком много радости этой, восторга было.

Побежал в комнату, к матери.

Ухватил ее, удивленную, за юбку:

— Мамочка! Мама! Огурчики, ах!.. Пойдем!

Не мог объяснить на бедном детском своем языке, задыхался.

И все тащил:

— Пойдем!.. Кухню... Огурчики... Пойдем!

Целовала потом, смеясь, мать.

Купила ему два таких же огурчика зелененьких, свеженьких.

Но радость прошла.

Помнилось: капризничал весь день.

И грустно было.

Первый раз — грустно.

Помнил долго первую эту грусть, помнил много лет спустя.

Как и радость ту, первую, помнил.

Но радость бывала все-таки чаще.

И *такая* радость, особенная.

И просто радость — веселье, от событий интересных, веселых.

Событий, особенно весною и летом, когда весь двор на виду, много.

Одних торговцев переходит — не счесть.

Чего только не кричали:

— Швабры половые, швабры!

— Клюква подснежная, клюква!

— Селедки голландские!

Это — бабы. И голоса у них разные.

У торговок швабрами — недовольные, сиповатые, напоминающие иногда квакание лягушек. У тех, что с клюквою,— ласковые, сладенькие. И слово «подснежная»— особенно располагало.

У селедочниц — унылые, гнусавые. И руки, стянутые лямками корзинок, уныло висят.

Мужчины продавали разное.

Рано утром, просыпаясь, Веня, маленький еще, удивлялся, почему торговец во дворе знал, что он спит.

— Что спишь? Что спишь?

Но после оказалось, тот продавал штокфиш — рыбу.

Мужчины — торговцы интереснее женщин: разный у них товар.

— А вот ерши, сиги, невска лососина!

— Костей, тряп! Бутыл, бан!

— Сиги копчены!

С невской лососиной особенно нравились и с копчеными сигами. Такие веселые голоса — прелесть!

Это утренние торговцы.

А с полдня: «цветы-цветочки», «мороженое» по десяти раз и «садова земляника».

С земляникою мужики бородатые, в красных рубахах с горошинами — вроде разбойников или палачей. Широко вздувались рукава. А на голове, на длинном лотке,— корзинки с яркими ягодами. И как рукава — красная, с горошинами, вздувалась ситцевая покрышка над лотком.

Все — от рубахи до ягод на лотке — яркое, красное.

Красивые — мужики-земляничники.

Много — татар-халатников. Их дразнили «свиным ухом» или спрашивали:

— Князь, а князь, не видал ли ты пса-татарина?

Бывали не повседневные, а редкие события.

Пьяный наборщик Селезнев окна бил у себя в квартире.

У чиновника Румянцева сынок утонул, Володя.

Страшный был день, осенний.

С Петропавловской из пушек палили. Наводнение было.

Володя, как оказалось после, воду бегал смотреть на Фонтанку (от Славнова дома близко).

И как-то вот утонул.

Страшный был день.

Ветер зловеще выл, и потерянно стонали флюгарки на трубах.

Серые тучи катились быстро и низко.

Косой, колкий дождь хлестал.

И вдруг голос во дворе, дворника Емельяна голос:

— Барин, а барин!

Тревожный голос. Тревожный и потерянный, как стон флюгарок.

Емельян кричал во второй этаж чиновнику Румянцеву:

— Барин, а барин! Ваш мальчик... Уто-о-п!

Это неправильное и продолженное, как стон, «уто-о-п» страшнее было правильного «утонул».

Несмотря на непогоду, захлопали отворяющиеся рамы.

Застучали торопливые шаги по панели, к воротам. В шапке, но без пальто, с поднятым воротником пиджака, пробежал по панели, к воротам, чиновник Румянцев. Слышались голоса.

Много славновских любопытных жильцов, несмотря на непогоду, побежало на Фонтанку.

Веню не пустили родители.

Сидел на окне.

На тучи смотрел серые, как дым, быстро катящиеся.

Ждал, когда принесут Володю Румянцева.

Тревожно, неспокойно было на душе.

И пришли во двор певцы бродячие, несмотря на непогоду. Четверо. Трое мужчин и женщина.

И, несмотря на непогоду, запели.

Ветер зловеще выл. Стонали флюгарки.

Серые, низко катились тучи. Как дым.

И певцы запели:

> На речке, на речке-е-е,
> На том береже-е-ечке.

Вене стало не по себе.

И хотя пели о том, что какая-то Марусенька мыла «белые ноги» и что на нее напали гуси, которым она кричала: «Шижма! Летите, воды не мутите!»— мальчику казалось, что певцы посланы к е м-т о спеть о Володе, утонувшем «на речке, на том бережечке».

А когда раздались слова:

> Шла стара баба,
> На скрипке играла,
> На скрипке играла,
> Сама подпевала,—

стало совсем нехорошо. Представилось почему-то, что старуха, играющая на скрипке,— или ведьма, утопившая Володю, или Володина смерть.

И вставал мучительный вопрос:

«Зачем старуха — со скрипкою? Разве старухи играют на скрипках?..».

-

Редкие песни — не мучили. Редкие были — ясны. Когда в праздники отец пел: «Нелюдимо наше море» или «Среди долины ровныя»— тоже было томительно и неясно.

И удивляло Веню, что во всех песнях не было радости...

> Отцовский дом спокинул мальчик я...
> Травою зарастет.

Собачка верная моя
Залает у ворот,—

пели маляры и штукатуры.

И представлялся уходящий куда-то человек, тоскливо воющая собака и дом, заросший травою, как могила.

Даже о саде зеленом те же штукатуры и маляры пели невесело: грусть-тоска о саде, рано осыпающемся, и о разлуке с каким-то другом, отправляющимся далече.

Но особенной неудовлетворенностью веяло от излюбленной всеми мастеровыми песни. Каждый день слыхал ее Веня.

Умерла моя Мальвина,
Во гробу лежит она:
Руки к сердцу приложили,
Грудь прикрыли полотном.
Громко певчие запели,
На кладбище понесли...
Приносили на кладбище —
Застонала вся земля.
Вся вселенная сказала:
— Вот погибшая душа!
Тело в гробе говорило:
— Подойди, милый, сюда!
Подойди, милый, поближе,
Встань ко гробу моему...

Вся от начала до конца — похоронная, но не трогающая, а назойливая, неотвязная, как зубная боль. И мелодия неотвязная, незабываемая, как ошибка.

2

ТОЛЬКА И ТОНЬКА

Двенадцатилетним Веня увлекался игрою в карточки. В моде тогда была эта игра. Азарт какой-то поголовный, поветрие.

Целые коллекции ребятишками составлялись. Покупались за деньги, выменивались на сласти и игрушки. В мусорных ямах, в садах, во всех закоулках искали папиросных коробок.

И играли в эти карточки, то есть в оторванные от коробки крышки и донышки, до самозабвения, до драк и слез включительно.

И в эту-то карточную эпоху переехал в Славнов дом новый жилец, капитан второго ранга Одышев.

Сам он еще находился в плавании, а приехали сначала его сестра, Софья Алексеевна, и дети: сын Анатолий и дочь Антонина. А еще — капитанский пес, Гектор.

Когда во двор въезжали три воза с мебелью, из окон, как полагается в таких случаях, торчали женские головы.

Но внимание славновцев, как взрослых, так и малолетних, главным образом было обращено не на разгрузку возов и не на мебель капитана, а на его детей.

И не только потому, что дети были очень уж не похожи на славновских ребят: рослые, чуть не с извозчиков, раскормленные здоровяки, толстоногие, с круглыми румяными лицами и с двойными подбородками.

И не потому еще возбуждали они всеобщее внимание, что были в костюмах, смешных для их видных фигур: в широкополых соломенных шляпах с лентами, свисающими сзади, в матросских рубашках; мальчик в коротких штанишках, а девочка в короткой юбочке.

Но не вид их и не костюмы привлекали внимание славновцев, а поведение: очень смело, даже оскорбительно вели себя капитанские дети.

Первым долгом они принялись науськивать огромного сенбернара на кошку, пробегавшую через двор.

— Гектор! Гектор! Усь! Усь!— кричали во все горло.— Черт! Гектор! Бери-и!

Огромный пес, басисто тявкая, прыгал перед ощетинившейся кошкою.

Из окон уже кое-кто кричал:

— Мальчик! Дети! Зачем? Не надо!

И тетка бросила смотреть за мебелью и побежала за озорниками.

— Анатолий! Антонина! Что вы делаете? Как вам не стыдно?

Была она маленькая, значительно ниже своих племянника и племянницы, худенькая, тонкоголосая.

Суетилась, натыкаясь на широкие спины, на голове тряслись кружева и ягоды какой-то странной шляпки.

— Дети! Как вам не стыдно?

— Дурак, сам упустил!— говорил мальчик девочке.— И никогда он кошек не берет, дурак!

— Собака-то умнее вас!— не вытерпел кто-то из наблюдавших из окон.

Дети задрали широкие поля шляп, посмотрели вверх.

Потом, как бы сговорясь, мальчуган показал кукиш, а девочка язык.

Где-то засмеялись.

— Я вот выйду и уши надеру!— крикнул оскорбленный.

И опять, как бы сговорясь, капитанские дети состроили «носы».

После этого случая капитанских детей называли Толькою и Тонькою, оболтусами и дылдами.

Дальнейшее знакомство славновских ребят с новыми ребятишками ознаменовалось скандалом.

Толька примкнул к играющим в карточки и неожиданно кинулся на одного, у которого была в руках солидная пачка карточек,— выхватил их и убежал.

Ребятишки, не догнавши длинноногого грабителя, стали стучать в двери капитанской квартиры, но вместо тети Сони выскочил страшный Гектор с грозным лаем.

Мальчишки в страхе бежали.

В этот же день Тонька, встретив во дворе наборщикова Петьку, сорвала с него шапку, а когда тот бросился на нее с кулаками, схватила за руки и поставила слабосильного мальчугана на колени, крича при этом весело:

— Кланяйся королю в ноги!

Петька, обиженный до слез, не рискнул драться с большой и толстой девчонкой, силу которой уже испытал, и, отойдя на почтительное расстояние, начал дразнить ее «девчонкой — тухлой печенкой» и «толсторожей копоркою», а в ответ получил не менее обидное: «заморыш» и «мальчик с пальчик».

Потом, играя в «школы-мячики» с девочками, Тонька вырвала у одной ленточку из косички и убежала.

Девочка со слезами и с матерью пошла к тете Соне.

Но опять Гектор — и фиаско.

А когда пожаловались дворнику Емельяну и тот решительно двинулся было по направлению к лестнице, где находилась квартира капитана,— Толька из окна предупреждал:

— Эй, дворник! И на тебя спущу пса, вот святая икона!

И крестился так истово, что дворник помотал головою:

— Ну и разбойник!

И успокоил обиженных:

— Отдадуть ленточку вашу. Куды им!

Через несколько дней славновские мальчишки скопом напали на проходившего по двору Тольку.

Мальчик защищался отчаянно.

Встал к стене, чтобы не окружили, и бился долго.

— Отдай стошки!— кричали нападающие.

— Не отдам. Вот вам стошки!

Толька делал непристойный жест — хлопал рукою ниже живота.

И опять жестоко отбивался. Но, видя неустойку, закричал на весь двор:

— Тонька, выпусти Гектора!

Но сестра, побитая полчаса назад братом, спокойно отвечала из окна:

— Как бы не так! Мальчики, отдуйте его хорошенько! Ага! Ловко! Вы его по носу! У него нос слабый! Ага!..

— Тонька, сволочь!— свирепел, уже теряющий силы и терпение, мальчуган.— Тонька! Все равно же не убьют! Говорят: выпусти!.. Гек...

Но его сшибли с ног.

Образовалась куча тел на камнях.

Задыхающиеся крики:

— Отдай стошки!

И перехваченный голос:

— Вот вам... х..!

Из всех почти окон смотрели, но никто не заступался.

Тети Сони не было дома.

А Тонька хохотала, пела:

— Попало, попало!.. Ловко попало! Мальчики, вы его по носу!

Но уже из носа Тольки и так текла кровь.

Кому-то из жильцов надоело наблюдать дикую сцену.

— Перестаньте, ребята! Я за дворником пошлю!

И дворник уже шел.

Побоище прекратилось.

Толька, окровавленный и прихрамывающий, сел на ступеньку подъезда. Сестра не пустит — до прихода тетки.

Сестра дразнилась из окна.

— Попало? Здорово?

Толька грозился:

— Ладно! Получишь!

Вечером из окон капитанской квартиры раздавались вопли Тоньки, лай Гектора и голос тети Сони:

— Разбойник, ты убьешь ее!.. Разбойник! О, боже мой!

Но через несколько минут брат с сестрой, оба красные и потные, лежали на окнах.

Он на одном, она на другом.

И передразнивались.

— Здорово я тебя, Тонька, а? Волоса-то целы? Много осталось?

— А у тебя ухо держится?

— Ухо-то на месте, а вот волос у тебя только на две драки осталось.

— А здорово я тебя укусила? Забыл?

— Ишь, хвастает! Кусаться-то всякий умеет! А вот на кулак ты не годишься!

— Дурак! Ведь я не мальчишка.

— А не мальчишка, так и помалкивай в тряпочку. Все равно же я тебе всегда накепаю.

— Накепаю! Посадский! Посадский! Вот-с!

Тонька высовывала язык. Соскакивала с окна.

Соскакивал и Толька.

Опять вопли, визг, лай басистый Гектора. И пронзительный голос тети Сони:

— О, боже мой! Дети!.. Разбойники!

Звон посуды.

На другой день Толька появился во дворе с завязанной головой.

На вопросы мальчишек отвечал спокойно:

— Сестренка тарелкою.

— Вот те и раз! — смеялись мальчишки.

— Ну зато и я выспался на ней здорово!

Толька действительно дрался с сестрою дико, бессердечно, как с мальчишкою, равным себе: бил кулаком и метил всегда или в ухо, или в нос, в глаз, а если надоедало канителиться — хватал за волосы, валил, прижимал коленом грудь. И торжествующе кричал:

— Смерти или живота!

И в фигуре его не по летам крупной и крепкой, в торжестве дикого крика, и в диких глазах, и в самом гладиаторском попирании жертвы чувствовалось нечто нерусское, древнее, варварское.

Недаром кличка Варвар укрепилась за ним быстро. Правда, называли его так только взрослые.

Но случалось, брат и сестра Одышевы вели себя мирно.

И все их тогда хвалили.

Мальчики играли с Толькою, заискивая перед ним, хвалили его за силу. Девочки наперебой болтали с Тонькою, обнимались с нею и чмокались, и от ее сильных объятий не плакали, а визжали радостно-испуганно.

Толька не дразнил татар и торговцев, ребятишек не бил, а играл с ними милостиво и даже угощал сахаром, запасы которого всегда были в его карманах. Рассказывал интересные истории, слышанные им от отца, капитана, везде побывавшего, объездившего весь свет раз десять. И не бил гимназиста Леньку Шикалова, когда тот прерывал его рассказы эпизодами из жюльверновского «Вокруг света в восемьдесят дней».

Лишь когда Ленька особенно надоедал, Толька обрывал его спокойно:

— Твой Жюль Верн в восемьдесят дней свет объехал, а мой отец в сорок дней. А один раз даже в тридцать пять!

Рассказывал Толька неплохо. Загорался. В такие благодатные дни тетя Соня накупала любимцам своим сласти, одевала в новые костюмы.

Толька появлялся во дворе в новом матросском костюме, в панталонах подлиннее и просторнее вечных своих смешных коротких, тесных штанишек. Огромная шляпа заменялась фуражкою «Жерве».

Из-под козырька прихотливо выбивался белобрысый хохолок.

И дикие, когда озорничал, глаза в те тихие дни делались обыкновенными, светлыми, ребячьими.

Смелые, но не глупые.

Тонька, или Тоня, как ее в такие дни называли, в коричневом гимназическом платьице, веселая, но не озорная, играла с девочками в «школы-мячики», в «котлы».

Но потом вдруг, утром как-нибудь, раздавался лай Гектора, визг тети Сони:

— Толя! Ты с ума сошел! Толя!

А Толька сидел на окне, болтая не обутыми еще длинными ногами.

Смотрел с трехэтажной высоты вниз.

А сзади надорванный голос тетки:
— Сумасшедший! Ты убьешься!
— Давай полтинник, а то спрыгну!— оборачивался мальчуган.
— Толька! О, боже мой! Что я буду делать? Мучитель!
— Полтинничек пожалуйте! А? Нет? Ну, тогда прощайте!
Тетя Соня взвизгивала на весь двор:
— Помоги-и-и-те!
Из окон глядели любопытные. Некоторые срамили мальчика.
Но это не смущало озорника.
— Тетя, и не стыдно вам из-за несчастного полтинника такую историю поднимать?— нахально, но резонно спрашивал мальчуган.
В конце концов деньги он, конечно, получал.
Тонька шла за ним и просила себе долю.
Но Толька с изуверской невозмутимостью уписывал за обе щеки накупленные сласти, даже угощал мальчишек, но сестре не давал.
— Тянушечки хорошие! Ах! Объедение!
Глаза у него уже были дикие, озорные: верхние веки широко приподняты, нижние — подщурены.
— А вот — мармелад! Приятно!
Тонька, красная от обиды, косилась на брата:
— Ладно! Папа скоро приедет, я ему все, все расскажу!
— Я сам ему расскажу, дура! Всегда же рассказываю, сама знаешь! А вот ты послужи лучше. Поймай конфетку, мармеладинку! Я брошу, а ты лови, только ротом, а не руками. Ну, раз, два!
— Иди к черту! Что я, собака, что ли?
— Ну, как хочешь. А я сейчас мороженого куплю.
— Негодяй! Вор! Тетю обокрал!
— Она сама дала.
— Вот так сама, когда ты окном пугал!
— А вот ты попробуй так. Иди да напугай!
Тонька шла. Но не пугала, а выпрашивала со слезами и визгом.
Тетя Соня кричала:
— Вы меня в гроб вгоните!
Это была ее любимая фраза.
Но все-таки давала — не полтинник хотя, а четвертак.

Тоня бежала вниз радостная, но на лестнице ее ловил брат.

Раздавались дикие крики и потерянный плач.

Толька выбегал с лестницы с мармеладом во рту и с четвертаком в кулаке.

Сзади — плачущая сестра с криком:

— Держите вора!

Хлопали рамы. Испуганные головы высовывались. Кричала тетя Соня:

— Дети! Изверги! О, боже!.. Толя, я за дворником пойду!

Но мальчишка валил девочку с ног, пинал ногой:

— Сволочь! Лезет тоже!

И вихрем — в ворота.

Приходил поздно, к чаю.

Губы синие — от черники.

— Два фунта слопал!— хвастал перед мальчишками,— прямо горстями жрал, святая икона! Во!..

Показывал синие, как в чернилах, руки.

— Люблю чернику!— добавлял задумчиво.— Я в деревне одно лето из лесу не выходил. Всю чернику обобрал! У девок отнимал! У мальчишек!

Иногда Толька и Тонька озорничали совместно, избирая предметом для диких своих забав тетю Соню.

Наигравшись, уставши бегать и возиться, Толька распаренный, опахивающийся фуражкою, обращался к сестре:

— Тонька, знаешь, что я придумал?

— Что?

— Угадай?

— А я откуда знаю? Наверное, глупость какую-нибудь!

— Дура! Отличную штуку придумал!

Щелкал языком и глядел на сестру дико-веселыми, снизу сощуренными глазами.

— Ну чего, говори, а то я играть пойду!— нетерпеливо кусала губы Тонька.

— Пойдем тетю Соню в гроб загонять.

Тонька смеялась, также дико щуря глаза.

— Ка-ак? По-настоящему?

— Зачем? Понарочну!

— А как?

— Я буду по стеклу ножом царапать.

— Ну так что ж? А она что?

— Дура! Она же боится! Для нее это все равно что черный таракан. Сама же знаешь!

— А она возьмет и убежит!

— Зачем? Один — царапает, другой — держит и уши не дает затыкать. Что ты, порядка не знаешь, что ли?

— Тогда ты держи, а я буду царапать,— предлагала Тонька.

— Я лучше царапаю,— не соглашался Толька.— Я такую песенку заведу, что и ты не вытерпишь. Знаешь, так, с дрожанием: в-жж-и-и... Будто ножом по сердцу!

Тонька в восторге прыгала, хлопая в ладоши.

— А я ее как захвачу вместе с руками и со всем, а ты над ухом над самым, верно? Толька?

— Ну да, как следует!.. Пойдем!

Бежали, перегоняя друг друга, домой.

Дома действовали хитро и коварно.

Толька закладывал осколок стекла в книгу и входил в комнату тетки с видом ягненка:

— Тетя Соня, можно у вас почитать в комнатке?

Та, не привыкшая к подобным нежностям со стороны озорника, «варвара», радостно разрешала:

— Миленький, конечно! Сколько угодно!

Озорник скромно садился в угол и осторожно, боясь выронить стекло, раскрывал книгу.

Тетка тоже бралась за Поль-де-Кока или Золя.

Входила Тонька, едва сдерживая душащий ее смех.

— И ты бы почитала что-нибудь, Тонечка,— ласково предлагала тетя Соня.— Видишь, какой Толя умник.

Тонька хмурилась, чтобы не рассмеяться, и говорила уныло:

— У меня голова болит, я лягу.

Ложилась на диван.

Тетка пугалась, шла к ней. Садилась рядом. Щупала горячую от недавней возни голову племянницы:

— Как огонь! Господи! Надо хины!

Она делала попытку встать.

Толька кашлял — сигнал.

«Больная» вскакивала с дивана.

Испуганная тетка успевала только крикнуть:

— Что такое?

Книга падала из рук Тольки. Ягненок превращался в волка:

— Крепче держи, Тонька!

Громко вскрикивал.

Крик тетки терялся в этом крике и звонком хохоте Тоньки.

Маленькая, худенькая тетя Соня через секунду тщетно рвалась из крепкого кольца рук озорницы.

— Сумасшедшие, что вы делаете?

А над ухом взвизгивало под ножом стекло. Неприятный звук заставлял нервную тетю Соню дрожать, взвизгивать, жмуриться. Напрягала всю слабую силенку, стараясь освободиться из рук мучительницы, но сильная девчонка совсем втискивала ее в угол дивана, хохоча прямо в лицо.

А Толька, вспотевший от старания, с высунутым из уголка рта языком, дикоглазый, виртуозно, по-особенному, с дрожанием, чиркал лезвием ножа по стеклу.

И невыносимый, как ножом по сердцу, звук лез и лез в незащищенные уши тети Сони.

Из соседней комнаты раздавался лай Гектора, предусмотрительно запертого Толькою.

— Ты не ори, не хохочи!— кричал на сестру Толька.— Музыки не слышно! После посмеешься!

А тетка молила:

— Дети! Перестаньте! О-о!.. Ай! Толя, я с ума сойду! Ой!.. Над... самым ухом! Тоня! Гадкая девчонка! Ты мне ребра сломаешь! Ой!.. Боже мой! Мучители! Что они со мной делают?

Трясла головой, как от пчелы:

— И-и-и-и!..

Тонко взвизгивала. Топотала тонкими ножками в узконосых башмачках. Стуком каблучков старалась заглушить пугающий, раздражающий визг.

Но напрасно.

Слабые ножки зажимались сильными ногами озорницы.

— Тонька! Медведь! Ты мне ноги отдавила! Ой, мозоль!..

— Любимая!— гоготал Толька.

И опять все настойчивее, беспощаднее взвизгивало стекло.

Несчастная тетка, вся в слезах, кричала:

— Мучители! Изверги! Сумасшедшие! Вы меня в гроб вгоните!

Последняя фраза тонула в диком восторженном хохоте озорников.

Толька, обессиленный от смеха, садился на пол, но не прерывал «работы».

И язык высовывался от напряженного старания. Наливалось кровью лицо и даже руки.

А Тонька совсем смяла в объятиях уже переставшую сопротивляться и кричать жертву.

С тетей Соней начиналась истерика.

Толька выскакивал из комнаты.

Тонька осторожно опускала тетку на диван и, закрыв ладонью рот, чтобы не прыснуть, выбегала следом за братом.

Лежали в креслах в соседней комнате.

— Уф, черт возьми! Упарился!— отирался платком Толька.— Здорово я наигрывал, слышала? «Дунайские волны», слышала, а?

— Какие там «Дунайские»!— смеялась красная Тонька.

— Вот святая икона, первый куплет выходил...

— Жарко,— утомленно закрывала глаза сестра.

За стеной — тихий плач вперемежку с рыданиями.

— Долго мы мучили, Толька, надо было поменьше.

— А что?

— Что? Не слышишь — что?

— Чепуха!— спокойно закрывал глаза Толька.— Тоже «Дунайские волны»! Первый раз, что ли, вгоняем в гроб?

Он вдруг громко загоготал.

— Тьфу! Чего ты?— вздрагивала сестра.

— Все-таки сказала: «Вы меня в гроб вгоните!..»

— Дурак! Еще смеется!

— Заплачь, умница!

Молчание.

Воет Гектор. Опять — рыдания за стеной.

— Я боюсь!— говорит тихо Тонька.

— Кого? Медведя?— не открывает глаз брат.

— Дурак! Сам ты медведь!

— Это ты ей ноги отдавила — ты медведь! Большая медведица,— острит Толька.

Тонька смеется. Потом говорит тихо:

— Какая она слабенькая! Худышка!

— Не всем же быть таким толстым, как ты. Колбасница!

— Уж ты молчал бы! Тоненький, тоже! Помнишь, вчера рубашка не лезла?

— Давнишняя. Потому и не лезла.

— Вот так давнишняя! К пасхе сшили, а теперь троица.

— Дура! У меня — сила, мускула растут. А у тебя бабское мясо: дурное!

— Мускула! Подумаешь, какой борец Пытлязинский. Харя — красное солнышко!

— А у тебя полночная луна! Оба мы с тобой чахоточные,— смеялся Толька.

Тонька тоже смеялась.

Потом говорила серьезно:

— А ведь толстые здоровее худых? Верно?

— Понятно!— соглашался Толька.— На одних костях не разгуляешься. В мясе — сила!

— Это верно! Я вот толстая, так я Петьку наборщицкого всегда валю. А видел, как я тетю Соню держала? Я еще ее тихонько.

— Ишь, хвастает! Нашла кого тоже! Петька известный заморыш, а тетя Соня старая дева засушенная. Сила у тебя тоже! Была у тебя сила, когда тебя мать знаешь куда носила?

— Дурак! Всегда гадости говорит.

— А чего ты хвастаешься? Выходи на левую! Что? Слабо вашей фамилии?

— Вашей фамилии?— передразнивала сестра.— А у тебя другая фамилия, что ли?

— Конечно, другая! Ведь мы не родные.

— Сказал! А какие же? Двоюродные?

У Тольки рождалась тема для нового озорства. Он делал угрюмое и таинственное лицо и говорил, точно нехотя:

— Ладно! После...

— Чего после? Ты на что намекаешь?— пытливо смотрела Тонька в насупленное лицо брата.— Ты говори!

Толька молчал угрюмо и загадочно. Напряженно посапывал. Вздыхал.

Тонька садилась рядом:

— Ну Толечка, Анатолий, скажи! Я вижу, что-то есть такое. Ты стал такой скучный, некрасивый...

— Отстань!— устало отмахивался брат.— Не могу я говорить... Отец узнает — убьет!

— Как убьет? За что?

Всякое терпение оставляло девочку.

Молила, встав на колени:

— Ну милый! Ну я прошу! Видишь, я на коленях! Вот, ручку поцелую! Ну скажи! Еще вот поцелую ручку!

— Проболтаешься,— отвечал, не отдергивая руки Толька.— Хоть ноги целуй — не скажу! Этого никто-никто не должен знать!

— Ей-богу, не проболтаюсь! Истинный бог! Хочешь, икону поцелую?

Толька думал угрюмо и мучительно.

— Поклянись гробом моей матери!— говорил торжественно, коварно подчеркивая слово моей.

Сестра что-то соображала.

— Постой! Ты сказал... моей. Значит, твоей? А... моя?..

У нее делалось испуганное лицо.

— Толька, что ты сказал?

Толька же отходил решительно к окну.

— Толька!— мучительно звенело сзади.— Толя!

— Тоня, милая!— оборачивался мальчуган.— Ты же сама знаешь! И себя, и меня мучаешь...

— Что я знаю? Я не знаю, я боюсь,— задыхалась девочка.— Скажи яснее.

— Не могу я... Ты... ты... Нет, не могу!

Толька вспоминал, как открывают роковые тайны в театрах. Входил в роль.

— Милая, сест... милая, дорогая девочка! (Подчеркивал: девочка) Я... Нет, я не должен... этого... говорить!

— А, я знаю,— соображала вдруг Тонька.— Это — ужасно! Я... я... не сестра?.. Да?..

Толька вздрагивал, как бы от страха, протягивал руку (вспомнил — в балаганах так видел) и усиленно задыхался:

— О... дорогая!.. О... не бойся!.. Так богу угодно... Что я?.. О, ужас!..

Отбегал, как настоящий балаганный трагик, на цыпочках, картинно протягивал руку, как будто защищаясь от страшного видения, и зловещим шепотом произносил:

— Ты — подкинутый младенец!.. Крещена... имя — Параскева!

Последнее приводил из вчерашней газеты.

Сестра дико взвизгивала, тяжело плюхалась в кресло.

Толька, увлеченный ролью, схватывался в неподдельном отчаянии за виски и, закидывая голову, шатался, как раненый:

— О, что я наделал! Безумец!

Тонька визжала ушибленным поросенком.

В дверь барабанила тетя Соня.

— Мучители!.. Опять? Вам мало?.. Что вы делаете там?.. Что ты с ней сделал, несчастный ребенок?

А несчастный ребенок, продолжая интересную роль, шипел на ухо сестре:

— Ты слышишь? Ни слова о страшной тайне!.. Иначе — погибнем! О, ты знаешь меня?

Скрежетал зубами:

— О, я тогда убью и тебя, и себя!..

В двери — беспрерывный стук.

Заливался Гектор.

Взвизгивала кликушей тетя Соня:

— Отворите же, изверги! Я умру! Вы меня в гроб вгоните!..

За несколько дней до приезда отца, Толька подводил итог всем своим озорствам.

Выписывал на бумаге. Некоторые с пометкою числа и месяца.

— Что я скажу вашему отцу, когда он приедет?— заламывала руки тетя Соня.

— Я все скажу сам. Вот!

Толька показывал листок.

Тетя Соня читала и пугалась.

— Боже! Ведь он убьет тебя!.. Несчастный!

— Не беспокойтесь, шкура у меня крепкая! Вот эта барышня завертит хвостом: «Я — ничего, это все Толька». Знаю я ваше дело!

Когда приехал капитан, все в доме радовались.

Толька два дня не выходил. На третий появился во дворе.

Ходил он, странно расставляя ноги. И плечи свои широкие держал приподнято. И как-то неестественно выпячивал грудь, точно за воротник, на спину, ему наливали воду.

На лестнице по секрету рассказывал Вене и еще некоторым, которые побольше:

— Выдрал знатно! По-капитански! Я ему списочек всех дел представил. Святая икона. И сестренку не показал. Вот истинный господь! А скажи я хоть слово, он бы ее устосал! Больно бьет, дьявол!

— Это отец-то дьявол?— укоризненно качал головою швейцаров Антошка.

— Ну так что? К нему не пристанет, хоть антихристом назови... Да-с! Представил ему списочек. А он сигару закурил. Долго читал. Потом: «Все, говорит, здесь?»—«Еще, говорю, тарелку разбил».—«Как разбил?» А ведь тарелку-то Тонька об мою башку разбила. «Так, говорю, разбил. Из рогатки расстрелял». Ну, он говорит: «Принеси Гекторову плетку». Собачью, значит. Принес я. Ну, он и начал. Эх, мать честная!

Толька ухарски сдвигал фуражку. Выбивался белобрысый хохолок. Глаза — дикие, озорные.

— Ка-ак даст! Как хлестанет! Вжж! Вжж!.. Здорово!

В доказательство расстегивал штаны. Задирал рубашку.

Ребятишки щупали сине-багровые рубцы.

— Больно?— спрашивали.

— Нет!

— А вот здесь — больно?

— А здесь, поди, больно, да?

Толька вздрагивал.

— Не... нет!

И добавлял спокойно:

— Не больно! Только вот сидеть нельзя.

— Здорово нажарил,— хихикал наборщицкий Петька.

— Ты бы не выдержал, конечно,— застегивался Толька.— Вот Веник выдержит. Он — крепкий. А тебе где же!

— А ты, небось, злишься на отца?— серьезно спрашивал Антошка.

— Нет!— искренно отвечал Толька.— Он — хороший. Я его люблю. А что выдрал — это не вредно. Я даже люблю, когда дерут. Святая икона! Зубы стиснешь! А как хлестанет — дух захватывает. Будто ныряешь. Хо-ро-шо!

— Хорошо, только сидеть невозможно!— хихикал опять Петька.

— Дурак! Это тоже хорошо! Зато когда заживут — приятно. А теперь, конечно, не только сидеть, а даже спине от рубашки больно.

— Здорово!— не унимался Петька.— Хорошо?

— Не вредно!— ухарски сплевывал Толька.

3
ЗЛАЯ СКАЗКА

Толька Одышев в короткий срок сделался сказкою Славнова дома.

Даже приезд капитана и его жестокая морская порка, после которой Толька неделю не мог сидеть (даже обедал полулежа на боку), не оправдали надежд славновских отцов и матерей на умиротворение озорника и его сообщницы сестры.

Тетя Соня по-прежнему претерпевала мучения от озорства «несчастных детей» и систематически «вгонялась в гроб».

Озорничали они в отсутствие отца, а так как он являлся поздно вечером, то весь день бывал в их распоряжении. Тетя же Соня никогда не жаловалась брату на детей из боязни, что он «убьет» их. И Толька спокойно владычествовал дома и вне дома, во дворе.

Мальчишки подпали под авторитет силы.

Толька делал, что хотел. Игры происходили под его руководством.

Если же он потехи ради бил кого-нибудь из ребят, остальные держали сторону не обижаемого, а обидчика.

Да иначе и нельзя было.

Осилить Тольку можно не иначе как скопом, но Веня, наиболее сильный из остальных, кроме Тольки, ребятишек, редко появлялся во дворе, а без него у славновцев ничего не вышло бы.

Один раз даже пробовали побить Тольку трое: Антошка, Петька и Ленька Шикалов. Но кончилось предприятие так: Антошку за ухо увел с поля битвы отец его, швейцар Лукьян, а оставшиеся двое его соратников, потеряв сильное подкрепление в лице выведенного из строя товарища, начали отступать, правда, с боем.

Наблюдавшая из окна эту сцену Тонька соблазнилась возможностью помучить вечную свою жертву — наборщикова Петьку,— поспешила во двор.

В момент ее появления во дворе брат ее уже прижимал коленом грудь Леньки-гимназиста и ловил рукою наскакивавшего петухом Петьку.

Тонька схватила Петьку в охапку и, несмотря на отчаянное его сопротивление, как всегда, скрутила «заморыша».

Торжество победителей было полное. Чтобы избежать вмешательства взрослых (маленьких они не боялись), жестокие озорники утащили несчастных на лестницу и там дали полную волю своей жестокости, и если бы не случайно проходивший жилец из сорокового, немец Цилингер, с большим трудом разогнавший палкою дерущихся,— неизвестно, чем кончились бы издевательства Тольки и Тоньки над побежденными.

В результате у Петьки — все лицо в царапинах, ссадины на ногах, синяки на боках от щипков и недочет пуговиц на рубашке, у Леньки — синяк под глазом, разодранная в кровь губа и порванная под мышками курточка.

У победителей никаких повреждений. После этого случая славновские ребятишки всецело покорились Толькиной власти.

Толька же, для большей устойчивости положения, подружился с дворниковым сыном Никиткою, здоровенным деревенским мальцом, подминающим в борьбе всех, не исключая и Тольки.

Хитрый Толька знал, что ребятишки, если на их стороне будет здоровяк Никитка, всегда одержат над ним верх.

А также Никитка, при большой своей силе, научившись драться, подчинит себе и его, Тольку.

И потому решил, что выгоднее привязать к себе опасного соперника.

С первого же знакомства, то есть после первой борьбы, Толька, смятый дважды подряд Никиткою, вызвал того на драку и, воспользовавшись необычайной неуклюжестью толстомясого деревенского паренька, пустил в ход все свое уменье и, побив соперника, не задрал перед ним носа, а, наоборот, расхвалил его и стал рассказывать о своих каких-то и где-то драках, причем как бы невзначай упомянул, что он, Толька, убил кулаком нечаянно одного «здоровущего деревенского мальчишку».

Никитка усомнился. Но Толька перекрестился и сказал:

— Вот святая икона! Истинный господь! Убей меня гром!

Никитка поверил, тем более что в момент страшной Толькиной клятвы собирался дождь и гремел в отдалении гром.

А Толька поспешил взять с Никитки слово, что тот никому не расскажет о его признании.

Наивный паренек побожился. И с того дня проникся к Тольке уважением, смешанным со страхом.

Толька же во время грозы в комнате тети Сони зажег лампадку и молился, прося бога, чтобы тот не убивал его громом, так как он божился непозаправду.

Далее, Толька часто угощал Никитку гостинцами, при недоразумениях ребятишек в играх всегда принимал сторону Никитки и в короткий срок сделал из простого мягкого толстомясого увальня надежного помощника, куда надежнее Гектора.

По одному его слову Никитка бил и ломал любого мальчишку.

— Дай Петьке хорошеньче!

И бедный Петька, с которым справлялась Тонька, летел кувырком от здоровенной Никиткиной оплеухи.

Поднимался, в слезах и ссадинах, и опять летел.

— Ловко!— хвалил Толька.— Только ты потише, а то убьешь!

— Я и то боюся,— расплывался широкой улыбкою Никитка.— У меня ручищи страсть чижолые. Во кулачище-то!

А Петька просил:

— Не бей, Никитка! Я же к тебе не лезу!

— Чего он ругается?— науськивал Толька.— Намни ему бока, чтобы век помнил!

Никитка, сопя, как тяжелый сильный зверь, хватал плачущего Петьку и, повалив, садился верхом и бил «чижолыми кулачищами» по тощим петькиным бокам.

— Будет с него!— говорил Толька и предупреждал Петьку.— Пожалуешься матери — не выходи из дома — убьем!

— Я не буду жаловаться,— вздрагивал от плача Петька.— Только вы... ни за что бьете... Что я вам сделал?

— Ну не реви, рева! Людей не так еще бьют. Верно, Никитка?

— Верно,— соглашался тот.— У нас в деревне как праздник, то кольями беспременно дерутся.

— Вот видишь, а ты от кулаков ревешь,— серьезно говорил Толька.— А еще мальчишка!

Никитка внимательно оглядывал маленькую, вздрагивающую от сдерживаемого плача фигурку Петьки и говорил не то с сожалением, не то с насмешкою:

— Человек тоже! Кочан капусты ежель на его положить — не встанет!

— Поборись с Ленькою,— говорил Толька Никитке.— Сколько раз повалишь?

— Сколь хошь!

— Ну а все-таки?

— Разов десять можно.

— А пятнадцать не можешь?

— Могу!

Никитка оглядывал Леньку, щупал его за грудь и плечи и добавлял уверенно:

— Сколь хошь могу!

— Валяй пятнадцать!

Ленька, терпеть не могущий борьбы, рвался из могучих лап Никитки:

— Иди к черту! Не хочу! Брось!

— Мало что не хошь!

Никитка добросовестно укладывал его раз за разом.

— Черт, отстань! Борись с Толькой!— задыхался Ленька.

— Ладно! Помалкивай!— сопел Никитка.

А Толька, засунув руки в карманы и расставив длинные мясистые ноги в смешных коротких штанишках, считал:

— Одиннадцать... двенадцать... Еще три осталось.

После пятнадцатого, дико подщуривая глаза, выкрикивал:

— Слабо еще пять раз!

— Можно хучь десять!— поворачивал к нему широкое красное лицо Никитка, держа зажатым между колен Леньку.— Сколь разов еще? Десять, чего ли?

— Будет с него пяти.

Никитка укладывал Леньку еще пять раз.

Отирал широкой рукою пот со лба.

Ленька, мокрый как мышь, сидел на камнях, тяжело дыша.

— Задышался,— указывал на него Никитка.— А мне хучь што!

Усмехался:

— Воздушный народ в городе. Супротив деревенского горазд легкий.

Даже на взрослых, на пьяных науськивал Толька своего верного цербера.

Идет пьянчужка башмачник хромой, с пением:

На Калинкином мосту
Три копейки — вакса.
Полюбил старик старуху
А старуха — плакса.

А Толька Никитке:

— Ну-ка, покажи ему ваксу! Толкни его, будто нечаянно. Пьяный он, да и нога хромая.

— Да! А он — палкой!

— Где ему! Да и не успеет. Ты так, будто не видишь. А то забеги на лестницу и беги оттуда.

— Вали ты, Толя, а?

— Мне нельзя. Знаешь, скажут: «Нарочно». А ты беги, да скорее, а то пройдет.

Никитка хихикал и шел, озираясь, видимо еще труся.

Толька грозил кулаком:

— У, черт, канителься! Смотри, играть с тобой не буду!

Этого достаточно.

Никитка бежал на лестницу, ложился на окне, поджидая жертвы.

Потом сбегал, насвистывая, с фуражкою, надвинутой на глаза, прыгал через несколько ступенек, чтобы разогнаться. Широкой грудью налетал на слабо держащегося от опьянения и хромоты человека и сбивал его с ног, вылетая во двор радостный и испуганный.

С лестницы выходил ковыляющий, держащийся за ушибленный затылок башмачник:

— Это... это что за бешенство? На людей кидаются? А? Дворник! Дво-о-о-рник!

Старшему, Дмитрию Степанычу, кричал, стуча палкою:

— Ты это расследуй! Я все равно так не оставлю! Я не вор какой, чтобы меня пихать! Что? Мальчишки? Играют? Это, брат, не игра, на людей кидаться!

— Вы, Федор Федорыч, сами вот песни распеваете, думаете, я не слышу?— степенно разглаживал бороду старший.— Вы человек семейный и пьянствуете. И пение во дворах не разрешается. От этого беспокойствие жильцам.

— Ты мне, Степаныч, лазаря не пой!— горячился Федор Федорыч.— И пьянством не упрекай. Не ты меня поил... А от пения — никакого беспокойствия. Подумаешь, какие тут короли нидерландские живут, что человеку петь нельзя!

Он сердито ковылял, стуча палкою:

— Право, короли нидерландские! Ребят и собак бешеных завели. У-у, сволочи!

Грозил палкою в пространство.

А Никитка докладывал Тольке:

— Я ему, надо быть, последнюю ногу поломал. Здорово он шмякнулся, ей-ей!

— Молодец!— хлопал Толька Никитку по круглому плечу.— Здоровый ты, черт!

Лицо Никитки расплывалось блином.

— Не больной, это верно.

Жалобы жильцов на проделки невозможных детей встречали холодное равнодушие капитана.

— Взяли да отодрали за уши!— говорил Одышев, дымя крепчайшею сигарой.

— Легко сказать! Да чтобы надрать уши вашему сынку, нужно двух дворников.

— Ерунда! Мальчишка есть мальчишка, какие для него дворники. Я его, конечно, отлуплю, но он озорничать не перестанет.

— Тогда не пускайте его гулять.

— Я не вижу в этом надобности,— дымил капитан.

Жаловались домовладельцу, но успеха также не было.

Славнов, приятель Одышева, принял жалобщиков еще холоднее, чем капитан.

— Простите, пожалуйста! Если ваши дети дерутся между собою, то я тут ни при чем. Отказывать жильцу, потому что физиономия его сына вам не нравится, я не имею права.

— Здесь дело не в симпатиях, а в том, что такие дети, как сынок Одышева, сидят в колониях для малолетних преступников.

— Так вы посадите его туда, о чем же может быть разговор?— язвительно улыбался желчный Славнов.

И жалобы большей частью были малоосновательные: кто-то из мальчишек разбил стекло, сшибли с ног, правда, пьяного, но убогого башмачника, напугали в темноте жиличку из девятнадцатого, Тонька чуть не до смерти защекотала наборщикова Петьку: водой насилу отлили — зашелся.

Но главным образом боязнь родителей заключалась в том, что озорства капитанских детей вредно влияют на нравственность играющих с ними ребят.

И влияние озорников сказывалось.

Дворников Никитка, поощряемый Толькою, играл со славновской мелкотою, как богатырь Васька Буслаев в детстве: швырял, выворачивал руки, отдавливал ноги.

Дети явно портились.

Самые тихони становились грубыми, озорничали. Случалось — похабничали, неприлично ругались.

— Я и ругаться-то не умею, вот святая икона!— крестился опрошенный по этому поводу Толька.— А стекол и совсем не бью, истинный господь!

О стеклах его и не спрашивали, так добавил. Вероятно, разбил.

Вене не позволяли играть с Толькою, да и сам он с ним не сближался.

Странное что-то произошло с Венею.

С первого знакомства капитанский сынок заинтересовал его.

Не нравился, а просто был чем-то интересен.

Но дальше, когда Толька стал оказывать Вене явное благоволение, Веня стал отдаляться от него.

— Вот ты настоящий мальчишка. Один из всех — настоящий,— говорил Толька, а Веня чувствовал нестерпимое желание уйти, не слышать, не видеть Тольки. И не боязнь была, что Толька, как озорник, сделает что-нибудь нехорошее, а просто: не принимало что-то там, внутри, в самом существе Вени, не принимало Толькиных благожелательных отношений.

Бывало, Толька рассказывает ребятишкам занимательные истории, обращаясь исключительно к Вене.

Веня слушает сначала с интересом.

Рассказывает Толька о морском пароходе, потонувшем во время бури в Индийском океане.

Ребятишки ни звука не проронят, слушают как завороженные.

Толька рассказывает хорошо. Слова у него не грубые, как всегда, а хорошие, не его слова. И голос не звонкий, с небольшой сипотцой, не его голос.

И по мере того как рассказ становится все интереснее — волны перекатываются через палубу тонущего судна, моряки молятся и прощаются друг с другом,— не может больше слушать Веня и уходит.

И выходя с лестницы, где обыкновенно рассказывал Толька, во двор, не верит Веня, что двор этот — славновский двор. Незнакомый какой-то.

И все же как и всегда.

Вот и панель — дорожки, две панели от лестниц до ворот. И флигеля, недавно отштукатуренные, желтые стены.

И вот ихняя ключаревская квартира тридцать — окна ихние: семь окон. И цветы: герань, кактусы, чайная роза — все давно известное, закрыв глаза сказать, перечислить все можно,— но как бы и незнакомое вместе с тем.

И смутно понимает — виноват в этом Толька.

Рассказ его о гибнущем судне и сам Толька — виноват. Хотя бы не рассказывал ничего, все равно был бы виноват. «А что он сделал? В чем виноват?» — спрашивает себя Веня, поднимаясь по лестнице домой.

Но ответить себе не может.

И от этого — и странно, и пусто как-то.

Потом смотрит из окна, как ребятишки играют в «штандар».

И опять — нехорошо и пусто.

Не было Тольки — интересно было смотреть.

Прибежал Толька, и игра показалась не игрою, а безобразным чем-то.

И не просто неинтересной, а безобразной — невозможною показалась простая знакомая игра.

Антошка бросает в стену черный арабский мячик. Кричит:

— Толька!

Толька бежит за упавшим мячиком, хватает его, кричит:

— Штандар!

Разбежавшиеся во все стороны ребятишки при слове «штандар» — останавливаются. Толька бросает мячиком в близстоящего. Игра — известная. Сам Веня сколько раз в нее играл.

Но что-то новое теперь в ней. «Толька виноват»,— думает Веня.

Толька бежит.

Длинные, в коротких штанишках, длинные, но полные ноги. Треплется ветром матросский воротник, прилипли вспотевшие на лбу волосы. Толька как Толька, всегда ведь такой!

И оттого, что всегда такой,— особенно безобразно, неприятно.

И все сплетается в голове: Толька — «штандар». Какое нехорошее слово «штандар!». Толька — буря в море.

Нехорошая буря! Толька...

«А еще в море бывают миражи, марево!..»— вдруг почему-то является мысль.

Толька — мираж! Толька — мираж!

И радостно, и страшно: «Толька — мираж!»

Сам не понимая, что делает, застучал кулаком по железной крышке окна и крикнул:

— Толька — мираж!

И вспомнилось вдруг, как огурчики лежали давно, в детстве раннем, зелененькие, на окне, «смеющиеся огурчики».

— Веня! Ты упадешь!— тревожный знакомый голос.

Веня вздрагивает.

Он — на окне. Во дворе не играют дети. Трубы напротив на флигеле освещены солнцем. Значит, вечер.

Мать гладит его по голове:

— Ложись спать! Разве на окне спят, милый?

— Я не спал,— отвечает Веня.

— Только храпел, а не спал, да?— улыбается мама.

— Нет! Только — не храпел, а Толька — мираж!— отвечает тихо мальчик.

— Ты глупости болтаешь какие-то! Спать хочешь?— хмурится мама.

Веню вдруг охватывает чувство непонятной тревоги.

Сам не понимает, что говорит, ухватившись за руку матери обеими руками:

— Мамочка! Я Тольки — не хочу!

— Что? Как не хочешь?— не понимает мать.

— Я Тольки капитановского не хочу!— говорит Веня и чувствует дрожь и в голосе, и в теле.

— И не надо, милый! Не играй с ним! Он нехороший...

Но Веня говорит, еще сильнее дрожа:

— Мамочка, ты не понимаешь! Я не хочу его, Тольку, не хочу! Понимаешь, мамочка, милая?

Отчаяние, страх охватывают оттого, что мать его не понимает.

— Ма-а-ма!..

— Милый...— пугается мать.— Ты что? Он побил тебя, скверный этот мальчишка? Да?

— Нет, мама, нет! Ты не понимаешь! Ты пойми! Зачем — Толька? Не надо Тольки! Не надо! И теперь не поняла?

Отец, вошедший в комнату на истерические крики сына, сказал взволнованно:

— Этот Толька всех с ума сведет! Я в участок заявлю! Черт знает что с детьми из-за него делается!

4

ПОСРАМЛЕННЫЙ ИДОЛ

Отец строго-настрого запретил Вене гулять во дворе.

— Гуляй в саду! Гораздо лучше, чем на вонючем дворе шляться. Или читал бы больше!

Веня принялся за чтение. Купил три книжки, дешевые, но красивые, с пестрыми, пахнущими краскою обложками: «Черный капитан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» и арабская повесть «Босфорская змея».

Но несмотря на то что книжки были интересные, Веня никак не мог отделаться от непонятного, гнетущего чувства.

Точно книжки напоминали о чем-то нехорошем.

И вдруг понял: «Черный капитан»— виноват.

Он напоминает Тольку.

Капитан. Толька — сын капитана.

Отложил книгу — не хотелось уже читать.

А со двора неслись голоса играющих в солдатики детей.

— Нале-е-во! Кру-у-гом! Шагом марш!— слышалась команда. «Толька — командует!»

Вспомнил Веня — вчера Толька предлагал:

— Ты, Веник, офицером будешь. Я — командир, а ты мой помощник. Я тебя обучать не буду и на часах

тебе не надо стоять. А будешь только ходить и смотреть, чтобы часовые не спали.

Но Веня отказался играть.

— Ты на меня чего-то злишься,— сказал ему Толька.— Я тебя считаю лучше всех, а ты меня не любишь.

Вспоминая теперь, за чтением, вчерашний разговор, Веня ощутил неприятную неудовлетворенность.

А со двора опять послышалось:

— Напра-аво! Раз! Два! Три! Раз! Два! Три! Бе-е-гом!

И почему-то непреодолимо захотелось идти на двор, к играющим. И пошел.

Не играть с Толькою в солдатики. А зачем-то увидеть Тольку.

В лицо его ненавистное вглядеться.

И спускался когда по лестнице, странно опять было, как во сне, томительном и тяжелом, когда проснуться хочется и не можешь.

Выйдя во двор, пошел навстречу маршировавшим ребятишкам, но не дойдя до них — остановился.

Из квартиры в первом этаже (в нее вчера переехали новые жильцы, столяры) из окна вылезал мальчуган в пестрой ситцевой рубахе, босой и без шапки.

— Чего смотришь? Не узнал?— крикнул мальчишка.

Спрыгнул. Прошел мимо Вени. Шел мелкими шагами, плечами вертя, точно плясать собирался. Юркий, видно, и озорник. Волосы тоже озорные: рыжие, во все стороны торчат, будто сейчас только драли за вихры.

Лицо пестрое от веснушек.

Веня подумал: «Новый. От столяров».

Пошел следом за мальчишкою. А тот, поравнявшись с играющими, закричал, как заправский унтер:

— Рота-а! Кру-у-гом!

И, обратясь к Тольке:

— Эй ты, генерал-маёр Слепцов! Вот как командовать нужно!

Порядок был нарушен.

Мальчишки остановились, с недоумением глядя на чудного незнакомца.

— Рыжий!— тихо прыснул кто-то.

— Рыжий! Рыжий!— повторили уже громче.

А мальчишка, оскалив широкий и прямой, как щель, желтозубый рот, передразнил:

— Рыжий, рыжий! Эх, вы еще дразнить-то не умеете! Нешто рыжих так дразнят?

— А как? Ну как?

Рыжий запел серьезно и старательно, будто̀ настоящую, песню, даже в такт помахивал рукою и притоптывал ногой:

Рыжий красного спросил:
«Чем ты бороду красил?»
Красный рыжему сказал:
«Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал».

Почесал затылок и опять, семеня ногами, будто пританцовывая, подошел к Тольке:

— Дяденька, а дяденька? Достань воробышка!

— Ты кто такой?— строго спросил Толька, покраснев до ушей.

— А я, ваше благородие,— скороговоркою отвечал рыжий,— есть самый выдающий человек. А родина моя город Пске, Американской губернии, а звать Тимоха, рубаха писана горохом, штаны рисованы змеей. Вона кто я такой!— заключил рыжий, щелкнув языком, как пробкою.

И, не обращая внимания на загоготавших от восторга ребятишек, продолжал, глядя прямо в лицо Тольке:

— А родился я в тысяча восемьсот не нашего году, а месяца и числа не помню, матка пьяным родила. А ты, поди, из легавой породы?— спросил он вдруг Тольку.

— Из какой такой из легавой?— покраснел тот еще сильнее прежнего.

— Из благородных, значит! Чулочки бабские, харя белая да гладкая, во всю щеку румянец, а под носом сопля!

— Евонный отец капитан,— сказал кто-то из ребятишек.

— С разбитого корабля, знаю!— буркнул, не оборачиваясь, рыжий и продолжал:

— Так-то, брат! А звать тебя, поди, Жоржик али Женечка, а?

— Ты чего дразнишься?— не выдержал Толька, надвигаясь на рыжего.— Какой я тебе Жоржик?

— Драться хошь? Погодь, успеем!— отмахнулся спокойно рыжий.— Без драки нам не обойтись, это

верно! А только сперва дай с парнишками обзнакомиться. Эй ты, чудный месяц!— крикнул он Никитке.— Ишь, харя! С похмелья двоим не облевать. Приятная физиономия!

Он подошел к оторопевшему пареньку и, внимательно оглядывая его, как какую-нибудь вещь, продолжал серьезно:

— Да-а! Знатная физия! И сам-то что комод красного дерева. Он, поди, вас, братцы, на борьбу всех зараз гребет, оптом? А? И где таких толстомясых делают? Ты, брат, большую сумму денег огрести можешь. Хошь заработать, а?

— Как — денег? Где?— не понял Никитка, сбитый с толку серьезным тоном рыжего.

— Вот чудак, не знаешь!— удивился тот.— Где? А? А в Зоологическом. Ей-богу, тебя можно за деньги показывать! Специально из-за тебя публика пойдет. Э-эх! Браток! Верное дело упущаешь. Играет тут в солдаты, зря ноги ломает. Раз-два! Раз! Два! Ну и чудак, брат, ты! Или денег у тебя своих много?

— Никитка! Дай ему в морду, чего он насмехается, рыжий черт!— крикнул Толька.

— У морды, брат, хозяин есть!— ответил рыжий.

Но Никитка подошел к нему и, засопев, подтолкнул плечом:

— Ну, рыжий бес, валяй! Чего вяжешься? Ну, зачинай, что ли!

— Погодь!— отпихнул его рыжий слегка.— Знаешь, что такое карточка, закусочная и сопатка?

— Чего дурачишься?— полез Никитка уже прямо грудью.— Кака тебе карточка да закусочна?

— Тпр!.. Не при, битюг дурдинский! Задавишь!— отпихнулся опять рыжий.— А карточка, брат,— это харя, а закусочная — рот, а сопатка — нос. А ежели ты этой науки не знаешь, то драться и не берись, не умеешь! А вот бороться давай, тебе это самому приятнее.

Никитка, действительно более уверенный на успех в борьбе, согласился.

— Давай! Думаешь, слабо? Давай, ну?

Рыжий указал на середину двора:

— Сюда выходи, во!

Ребятишки заволновались:

— Ишь, дурак, бороться!

— Зря взялся!

— Никитка его сейчас сломает!

А борцы схватились крест-накрест.

Рыжий, почти на голову ниже Никитки и значительно тоньше его, широко расставив ноги, тонкие и немного кривые, уперся ими крепко, как железными прутьями.

Никитка отчаянно заламывал противника, напирал крутой грудью в лицо.

— Сейчас задавит,— шептались ребята.

А рыжий кричал:

— Ого, грудища-то! Что подушка! Ну и черт! Отъелся здорово!

Хлопал по толстой Никиткиной спине:

— Во, запасец-то!

Никитка, красный как кровь, сопел на весь двор.

Расцепились.

— Здоров! — мотал головой рыжий.— Мужика, ежели который плохонький, задавит с ручательством: одно мясо да жир. Ишь, черт, что свекла стал! Даже ноги красные. Кровищи в нем, надо быть, целая бочка!

Ребятишки стояли молча, еще не могли решить, на чьей стороне будет верх, и потому держались осторожно.

А пыхтящий Никитка говорил, уже горячась:

— Ладно, брат! Чичас я те покажу, почем сотня гребешки!

— Что купец из бани в чистый понедельник, уф, уф!— поддразнивал рыжий.— Ну, давай! Паровоз! Отдохнули! Хватит!

Схватились снова. Затоптались.

— Держись за воздух!— вдруг крикнул рыжий пронзительно.

Ребята ахнули.

Рыжий, приподняв тяжелого противника, мотнул повисшими его ногами в сторону и шмякнул наземь.

— Го-го-го!..

Бесенятами закружились ребятишки.

— Ай да рыжий!

— Молодец!

— Никитка! Не стыдно? Не стыдно?

— У-у-у-у!..

Никитка медленно поднимался.

— Не ушиб, брат, а?— участливо спрашивал рыжий.— Здесь у вас плохо — камень. Вот у нас за Нарвской...

Он не договорил.

Толька сделал два длинных шага и, взмахнув рукой, ударил рыжего сзади по уху.

Тот кувырнулся через поднимавшегося с земли Никитку, но мгновенно вскочил сразу на обе ноги.

— Здорово стегнул! Только сзади, не дело!

Сообразил — кто.

— А, капитан! Ну, брат, это не по-капитански!

А Толька молча ждал, слегка сощурив глаза.

Рыжий кинулся на него. Отскочил.

Толька бил крепко, но удары рыжего были необычайны.

Казалось, в удар кулака входила сила и стремительность всего его юркого тела. Точно выстрел — каждый удар.

Толька стал отступать.

Но рыжий не отставал. Удары его делались все стремительнее и жесточе. Даже не заметно было взмахов.

Восторг ребятишек был безграничен.

— Рыжий, рыжий! А-а-а!

— Так! Так!

— Что черт вертится!

— А-а-а!

Толька упал. Вскочил, но снова упал. Из носа и разодранной губы — кровь.

— Толька, сдавайсь!

— Толька, попало!

Кричали мальчишки.

Рыжий стоял, выжидая.

— Ну? Еще? — спросил, прерывисто дыша.

— До-вольно! — ответил Толька, сплевывая кровь.

И, отойдя на несколько шагов, вдруг громко-громко заплакал и побежал.

Веня почувствовал: волною прилило что-то к груди. Ноги не стояли на месте.

Вприпрыжку, через двор, быстро вбежал на лестницу:

— Ма-ма! Папа! Ма-а-ма! — захлебываясь, кричал.

Кинулся к испуганной матери:

— Мамочка! Мама! Сейчас! Сейчас! Тольку побили! Мама! Слышишь? Толька сейчас плакал! Толька плакал!

5

НОВАЯ СТРАНИЦА

Победа Рыжего над Толькою не была окончательной.

После еще несколько раз, уже «любя», сходились, и все — вничью.

Рыжий беззлобно говорил ребятишкам о Тольке:

— Стегает прилично, несмотря что из господчиков. Сила у него большая.

— А все-таки ты ему завсегда насдаешь, верно?— заискивала мелкота.

— Нет! Поровну у нас идет. Я — его, он — меня. Конечно, ежели всерьез — другое дело. Когда я дерусь позаправду — сила у меня вдвое вырастет. И не отстану, хоть убей!

Действительно, при серьезных стычках Рыжий побивал Тольку, правда, с большим трудом.

Но после таких столкновений утомлялся.

Выросшая вдвойне сила — падала. Сидел потный и бледный, с вздрагивающими пестрыми от веснушек пальцами, в то время как у побитого им Тольки круглые щеки румянились и широкая грудь дышала глубоко и свободно.

В такие минуты Веня жалел Рыжего и ненавидел Тольку.

В борьбе с Никиткою Рыжий не всегда выстаивал. Нередко, когда ему удавалось благодаря неуклюжести противника одержать над ним победу, поваленный Никитка легко сбрасывал с себя победителя и подминал тяжело и плотно.

А однажды на песке, на канале, против славновских ворот,— с полчаса, пожалуй, мучил Никитка Рыжего.

Насел, что тому не дрыгнуть, а сам в носу ковыряет да посмеивается:

— Я быдто ведмедь — всех давлю!

Думали ребятишки — драка выйдет. Но Рыжий не обиделся:

— Черт,— говорит,— жирномясый, здорово припечатал!

— Уж ежели я мясами завалю — будь спокоен, как в санях!— соглашался Никитка.

Но как-никак, а с приездом в Славнов Рыжего ребятишки вздохнули куда свободнее.

Толька с Никиткою не так уж издевались.

Как-то побитый Никиткою до синяков на боках Петька наборщиков пожаловался Рыжему:

— Завсегда бьет и ломает, вот хоть у ребят у всех спроси,— хныкал Петька.

Рыжий разыскал Никитку и предупреждение сделал:

— Смотри, черт мордастый! Коли еще маленьких обидишь — кровью у меня умоешься!

— Какой же он маленький! Петька-то?— оправдывался Никитка.— Он даже меня старше.

— Дурак! Старше! А сравни себя с ним, получится слон и моська!

Петьке же Рыжий посоветовал:

— А ты, нюня, бей чем попадя. Камень — камнем, полено — поленом! И убьешь — не ответишь!

И остальным мальчишкам:

— А вы, братцы, чудаки-покойники! Иванятся у вас эти двое, Толька с Никиткою, и будто так и надо! Ежели б у нас за Нарвской такие Иваны объявились — беспременно им санки порасшибали бы!

— Да, а что мы сделаем с ними?— наперебой тараторила мелкота.— Они вона какие битюги дурдинские, сам видишь!

— Битюги! А вы извозчиками будьте! Вы ведь боитесь, а бояться-то нечего. Всех не убьют. Меня хозяин и то второй год как бить бросил. Потому, ежели он за ремень, я обязательно — за фуганок али за стамеску. И вы бы так. Сила не берет — бей чем попало! Главное, компанией надо. А то у вас так: одного бьют, а другие смотрят, да еще подначивают. А кучей вы могли бы и Тольку этого с Никиткою, да и меня в придачу, честь честью расхлестать.

Ребятишки после между собой:

— Молодец, братцы, он, да?

— Правильный! Не гляди, что рыжий.

— Рыжие тоже разные бывают.

— Они его боятся, страсть!

— Вдвоем не побоятся,— не соглашался швейцаров Антошка.— Толька и один-то его не боится, а вдвоем с Никиткою им с ним и делать нечего.

— А нам нужно за Рыжего стоять. Верно?

— Понятно! Без него нам ничего не сделать.

Ожили ребятишки.

Петька повеселел и порозовел даже.

Никитка оставил его в покое. Изредка лишь легонько «игрался». Силы, крови у Никитки — уйма.

Веселит, радует Никитку здоровье, тело могучее.

Трудно удержаться, не попробовать силы, не прижать, не вертануть какого-нибудь заморыша.

Трудно удержаться от озорства, жестокости каждому здоровому ребенку.

Где удержаться, когда кровь как само счастье?

Сила в каждой частице тела стучится, исхода требует, работы.

Лежит, бывало, Никитка в праздник на песке, семечки лузгает.

Жара — не продохнуть. А от праздничной сытости еще жарче.

Что после бани — распарен Никитка.

Томится от безделья большое сытое тело.

Сжимает и разжимает круглые загорелые кулаки.

Ноги вытягивает, выгибая пальцы, отчего выпячиваются мясистые выпуклости под пальцами, на подошвах, а сверху, под крутым скатом ступней, у пальцев, складки — трещинки на грубой загорелой коже,— слоновьи ступни.

«Эвона, ножищи у меня богатырские,— думает радостно Никитка,— огромадные и гольное мясо!»

А тут Петька стошки считает. Всегда со стошками — везет ему в игре.

Укладывает пачечки бережно.

Протягивает Никитка ногу, лапищу, ступню слоновью — весь капитал Петькин накрывает.

— Чего лезешь, брось!— толкает Петька Никиткину ногу.— Помнешь стошки. Пусти!

— А ну-ка-сь, сдвинь ножку-то! Слабо!

Посмеивается. Грызет семечки.

Петька хватается обеими руками за толстую ногу, упирается, как в столб, теребит круглые, твердомясые пальцы, с плоскими, как миндаль в заварном тесте, ногтями.

— Черт толстомясый, чего лезешь? К тебе же не лезут?

Злится: на силу Никиткину негодует и на бессилие свое.

Непоколебима упористая лапа. Над пальцами на загорелой грубой коже складки — трещины.

Слоновья ступня.

Хнычет Петька.

— И все лезет, все лезет!.. Пусти, говорят! Помнешь стошки! Ники-и-тка!.. Пусти-и жа!

Петька бьет бессильным сухоньким кулачком по круглой твердой ноге Никитки.

— Пальчик-то отогни, один хоша! Двум рукам!.. Гы-ы-ы!..

Посмеивается. Лузгает семечки. Толстые, блестящие, точно маслом смазанные щеки выпирают так, что глаз не видать.

— Пусти, толсторожий!.. Никитка! Пусти жа!

— Гы-ы! Моська! Понатужься, авось согнешь пальчик-то! Ну-ка ся! «Ой, дубинушка!» Гы-ы-ы!..

Отирает губы увесистым, коричневым кулаком.

Натешился.

Петька выпрямляет, разглаживает карточки.

— Измял вот!.. Ладно же!.. Пристает всегда! Его не трогают!

Никитка зевает, потягиваясь.

— С чего ты, Петька, такой прыштик, понять не могу! С ногой с моей не совладать, с пальчиком, Петь, а?

— Ладно! Смейся! Тебе харя дозволяет! Морда что у слона у настоящего!— огрызается Петька, засовывая за пазуху карточки.

— Ну дак что, как у слона! Зато я здоровенный, а ты прыштик. Я с тобой что захочу, то и сделаю, а ты со мной ничего.

Никитка схватывает Петьку за шиворот и пригибает к земле:

— Вона! Вся твоя жизня тут!

Но все эти грубые издевательства против прежних Никиткиных жестокостей для Петьки — что хлеб с маслом.

Ожил Петька. Повеселел даже и порозовел.

Против прежнего не житье ему, а масленица.

Веня с Рыжим подружился. И не потому лишь, что Рыжий Тольку побил и за Петьку, затравленного Никиткою, заступился.

Другое что-то влекло его к новому товарищу.

И ухарству Рыжего, перед чем благоговела славновская мелкота, краснобайству его прибауточному особенной цены Веня не придавал.

Наоборот, больше нравился Рыжий, когда молчаливо слушал Толькины рассказы или когда стружки подметал в мастерской хозяина своего, столяра Ивана Кузьмича Гладышева.

Но особенно теплотою какой-то веяло, когда вспоминал Рыжий по весне как-нибудь о Нарвской заставе.

— Травка теперь. Парнишки, поди, купаться скоро начнут. Весело, хорошо у нас, за Нарвской. Будто родные все промежду себя.

И, в тон скомороший впадая, сплевывал сквозь зубы:

— Черт, Кузьмич корявый! Угораздило сюда ехать жить. Сменял кукушку на ястреба.

И запевал горестно-шутливо:

Прощай, ты, Нарвская застава,
Прощай, ты, Веников трактир!

Этот Веников трактир нравился Вене, трогал даже. Точно в честь его, Вени — Веника, трактир назывался.

Роднил его с Нарвской заставой, которую, не зная, любил почему-то Веня.

— А в праздники! Эх, мать честная! Скобари наши партиями так и шалаются, с тальянками. Ломака впереди всех разоряется.

Рыжий передавал в уморительных картинах пение загулявших «скобарей», кривляние «ломаки»— запевалы:

Шел я лесом,
Видел беса,
Бес в чугунных сапогах!—

дребезжал голос Рыжего.

— А тальяночка что змея — во, извивается!..

Кувыркается, ломаке подражая, по земле ожесточенно ладонями прихлопывает, топчет брошенную наземь шапку, взвизгивает:

— И-и-и, жаба, гад ену! Змей ползучий!

В восторге — ребятишки.

Особенно толстый Никитка.

— Гы-ы-ы!..

Ржет жеребенком. Щеки от смеха трясутся, выпирают, глаз — не видать.

Потом — драки скобарей:

— По черепам — песоцыной! Тростями железными — в коклеты искромсают, ей-ей!

И не может Веня понять, что хорошего в диких этих Рыжего рассказах, но слушает, затаив дыхание.

А иногда Рыжий запевал с искренней грустью:

Недалеко от Нарвской заставы,
От почтамта версте на седьмой,
Там, обрытый глубоким каналом,
Для рабочих приют дорогой!

И представлялась Вене шоссейная дорога, убегающая вдаль, от Триумфальных заставских ворот, между домами, где люди все как родные!

И казалось, что здесь, в Славновом доме, нет у него, у Вени, родных, а там они, за Нарвской.

И просил тогда Рыжего:

— Пойдем к вам, за Нарвскую, погулять.

Рыжий ласково, как никогда, хлопал Веню по плечу:

— Пойдем, брат Веник, обязательно пойдем!

И добавлял еще ласковее:

— Ты, Веник, изо всех ребят отменный. Только тихой больно. Надо позубастее быть. Без зубов, брат, никак невозможно. Съедят безо всякого гарниру.

За Нарвскую Веня попал совершенно неожиданно для себя.

Как-то зимою, вскоре после рождественских каникул, в воскресенье, Рыжий сказал Вене:

— Пойдем сейчас за Нарвскую. Обязательно сейчас нужно!— серьезно говорил и взволнованно.

— Надо спроситься дома,— начал было Веня, но Рыжий перебил:

— Не просись, не пустят.

— А может быть, пустят.

— Брось! Знаю! Я тоже не спрашивался своего корявого.

Веня еще мялся, но товарищ внушительно повторил:

— Обязательно сейчас!

По дороге Рыжий с таинственным видом сообщил, что сегодня Путиловский и вся вообще Нарвская застава идет к царю с прошением.

— Значит, брат, надо идти и нам. Что же мы, своих оставим, что ли? Верно, Веник? Ведь вся Нарвская пойдет! Наши столяры которые, чуть светок ушли.

— Да ведь я же не нарвский,— покраснел почему-то Веня.

— Ты вроде как бы нарвский тоже.

Далее Рыжий стал рассказывать, что рабочие решили говорить царю о своей жизни.

— Наш брат рабочий вроде как при крепостном праве живет,— говорил Рыжий, очевидно, не свои слова.— Знаешь, как при помещиках, давно еще крепостная жизнь была? Людей, как скот, продавали, драли розгами.

— А теперь же не так. Теперь все свободные. Царь-освободитель освободил,— перебил Веня, но Рыжий хмуро сказал:

— Освободитель! Много ты знаешь! Мы вот как-нибудь сходим к братеннику к моему, путиловский он. Он те расскажет про твоего освободителя-то.

— Какой он мой?— обиделся Веня.— Он меня не освобождал.

— Он никого не освобождал,— хмуро оборвал Рыжий.

Потом долго молчал. Шли торопливо по незнакомым Вене улицам.

Утро было холодное, ветреное. Холод пощипывал уши и носы.

— Сядем на конку,— предложил Веня, которому было очень холодно,— у меня есть деньги.

— Догонит, так сядем,— согласился Рыжий.— Только где ей догнать!

Действительно, шли долго, но конка не догоняла и ни один вагон не попадался навстречу.

— Не ходят конки чего-то,— задумчиво сказал Рыжий.— Пойдем, брат, скорее. Сейчас вот Нарвский проспект, а там и площадь и ворота.

— Эге, брат!— сказал Рыжий, когда вышли на площадь.— Вот те и раз! И фараонов-то!..

На широкой площади гарцевали всадники и грелись у костров солдаты.

Вене стало беспокойно при виде расположившихся, как на войне, солдат.

— Пойдем назад,— тихо сказал Веня.

— Куда назад!?— сердито спросил Рыжий и пошел, несколько замедлив шаг, по направлению к Нарвским воротам.

Но конный городовой издалека махнул рукою в белой перчатке.

— Не пропущают!— глухо сказал Рыжий.

— Пойдем назад,— повторил Веня.

— Э, погоди, брат,— вдруг встрепенулся Рыжий,— я знаю, как пройти. Через Екатерингоф, в Волынку. Айда, братишка!

Бегом, через скрипучий деревянный мост, потом по широкой, в гору, дороге.

— Это — Волынка,— торопливо сообщал Рыжий,— а сейчас — по Болдыреву переулку и за Нарвскую. Я, брат, здесь все ходы и выходы знаю. Завяжи глаза — и найду, честное слово!

Через минуту были на шоссе, за Нарвской.

Было страшно.

Черная, огромная толпа, несколько секунд назад бодро идущая шаг за шагом, с пением молитв, с хоругвями,— стала черной стеною.

Лишь колыхались хоругви и несколько человек тянули еще слова молитвы.

И вдруг в морозном, точно притихшем воздухе резко и тревожно запела труба.

И едва смолкла — загрохотало что-то, словно гигантский молот запрыгал по камню.

Толпа задвигалась, прокатился по рядам ропот.

— Стреляют! Стреляют!— болезненный где-то крик.

Потом опять — молот по камню.

— Веник, сюда!— кричал Рыжий. За каменным столбом, похожим на могильный памятник без креста, залегли Рыжий и Веня.

А грохот — чаще и чаще.

И бледными вздрагивающими губами выкрикивал Рыжий тяжелые ругательства.

— Надо опять в Болдырев!— шепнул он наконец Вене.— Скорее! Голову не поднимай, а то подстрелят, сволочи!

Уже к Волынкиной деревне когда подходили, Рыжий, догнав торопливо идущего Веню, остановил его, дернув за рукав:

— Погодь!

— Чего ты?— спросил Веня, остановившись.

— Погодь,— тихо, точно слюну глотая, промолвил Рыжий.

Веня смотрел на него и ждал.

И тот, казалось, ждал.

Потом махнул рукою и отвердевшими, словно застывающими губами проговорил чуть слышно:

— Веник, видал? Ведь убивали. А? Веник? Ведь позаправду стреляли.

Рот раскрыл, как рыба на берегу. С трудом вдохнул в себя воздух.

Веня испугался. Ему показалось — Рыжий ранен.

Но тот оправился.

Сплюнул, выругался тяжело и злобно, как мужик.

Нахлобучил ушастую шапку и сурово бросил:

— Пошли!

6

ОТТЕПЕЛЬ

Расстрел рабочих, ходивших с петицией к царю,— небывалое еще в Питере событие,— нашло отголосок и среди детворы Славнова дома.

Мнения и симпатии разделились.

Толька, а с ним и Никитка стояли за солдат, полицию — за царя.

Очевидцы кровавого события — Рыжий и Веня, находящиеся еще под свежим впечатлением виденного, отстаивали правоту рабочих и негодовали на зверство правительства.

— Сколь, небось, ребятишек без отцов остались, сиротами,— говорил Рыжий.— Хорошо бы тебе было, если бы твоего батьку убили?

— А зачем они шли?— отвечал вопросом же Толька.— Ишь, чего захотели: с царем разговаривать! Разве это можно?

— А почему нельзя? Царь такой же человек.

— Такой да не такой. А если бы его убили? Он вышел бы разговаривать, а тут: бац!— из револьвера,— горячился Толька.— Мало там разных студентов да жидов переодетых.

— Конечно,— поддерживал своего «господина» Никитка.— Они для этого небось и шли: «Боже, царя храни», а сами — с левольвертами.

— Никаких левольверов и не было. Ведь мы с Веником видели. Их стреляют, а они на колени стали и молитвы поют. Нешто за это можно стрелять?

Никитка сопел, видимо колебался, но Толька насмешливо замечал:

— Значит, можно, когда стреляли.

— Дурак ты опосля этого и сволочь!— сердился Рыжий.— Когда люди безоружные, конечно, стрелять не страшно, а только это неправильно.

Он окончательно выходил из себя и угрожающе говорил:

— Ладно! Все равно это так не пройдет. Соберутся потом все рабочие да как начнут трепать этих твоих фараонов да генералов!

— Ничего!— поддразнивал Толька.— Хватит на них пуль-то. Из пушки как выпалят, тут твои путиловцы, что тараканы, запрячутся. Ха-ха!

— Гы-ы!— вторил Никитка.— Это верно, много ли им надо, ежели из пушки.

— Ладно! И на них пушки найдутся,— не сдавался Рыжий. И обращался к Вене.— Верно, Веник?

— Верно,— соглашался тот, хотя не верил, что у рабочих найдутся пушки.

Была оттепель.

Капало с крыш, как весною. На дворе дымила снеготаялка.

Мальчики играли в снежки: Толька с Никиткою против Вени, Леньки и Петьки.

Сначала игра шла почти ровно, но потом слабый Петька и неумелый Ленька стали сдавать.

Вене почти одному пришлось защищаться против двух сильных противников.

Осыпанный снегом, с ноющей скулою от крепкого Никиткиного снежка, Веня стал отступать.

Слабо поддерживавший Ленька все промахивался.

Петька выбыл, ушибленный снежком в глаз.

Победители с радостными криками загнали противников в угол двора.

Ленька закрыл лицо руками и не оборонялся.

— Вали! Бей путиловцев!— вдруг закричал Толька.— Пли!

Снежок больно ударил Веню по носу. Из глаз пошли слезы.

— В кучу их!— радостно заржал Никитка.

Веня не успел опомниться, как Толька схватил его и бросил на кучу снега.

— Сдаешься?— торжествующе крикнул, насев на Веню.

Веня силился подняться, но глубже проваливался в снег.

Тяжелый Толька навалился всем телом.

Никитка, в свою очередь, подмял под себя слабосильных Леньку с Петькою.

Веня слышал плаксивый голос Петьки:

— Никитка жа!

И озлобленный — Леньки:

— Пусти, черт!

— Сдавайсь!— ржал Никитка.

— Не сдавайся, братцы!— закричал Веня и снова сделал отчаянную попытку освободиться от Тольки.

Но Толька придавил его так, что тяжело стало дышать.

Поймал Венины руки, сжал в своих широких сильных руках, разбросил в стороны.

Задышал прямо в лицо:

— Ну что? Много ли тебе надо? Сдаешься?

— Не... нет!— с трудом выговорил Веня.

Увидел, как нахмурился Толька. Розовые, с ямками, щеки вздрогнули. И вздрогнула нижняя пухлая и выпяченная вперед губа.

— Сдавайся!— запенившимися губами произнес Толька и до боли сжал Венины руки.

Подщуренные глаза зазеленели. «Злится»,— подумал Веня и внезапно озлился сам.

— Пусти!— крикнул предостерегающе и злобно.

— Не пу...

Толька не договорил.

Веня, приподняв голову, быстро, крепко впился зубами в круглую плотную Толькину щеку.

Почувствовал соленое на губах.

Толька вскрикнул, отпустил Веню. Отскочил, держась рукою за щеку.

— Ты — кусаться? Девчонка!

Веня поднялся. Стоял, точно чего-то ожидая.

Толька тоже ждал.

— Драться хочешь?— спросил тихо.

Веня не ответил. Случайно взгляд его упал на копошащуюся на снегу кучу тел.

Толстомясый Никитка навалился на Леньку и Петьку, натирая им лица снегом.

Веня сделал шаг, но Толька схватил его за руку:

— Не лезь! Не твое дело! Какой заступник!

Веня вырвал руку, но в тот же момент ощутил тупую боль в скуле.

Голова закружилась. Едва удержался на ногах.

А Толька опять взмахнул рукою. Веня увернулся. Удар пришелся в плечо. Бросился на Тольку.

Опять боль в скуле.

И вдруг услышал:

— Веник, бей!

Звонко отдался этот крик в ушах. Радость от этого крика. «Рыжий»,— подумал Веня.

А Толька отступил на шаг. Смотрел на Веню в упор зелеными дикими глазами и вдруг громко крикнул:

— Никитка! Брось тех! Рыжий!

Рыжий уже подходил.

В одной рубашке, в опорках на босу ногу, в шапке с ушами.

Примял шапку.

— Братцы, крой!— крикнул пронзительно.

И точно ожидали этого крика все трое: и Веня, и Ленька, еще не успевший отдышаться после могучих Никиткиных объятий, и плачущий заморыш Петька — все бросились на Тольку и Никитку, уже стоящих рядом.

Но силы были неравные: два силача уже сбили с ног Леньку и Петьку.

Те вскочили, но снова были сбиты.

— Эх, братцы, плохо! Разве так надо?— крикнул Рыжий.

Двенадцать рук замелькали. Двенадцать ног заскользили на гладком оттаивающем снегу.

С каждым ударом Рыжий вдохновлялся.

Кулаки его невидимо взлетали. Опорок соскочил с одной ноги. Так и не надел его.

— Бей, братцы! Веник! Молодец!

Веня разбил Никитке нос.

Никитка бестолково размахивал руками, пытаясь поймать Веню за руки.

Но Веня увертывался от его страшных лап.

И бил, и бил по окровавленному противному толстому лицу.

Толька держался долго, но после двух подряд резких ударов Рыжего, оставивших на сытых розовых Толькиных щеках темно-красный знак, Толька, отскочив в сторону, засунул руку в карман и, поспешно вытащив перочинный ножик, крикнул:

— Не подходи!

— А, с ножом!— остановился Рыжий.

Драка прекратилась.

А Толька и Рыжий стояли друг против друга.

Рыжий надел опорок.

— Резать будешь? — спросил, тяжело дыша.

— Зарежу!— ответил Толька.

— Слышали, братцы?— обратился Рыжий к мальчишкам.

— Слышали!

— Все слышали!

Рыжий сказал тихо:

— Толька, брось нож! Спрячь!

Толька молчал.

Рыжий сделал осторожный шаг вперед. Толька взмахнул ножом.

Рыжий сдернул с головы шапку и внезапным движением наотмашь ударил шапкою по ножу, а другой рукою схватил Тольку за горло.

Петька подхватил упавший нож.

Рыжий ударил Тольку по носу. Потекла кровь, Толька закрыл лицо руками.

— Довольно? Наелся?— спросил Рыжий и добавил: — Надо бы тебе за нож все зубы повышибить, сволочь!

Толька тихо отошел, вынул из кармана платок и медленно, вдоль стены, отправился со двора на улицу.

— Гулять пошел!— хихикнул Петька.

— Моцион ему нужно обязательно,— сказал Рыжий серьезно.

Потом обратился к Никитке, продолжавшему утираться:

— А ты чего, чудак, завсегда за него пристаешь? Морду накрасили? Хорошо? Вы, ребята, теперь чуть что — мне говорите. Мы их расчешем, как полагается. А ты, Петька, ножик евонный возьми и ежели он али вот этот черт полезут — режь прямо!

— Ей-богу, резать буду!— вдруг заговорил Петька, захлебываясь.— Это что же такое? Этот Никитка чуть что — в морду! Вот сегодня все брюхо раздавил, дьявол толстозадый! Посичас больно. Что я ему, подданный, что ли?

— Слышь, Никитка? Не стыдно тебе, все маленьких забиждаешь. Погоди!— погрозил Рыжий пальцем.— С тобою я еще по-серьезному поговорю.

— Я больше не буду Петьку трогать...— глухо сказал Никитка.

Засопел. Заморгал глазами.

— Это Толька меня все поджучивает.

— Толька? А у тебя своей головы нет? Теперь чтобы Тольку баста слушаться, понимаешь?

— Понимаю,— прогудел Никитка.— Я с им больше водиться не буду.

Он вдруг подошел к Петьке, вздрогнувшему от неожиданности, и протянул огромную красную лапищу:

— Ты, Петь, не сердися. Я больше тебя не трону,— конфузливо проговорил.

Петька опасливо поглядел на своего вечного мучителя и протянул сухонькую грязную ручонку.

— Ладно, помиримся.

— Вот, теперь у нас одна компания,— засмеялся Рыжий.— Давно бы так! Будто у нас, за Нарвской, ей-ей! Веник, слышь, у нас, за Нарвской, все дружные! Эх, братцы!

Он снял шапку, почесал затылок.

Веня чувствовал радость. Смеяться хотелось и вместе плакать, Рыжего поцеловать.

Подошел уже к нему, но устыдился.

— Ты чего?— пытливо взглянул на него Рыжий.

— Ничего!

Веня подумал. Вздрогнувшими губами промолвил:

— Ты — хороший...

— Пока сплю — хороший, ничего,— засмеялся Рыжий. Спохватился:

— Бежать надо! Хозяин заругается, я ведь выскочил на скору руку. В окно увидал, как ты с Толькою хлестался. Думаю: «Изувечит парня». Вот и прибежал.

Схватил снежок, запалил в стену, побежал, скользя опорками.

Была оттепель.

Капли веселее, звончее дробились по обледеневшему снегу.

Не верилось, что на дворе — январь.

И небо чистое, голубое, омытое, словно — не январское.

‹1925›

ПРЕСТУПЛЕНИЯ АКВИЛОНОВА

Повесть

1
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Еще с детства Алексей Аквилонов проявлял некоторую странность.

Возможно, странность эта была следствием какой-нибудь ненормальности в строении организма. Может быть, мозг помещался в черепной коробке не так, как надо; мозговые извилины, может, не такие были, как у прочих людей,— кто знает?

Но, во всяком случае, никаким сумасшедшим Аквилонов никогда не был.

С детства отличался завидным здоровьем, ни свинками, ни флюсами не хворал и впоследствии не простужался, не хандрил и на разные там нервы не жаловался.

И ум имел ясный, характер спокойный.

А между тем странность одна у Аквилонова, несомненно, была, и заключалась она в том, что он всегда норовил сделать себе что-нибудь худое.

Бывало, такое положение создаст, ну прямо сам себя в дамках запирает!

Конечно, у всякого барона, как говорят, своя фантазия, и каждый по-своему сходит с ума, но если, например, генералиссимус Суворов петухом пел и через стулья прыгал, то все-таки он Чертов мост и Альпы перешел. Будь же на его месте Аквилонов, Алексей Исаевич, то обязательно нарочно проигрывал бы сражения.

На самой вершине славы взял бы и проштрафился.

Да так еще, чтобы весь мир рот разинул.

А Аквилонов ликовал бы: «Ага! Ждали от меня подвигов, чудес? Верили в меня как в гениального полководца? Так вот, смотрите, как мне французы да турки шею накостыляли!»

В детстве, бывало, подарят Алеше игрушку, о которой мечтал как о счастье, просил которую чуть не со слезами.

Носится он с ней, из рук не выпускает, от восторга места не находит.

Но пройдет день, а то и того меньше, и игрушка сломана, да так, что ни клеем, ни гвоздями не поможешь, и ни один мастер не возьмется чинить.

И ломал не потому, что игрушка надоедала. А просто непреодолимо захочется сломать.

А то явится желание огорчить близкого человека: маму, отца.

И жалко. И страшно. А вот хочется же! Покоя не найти!

Как жажда.

Отцову шапку дорогую, бобровую, спалил. На видном месте плешину, с блюдечко, сделал. Пропала шапка. Брошку матери в горшочек герани, в землю, глубоко запрятал. Нашли брошку много времени спустя. Цветы пересаживали и нашли случайно.

Когда исполнилось мальчику десять, мать уверилась, что он ее не любит.

И до конца жизни не знала, что сын любил ее — как никого никогда. Не знала, как он плакал всякий раз, после того как огорчал ее.

А когда мать ласкает:

— Ты паинька, славненький мой! Не шалишь теперь. Слушаешься папу и маму. Всегда будешь таким, не правда ли, миленький?

Алеша смотрит на мать, прямо в жадные ее, любящие глаза, и спокойно, несколько лениво, говорит:

— А я, мамочка, тебя не люблю-ю.

— Что ты, милый?— пугается мать.— Как тебе не стыдно?

— А раз не люблю? Я же не виноват, что не люблю.

Мучается мать. Плачет и вымаливает сыновней ласки, как милостыни.

А Алеша... Сердце бьется от своих же страшных слов, лицо бледнеет и дрожат губы:

— Не целуй! Ну тебя! Надоела! Говорю — не люблю! Ну и отстань, пожалуйста.

А после — мучается одиноко и тайно.

Игра — не в игру, забава — не в забаву.

Но на вид весел, даже особенно шумно весел.

В комнатах, не умолкая, звенит его голос.

На улице, во дворе затевает дикие игры, приводящие взрослых в негодование, а детвору — в восторг.

А сердце Алеши Аквилонова, коновода, застрельщика диких забав, томится одиноким страданием.

Ждет Алеша ночи, томится в ожидании ночи. Ночью он подкрадется к спящей матери и поцелует ее. Тихонечко, едва касаясь губами, как верующие целуют

икону. Хочется крепко-крепко обнять маму и целовать бесконечно, а вместо того — чуть губами. Не поцелует, а приложится.

Мать умерла внезапно. Сидела за утренним кофе. И умерла. У нее что-то с сердцем было.

Долго помнил Алеша этот день. Знойный июльский день. Томительный и тревожный.

Духота в залитых солнцем комнатах.

В раскрытые окна — грохот улицы и щебетание птиц — знойное тоже.

Мать с утра жаловалась на сильную слабость, сердцебиение и головную боль. Сидела за столом бледная. Тяжело дышала.

С улицы звенели трамваи. Чирикали под окнами воробьи.

Казалось, от звона этого и чириканья — душнее в залитых солнцем комнатах.

И пришла Алеше мысль пошалить, огорчить раздражительную нездоровую мать.

Принес маленькое зеркальце и стал пускать солнечных зайчиков.

Навел на мать. Заслонила глаза рукой, недовольно сказала:

— Не шали! Я совсем больна.

Мальчик не унимался. И когда мать закричала, уже сердясь: «Господи! Какой бессердечный мальчишка!»— Алеша вышел из комнаты.

И сильное желание явилось. Взять зеркало побольше. Навести зайчика на лицо матери, прямо в глаза.

Сердце забилось. Жалко матери. А потому желание сильнее.

Как жажда.

Взял с комода большое круглое зеркало и тихонько пошел в столовую.

Мать сидела, опустив голову на грудь. Казалось, спала.

Алеша навел зеркало.

Светлое пятно задрожало на лице и груди матери. Розовые цветы — рисунок на капоте — выступили ярко.

И вдруг увидел Алеша на ковре, у стола, чайную чашку.

Тревожно стало при виде этой стоящей не на своем месте вещи.

Поспешно поставил зеркало на подоконник и подошел к матери.

Вгляделся в ее бледное неподвижное лицо.

Почему-то почудилось, что от этого лица — тихо.

И вдруг явилась мысль:

«Это не мама».

— Мама!— тихо и тревожно позвал мальчик.

И опять подумалось:

«Это не мама».

— Мама!— громче, с усиливающейся тревогой, сказал Алеша.

И не понимая зачем, быстро зашептал:

— Мамочка! Прости! Я не буду... зайчиков. Мама. Я люблю тебя! Люблю, мама!

Понял вдруг — мать мертва.

Испугался. Обнял ее крепко и закричал:

— Мамочка! Я люблю! Да люблю же!..

Отец был на службе. Прислуга ушла на рынок. Долго кричал Алеша.

Понимал, что все уже поздно, что не нужно теперь матери ни правды, ни лжи, но все кричал, что любит дорогую свою мамочку, всегда любил, что не будет больше шалить и пускать зайчиков.

А когда отошел от матери и хотел бежать за кем-то, звать кого-то, услыхал грохот трамваев и чириканье воробьев за окном и почувствовал непонятную обиду и тоску.

Увидел на стене вздрагивающее круглое светлое пятно, и цветы в пятне этом ярко выступали.

Вскрикнув, зарыдал Алеша и выбежал из комнаты...

2

ГОЛУБЕНЬКИЕ ПИСЬМА

Гимназии Аквилонов не кончил.

Не стал являться на выпускные экзамены и не остался на второй год.

Поступил на службу в банкирскую контору.

Отец сердился недолго.

Он в то время серьезно хворал и старался не обращать внимания на сына, один вид которого раздражал его.

Алексей же чувствовал себя как всегда: спокойно, несколько скучновато.

Разницы между училищем и конторой не нашел никакой.

В год, когда умер отец, Аквилонов полюбил девушку.

И первую свою юношескую любовь погасил сразу. Как гасят лампу.

С девушкой этой, Наточкой Авиловой, познакомился через школьного товарища Привезенцева.

Сначала она не возбудила в Аквилонове никакого интереса.

Но спустя несколько времени, как-то вечером, совершенно неожиданно вспомнил Наточку.

Всю представил себе: от пышных мягких волос до крохотных ножек. Даже будто и голос ее слышал: робкий, виноватый.

И захотелось увидеть ее. Сейчас же, сию минуту.

Потянуло к Привезенцевым, где Наточка бывала почти ежедневно.

Заторопился. Одеваясь, долго не мог сладить с одеждой, и сам удивлялся своему волнению.

К Привезенцевым пришел, когда Наточка уходила. Испугался, что она уйдет одна или с Привезенцевым. И потому поспешно вызвался ее провожать.

Она, конфузясь, согласилась.

По дороге Аквилонов спрашивал, в какой гимназии она учится, какие предметы ей нравятся, ходит ли в театр.

Она нехотя отвечала и шла торопливо.

Прощаясь, Аквилонов спросил:

— Вы любите танцевать?

— Люблю,— ответила Наточка.

— А какой танец вам нравится?

— Больше всего венгерка.

Взялась за ручку парадной двери.

— А меня вы любите?— спросил Аквилонов тем же тоном, каким только что спрашивал о танцах.

Девушка несколько секунд молчала, не шевелилась. Аквилонову показалось, что она не дышит.

Было темно.

Аквилонов не видел лица девушки.

Громче повторил вопрос.

Она ответила не то смущенно, не то обиженно, тщетно стараясь говорить насмешливо:

— Я об этом никогда не думала.

Аквилонов сказал серьезно:

— Подумайте.

И подал ей руку.

С этого дня стал чаще бывать у Привезенцевых.

Не чувствовал ни малейшей неловкости перед девушкой.

А Привезенцев как-то позвал Аквилонова к себе в комнату и стал расспрашивать о его ночном разговоре с Наточкой, сообщив, что узнал об этом от своей сестры, Наточкиной подруги.

— Неужели так и спросил: «А меня не любите?»— смеялся Привезенцев.

И на утвердительный ответ Аквилонова протяжно вздохнул.

Потом взял с дивана гитару и, тихо пощипывая струны, сказал как бы с сожалением:

— Так с барышнями не разговаривают. Любую, брат, спугнешь.

Взял два глухих аккорда и продолжал:

— Нехорошо, милый. Некрасиво. Надо щадить девичий стыд.

И тотчас же, не выпуская из рук гитары и не меняя тона, рассказал, как «влюбил в себя» хорошенькую девочку и почти насильно овладел ею.

Аквилонов стоял у окна, полуоборотясь к Привезенцеву.

Из окна видна была улица, узкая и безлюдная. Напротив — сад, пушистый, бледно-зеленый — весенний. Глядя на нежную зелень сада, Аквилонов почему-то неожиданно подумал о Наточке: «А вдруг я ее убью?»

Удивился этой нелепой мысли. «Убить? За что?»— задал вопрос.

Вздрогнул, когда Привезенцев запел:

За щечки, глазки,
Что были как в сказке,
И за пару ножек,
Что мне всего милей!

— Что такое —«за пару ножек и за глазки»?— быстро обернулся Аквилонов.

Привезенцев тряхнул смоляными, густо спадающими на лоб волосами и тихо засмеялся.

— Про тебя я пел, дорогуша. За глазки и ножки девочку полюбил. Разве не так?

Продолжал уже серьезно:

— Ножки у нее восхитительные. Ножки, брат, великая штука — Пушкин женскими ножками добрался до памятника нерукотворного.

Аквилонов сказал, не скрывая раздражения:

— Сколько лет тебя знаю и не могу понять: мерзавец ты или играешь под мерзавца?

Привезенцев быстро перебрал струны, глухо забренчавшие, и тотчас же прикрыл их ладонью.

Ответил не торопясь, равнодушно-задумчиво:

— Мерзавцев не бывает. Все мерзавцы. А актеры мы плохие. Мало того что не свои роли берем, но и не учим их.

Подошел к Аквилонову близко, на шаг.

— Ну?— спросил Аквилонов, чувствуя в себе тревожно поднимавшуюся тихую злобу.

Сощурил глаза:

— Ну-у?

Привезенцев сказал чуть слышно:

— Твоя роль самая трудная. И... страшная.

Аквилонов закусил дрожащую губу.

Глаза Привезенцева стали совсем черными — затерялись на смуглом лице.

— Алексей,— сказал Привезенцев,— Алексей,— повторил он тихо, умоляюще:— Несчастный ты человек.

Широко раздвинул рот. Губы тонко облепили заблестевшие зубы. Такой звериный оскал видел Аквилонов не раз, когда Привезенцев, еще гимназистом, дрался.

— Лучше тебе, Алешка, подохнуть. Руки на себя наложить,— сказал Привезенцев просто.

Губы опять стали пухлыми, детскими.

Аквилонов, секунду перед тем стоявший как пойманный, овладел собою. Сказал презрительно:

— Дурак!

И вышел из комнаты.

Проходя мимо окон Привезенцева, слышал разухабистое пение:

Эх, распошел,
Ты, мой сивый конь, пошел!
Э-эх, распошел,
Ты, хорошая моя!

Это пел Привезенцев. Громко и весело, заглушая гитару.

Когда Аквилонов, гимназистом, готовился к экзаменам, его никогда не покидала уверенность, что экзамены он выдержит, но вместе было жалко времени и труда, потраченных на зубрежку. Как уроки, так и на экзаменах, отвечал неохотно, с досадою.

Служа в банкирском доме, ведя статистику чьих-то денежных вкладов, подсчитывая чужие капиталы, испытывал ту же досаду, что и на экзаменах.

Любя Наточку, проверяя чувства свои к ней, видел, что любовь его скучна и нелепа.

Встречи с девушкою, мысли о ней, письма утомляли и раздражали, как извлечение квадратного корня или подведение итогов банкирских вкладов.

И поэтому смотрел на любовь как на нечто пришедшее извне, лично ему не нужное, навязанное непонятными обстоятельствами.

И как добровольно отказался когда-то держать экзамен на аттестат зрелости, так же отказался от любви.

Мысль о разрыве с Наточкой явилась в день, когда она прислала ему письмо.

Письмо было написано робко, как всегда, и нежно, как никогда еще Наточка не писала.

В первый момент Аквилонов почувствовал радость.

Еще только за несколько дней он на вечеринке у Привезенцевых, стоя в коридоре во время танцев сзади Наточки, целовал ее косу. Тихо, неслышно для нее, как когда-то целовал спящую мать, а в день получения письма, которого ждал с надеждою и мучительным нетерпением, после мгновенной радости почувствовал тревогу.

Отложил письмо, прочитанное еще только второпях, и огляделся, словно ища причину своей тревоги.

Оглядывал комнату, стены, потолок. Искал того, что томило, и нашел.

Пятно на потолке, светлый круг — отражение от лампы.

Вспомнил — в детстве еще, по вечерам, с унылой досадой ждал: вот зажгут лампы, и появится этот сжатый с боков светлый круг.

А однажды, то ли нездоров был или просто капризничал, взглянув на пятно, закричал:

— Погасите лампу! Погасите!

И теперь...

Еще лежало на столе Наточкино, второпях, один всего раз прочитанное, письмо, а Аквилонов лихорадочно думал:

«Всегда оно — такое... Лампу зажечь и — пятно. Хоть один раз — без него... Как версты — столбы. Пятьсот сажен верста — столб. И еще... верста. И опять».

И твердо поверилось: «Любовь — как отмеренное верстами расстояние, как неизбежное пятно, отраженное от огня лампы».

Поспешно потушил лампу.

Через день сказал Наточке:

— Не могу любить. Не нравится любить. Скучно!

Она слушала изумленно и испуганно.

Подал ей руку.

— Не будем встречаться. Ни к чему.

И пошел.

— Леша!— крикнула вслед Наточка негромко.— Постой, Леша!

Пошел быстрее, не оглядываясь. В ушах еще раз умоляющее:

— Ле-ешенька!

Тогда почти побежал.

В тот же день собрал все Наточкины письма и не спрятал их и не сжег, а выбросил.

Все: первые — робкие — и последнее — робкое и нежное, прочитанное только раз, второпях,— все выбросил за окно.

Девичьи письма, в голубеньких конвертиках,— на панель, где поминутно шмыгали люди.

3

АКВИЛОНОВ АЛЕКСЕЙ ИСАЕВИЧ

Алексей Исаевич Аквилонов служил кассиром в одном из ленинградских трестов.

Работу свою, как и прежде, не любил, исполнял с досадою, но аккуратно.

С людьми ладил, никогда не вступал ни с кем в споры и пререкания, хотя во всем придерживался собственного взгляда и делал все так, как находил нужным, но всем казалось, что делает так, как от него требуют.

Большинство знающих Аквилонова считали его лучшим товарищем, умным и полезным человеком.

Отношения людей сначала удивляли и раздражали Аквилонова, но потом ему стало нравиться, что его считают не тем, чем он был на самом деле.

Скрытный и любящий только свое одиночество, не отказывался между тем поддерживать с людьми самые лучшие отношения.

И его считали искренним и общительным.

Нередко к нему обращались с просьбой разъяснить что-нибудь, чего он и сам не знал.

И он, не смущаясь, крайне убедительно давал разъяснения, самому себе неясные.

Однажды кто-то сказал ему:

— Удивительно, как вы все знаете.

Аквилонов ответил:

— Уметь отвечать важнее, чем знать.

Аквилонов, после того как еще в юности потушил в себе первую любовь, впоследствии ни одной женщины не любил. И не увлекался.

Но в женском обществе время проводил часто. Чувствовал себя с женщинами свободнее, чем даже с детьми.

Женщины говорили о нем, что он чуткий, умный, знающий и ценящий женщину.

А одна, сильно любившая Аквилонова, даже видела в нем великого человека.

Была она какая-то непонятно-кипящая, восторженная, неумная.

Кипела неизвестно отчего, восторгалась неизвестно чем.

Когда она приходила к Аквилонову, казалось, что ей некогда: заглянула на минуточку и сейчас помчится по каким-то необычайно важным делам.

Но вместо того сидела целыми часами, говорила без конца. Торопливо и восторженно, захлебываясь в словах и путаясь в мыслях, и была похожа на суетливых бестолковых старух.

Торопятся, топчутся, а все ни с места. И дело в руках не кипит, а застывает.

Она постоянно говорила одно и то же: о высоком назначении Аквилонова, о его стремлениях — стремлениях гиганта, о том, что время дорого, а жизнь коротка, и пора сказать миру великую правду.

Сперва Аквилонов думал, что она принимает его или за крупного коммуниста, или же, наоборот, за контрреволюционера, а может быть, за сектанта, но из дальнейших бесед с нею выяснилось следующее: во всем мире существуют всего два настоящих человека — это она и, главное, он, Аквилонов; остальное же человечество делилось на категории хищных зверей, тупых животных и третья категория — что-то вроде инфузорий.

Далее, настоящий человек Аквилонов и его спутник на великом и трудном пути, Зоя Андреевна Панова, по мужу Бекерская, должны совершить чудесное превращение людей всех трех категорий в настоящих людей.

— Надо только уметь сказать миру великую правду,— говорила Зоя Андреевна, торопясь и захлебываясь.— А ты, Аквилонов (она всегда называла его по фамилии и на «ты»), умеешь сказать. Ты скажешь! Сказать, что люди убили в себе человека, потеряли душу. Они поймут. Правда, если она настоящая, а не выдуманная, обязательно дойдет до сердца. Во всем человечестве произойдет революция духа.

Аквилонов не разбивал ее иллюзий.

— Слово больше, чем дело,— говорил он убежденно,— слово рождает дело.

Она восторженно захлебывалась:

— Именно. И ты скажешь слово. Твое слово совершит чудеса. Ты — гигант... Ты...

Она, по обыкновению, запуталась и сказала некрасивую и смешную фразу, но осталась довольна ею:

— Ты всемирный светильник, а я — масло.

«Экое ты всемирное масло!»— насмешливо подумал Аквилонов и сказал:

— Первую умную женщину встречаю.

И поцеловал ей руку.

Она ответила отрывистым поцелуем. Всегда целовала его в родимое пятнышко на левой щеке.

Она ему скоро надоела.

Тогда написал ей такое письмо:

«Мне жаль тебя. Ты очень несчастна. Несчастие твое в том, что ты менее умна, чем начитанна.

В твоей бедной головке перемешалось все: древние мудрецы, потом разные Ницше, Шопенгауэры, Ибсены, Метерлинки, почему-то даже оба Дюма. По-

лучился невозможный винегрет, каким ты и хотела кормить все человечество.

Мой совет: забудь всякие мировые вопросы, выкинь из головы этих Дюма и К° .

А главное — будь женщиной.

Женское в тебе есть.

Правда, лицом ты некрасива, но фигурою — недурна: хорошая грудь, превосходная линия бедер. Муж у тебя неплохой. А если хочешь, приходи ко мне. Буду ждать, но только как женщину, а если «с идеями»— прогоню».

Когда пришла — спросил:

— Согласна?

Вместо ответа вынула из муфты маленькую баночку.

Схватил ее за руку.

Она слабо вырывала руку, говорила тихо сквозь крепко сжатые зубы:

— Пусти! Нет, пусти! Все равно...

Глаза у нее были потерянные.

Разжал ее руку. Баночку внимательно рассмотрел: на баночке ярлык с Адамовой головой.

Спрятал баночку в ящик письменного стола.

— Этот яд действует моментально,— сказал спокойно.— Глупо, милая.

Она плакала, закрыв лицо муфтою.

Когда перестала плакать, снова спросил:

— Согласна?

Она вдруг быстро зашептала:

— Все равно убью себя. Не здесь, не у тебя. Собакой у порога твоего не издохну, не бойся!

Лицо у нее было в розовых пятнах, распухшее от слез.

Ему стало противно.

— Уйди, пожалуйста!— сказал он, не скрывая отвращения.

Быстро подошел к двери, распахнул. Губы вздрагивали.

— Иди скорей!

Она тихо пошла к двери, не спуская с него испуганных глаз. В дверях остановилась:

— Завтра... увидишь... в газете...

Зарыдала.

— Я газет не читаю,— сказал уже спокойно Аквилонов.

4

ЖАЖДА

Произошло внезапно, как всегда. Началось с простого разговора. Говорили о бывшем служащем того же треста, где служил и Аквилонов, о некоем Елистратове, растратившем где-то в Харькове деньги.

Заведывающий трестом Крутиков спорил с помощником Давидовским:

— Нет, Осип Игнатьевич,— мотал головой добродушный и фамильярный Крутиков,— вы, милый, ничего не понимаете! Какая там эпидемия? Распущенность и нахальство!

— Именно эпидемия,— уныло гудел густоусый Давидовский,— проследите по газетам — каждый день растраты.

— Но это ничего не доказывает. Помилуйте, если я не принадлежащие мне суммы тащу в кабак или...

Крутиков оглянулся на машинисток и продолжал, понизив голос:

— ...или к барышням, тогда я, значит, и любое преступление могу совершить. Увижу в Гостином бриллианты — и бац по витрине камнем. Это, по-вашему, эпидемия?

Обратился к внимательно слушающему Аквилонову:

— Вот, Алексей Исаевич, как вы считаете: могут ли преступления носить эпидемический характер?

— Нет!— ответил Аквилонов.— Эпидемия — явление временное, преступления — постоянное.

Крутиков потер лоб двумя пальцами:

— Скажите, Алексей Исаевич. Вы вот постоянно среди денег. Не бывало у вас желания...

— Украсть?— перебил Аквилонов.— Нет, Александр Иванович, растрату я не совершу. Смысла нет. В карты играю только в «акульку», на живых «акулек» тратиться не люблю — предпочитаю бесплатных. Пью редко и немного. К тому же через неделю получаю отпуск, так что растрата быстро обнаружилась бы. Ведь должен же я сдать деньги заместителю?

Крутиков весело засмеялся:

— Экий вы, батенька, чудак. Значит, на этой неделе не растратите? После отпуска? Тогда, что ли?

— Нет!— сказал Аквилонов серьезно и вдруг нестерпимо ясно почувствовал, что именно сегодня рас-

тратит деньги.— Нет!— повторил он громче, заглушая свою мысль, словно боясь, что Крутиков ее услышит.

И в тот же момент знал уже и сумму: три тысячи. И странно, ощутил, что эти три тысячи как бы уже лежат в кармане: тридцать бумажек по десяти червонцев каждая...

Длинный зеленый стол облеплен людьми.

За столом, *на месте*, выше, чем другие, блондин, с бесцветными глазами, глядящими на всех и ни на кого. В руке у блондина кривой, с закругленным концом, деревянный меч.

Голос — баритон. Плавный, бесстрастный.

— Продается банк «баккара»! Банк «баккара» продается!

Аквилонов выбросил пачку. Пальцы блондина перещупали бумажки. Деревянный ятаган прикрыл пачку.

— Продается банк «баккара»! Тысяча рублей, раз! Кто больше? Тысяча — два! Три!

Ящичек со вложенными в него картами придвинулся к Аквилонову.

— Может быть, за вас метать?

— Да,— ответил Аквилонов, хотя не понял вопроса.

Блондин поклонился, придвинул к себе ящичек. Заторопился, словно боялся опоздать:

— Граждане! Делайте игру! Ставьте деньги, граждане!

Потом снова плавным бесстрастным баритоном:

— Есть прием в «баккара»! Есть в «баккара» прием! Делайте игру!

Карты гладко заскользили по сукну. Над ухом Аквилонова кто-то ободряюще шептал:

«Вы возьмете, вы!»

— Банк выиграл,— сказал блондин. Придвинул к Аквилонову кучу денег.

— Еще метать?

Аквилонов положил на кучу еще две пачки и все двинул на середину стола.

Зашевелились рядом, заговорили вполголоса. А над ухом испуганно зашептало:

«Много, гражданин! Кто же так играет?»

— В банке четыре тысячи! Четыре тысячи в банку́! Делайте игру, граждане!— уже не плавно и бесстрастно, а нервно взывал блондин.

Конец ятагана щупал ставки, отодвигал от края стола ближе к середине.

— Есть прием в «баккара»! Ставьте, граждане! Прием есть! Полторы тысячи на первом! Кто еще? Восемьсот. Скорее, граждане! Пятьсот двадцать на втором. Пятьсот! Кто еще покроет пятьсот!

Тесно обступили стол. Напирали на спинки стульев. Стало душно. Над ухом Аквилонова снова подобострастно зашептало:

«Приличный банчишко! Эх, сыграть бы!»

Аквилонов ждал, что придвинется к нему кучка денег. И действительно, блондин выкрикнул:

— Банк выиграл!

Ятаган подцеплял бумажки: белые, синие, зеленые, затертые фишки, подгребал серебряную мелочь.

И снова Аквилонов кучку денег, спасающую его от позора и неволи, упорно отталкивал от себя, выдвигал на середину стола.

А кругом застыли люди. Замкнули зеленое поле в живом кольце. И так же сомкнулась тишина: ни говора, ни шепота. Не неслись от соседних столов зазывные выкрики — по-видимому, оттуда все перешли сюда.

Но вот разомкнулось кольцо тишины — зашевелились, зашептались люди.

И голос, бесстрастный и холодный, как голос судьи, отчетливо произнес:

— Банк проиграл.

5

ПЕРСИДСКИЙ ФОКУС

Когда-то, лет девяти, Аквилонов, будучи с родителями на вербном базаре, купил детский фокус — «Персидский фокус: магический кувшинчик царя Дария Гистаспа».

Мечтою мальчика был тогда заводной пароходик, но когда на вербах, у палатки с игрушками, отец спросил его: «Пароход хотел, что ли?» и мать ответила за сына: «Давно он пароходик просил»,— мальчик по непонятным для самого себя причинам вдруг отказался от долгожданного подарка и на вопрос неприятно

удивленного отца: «Чего же ты хочешь?»— молча указал на какую-то пеструю коробочку.

Купленная игрушка и была «персидским фокусом».

В коробочке находились каучуковая бутылочка и металлическая палочка; прилагаемое же к фокусу разъяснение начиналось так: «У персидского царя Дария Гистаспа был магический кувшинчик, подаренный бабушкою. Каждый раз, когда царь входил в зал, где стоял волшебный кувшинчик, то мгновенно засыпал и ему снился странный сон...»

В чем заключалось волшебство двадцатикопеечного вербного фокуса и какой странный сон снился персидскому царю, обладателю магического бабушкина кувшинчика, Аквилонов никогда не узнал, так как через день после покупки фокуса подарил его знакомому мальчику, а разъяснения, приложенного к фокусу, так и не прочитал до конца, а может быть и прочитал, да забыл.

Теперь тридцатисемилетний Аквилонов, кассир, растративший казенные деньги, ожидающий в ближайшие дни ареста, тщетно изыскивающий способы достать недостающую сумму и втайне уже решивший, если понадобится, совершить еще преступление, вспомнив о невинном, казалось бы, эпизоде из своей детской жизни — о наивном персидском фокусе, почувствовал, что это и есть опорный пункт, важнейшее и сильнейшее оправдание всему, что бы он ни совершил.

Тогда, девятилетним, он вместо игрушки, которую хотел как счастье, взял первую попавшуюся неинтересную и ненужную игрушку. После, по ночам, грезился ему заводной пароходик, детская его мечта: красивый, с яркими флажками и лакированными трубами. Просыпался с ощущением, что вот сейчас держал в руках пароходик, блестящий, весело пахнущий краскою и жестью.

Теперь тридцатисемилетний Аквилонов достал записную книжку с адресами знакомых, перелистал ее и на чистом, в клетку, листике записал: «Персидский фокус».

Потом долго внимательно перечитывал фамилии и адреса. Против одной фамилии — Сенчукова Елизавета Александровна — поставил синим карандашом крестик.

— В котором часу надо?

— К семи. Можно несколько раньше.

— Сейчас четверть шестого.

Елизавета Александровна отвела близоруко прищуренные глаза от циферблата восьмиугольных стенных часов. Продолжала:

— Знаете, Алексей Исаевич, я все-таки боюсь. Три тысячи — деньги не маленькие. Вчера, после разговора с вами, я всех знакомых обегала. У всех позанимала.

«Врет,— подумал Аквилонов,— свои взяла из банка».

Сказал:

— Напрасно. В такие дела лучше никого не посвящать.

— Да я о бриллиантах не говорила ни слова. Я всем лгала, что меня хотят описать за налоги.

Елизавета Александровна поднялась с места:

— Мне придется вас на минуточку оставить.

Вышла из комнаты. Аквилонов подошел к маленькому, стоящему у дивана, столику, взял графин, подумал: «Кажется, много воды».

Наполнил стакан, поспешно выпил. Еще... Наливал осторожно, стараясь не шуметь. Через силу выпил третий стакан. Быстро достал из жилетного кармана широкогорлый флакончик. Прислушался. Повернул слегка заскрипевшую стеклянную пробку флакона, бросил в графин два кристаллика, цветом напоминающих парафин.

Спрятал флакончик. Сел в низкое кожаное кресло.

Послышались шаги. Вошла Елизавета Александровна. На ней было другое платье: черное, с большим вырезом на груди и почти без рукавов.

Она положила на стол ридикюль. Прищурясь, посмотрела на Аквилонова.

— Теперь все готово. Только ехать, кажется, рано?

— Да, рановато,— ответил Аквилонов, а в мозгу мучительно ныло: «Как сделать, чтобы она выпила воды? Неужели не будет пить? Да и глупо! С какой стати ей пить воду?»

И вдруг неожиданная явилась мысль. Спрятал слегка задрожавшие руки в карманы и, улыбаясь, посмотрел на Елизавету Александровну.

— Чему вы смеетесь?— удивилась та.

— Интересную штуку вспомнил. Знаете... На днях ко мне приехал мой школьный товарищ... Привезенцев

некто. Интересный человек... Он много лет прожил в Персии и еще где-то... Изучал восточные мудрости... Так вот... Э-э... Можете себе представить, прямо чудеса творит... Такие изумительные фокусы показывал...

— У вас то дешевые бриллианты, то фокусы,— перебила Елизавета Александровна и насмешливо добавила.— Вы, вероятно, сами фокусник?

— Нет, кроме шуток! Я был прямо поражен... Например, вот: берет стакан обыкновенной воды, помешает ложечкой, произнесет такие... особые слова... ну... персидские, понятно, и... вода превращается в вино.

— Как Христос?— засмеялась Елизавета Александровна.

— Именно, чудо в Кане Галилейской!

Лицо Елизаветы Александровны стало серьезным:

— Это чепуха, шарлатанство и больше ничего.

— Совсем нет,— горячо возразил Аквилонов и быстро подумал: «Надо убедить ее... Непременно заставить выпить воды».

Продолжал поспешно:

— И вовсе это не чудо, а фокус. Персидский фокус. Он мне объяснил, как это делается и... ничего чудесного. Простой, но ловкий фокус.

— Глупости. Как может вода сделаться вином, если не подмешать в нее чего-нибудь... Ну, эссенцию, что ли,— возражала Елизавета Александровна.

Сощурилась на часы.

— Скоро нам отправляться, как скажете?

— Да, скоро,— ответил Аквилонов.

Решительно встал:

— Где у вас вода?

— Вот, в графине, на том столе. Да чего вы дурачитесь?— засмеялась Елизавета Александровна.— Кто же поверит такой ерунде?

— Я сам не верил, а вот пришлось же поверить,— сказал Аквилонов, наливая воду в стакан, а в мыслях билось: «Не так! Не так! Надо проще, больше пошлости, комедиантства. Пусть не захочет пить, да выпьет».

Слегка подтянул рукава, заговорил шутливо:

— Видите, все делается на глазах у публики. Без малейшего обмана. Обыкновенный стакан и обыкновенная вода. Главную роль здесь играет обман чувства,

так сказать, иллюзия вкуса. Какое, например, вино вы желаете иметь вместо этой воды?

— Абрау-Дюрсо!— сказала Елизавета Александровна, улыбаясь.

— Прекрасно. Надо бы ложечку.

— А без ложечки ничего не выйдет?

Она подошла к буфету, подала ложечку.

Аквилонов поставил стакан на стол. Опять подтянул рукава, показал руки, что в них ничего нет, как это делают фокусники. А в мозгу поспешно мелькнуло: «Надо слова, вроде персидских. Какие? Черт их знает!»

Стал мешать ложечкою в стакане и, прислушиваясь к жалобному бряканью ложечки, тщетно силился придумать какие-нибудь непонятные слова.

— Мы опоздаем,— сказала Елизавета Александровна.

— Сию минуту.

«Гушар, мурсула, ашам»,— вдруг пришли в голову нелепые слова.

Аквилонов опять подтянул рукава, сказал, улыбаясь:

— Будьте добры, сядьте на диван в совершенно спокойной позе. Повторите про себя название напитка, какой хотели бы получить.

— Господи, какой вы мальчишка! Я никогда не предполагала.

Она все-таки села.

— Так-с! Сидите смирно. Не волнуйтесь, сделайте умное интеллигентное лицо,— паясничал Аквилонов.— Возьмите в правую руку стаканчик. Прекрасно.

Она, смеясь, взяла стакан. Рука дрожала от смеха, вода расплескивалась.

— Сейчас я скажу три магических слова: «Гушар, мурсула, ашам». После слова «ашам»— пейте!

Аквилонов стал против сидящей на диване, все еще продолжавшей смеяться Елизаветы Александровны, поднял руки к голове, точно закрывая уши. Повернулся на каблуках, чтобы не видеть, когда она будет пить. Чувствовал — силы его оставляют. Сказал громко и поспешно:

— Гушар!

Обернулся к ней. Она улыбалась. Опять повернулся на каблуках.

— Мурсула!— выкрикнул. Губы задрожали.

Третий оборот.

Зажмурил глаза, с силой заткнул уши и, весь дрожа и чувствуя в груди ледяной холод, прокричал:

— А-а-шам!

И стоял так, зажмурясь и до боли зажав руками уши. Наконец осторожно открыл глаза и опустил руки.

В комнате было темно и необычайно тихо.

«Почему нет огня? Кто погасил?»— дрожа и слабея, думал Аквилонов.

Свет загорелся в лампочках.

«А вдруг яда не было? Какая-нибудь сода?»

От этой мысли снова поднялась дрожь во всем теле и захолодело в груди.

Подошел, едва переставляя ноги, к столу.

Не хватало силы обернуться назад, туда, откуда словно надвигалась томящая тишина.

Думал медленно: «Взять деньги... Если жива — закричит».

Непослушною рукою долго открывал ридикюль. Вытаскивал одну за другой три перехваченных резинками пачки и засовывал в карман.

Тишина точно усилилась.

Хотел двинуться вперед, к двери, но вдруг вспомнил, что в графине осталась отравленная вода.

«Нельзя оставлять, нельзя, нельзя»,— зашептал и, не оборачиваясь, попятился назад, сильно сощурив глаза и затаив дыхание.

Протянув назад руку и шаря ею, нащупал столик. Осторожно взял графин. Быстро, на цыпочках, пошел к двери, думая:

«Вот так, так, так!..»

Но, сделав несколько шагов, остановился. Забили часы.

Не отводил глаз от циферблата.

Часы били глухо и тягуче, и казалось, никогда не прекратится их глухое унылое гудение.

Наконец гудящий звук затих.

Аквилонов, как бы пробудясь от кошмара, весь в липком поту, со стесненным дыханием, почти выбежал из комнаты.

6

ВЕЧЕРНИЕ ПОХОРОНЫ

Все осталось втайне. Следов никаких.

Даже единственное, что, возможно, могло бы навести на подозрения о совершившемся злодеянии,— графин,— это вещественное доказательство Аквилонов уничтожил.

Не бросил где-нибудь в пустынных кварталах Васильевского острова, где жила Сенчукова, не спустил в Неву, а привез на извозчике к себе на квартиру, предварительно завернув его в свой длинный пуховый шарф.

Дома тщательно и осторожно выполоскал графин, а потом, завернувши его в тряпку, истолок как можно мельче и осколки выбросил в помойное ведро.

Это была уже излишняя предосторожность.

В газетах, в отделе происшествий, под заголовком «Самоубийства», прочел: «Отравилась Е. Сенчукова, 32 лет».

Получая отпуск, дела своему заместителю сдал в полном порядке.

Казалось бы, все обошлось как нельзя лучше.

Но между тем Аквилонов чувствовал себя неспокойно.

Не раскаяние и не боязнь, а нечто другое начинало не на шутку тревожить: это какая-то непонятная н е о щ у т и м о с т ь самого себя.

Раньше — в гимназии, на службе в тресте, вне гимназии, вне службы — словом, везде — Аквилонов постоянно ощущал, что он есть: не гимназист Аквилонов Алексей, не счетовод-кассир треста Алексей Исаевич Аквилонов, а он — он, без имени, без звания, без возраста — безликий, почти бессмертный.

Теперь же сознавал себя как счетовода-кассира, Алексея Исаевича Аквилонова, совершившего растрату и ограбление с убийством.

И напрасно старался доказать себе, что, совершая преступление, действовал сознательно и обдуманно, напрасно призывал на помощь персидский фокус: то, что еще недавно казалось оправданием, опорным пунктом, теперь теряло твердость, колебалось, зыблилось, как разрушаемая землетрясением почва.

Ясно сознавал, что потерял себя п р е ж н е г о: свободного, почти бессмертного.

Возможно, потерял навсегда.

А от этого сознания становилось уныло и безнадежно, как после большой потери, после смерти близкого человека.

Но это состояние уныния и безнадежности переносил, как переносит человек продолжительную зубную боль: напряженно-выжидающе.

И странно: о самом убийстве почти не вспоминалось; так, иногда, смутно, как о неприятном сновидении.

Временами делалось невыносимо. Это когда долго находился наедине с самим собою.

Тогда каждый шаг, каждое движение ощущалось как чье-то чужое, н о в о е. Тогда казалось, что весь он точно заключен в какой-то футляр, как черепаха в панцирь, как в раковину улитка.

И не только мысль, воля, не только внутренняя жизнь казались чем-то стесненными, а все, от тоненького волоска до кончика мизинца, было словно заключено во что-то — лишено прежней независимости и свободы.

Чудилось, что даже жесты, походка и голос стали чужими.

Ощущение это бывало едва уловимое, а оттого особенно тревожащее.

И всегда не любивший смотреться в зеркала, теперь прямо отворачивался от них, словно боялся увидеть вместо своего лица чье-то чужое.

У себя в квартире завесил зеркала простынями.

Когда становилось невыносимым быть одному, отправлялся к кому-нибудь из знакомых, если же было позднее время — бродил по улицам до наступления полной усталости.

В один из таких неспокойных дней Аквилонов, блуждая по улицам, незаметно для себя забрел на тот берег Невы, на Васильевский остров.

Были весенние сумерки.

Шел лед.

Воздух был густой, обволакивающий, и так же густо нависли над городом тучи.

И от туч ли густых и непроницаемых, от плавного ли шуршания плывущих льдин или от тишины безлюдной набережной почудилось Аквилонову, что все вокруг

и даже в нем самом окутывается унылой неподвижностью и сейчас совершенно замрет.

Стало не по себе.

Быстро перешел с сырых плит набережной на мостовую. Зашагал, не обходя луж, скользя по расползающемуся под ногами, почерневшему снегу, нарочно громко дышал, засвистал даже что-то, вооружался шумом, звуками.

Дойдя до немигающего цветного фонаря трамвайной остановки — остановился от внезапно возникшей мысли.

И мысль эта была: все, что окружает его сейчас: выстроившиеся в ряд вечерние безмолвные дома, черная мостовая, отражающая в лужах огни фонарей, и сумеречное, приникшее, готовое расплакаться небо — все это почему-то непонятно напоминает унылое, мерное бряканье ложечки о стакан.

«Гушар, мурсула, ашам!»— проплыло в мозгу.

— Что за чепуха?— прошептал Аквилонов, но сердце беспокойно застучало.

«Хоть бы трамвай скорее!»

Уцепился за эту простую, успокаивающую мысль, твердил упорно:

— Трамвай скорее бы, трамвай.

Услышал гудящий шум и отрывистые, поспешные звонки, приближался вагон, но когда он подкатил, светлый и шумный гул и звон его представился Аквилонову необычайным и странным.

Все равно как если бы в глухую зимнюю ночь, когда все спит первым крепким сном, вдруг во дворе весело и нелепо заиграла бы шарманка.

Аквилонов обошел остановившийся вагон и, шлепая по лужам и скользя по ухабам, быстро перешел мостовую.

«Надо бы извозчика»,— думал устало.

Улица была тиха и пустынна.

«Почему здесь, на Острове, такая тишина и уныние. Всегда так. Жалкий какой этот Остров»,— думалось настойчиво.

И опять вспомнилась звякающая о стакан ложечка.

Зашагал быстрее.

Стали попадаться прохожие. Слышался откуда-то говор, шум экипажа.

И опять затихло. Опять никого.

Одни только вечерние безмолвные дома.

Аквилонов все шел и шел. Сворачивал в незнакомые улицы. Забыл, что хотел взять извозчика, и все шел и шел.

И казалось ему, что он не в Ленинграде, не на Васильевском острове, а на улицах какого-то маленького городка, даже не русского городка — не то английского, не то испанского.

«Что за глупости! — с досадой думал Аквилонов,— нервы, что ли? Надо взять себя в руки».

Остановился, вздрогнул от неожиданности.

Из-за угла медленно, почти бесшумно выбежали погребальные дроги.

Два факельщика поддерживали под уздцы лошадей в черных попонах.

Сзади гроба шла женщина.

Осенью и весною, в пасмурные, быстро темнеющие дни, можно нередко встретить такие одинокие, как бы тайные, похороны.

Днем, когда светит солнце, шумны и многолюдны улицы, похоронные процессии не производят особенного впечатления.

Но в неурочный час, в мглистые, сыроватые сумерки, где-нибудь на тихих пустынных улицах покажутся огни погребальных фонарей, странные люди, задумчиво ведущие лошадей в черных попонах,— лошадей, задумчивых тоже, не похожих на животных; и гроб покачивается на колеснице, а сзади одна черная женщина,— такие процессии надолго остаются в памяти, нередко и снятся потом.

И теперь Аквилонову стало тоскливо и тревожно.

Сам не зная зачем, пошел следом за гробом, правда, не сходя с панели.

Обгоняя колесницу, едва плетущуюся по неровной, бугристой мостовой, разглядел при свете, падающем из окна магазина, лицо идущей за гробом женщины: бледное, слегка склоненное.

Увидел огромный лежащий на гробу венок.

Взгляд Аквилонова случайно остановился на куске широкой траурной ленты.

Четко выделялись на ленте серебряные буквы:

«...лонову»,— прочел Аквилонов и, вздрогнув, остановился.

Дроги бесшумно проколыхались мимо.

«Что это — «лонову»? — с тоской и тихим страхом думал Аквилонов и, ослабев, прислонился к стене до-

ма.— Что это — «лонову»?.. Окончание фамилии? Какой фамилии?..»

Смотрел вслед медленно движущейся, словно уплывающей колеснице.

«Точно во сне!»— подумал Аквилонов.

Сделал несколько шагов, но опять почувствовал слабость, прислонился к стене.

«Ему снился странный сон...»— неожиданно выплыло в мозгу.

«Кому — ему? Откуда это?»— спрашивал себя Аквилонов и повторил вслух:

— Ему снился странный сон.

Кто-то торопливо прошел мимо. Пахну́ло крепким табачным дымом.

Потом где-то прокричал звонкий и нетерпеливый детский голос:

— Володька! Да иди же! Воло-одька!

«У персидского царя Дария Гистаспа...»— вдруг вспомнил Аквилонов, и почему-то невыразимая тоска охватила его.

— Володька! Ну ладно же!— опять, но уже тише, прокричал голосок.

«...был магический кувшинчик, подаренный бабушкою,— против воли зашептал Аквилонов и чувствовал, как сжимается, точно от рыданий, грудь.— Каждый раз, когда царь входил в зал, где стоял волшебный кувшинчик, то мгновенно засыпал и ему...»

«Что со мною?»— испуганно подумал Аквилонов. И вдруг неудержимо полились слезы.

«Что со мною?»— опять подумал, а слезы текли и текли.

— Ему... снился... странный сон...— прошептал Аквилонов, рыдая.

7

ПЕСЕНКА О ЛИМОНАДЕ

Одиночество с каждым днем становилось невыносимее, но и с людьми было не легче.

После непродолжительного разговора с кем-нибудь Аквилонов начинал чувствовать неприятную, раздражающую усталость.

Нередко, в гостях, в самый разгар беседы прерывал словоохотливого хозяина дома коротким: «Прощайте».

— Куда же вы, Алексей Исаевич? Что вы так вдруг?

Аквилонов бормотал угрюмое извинение и поспешно уходил.

Но дома, в одинокой своей квартире на тихой Сергиевской улице, чувствовал себя совсем нехорошо.

Чудилось, вот-вот сейчас произойдет что-то неожиданное и страшное.

Мучаясь так, сознавал, что необходимо уехать, проветриться, забыть все происшедшее за последнее время.

Уехать к кому-нибудь из тех, кто знал его прежнего и с кем он мог бы забыть теперешнего себя.

А где же такие знакомые?

Ни с кем из них не имел никакой связи.

И вдруг вспомнил школьного товарища Привезенцева.

Последний раз встретил его года два назад.

Привезенцев оставил ему свой московский адрес и просил писать.

Аквилонов долго рылся в бумагах, потерял даже надежду найти адрес.

Наконец в толстом томе сочинений Гоголя нашел клочок голубой бумажки, исписанной крупными, острыми, лезущими вверх, буквами.

Через день Аквилонов выехал в Москву.

Огромный, в светлых огнях, зал с высоким, как в храме, потолком. На столах, среди бутылок, томные красивые цветы в вазочках, обтянутых розовой бумагою.

За столиками мужчины, бритые, с гладкими лоснящимися волосами, почти все в черном и все похожие друг на друга.

Женщины с необыкновенно белыми, очевидно, напудренными плечами, гордые и неприступные, но возможные, когда позовут.

И откуда-то с хор или из другого зала мягко наплывает печальная музыка.

— Значит, ты был у меня, а моя жена тебя сюда послала?

— Она сказала, что ты пьянствуешь несколько дней.

— Да, брат, пьянствую.

Привезенцев налил в высокие рюмки темного вина.

— Пьянствую, дорогой. Денег выиграл целую кучу.

Усмехнулся уголком рта.

— Раз в жизни посчастливилось. Пьем!

Аквилонов отхлебнул кисловатого вина. Смотрел на Привезенцева и думал, что тот такой же, как был гимназистом: говорливый, переменчивый в мыслях и словах, непонятный: не то шутит, не то говорит серьезно. А Привезенцев говорил:

— Давно не виделись, Алешка, а? Пожалуй, лет двадцать. Тогда встретились, года три назад, так это в счет не идет. Я тогда даже не разглядел, какая у тебя физиономия. Почему ты не писал?

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Ты, Алексей, женат? Нет? Не женись. А жена моя красавица? А?

— Не знаю. Не обратил внимания.

— Ты — рыба. Она красавица и умница. Только я ее разлюбил. Любил три месяца. Хватит! Жен вообще надо любить два месяца. Первый месяц — любовь официальная, второй — как воспоминание о первом месяце. А я уже третий прихватил от жадности.

Он тихо засмеялся, показав белые зубы, и продолжал медленно, точно о чем-то упорно думая:

— Алешка! Почему мы друг друга не знаем? В гимназии дружили, после гимназии — тоже. Правда? Но ты для меня загадка. В чем дело, Алешка? Кто ты такой, скажи мне, пожалуйста?

— Я — Аквилонов,— ответил Аквилонов, насмешливо усмехаясь.

Привезенцев глуповато засмеялся. Потом сказал с шутливой важностью:

— Очень приятно, а я — Привезенцев! Георгий Николаевич Привезенцев, потомственный дворянин и кавалер.

Он уже был пьян.

Оставил недопитую бутылку, потребовал у официанта прейскурант, выбрал еще несколько сортов вина.

— Я люблю французские вина. Кавказских не пью.

Аквилонова раздражала музыка и неутомимая болтовня Привезенцева.

«Надо напиться»,— думал он, не слушая Привезенцева.

А тот наливал рюмки. Рассматривал вино на свет. Говорил:

— К этому нужны фрукты.

Аквилонов пил много, не отставая от Привезенцева.

Привезенцев становился все болтливее.

— Знаешь,— говорил он неестественно громко,— я живу сегодняшним днем. Вино, женщины, карты, а завтра — наплевать. Завтра, может быть, все подохнем, правда?

Привезенцев поминутно звал официанта, шумно стуча ножом по тарелке. Заказывал все новые блюда.

Аквилонов, редко пивший, сильно опьянел.

Потом перешли в кабинет.

Аквилонов почувствовал себя спокойнее. Не слышно было музыки, нагонявшей назойливую тоску. Тоска сменилась легкой усталостью и головокружением, повидимому от выпитого вина.

Сидел на низком неудобном диване. Не пил.

Приходили женщины.

Одна с белыми жирными плечами и широким красногубым лицом.

Другая — худощавая, смуглая.

Привезенцев с ними смеялся и пил.

Но скоро бесцеремонно выпроводил.

— К черту!— махнул он рукой уходящим женщинам.

Обратился к Аквилонову.

— Верно, Алеша? Лучше всего сейчас лимонад.

Наливал лимонад, проливая на пол, напевал вполголоса:

Лимонаду очень надо,
Очень надо лимонада,
Лимонаду всякий рад,
Очень нужен лимонад.

Аквилонов сидел с закрытыми глазами.

Его занимало следующее обстоятельство: уезжая сюда, в Москву, он для чего-то захватил с собой флакончик с ядом.

Тот самый коричневый флакончик.

Сейчас нащупал его в жилетном кармане.

«Почему я не выбросил его?— назойливо думалось.— Как это неосторожно!..»

А Привезенцев, высоко подняв стаканы и приплясывая на пьяных, неверных ногах, продолжал:

Лимонад для всех приятен,
Он шипуч и ароматен.

Пьют его: дитя, старик,
И буржуй, и большевик.

Сунул стакан почти под нос Аквилонова, громко и фальшиво пропел:

Лимонад — одна отрада.
Надо, надо лимонада.
Не отрава, ведь, не яд,
Пей, Алешка, лимонад!

Хлопнул Аквилонова по плечу и пьяно рассмеялся.

Аквилонов вынул из карманчика флакончик, сказал, усмехаясь:

— Очень надо лимонада! У меня есть свой.

Поставил флакончик на стол.

Привезенцев поспешно взял пузырек. Внимательно разглядел:

— Алешка, ты что натворил? Зачем тебе это?— спросил он тихо и испуганно.

— Деньги растратил. Три тысячи!— ответил Аквилонов и тотчас же подумал: «Что я болтаю?»

Привезенцев прошептал:

— А-а! Вот что-о!

Опустился на диван, закрыл ладонью глаза. Долго так сидел. Потом быстро поднялся, вынул из кармана большой и тяжелый бумажник. Бумажки зашелестели.

— На!— выбросил на стол пачку червонцев.— Три! Возьми, пополни, если не поздно. Не поздно еще, а?

Аквилонов смотрел на него недоумевая.

— Бери! Мне все равно!— устало проронил Привезенцев.

Смуглое лицо его как-то потускнело от разлившейся под кожей бледности. Яркие губы потемнели.

Сжал руки так, что хрустнули пальцы.

Аквилонов поднялся с дивана, сказал спокойно:

— Я пошутил. Слышишь?

Глаза Привезенцева стали большими, испуганными.

Неподвижно впились в лицо Аквилонова. Аквилонову стало жутко от этого взгляда.

— Спрячь свои деньги. Я пошутил! Ты понимаешь, дорогой?

Привезенцев вздрогнул. Заговорил раздельно по слогам:

— По-шу-тил? Ты по-шу-тил?

Поднялся, оперся о стол руками. Лязгнули челюсти. Долго не мог сказать ни слова.

Перегнулся через стол, не отводя неподвижных глаз от Аквилонова, потряс флакончиком, точно звонком.

Губы задергались не то усмешкою, не то судорогою:

— Весельчак, шутник, фокусник! Сейчас или потом?— раздался его угрожающий шепот.

Аквилонов вздрогнул при слове «фокусник», отступил на шаг от стола. Привезенцев снова потряс флакончиком, словно звоня в колокольчик.

— Сейчас или потом?— прошептал он глуше.

Аквилонов смотрел на искаженное, почти безумное лицо Привезенцева, и вдруг внезапный острый страх вошел в него.

— Ты... с ума сошел?— беззвучно прошептал Аквилонов и попятился к двери.

8

ТРИ ТЫСЯЧИ

Через день после странного свидания с Привезенцевым Аквилонов выехал с ночным поездом в Ленинград.

Душа его была в смятении и тревоге. Тело утомлено. Мысли путались. Голова горела.

Даже морфий, к которому он за последнее время часто прибегал, мало успокоил.

От него появилось тяжелое полузабытье и незаконченные, отрывистые, как и мысли, сновидения.

Порою казалось, что и не спит вовсе, что все странное, возникающее сейчас перед ним — действительность.

Вот только что отошел поезд от какой-то маленькой станции, еще густое задумчивое гуденье паровоза не успело замереть, а уже стоит Привезенцев, нервными пальцами выбрасывая бумажки на стол, уставленный бутылками:

— Три тысячи! Бери! Мне все равно!

Аквилонов вздрагивает.

Никакого Привезенцева.

Это кондуктор — фонарь освещает его седое, морщинистое лицо.

— Билеты приготовьте,— тянет он ленивым, усталым голосом.

Лязгает где-то дверь. Струя свежего ночного воздуха ласково обвевает голову.

За окнами — черная ночь.

Во тьму ее врываются стремительно кружащиеся вереницы веселых искр — беззвучная огненная музыка.

В сердце Аквилонова смятение и тоска.

Долго смотрит в темное ночное окно, выходит на площадку, стоит, оглушенный грохотом поезда, охваченный ветром.

Озябнув, уходит в вагон, смотрит на темные, проплывающие мимо перелески, на далекие сиротливые огоньки.

Потом опять — на площадку.

Борется со сном. Боится уснуть.

И знает: не выдержит, заснет.

И привидится знакомый пугающий сон.

Много раз он его видел и всегда в то время, когда неспокойна, смятенна душа.

И вот только прилег на неуютном вагонном диване — почувствовал, как костенеют члены и густой звон наплывает в уши.

Сейчас начнется.

Стало тихо-тихо. Или это поезд остановился у станции, или совсем нет никакого поезда?

Невыносимая тишина. И непроницаемая тьма кругом.

Почему так тихо, когда много людей? Целая толпа, душно даже.

Тискается сквозь черную безмолвную толпу Аквилонов.

Широкая, едва различимая в темноте, раскрытая дверь.

«Ну да! Всегда так, всегда!»— тоскливо думает Аквилонов и поднимается по темной лестнице.

И странно: совсем не звучат шаги.

А вот яркий свет.

Это вход внутрь храма. Аквилонов знает, что сейчас самое страшное.

«Проснуться! Проснуться!»

Мечется Аквилонов.

Но знает — сейчас еще не проснется.

Аквилонов стоит на нижней ступени огромного катафалка.

Всегда, всегда так!

Наверху, на огромном катафалке,— блещущие серебром три гроба.

Снизу Аквилонову не видно, кто в гробах. Никогда не видит.

Тишина. Невыносимая тишина.

Все — даже стены храма, гробы и свечи — охвачено этой тишиной.

Тишина — осязаемая.

Она во все проникла, все охватила.

Застыл в недвижимом свете нестерпимо светлый потолок, и грузное серебро лепных его украшений не имеет теней.

Затейливые завитки, впадины, рельефы орнаментов — все проникнуто одинаковым неподвижным цветом серебра.

И свечи у гробов горят застывшим мертвым огнем.

Вытекли острыми пиками огоньки свеч и стоят, не мерцая, не колеблясь.

И чудится, что остановилось время.

Со стоном просыпается Аквилонов.

В вагоне шумно.

Люди проснулись.

Поезд стоит у какой-то большой станции. Мимо скамеек снуют торговцы с булками и молоком.

За окном позднее утро.

Весь остальной путь до Ленинграда Аквилонов не спал.

Сидел с закрытыми глазами, и была в душе скука, в теле — усталость.

Не хотелось ни двигаться, ни думать, ни видеть никого.

Скука непомерной тяжестью легла на него.

Думалось неясно, обрывками, но одно ясно знал: по приезде в Ленинград пойдет в милицию и объявит обо всем.

Будет ли лучше от этого — не знал и не хотел знать.

Терпеливо ждал конца поездки и начала своего конца.

В Ленинграде, выйдя на перрон, пошел тихо, заложив, по привычке, руки за спину, пропуская торопливо идущих людей.

Выйдя на площадь, увидел стоящего милиционера. Подошел к нему.

— Где тут отделение милиции?

Милиционер показал рукой на большой дом против вокзала.

«Недалеко»,— подумал Аквилонов.

— Гражданин, а вам какое отделение?— услышал сзади голос милиционера.

«Все равно»,— хотел сказать Аквилонов, но лень было говорить.

Подойдя к подъезду, над которым висела красная вывеска с желтой надписью, постоял несколько секунд и вошел в подъезд.

За столом, отделенным высоким барьером, сидел человек в форме милиционера.

Поднял на вошедшего Аквилонова утомленное лицо.

— Вам, гражданин, что?

Аквилонов положил руки на барьер, слегка согнулся над столом:

— Я...

Проглотил набежавшую слюну и сказал быстро:

— Я сейчас с поезда...

— Ну, и что ж из этого?— недовольным голосом спросил сидящий за столом человек.

— У меня пропали деньги... в дороге,— сказал окончательно овладевший собой Аквилонов.

Милиционер отложил перо, за которое было взялся, и недоверчиво взглянул на Аквилонова:

— Казенные деньги?

— Нет, мои,— ответил Аквилонов.

Человек поднялся с места.

— Как же так неосторожно?— сказал с сожалением.— Выпивши были, гражданин, что ли? Может, где обронили сами? Карман-то не вырезали у вас?

— Положительно не могу представить, как это случилось. Я на вокзале только хватился.

Аквилонов старался казаться взволнованным. Торопливо проверял, целы ли карманы, бормотал растерянно:

— Ах ты, черт побери! Знаете, я прямо одурел!

— Еще бы,— посочувствовал милиционер.— Три тысячи, говорите? Эх!— с досадой почесал он висок,— с такими деньгами нельзя неосторожно. Запрятать надо хорошенько!

— Черт возьми, что же делать, товарищ, а?

Тот пожал плечами.

— Заявите на всякий случай в угрозыск! Только трудно теперь искать. Тем более ежели сами где выронили.

Аквилонов оглядел пол, точно проверяя, не выронил ли здесь, и пошел, бормоча безнадежно:

— Ах ты, дело какое!

— Попробуйте в угрозыск! Только вряд ли! — крикнул ему вслед милиционер.

Выходя, он встретил мальчишку-газетчика, звонко кричавшего:

— «Московские известия»!

Купил газету, поспешно развернул, ища отдел происшествий. Прочел:

«Вчера, 5 апреля, отравился инженер Г. Н. Привезенцев, проживающий на Боярском дворе, д. № 3. Причина самоубийства — растрата двадцати двух тысяч рублей, принадлежащих акционерному обществу „Заводопомощь"».

Прочел еще раз, внимательнее. Аккуратно сложил газету, спрятал в карман.

Смутно вспомнился Привезенцев в ресторане, с флакончиком в руке. Потом подумал о себе, как сейчас хорошо симулировал пропажу денег.

Улыбнулся. Пошел быстрее.

На углу остановился, соображая, на какой трамвай надо.

Ленинград
Февраль — сентябрь *1926*

НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРОСПЕКТ

Ежели люди вообще не обезьяньей породы, то тогда Николай Евлампьич один произошел от обезьяны.

Скажем, у кого-нибудь золотой зуб. Значит, и Николай Евлампьич себе вставит — обязательно. Места не найдется — выбьет себе зуб и вставит золотой. Это уж как пить дать.

Или, примерно, пальто кто-нибудь купил — ему такое же надо.

Отец его поставщиком сапожного дела был у Николая II и черную медаль получил за то, что сапоги сшил царю.

Так Николай Евлампьич и себе жетон заказал на манер отцовской медали. И посейчас на часовой цепочке носит.

Теперь вот физкультура.

И Николай Евлампьич не отстает. И в футбол, и в баскетбол дует с молодежью. В беге участвовал, чуть не помер — насилу водой отлили.

В трусиках, как идет по городу,— всякое движение прекращается.

Все граждане, как один, на него упрутся и рты разинут...

Еще бы! Живот что у женщины в последний месяц, сам плешатый, борода до грудей — и в трусиках. Чисто Каин из Ветхого Завета или Ной.

Но больше всего удивил Николай Евлампьич недавно, когда у него родился сын.

Захотел назвать сына по-новому. А как? Думаете, Спартак, Пионер?

Ничего подобного.

Жил Николай Евлампьич по углу проспекта Карла Либкнехта.

И давно ему вывеска приглянулась. Как переименовали улицу, с тех пор мучился: как бы, мол, для себя такое название употребить.

Особенно нравилось слово «проспект». Четко так и деловито!

Ну, а тут, на счастье, сын родился. Николай Евлампьич сразу же объявил:

— К черту церковные имена. Назову его обязательно Проспект Карла Либкнехта!

Жена — в слезы, теща чуть с ума не сошла, знакомые смеются.

Нет! Уперся человек! Сколько ведь времени дожидался случая воспользоваться этим именем и вдруг отказаться! Ни за что!

Но ничего не вышло.

Исполком стал отговаривать, комиссариат тоже.

— Какое же, мол, имя из трех слов? Берите,— говорят,— одно что-нибудь. Или Карла, или Либкнехта!

А Николаю Евлампьичу главное — проспект. Объявил:

— Беру,— говорит,— первое: Проспект.

Так в книжку и вписали: Проспект.

⟨1926⟩

«ВО СУББОТУ, ДЕНЬ НЕНАСТНЫЙ...»

Что от пьянства огромная масса вреда, в этом могу лично расписаться.

Я вот человек рабочий и от станка, квалифицированный, так сказать, а между тем по сие время не мог обвязаться брачными узами.

И все по алкогольным мотивам.

Примерно в прошлом году наклевывалась мне одна девица.

Из себя симпатичная, идеологически выдержанная, то есть, как полагается, на своей территории.

И вот состоялось у нас единоличное соглашение, чтобы без религиозного дурману.

Назначили день для росписи.

Я на радостях, конечно, изрядно клюнул. Иду к невесте и — как будучи в соответственном состоянии — запел: «Во субботу, день ненастный...»

Дохожу до куплета:

> Во зеленом да во садочке
> Соловей-пташка поет.

И в этот момент милицейский. И — за рукав. Я его — в ухо. Он меня — в управление.

Ну, конечно, высидка.

А пока сидел, невеста моя и уехала.

А в этом году опять наклюнулась одна. Симпатичная. Идеология — в порядке и т. д.

Опять порешили без туману, а росписью.

Назначили день.

А тут черт принес брата из деревни, с самогоном.

Ну, выпили. Я ему про женитьбу, а он:

— Стало быть, с тебя приходится.

Я, понятно, без излишней комментарии повел его в «Вену».

Из «Вены» в «Баварию», из «Баварии» в «Вену». Опять в «Баварию»...

А в одной из этих «Вен» я, как будучи в соответственном состоянии, затянул свою любимую: «Во субботу...»

И вот как раз в том месте, где «соловей-пташка поет», подходит какой-то, вроде фашиста, и, конечно, бьет меня не очень тихо бокалом по моське.

Определенно — волынка. Мы с братом — на него. А на нас — много. И за нас достаточно. Конечно, стулья, бутылки, горох — в кашу.

Потом нас с братом в больницу.

А как выписались, невеста мне объявляет:

— Я,— говорит,— расписавшись с Гришей-фрезеровщиком, а вы есть элемент пьющий и бессознательный.

Вот он, вред-то алкогольный! Даже на брачные узы распространяется.

И посейчас я по социальному положению — холост, могу и трудкнижку предъявить.

⟨1926⟩

ЛЕБЕДЬ

Бывало, в наш уездный куролесовский кооператив «Луч Свободы» заглянешь:

— Что у вас есть?

А Пятериков, заведующий:

— Все есть... Конверты, бумага почтов... то есть курительная, сахар, извиняюсь,— песок. А вот пудра «Лебедь» наивысшего качества. Освежение от ей получается и блеск лицу, вроде как сапог от гуталину.

— А ну те к лешему! Тут, можно сказать, штаны на мясе проедаем, дерут, подлецы, почем зря, а ты с «Лебедью».

Перед праздниками набьются в лавку:

— Пятериков! Что у тебя имеется?

— Карандаши химичные, кнопки. Опять же пудра, как ее? «Лебедь». Освежение...

— Катись ты с этой «Лебедью», знаешь куда? Эх ты, «Лебедь»!

Так Лебедем и звали. Многие и фамилию забыли. Не раз даже и письма получал, адресованные так: «Г. Куролесов, кооператив «Луч Свободы», заведующему, товарищу Егору Егорычу Лебедю».

Сначала эта кличка Пятерикова бесила: раздражался, огрызался, а потом привык.

Ему:

— Эй, Лебедь?

А он:

— В чем дело?

Но вот Пятериков закрутил любовь с одной девицей, с Катенькой.

Дошло дело уже почти до загса, как вдруг Катенька спрашивает:

— Почему, Егор Егорыч, вас лебедем дразнят?

Пятериков не растерялся:

— Это, Катенька, вовсе не дразнят, а наоборот. Вид у меня, знаете, лебединый. Гордый, и походка тоже.

А Катенька — щепетильная. Губку надула:

— Все-таки неприятно. Ответственное лицо, и вдруг — птица. Вы, Егор Егорыч, должны это аннулировать, а то мне стыдно. Мы как-то с вами гуляем, а люди говорят: «С Лебедем пошла».

После этого разговора Пятериков не спал две ночи и потерял аппетит.

Но, как человек неглупый, сообразил: «Пока кооператив на ноги не подниму, все будут Лебедем в глаза тыкать. Помрешь, так на кресте какая-нибудь сволочь напишет: „Лебедь"».

Принялся Пятериков за дело: по шестнадцать часов в сутки стал работать: на склад поедет, со слезами товар выпрашивает, а когда нужно — по «матери».

Кооператив начал постепенно подниматься.

Пятериков стал и с мясом, и с хлебом, и с рафинадом. Целые дни крутится — только весы поют.

Ему по старой памяти:

— Ну-ка, Лебедь, манной двести грамм.

А он:

— Имейте уважение к личности. Я имя собственное имею.

А когда получил письмо, адресованное уже не Лебедю, а Егору Егорычу Лебедеву, облегченно вздохнул и подумал: «Скоро будут Пятериковым звать, уже недолго осталось».

⟨1926⟩

ГАРМОНИСТ СУВОРОВ

Повесть

Моей дочери Валентине

1

Не то речушка, не то канава. Узкая. Вонючая. С нефтью, плавающей на поверхности. Берега завалены мусором. Из мусора, местами, пробивается ромашка, не с белыми лепестками, на которой гадают «любит — не любит», а зелено-желтая, шариками, крепко пахнущая.

Речка имеет название и обозначена на карте города, но окрестные жители зовут ее по-своему.

При двух царях, последнем и предпоследнем, и при республике одно ей имя — Негодяевка.

На берегу ее в деревянном домике жила вдова, прачка Прасковья Кудряшова, или, как ее все звали, тетя Паша. Снимала она квартиру из двух маленьких комнат и кухни. В одной комнате — сама, в другой — жилец.

Весь зазаставский квартал знал тетю Пашу, но еще больше ее жильца. Старики и молодежь, приятели и, наоборот, враги жильца тети Паши — все сходились в одном мнении о нем. Именно, что он ценил себя чересчур высоко.

Действительно, если, например, верить истории — полководец Суворов, в досужее от ратных дел время, где-то у себя в селе Кончанском играл с ребятишками в бабки, а вот жилец тети Паши, тоже Суворов, только Женя и, конечно, уж не генералиссимус, а гармонист, был о себе мнения более высокого, чем его знаменитый однофамилец.

Не говоря уже о том, что не играл с парнишками ни в выбивку, ни в орлянку, но даже пиво пил не с каждым из знакомых.

Бывало, ему:

— Товарищ Суворов, присаживайся!

А он внимательно оглядит компанию и откажется.

Кто-нибудь из друзей:

— Ты чего, Женя? Со мной не желаешь? В чем дело?

А он:

— Аудитория не соответствует.

Некоторые недолюбливавшие Суворова подсмеивались над ним за глаза:

— Гордится Женька, что на свет народился.

И, возможно, в этом была своя правда.

С одной стороны, Суворову было чем гордиться: известный, когда-то, гармонист, награжденный жетонами за игру; две польки его сочинения были наиграны на граммофонные пластинки. Для гармониста это не фунт изюма! Этим и гордись! Но зачем гордиться пустяками: серебряными часами с тремя крышками, русским костюмом?

Такие часы давно вышли из моды, а в поддевке, шароварах и лакированных сапогах к месту выступать

на подмостках и не иначе как с гармонией. А Женя в таком костюме — не только на подмостках, но и на улицах Ленинграда.

Все свое он ценил очень высоко. Любил свою фамилию. И сочетание громкой этой фамилии с детским «Женя» не казалось ему смешным. Свою комнату, выходившую окном на Негодяевку, он меблировал долго и с любовью, а после приглашал знакомых и хвастался наивно, как дикарь, нацепивший на себя зараз двое часов:

— Какова обстановочка, а? Изящно?

Гость оглядывал комнату и недоумевал.

Кровать с чехлами на спинках, высоко взбитая постель охвачена нежно-розовым одеялом плотно, без единой складочки; подушки — пирамидкою, на верхней — кружевная покрышка; над кроватью — вышитый бисером, бархатный башмачок для часов; на комоде туалетное зеркало, вазы с бумажными розанами, одеколон, пудра, гребенки — все в строгом порядке; на окне, полузадернутом канареечного цвета занавескою,— герань, бальзамин, бархатцы; в углу — икона, зеленая лампадка, пучок вербы, фарфоровое пасхальное яйцо.

— Ну как, а?— потирал руки хозяин.

Гость неопределенно отвечал:

— Да-а...

Суворов важно говорил:

— Не похоже, поди, что живем «на окраине где-то города», а? Можем, друже, устроиться с комфортом, можем, елочки зеленые!

И снисходительно похлопывал гостя по плечу.

Иногда кто-нибудь, более прямой, отвечал:

— Не поймешь, Женя, что у тебя. То ли монастырь, то ли черт знает что! Образа вот, яичко!

Суворов раздражался:

— Яичко! Это не для веры, а для своего удовольствия. Иной раз, в часы досуга, смотришь на икону с яичком и невольно вспоминаешь золотые дни минувшего детства. И станет на душе приятно, трогательно. Позабудешь, это, окружающую обстановку и витаешь в надзвездном мире, так сказать, «без руля и без ветрил». А ты — «монастырь»! Чудак, елочки зеленые!

Волнуясь, рылся в карманах шаровар, доставал деревянный портсигар и спичечный коробок в жестяной спичечнице. Гость смущенно оправдывался:

— Я, Женя, вот о чем. Ты, значит, считаешься первеющий гармонист. А комната у тебя, как у барышни у молоденькой. Ты не сердись, ведь я не в насмешку.

Суворов внимательно разглядывал потертый рисунок скачущей тройки на крышке портсигара, затем поднимал глаза на собеседника:

— Извиняюсь, вы, кажется, кончили? Прекрасно!.. Со своей стороны, должен сказать нижеследующее: согласен с тем, что я гармонист единственный в своем роде. Прямо, можно так выразиться, профессор-самородок. Но наряду с этим обладаю душевным благородством, невзирая на то, что происхожу из пролетариата. Короче говоря, отец имел не что иное, как басонную мастерскую. Благородство же мое заключается в стремлении ко всему нежному и изящному.

Уже смягчаясь, дотрагивался до руки гостя тонкими пальцами, искривленными от долголетней игры на гармонике:

— Друже! Я знаю, многие теряются в мучительных догадках: почему, дескать, Женя Суворов, старый заслуженный гармонист, человек умный и всесторонне начитанный, вращается среди этой минорной обстановки? Думаете, небось,— гордость, фасон? Ничего подобного! Людям не понять, что только среди этих невинных цветочков и яичек я всецело отдыхаю душою. Не надо кидать мне упреков в аристократизме. Весь окружающий комфорт необходим мне для вдохновения таланта. Меня не вдохновляют бурные потоки уличного движения. Только в этой изящной комнате с видом на одинокую речку я создам что-либо более грандиозное, чем созданные в свое время вещи, то есть общеизвестные польки «Чародейка» и «Лесные ландыши», исполняемые даже граммофонами.

Провожая гостя, говорил:

— Гордость во мне есть, люди говорят безошибочно. А только человек я на редкость корректный. Прямо, можно сказать, дамский человек.

Суворов любил много и красиво говорить.

Как-то тетя Паша, при первом с ним знакомстве, заметила о его костюме:

— В прежнее время тут, в Катерингофе, песенники завсегда ходили в такой же вот одежине.

Суворов грустно улыбнулся, покачал головою и заговорил длинно и гладко, словно читая:

— Вы, Прасковья Петровна, несколько искажаете факты действительности. Песенники отнюдь не носили поддевок. Поддевка как таковая являлась необходимым туалетом запевалы хора песенников, а равным образом — сольного гармониста. А песенники выступали, в общем и целом, в плисовых безрукавках и таких же шароварах, а головным убором им служили ямщицкие шапки, короче говоря, шапка круглой формы, с плоским дном, украшенная вокруг тулейки перьями павлиньего хвоста.

Этой умной и обстоятельной речью Суворов раз навсегда покорил сердце, ум и волю наивной, мягкосердечной тети Паши.

— Говорит он у меня,— рассказывала она знакомым женщинам,— ну прямо, как из кранта льет. И все к слову, и все к месту, и все по-ученому.

Суворов не любил говорить просто.

Даже свою гармонию называл не просто гармонью или баяном, а непременно:

— Хроматическая гармония «баян».

2

Ежедневно, к шести вечера, Суворов отправлялся играть в ресторан «Саратов».

Шел он обычным шагом, мелким и неторопливым, слегка шаркая подошвами мягких лакированных сапог. Словно танцевал.

В левой руке — гармония в шагреневом футляре.

Нес ее Суворов осторожно, как ведро с водою.

И выражение лица у него было томное: глаза прищурены, губы, выпяченные как бы для поцелуя, приподнимали рыжеватые колечки усов к большому, с крупными рябинами, носу.

В ответ на приветствия знакомых Суворов не раскланивался и не подавал руки, а вскидывал голову и каким-то особенным благословляющим жестом подносил руку к козырьку фуражки.

Если кто-нибудь окликал:

— В «Саратов», Женя?

Отвечал, пожимая плечами:

— Я думаю.

У входа в «Саратов» на мгновение останавливался, разглядывая пеструю афишу, где он изображался ру-

мяным черноусым красавцем, играющим на «череповке».

В ресторане томное выражение лица Суворова сменялось недоступным и строгим. И только на поклоны отвечал так же благословляюще.

На эстраде Суворов держался еще недоступнее: не отвечал на приветствия даже лучших друзей, играя, не ерзал на стуле, не наклонял уха над баяном, не держал такта притоптыванием, а сидел как изваянный, недвижно глядя поверх голов сидящих за столиками людей.

Похоже было, что он не трактирный музыкант, а жрец, совершающий неведомый ритуал.

Это впечатление усиливалось при виде разостланной на его коленях не простой подстилки, суконной или сатиновой, как у всех гармонистов, а малинового бархата, с бахромою и с каким-то зеленым и золотым шитьем.

Но если бы кто пристальнее вгляделся в устремленные мимо людей глаза Суворова — не поверил бы ни его торжественной осанке, ни бархатному, с золотом и бахромою, плату и удивился бы, что человек с такими глазами сочинял когда-то веселые польки и только что играл бодрый марш прославленной республиканской конницы.

Глаза Суворова, большую часть жизни видевшие одно и то же: чадные трактирные комнаты, столики, пьяных,— глаза были безотрадные, опустошенные, как осенние овраги.

Такие глаза встречаются у людей, годами сидящих в тюрьме.

Такие же, вероятно, были у алхимиков.

Иногда посетители «Саратова» видели Суворова не таким, каким он бывал всегда.

Входил он в зал не томно-танцующей походкою, а порывистою, немного бесшабашною. Здороваясь, не благословлял, а попросту кивал головою или даже подавал руку. У некоторых столов останавливался, разговаривал, весело смеясь. Вертелся на беспокойных ногах, то и дело откидывал то одну, то другую полу поддевки.

И игру начинал не сразу, «с подсчета», как постоянно, а усаживался на стуле плотно и решительно, наклонял голову над баяном и долго, задумчиво смотрел в пол.

Потом начинал тихо наигрывать что-то.

Звуки всплывали, задумчивые. Вздыхали басы, тоже словно думая, вспоминая давнее, забытое.

Звуки — не полные, отрывистые, смутные, казалось, искали что-то потерянное и не могли найти.

Наконец Суворов встряхивал желтыми, подстриженными в кружок, волосами, укреплял на коленях баян.

Начиналась настоящая игра.

Оживлялись сидящие за столами, топали в такт, поднимали вверх стаканы. Кто-то пел сиплым, немолодым голосом:

> На берегу сидит девица,
> Она шелками шьет платок.
> Работа чудная такая,
> А шелку все недостает.

— Женя! «Уж ты, сад!..» Сыграй. «Уж ты, сад!..»

— Соколовскую тройку!

И Женя играл. И пели во всех концах зала.

В перерывах Суворов опять толкался у столов, размахивая полами поддевки, беспрерывно смеялся.

Пьяные старики лезли к нему со стаканами, говорили растроганно, по-пьяному кривя рты:

— Женя! Ми-лай! Хорошие песни знаешь, старинные!

Суворов откидывал полу, мелко смеялся:

— Еще жива старая гвардия, а? Елочки зеленые!

В такие дни Суворова любили. Он становился доступным, душевным. Пил с кем попало, принимал угощения за заказанную игру, тогда как в другое время брал «сухим», то есть деньгами или же нераскупоренными бутылками пива, которое сдавал, со скидкою, обратно, в буфет.

В такие дни и хозяин «Саратова», Иван Захарыч Лодочников, седой человек с черными молодыми глазами, ходил легко, возбужденно, самодовольно потирая руки и ласково глядя на Суворова.

Иван Захарыч знал, что посетителей в дни суворовского запоя ходит больше, чем обыкновенно, что Суворов играет почти без передышки, и заработанные деньги обязательно оставит в его, лодочниковском, буфете.

Ночью, после закрытия «Саратова», Суворова увозили куда-нибудь играть.

В такие дни только один человек страдал и боялся за него. Это — тетя Паша.

Работа валилась у нее из рук. Целыми днями она теплила лампадки в своей и суворовской комнатах.

А по ночам видела страшные сны: Суворова убивают грабители, раздевают, забирают гармонию.

3

Как-то на пасхальной неделе Суворов, скуки ради, перечитывал тетрадь, озаглавленную «Различные мысли и сочинения Евгения Никаноровича Суворова, составленные в минуту жизни трудную, а также в часы досуга».

Дойдя до любимого стихотворения «Течение моей жизни», он закрыл дверь на задвижку и, стоя перед зеркалом, начал читать вслух:

Моя фамилия Суворов
Евгений Никанорыч — по отцу.
Сейчас я без особых сборов
О своей жизни сообщу.
Как бесподобный музыкант,
Я и жетоны получал,
И повсеместно каждый граммофон
Мои польки исполнял.
И вот хочу определенно
Жизнь стихами описать,
Как жил роскошно, а иной раз скромно,
Но не хочу себя я выдвигать.
Я не какой-нибудь святой, конечно,
Живу, кучу, бываю даже пьян,
Но мой успех, друзья, пред вами обеспечен,
Пока со мной мой друг — баян.

Артистически раскланялся перед зеркалом, приложив тетрадь к груди. Отыскал еще стихотворение «Миноры любви» и, томно закрыв глаза, с чувством прочел первую строчку:

Я люблю миноры нежной ласки...

Стук в дверь заставил его прервать чтение. Поспешно спрятал тетрадь в ящик комода.

Застучали громче, нетерпеливее.

— Секунду терпения!

Суворов оправил на комоде кружевную салфетку, потом уже отворил дверь.

Гостями оказались старый знакомый Чайкин, бывший плясун хора песенников Травкина, и какой-то мальчуган.

— Павлуша, друг! Сколько лет, сколько зим!— воскликнул Суворов, целуясь с приятелем.

Чайкин снял фуражку, вытер платком лысину, обвел глазами комнату:

— Я думал, ты с барышней заперся.

Обернулся к пареньку:

— Садись, Евся! В ногах правды нету!

Тот сел на краешек стула, содрал с головы кепку, пригладил светлые волосы.

— Родственник?— кивнул на него Суворов.

— Вроде Володи, на манер серой лошади!— ответил Чайкин, морщась и старательно вытирая потную рубцеватую шею.

— Ты все такой же балагур, Павел Степаныч!— засмеялся Суворов.

— Слушай, Женька!— сказал вдруг Чайкин серьезно.— Не будем зря лясы точить. Есть, так сказать, конкретное предложение. Этот вот парнишка — мой двоюродный племяш. Мальчишка не балованный. Не пьет, не курит, к девчонкам не приучен. Хочу пустить его по своей старой специальности. Занимался с ним полгода. Еще несколько уроков — и будет плясать, как бог. Да чего? Ты, Женя, исполни «Барыню» или что там такое, а он спляшет. Можно в кухне, там места много.

Мальчуган быстро поднялся, расстегнул пиджак, выставил правую ногу, подпер левой рукой бок.

Суворов слегка дотронулся до руки Чайкина и заговорил мягко, но убедительно:

— Извиняюсь! Разрешите внести фактическую поправку в только что внесенное вами предложение. Дело в следующем: оценивать талант юного артиста нет надобности, так как из твоей речи, Павлуша, видно, что он является твоим непосредственным учеником, следовательно, ты как спец в данной области несешь ответственность за свои слова. Рассматривать же работу молодого человека через призму праздного любопытства предоставим массе, не посвященной в тайны артистического мира.

Он медленно поднялся, оперся о стол руками, прищурился.

Подумал о себе, что похож на оратора. Продолжал, силясь придать голосу оттенок величественной грусти:

— Дорогой товарищ! Вам более, чем кому-нибудь, известно, что под мою «Барыню» и «Во саду ли» выступали как вы сами, так и другие индивидуумы, яснее говоря — ваши товарищи по профессии. Не будем останавливаться на многих именах, огласим наиболее громкие: Сеня Приветов — классический исполнитель «Трепака», «Казачка» и тому подобных танцев — гастролировал со мною по городам, расположенным на живописных берегах Волги. Вкратце, назовем хотя бы Нижний Новгород. Затем, под мою игру покойный Бархатов Сережа пожинал лавры здесь, в северной столице, в частности на сцене Петровского парка. Наконец, опять же благодаря меня, на Ирбитской ярмарке взошла звезда несравненного, тоже покойничка, Игнаши Плюхина. Впрочем, комментарии излишни. Я думаю, имя Суворова само говорит за себя.

Он отошел от стола, засунув руки в карманы шаровар.

— Постой, Женька!— сказал, воспользовавшись паузой, Чайкин, но Суворов, приятно улыбаясь, сделал предупредительный жест рукою:

— Извиняюсь, дорогой товарищ! Я еще не кончил. Итак, перед нами молодой талант! Прекрасно! Но покажите мне его при свете рампы, оденьте его в костюм, соответствующий моменту. Нельзя же так: «Сыграй, мол, Женька, а он спляшет!» Что за кустарное производство? Что за обывательский подход?

Продолжал с неподдельной горечью:

— Эх, Чайкин, Чайкин! Все эти дефекты происходят оттого, что ты отошел от нашего общего дела. Сам неоднократно заявлял, что занимаешься уже давно сапожным ремеслом и, мало того, даже считаешь его своей основной профессией. Стыдно, милый, так опускаться! С гордостью могу сказать о себе, что лишь один я из всей стаи славных по-прежнему незыблемо стою на страже изящного искусства.

Ласково погладил лежащую на стуле гармонь, сказал с дрожью в голосе:

— Никогда тебе не изменю, подруга дней моих суровых, голубка дивная моя!

Подмигнул и добавил уже весело и не без бахвальства:

— Можем, друже, блеснуть красноречием, а? Видишь, и литературкою, где надо, щегольнули, стиша-

тами, елочки зеленые! Не сердись, Павел, обыватель мой разлюбезный! За прошлое я тебя ценю и уважаю.

Погладил Чайкина по плечу так же ласково, как только что гладил гармонь. Тот стряхнул его руку, сказал раздраженно:

— Черт тебя знает, Женька! Что ты за человек! Я еще рта не успел раскрыть, а он уже залился курским соловьем. Да пойми ты, чудак-рыбак, что я привел Евку вовсе не плясать. Я же тебе определенно сказал, что имею конкретное предложение. А ты мне поешь арию французского напева. Голова с мозгами!

Суворов пожал плечами, произнес сухо, официально:

— Потрудитесь внести ваше конкретное предложение, уважаемый товарищ!

Обратился к пареньку, стоявшему все в той же выжидающей позе, с рукою, упертой в бок.

— Сядьте, милейший! Демонстрирования танцев пока не предполагается.

Мальчик сел. Лицо его из розового стало пунцовым. Суворов сказал ласково:

— Вы, дорогой, не смущайтесь! У нас с Павлом Степанычем специальная беседа. Так сказать, прения сторон на почве профессиональных разногласий.

Мальчуган покраснел гуще, затеребил кепку.

Чайкин нервно заговорил.

Суворов слушал внимательно. Понял из слов Чайкина, что тот предлагает выступать с его племянником. Последний в качестве плясуна.

— Дело, брат, верное! Вдвоем вы можете не только в трактирах, но и в театрах работать, да и опять же по городам, на гастроли. На одну гармозу и то идет публика, а ежели с пляскою — пачками повалит. Особливо в провинции.

Суворов взволнованно заходил своим мелким танцующим шагом.

— Это, дорогой друг, абсурд! Я исключительно одной своей игрою влияю на окружающую среду. Кто в театрах танцевал мою «Чародейку» или «Лесные ландыши»? Никто! А найди хоть один граммофон, который бы их не исполнял. Мне приятель рассказывал — слышал мои «Лесные ландыши» в трактире, чуть не на самом Северном полюсе, ну да — в Архангельске. Завели, говорит, граммофон. Тьфу, говорит, мать честная, Женькины «Ландыши».

Продолжал задумчиво и как бы с грустью:

— Такая судьба всех знаменитостей. Вот Пушкин, писатель, когда-когда помер, а книжки его и посейчас существуют. Сам недавно читал. Так и мы сейчас вот беседуем, а где-нибудь, за границей, граммофоны исполняют мои польки. Буржуазия, поди, массу граммофонов за границу-то повывезла!

Вдруг оживился:

— Слушай, Павлушка! Скажем, в Париже: шумит, это, ночной Марсель, то есть река такая, вроде как у нас Нева. Автомобили, это, экипажи, огни фонарей. А в ресторане — по-ихнему ресторан — отель-де-Пари — сидит, скажем, парочка: он и она. Определенно французы. А граммофон исполняет мою «Чародейку». Она — кавалеру: «Ах, какой шикарный фокстрот!» А шестерка, по-ихнему, понятно, гарсон: «Ничего подобного, мадам-с! Это не фокстрот, а полька «Чародейка» знаменитого русского гармониста Евгения Суворова».

Суворов хлопнул руками по коленам, шумно засмеялся:

— Га-а! Елочки зеленые! Ловко? Га-а!

И мальчуган широко улыбнулся, блестя светлыми зубами и румянцем.

Только Чайкин досадливо сплюнул:

— Тьфу, ботало, прости господи! С тобой, Женька, честное слово, нельзя вести деловые разговоры. Брось ты свои граммофоны! Граммофоны и публика — две большие разницы. Публике давай не только для уха, а и для глаз. Как ты превосходно ни играй, но если еще разнообразить репертуар пляскою — это уже плюс.

Суворову нравилось предложение Чайкина.

Он сам недавно искал хорошего плясуна, но сейчас «выдерживал марку». И потому сказал серьезным деловым тоном:

— Твоя идея, Павел, мне совершенно ясна. Но мне нужно время обмозговать ее. Взвесить все «за» и «против», понял? А молодой человек тем временем закончит полный курс. Если соглашусь — извещу письменно. Адрес тот же? Прекрасно.

Провожая гостей, добавил:

— Принципиально я согласен, но необходимо выполнить некоторые формальности.

4

Есть люди, придающие огромное значение самым пустяшным своим поступкам и действиям.

Кажется, чихнут — так и то словно сделали всемирное открытие.

К таким людям принадлежал и Суворов.

Бывало, во время попойки, кто-нибудь заметит:

— Я думал, ты, Женя, и пить-то разучился. А ты хлещешь куда с добром!

Суворов наполнял стопку пивом, выпивал, не отрываясь, чмокал донышко, затем победоносно оглядывал присутствующих.

— Учитесь пить у Суворова! Молодые еще, елочки зеленые!

Выпить стопку пива без отдыха мог не только каждый из его собутыльников, но и любой непьющий, женщина, мальчик, но Суворов искренно не замечал того, как люди делают то или другое.

Что мог он, того никто, как ни ершись, не сделает!

А если уж в пустяках проявлялось это его самохвальство, то в серьезных делах оно переходило всякие границы.

Так, он вполне искренно был уверен, что все те знаменитые плясуны — «классический» Приветов и прочие — своей знаменитостью обязаны исключительно ему.

Конечно, музыка и пляска между собою тесно связаны, но если человек не только плясать, а ходить не умеет — спотыкается на ровном месте,— тут хоть засыпь его деньгами и дай музыкантов всего мира, все равно ни «Барыни», ни «Во саду ли» не получится.

Этого-то Суворов и не понимал.

Не раз распространялся в кругу друзей:

— Под мою «Барыню» корова на льду «сдробит», а ежели исполнить что-нибудь сердечное, например на сибирский манер «Голубочка» или в сплошном миноре и при аккордном равновесии вальс «Муки любви»,— тут не только человек, а, можно сказать, дредноут и то заплачет. Мой закадычный друг, писатель Коленкин, Евгений Орестович, от пустяков рыдал. Бывало, в «Лиссабоне», зазовет в кабинет: «Тезка, сотвори „Сама садик я садила!“» Ну, я, определенно, разведу, а он — расстраивается. Схватит стакан или иной соот-

ветствующий предмет и об пол. Девиц прогонит, а сам рыдает.

Из всех гармонистов Суворов считал равным себе лишь своего учителя, Костю Черемушкина, да и то, возможно, потому, что того уже не было в живых — кончил самоубийством, или, как образно выражался Суворов, «погиб на коварном фронте любви».

Память покойного Суворов чтил: наблюдал могилу; ежегодно в день трагической смерти Черемушкина, если был при деньгах и не в загуле, обязательно служил панихиды; особенно близким друзьям показывал большой фотографический снимок красивого черноглазого парня с прическою «бабочкою» и с двумя рядами жетонов на груди.

— Мой коллега, Черемушкин Костя,— говорил Суворов с важностью.— Человек был всех мер и бесподобный игрун в свое время, вроде как теперь я.

Портрет у него хранился в ящике комода.

— Ты бы — в рамочку да на стенку,— замечал кто-нибудь из гостей.

— Ни к чему,— сухо говорил Суворов,— всякий станет глаза пялить.

— Ну так что же? А как же памятники? Все их видят.

— Это тоже неправильно,— почти сердито отвечал Суворов.— Изображения знаменитых людей надо уважать и показывать тому, кто достоин.

Вероятно, исходя из этого соображения, он и свою фотографию хранил вместе с портретом Черемушкина в ящике комода и почти никому не показывал, хотя злые языки утверждали, что Суворов не показывает своего портрета потому, что у него там всего четыре жетона, к тому же один даже и не за игру, а солдатский «За отличную стрельбу», тогда как у Черемушкина жетонов — плюнуть некуда, вся грудь увешана.

Чайкин не дождался суворовского письма, сам прислал к нему племянника с запискою, в которой предлагал Суворову выступать с Евсею в ресторане, находящемся в центре города.

«Я на всякий пожарный случай согласился от твоего имени,— писал Чайкин.— Если откажешься — придется искать кого попало. Только, Женя, прошу тебя как старинного друга и товарища — соглашайся. И сам не

будешь в обиде, и меня выручишь. А то мальчишка зря болтается без дела».

Прочтя записку, Суворов обратился к мальчику:

— А вы, молодой человек, полный курс прошли?

Мальчик приподнял тонкие, точно нарисованные, брови, глаза округлились — стал похожим на куклу.

— Чего это?

— Ну... дядя ваш закончил преподавание танцев? — пояснил Суворов.

— Не знаю. Он говорит, ежели вам желательно, — я могу сплясать, чтобы вы, значит, видели, — проговорил мальчуган звонкой скороговоркою.

Суворов усмехнулся:

— Чудак ваш дядя! Такие дела с молотка не делаются. Пусть придет, ну хоть завтра, совместно с вами. Сговоримся, обсудим как и что, приведем, так сказать, все к одному знаменателю, а тогда уже и репетиции. Так и передайте ему.

— Уж вы лучше ему напишите, — попросил мальчик. — А то я позабуду. Как его? Знаменатель, что ли?

Он конфузливо улыбнулся.

Суворов, вздохнув, подошел к комоду, достал лист бумаги и розовый конверт.

Подумал, что деловые письма должны быть кратки и официальны, и написал:

«Многоуважаемый Павел Степаныч! Всесторонне взвесив ваше предложение, всецело присоединяюсь, ввиду чего предлагаю вам завтра, в воскресенье, от часу до двух дня явиться ко мне совместно с племянником для обсуждения наболевших вопросов, касающих вышеизложенного предложения. Присутствие вашего племянника необходимо с точки зрения демонстрирования танцевальных номеров и тому подобное. Остаюсь известный вам Евгений Суворов».

На конверте вывел крупно и неровно: «Павлу Степанычу, гражданину Чайкину». Подумал и надписал полный адрес, причем особенно старался над словом «Ленинград» и буквами «В. н.».

Вручая письмо мальчику, сказал:

— Это вот «вэ» и «нэ» обозначает: «весьма нужно». Поняли? Так и передайте дяде, что весьма, мол, нужно.

5

На другой день Суворов и Чайкин быстро пришли к соглашению. После переговоров Чайкин сказал:

— Ты в своем «Саратове» целый вечер басы жмешь, а там за те же деньги сделаешь четыре номера: два сам по себе да два с Евкою и — кум королю. Да и место все-таки публичное. В центре. Вот что главное!

На эти слова Суворов равнодушно отвечал:

— Работы там, определенно, меньше. А что касаемо центра, то это мне все равно. Меня, милый, рестораны не удовлетворяют. Мне театр нужно, рампу. Турне во всероссийском масштабе.

Слово «турне» он услыхал на днях в «Саратове» от какого-то пьяного, не то куплетиста, не то музыканта.

Довольный тем, что удалось применить это новое красивое слово, а главное — состоявшейся сделкою, Суворов весело сказал Чайкину:

— Погоди, Павел Степаныч! Расправим старые орлиные крылья и опять раздуем кадило. Суворов еще прогремит в светлом будущем, елочки зеленые!

Обратился к племяннику Чайкина, который, готовясь к репетиции, переодевался в принесенный им костюм плясуна:

— И вас, молодой человек, вытащим из обывательского болота и поставим на благодарную почву.

Обернулся к Чайкину:

— Хорошо, Павлуша, что догадались костюмчик захватить. Поднимает, знаешь, настроение.

Чайкин оживился:

— У меня, браток, все делается начистоту. Товар — лицом.

Он быстро подошел к мальчугану, взял из его рук шапку с павлиньими перьями, сам надел ему на голову, подвел к Суворову:

— Ты, Женя, обрати внимание, каков экземпляр-то, а? Ты посмотри: форменный русский красавец. Кровь с молоком. И ростом приличный. Ведь всего шестнадцать пареньку-то! И телом, гляди, аккуратный: не толстый и не заморыш. Мяса и всего прочего в нормальном количестве.

Он словно продавал племянника:

— Смотри грудь! Двое суток плясать будет и не задышится. А ноги, икры-то. Резина!

— Все это — второстепенно,— возразил Суворов.— Главная суть, Павлуша,— талант. Плюхин, Игнаша, сам, знаешь, был мелкого калибра и плюс — беззубый, а плясун какой, а?

— Не любил я Игнашкину пляску,— нахмурился Чайкин.— В цыганщину впадал, а это для русского танца не модель. И наружного вида не имел Игнашка. А это тоже плохо. Ничего, по-моему, у него не получалось!

— Не получалось!— усмехнулся Суворов.— Триста пятьдесят мы с ним в один вечер на ярмарке, на Ирбитской, у купцов заработали!

— Можно и за стакан семечек тыщу заплатить. У денег глаз нету!— сказал Чайкин и быстро добавил, боясь, очевидно, что разговор затянется.— Ну ладно, Женя! Игнашка сгнил давно, шут с ним! Начнем, что ли? Время-то уж много!

— Пожалуй, начнем!— согласился Суворов.

— Ну-с, Евсей Григорьич Коноплев,— шутливо сказал Чайкин, обращаясь к племяннику.— Приготовьтесь к экзамену!

В кухне, куда перешли все трое, был уже накрыт стол. Это Суворов, по случаю коммерческого дела, позаботился о выпивке и закуске.

Тетя Паша сидела у стола, подперев рукою щеку.

По-видимому, ждала, когда Суворов и гости усядутся закусывать.

Евся вышел на середину кухни, встал, немного отставив правую ногу.

Белый и румяный, тонкобровый, большеглазый, в плисовой безрукавке поверх голубой рубахи, в нестерпимо сверкающих сапогах, был он похож на большую дорогую куклу.

Тетя Паша не удержалась, вскрикнула, всплеснув руками:

— Вот красавчик-то! Господи, царю небесный!

На что Суворов заметил с неудовольствием:

— Повремените, уважаемая, выражать интимные чувства. Сейчас у нас предстоит дело серьезной важности.

Обратился к Чайкину:

— С «Во саду ли» начнем?

— Определенно,— кивнул тот.

Суворов в быстром переборе проиграл второе ко-

лено песни и тотчас же заиграл первое в медленном отчетливом темпе.

Евся легко вскинул правую руку к шапке, левую — на бедро.

— У-лыбка!— четко сказал Чайкин.

Румяные Евсины губы раздвинулись. Блеснули белые зубы.

Евся пошел кругом как бы нехотя, слегка шаркая.

— Выходка приветовская, ленивая, замечаешь? — зашептал Чайкин на ухо Суворову.

Тот неопределенно пожал одним плечом. Заиграл чаще, отчетливее.

Евся пошел быстрее, легче. Как по воздуху. Шарканья не стало слышно.

Потом, сразу, мелко задробили каблуки.

И снова бесшумно выбрасывались в стороны ноги в светлых сапогах. Плели невидимую веревочку в такт плетеным серебряным голосам гармонии.

Голоса гремели громче, торопливее. Порывисто и густо вздыхали басы.

Музыкант шевелился на стуле. Резче, нетерпеливее дергал гармонь.

Но вот прокатился последний звук и умолк.

И одновременно с ним замер, с застывшей на лице улыбкою, плясун, держа в откинутой руке шапку.

Но Суворов тотчас же прокричал:

— Играю «Барыню»!

Сначала вкрадчивые, лукаво-веселые звуки, как затаенный девичий смешок, затем пьянящий, беззастенчивый смех властной женщины.

Евся лихо дробил, четко и отрывисто семенил ногами. Легко несся в разгульном плясе.

Чайкин, стоя рядом с Суворовым, тоже выстукивал каблуками дробь. Хрипло выкрикивал:

— Евка! Чечетку — чище! Пистолетика — короче!

Хлопал в ладоши, ожесточенно потирал ими:

— Эх, мать-Вазуза, не потопи города Саратова, э-эх!

Музыка и пляска сплелись в один пестрый клубок удали и веселья.

И не понять было, что над чем царит.

Казалось, не пройди плясун в легкой и мощной, мягкой и дерзкой присядке, остановись он — замрет музыка. Умолкнет музыка — недвижим станет плясун.

И замерли одновременно музыка и пляс.

И опять застыл, с прежней румяной улыбкою, с откинутой в сторону рукою, плясун, торжествующий и приветливый.

Суворов поставил баян на пол, рядом со стулом. Слегка забарабанил пальцами по столу.

Чайкин сел к столу, искоса пытливо поглядывая на Суворова.

Тетя Паша улыбалась, утирая умильные слезы, и, не спуская глаз, смотрела на Евсю, старательно затягивавшего развязавшийся пояс.

Вдруг Суворов быстро поднялся с места.

— Ну?— не вытерпел Чайкин.

Суворов подошел к Евсе, все еще занятому поясом, обнял его и поцеловал три раза.

Затем, подойдя к взволнованному, удивленному Чайкину, так же трижды облобызал и его.

— Женя, ну чего ты?— смущенно и растроганно спросил Чайкин.

Суворов промолвил дрогнувшим голосом:

— Бархатов Сережа, имея восьмилетний стаж, хуже плясал... Больше ничего не имею сказать.

6

Ресторан, куда Суворов, по рекомендации Чайкина, нанялся играть, более, чем какой-нибудь окраинный «Саратов», напоминал плохой трактир царского времени.

Чадный, неуютный зал кишел пьяными посетителями: сезонниками, накрашенными девицами, молодыми людьми с ухарскими зачесами и разухабистыми манерами.

Владельцем ресторана оказался старый знакомый Суворова, Петр Петрович, по прозвищу Баран.

Когда-то, в дни суворовской юности, он был скотским барышником, а также содержал артель шулеров, играющих в «три карточки» и в «ремешок» в местах народных гуляний. Суворов вспомнил, что тогда не раз видел в Екатерингофском парке Барана в тарантасе, запряженном белогривою шведкою, объезжающим стоянки своих игроков.

Теперь на Суворова неприятно подействовало, что Баран притворяется ничего не помнящим.

— С братом вы меня смешали, не иначе. Никаких я коров отродясь не продавал,— говорил Баран, звеня деньгами в кармане брюк,— и в Екатерингофе, кажись, никогда не бывал.

Зевнул и добавил:

— Впрочем, раза два был. Представления ходил смотреть.

— Так вот я на сцене-то и выступал тогда. Неужели не помните?— спрашивал Суворов.— И в «России», на Обводном, вы сколько раз меня играть нанимали!

Но Баран стоял на своем:

— Ничего этого не помню. Ошибаетесь вы. Обознались, я так думаю. Тем паче что гармонию я не обожаю.

Но особенно смущало и раздражало Суворова отношение к нему публики.

Всех исполнителей она принимала хорошо, даже старательно хлопала концертному трио, играющему весь вечер, а он, Суворов, получал неоткровенные жидкие аплодисменты.

Не поднимали настроения публики даже «Чародейка» и «Лесные ландыши».

Евся же, так же как и автор-юморист Лесовой-Зарницын, выступал всегда на бис.

Евся с первых дней стал пользоваться всеобщим успехом, перезнакомился со всеми постоянными посетителями.

То один, то другой из гостей приглашали его к столу, заказывали для него что-нибудь в буфете.

К концу вечера он так наедался пирожков и бутербродов, что отказывался от новых угощений, разве только выпьет стакан лимонада.

— Ты смотри, с девчонками осторожнее! Ведь это не кто иные, как падшие феи, проституция,— как-то сказал Суворов Евсе,— и парни тоже шпана, хулиганье.

— А мне чего,— улыбнулся Евся.— Лидка мне пирожного взяла, а тот вот Колька все уговаривает водку пить, а я заместо водки лимонад требую.

Во время этого разговора подошел тот самый Колька, о котором только что говорил Евся.

— Товарищ гармонист,— задышал он на Суворова пивом.— Ты вот Коноплева почаще выпускай. Мало он у тебя пляшет. Ты бы сам поменьше играл. А то разведешь из оперы «Богородица, дева, радуйся» или «Как

черт шел из неволи», так прямо блевать тянет, честная портянка!

Суворов опешил. Смог только произнести задрожавшими губами:

— Гражданин! Прошу без замечаний, елочки зеленые!

Парень махнул рукою, сказал с досадою:

— Тьфу, в бога мать!..

И отошел, задевая за стулья.

Евся стоял красный до слез. Избегал смотреть на Суворова.

Взволнованный Суворов ушел в «артистическую»— маленькую, грязную и холодную, как сарай, комнату, заходил там на танцующих ногах.

— Елочки зеленые! Еще центральный ресторан называется. Убежище воров и проституток!

— Вы, коллега, прямо в точку попали. Здесь самый цвет Лиговки и Обводки,— пробасил автор-юморист Лесовой-Зарницын, пудрясь перед разбитым зеркалом.

Узнав, чем возмущен Суворов, он сказал, как бы с разочарованием:

— А, вот в чем дело! А я думал, что у вас карман вырезали или баян уперли. Это, коллега, чепуха! Я первое время тоже кипел негодованием, а теперь, за три года, привык.

— Я, уважаемый товарищ, не три года играю,— еще больше кипятился Суворов,— я еще в эпоху царизма неоднократно награждался жетонами. Мои произведения до сих пор исполняются граммофонами в Париже, елочки зеленые! Под мою игру не мальчишки плясали, а такие имена, как Приветов и Плюхин. А это, уважаемый товарищ, не сопляки были, не Коноплевы, а классические исполнители русской пляски.

Напудренное лицо автора-юмориста стало грустным.

Он взял руку Суворова в обе свои тонкие, костлявые руки, заговорил умоляюще:

— Милый, голубчик! Напрасно обижаете мальчугу. Он очаровательно пляшет. Огромный талант! Самородок! Его бы в балетную школу. Эх, милый мой! Да вы же сами знаете! Он затмевает вас, простите меня за откровенность!..

Эти слова поразили Суворова сильнее, чем недавняя выходка хулигана Кольки.

— Затмевает?— прошептал Суворов почти с ужасом.

Но в этот момент заглянул в дверь Евся:

— Евгений Никанорыч! Сейчас — нам! Певица кончила!

Выходя в зал, Суворов столкнулся в дверях с певицею и не извинился.

«Затмевает,— думал он.— Затмевает».

Действовал, как во сне.

Не видя Евси, стоящего на ступеньке эстрады, поднялся на эстраду, взял в руки баян.

«Затмевает»,— снова подумалось.

Вместо «Во саду ли» заиграл «Ах вы, сени...».

Очнулся, когда услышал Евсин шепот:

— Евгений Никанорыч! Не то! «Во саду ли».

И еще чей-то насмешливый пьяный голос:

— Затерло Суворова с пирогами!

7

— Сыграйте что-нибудь трогательное!

Суворов с некоторым удивлением посмотрел на ресторанную продавщицу пирожков и приятно улыбнулся:

— Что же именно? Вальс «Муки любви» или «Разбитое сердце»? Очень нежные вещи.

— Сыграйте и то и другое.

— С восторгом, уважаемая Зоичка.

Суворов поднялся на эстраду.

Быстро и ловко расстелил на коленях свою бархатную с золотым шитьем подстилку, перекинул через плечо ремень баяна.

Играл с чувством, старательно, с вариациями и аккордами.

Волновался. Но сидел, как всегда, неподвижно. И выражение лица было пренебрежительное.

После игры подошел к девушке, сидевшей за официантским столиком, спросил небрежно:

— Ну-с, как? Понравилось?

— Мерси. Очаровательно.

Суворов пристально посмотрел на девушку. Серые глаза ее с пушистыми ресницами были серьезны и грустны. Сказала тихо:

— Мне ужасно нравится баян. Особенно, когда хорошо играют.

Суворов достал из кармана шаровар портсигар, предложил девушке папиросу. Она отказалась.

Сказал тем же небрежным тоном:

— Музыку редко кто чувствует. Надо иметь абсолютный слух, чтобы правильно реагировать.

— Вы очень хорошо играете.

— Мерси за похвалу.

Суворов сделал длинную затяжку, прищурился:

— Как будто умею играть.

— Мне ваш приятель, Коноплев, говорил, что вы были известный гар... музыкант.

Суворов затеребил в зубах папиросу:

— Был! Что за странный вопрос? И в настоящее время моя слава гремит по всей России. Поезжайте, например, в Ирбит или в Нижний...

Далее пошел рассказ о «классических» плясунах, о его, суворовских, жетонах и польках.

Зоичка спокойно и грустно смотрела на Суворова, потом взяла со стола поднос:

— Извиняюсь! Мне нужно за пирожками.

С этого дня Суворов каждый вечер, в свободные часы, беседовал с Зоичкой.

Вернее, говорил он, а она слушала.

Рассказывал о себе: как он с малолетства имел влечение к музыке и как его драл за это отец, вспоминал о Черемушкине.

— Игрун был покойничек — бесподобный. От рождения — левша. Так он, верите или нет, в гармонии планки переставил — приспособил, одним словом, для левой руки. У него я и обучался, а потом уже сам усовершенствовался.

— Я ужасно завидую талантам,— спокойно говорила Зоичка.— А у меня никакого таланта нет. Ни на чем не играю и не пою.

— Играть на баяне — для женщины необязательно,— поучительно говорил Суворов.— В женщине как в таковой преобладают красота и нежность. Поэтому она должна вдохновлять знаменитостей. Короче говоря, содействовать искусству.

— Красоты у меня тоже никакой,— грустно улыбалась Зоичка.— А знаменитости разные на меня и смотреть-то не захотят.

— Как сказать,— загадочно улыбался Суворов.

Зоичка брала поднос с пирожками и тихо шла через зал, останавливаясь у столиков.

Суворов мечтательно смотрел ей вслед и думал:

«Славная девица! Кокетка только, тихонькой прикидывается, елочки зеленые!»

Уходили домой вместе: он, Евся и Зоичка.

Недалеко от ресторана, у трамвайной остановки, прощались с Зоичкой.

Суворов задерживал ее руку в своей, говорил нежно:

— До завтра!

Она опускала глаза:

— Пока!

Евся шалил: сжимал ее руку так, что она вскрикивала, или, когда уже подходил трамвайный вагон, не пускал ее садиться:

— Обожди, Зоя! Завтра уедешь.

Вообще, отношение его к Зоичке не нравилось Суворову: обращался, как мальчишка с мальчишкою.

— Фамильярности у тебя много,— замечал ему Суворов,— с барышнями так нельзя, как ты с Зоичкой.

— Кислая она какая-то,— смеялся Евся,— боится всего. Будто стеклянная. Того и гляди — разобьется.

— Нежная, а не кислая,— хмурился Суворов и прибавлял наставительно.— О женщинах тебе, брат, еще рано рассуждать. Надо сначала приобрести опыт, специальность.

— Я ничего и не говорю,— недовольным тоном отвечал Евся.— Я только насчет Зойки, что не нравится она мне.

Суворов молчал. Ему почему-то было по душе это Евсино признание.

8

Слава Евси Коноплева росла с каждым днем.

Он стал любимцем не только пьяных завсегдатаев ресторана, но и сам бесчувственный Баран, вечно занятый загадочными делами с какими-то трезвыми немолодыми людьми, и тот усердно аплодировал плясуну, тогда как остальных исполнителей, не исключая и автора-юмориста, совершенно не замечал.

Только Суворов равнодушно относился как к успехам своего партнера, так и ко всему, что вокруг происходило.

Выступая соло, он с необыкновенным чувством исполнял или мечтательные вальсы «Муки любви» и «Разбитое сердце», или «Аргентинское танго» и «Шимми»— словом, все, что просила Зоичка.

И покидал эстраду не заботясь о том, какое впечатление произвела его музыка на публику.

А самого Евсю собственный успех не радовал, а огорчал: на бис он выступал неохотно, а однажды, вызванный в четвертый раз, категорически отказался плясать.

— Ну, Коноплев, вали голубок, э-эх!— подмигивал Баран.— Покажи им свою храбрость! Слышь, как требуют?

— Ну их к черту!— рассердился Евся.— Они всю ночь будут требовать, а я пляши? Какие симпатичные! Им все равно пиво-то лакать, а у меня ноги не казенные.

С первых дней близко сойдясь со многими посетителями, он также быстро стал избегать общения с ними.

— Ты, кажется, своей судьбой недоволен? Смотри, сколько заимел поклонников и поклонниц, чего тебе еще надо?— иронизировал Суворов.

Евся угрюмо отвечал:

— Ну их! Нешто это люди? Барышни все как есть шлюхи подпанельные, глупости разные болтают, а парни: «Пей да пей!» Я в деревню уеду,— неожиданно говорил он.— Надоело! Здесь пляши! Дома дядя в футбол не дает играть. «Ноги, мол, мучаешь». И босиком ходить не велит: «Порежешься, говорит, тогда как плясать-то будешь?»

— Это он правильно,— замечал Суворов.

Евся смотрел на него обиженными глазами:

— Правильно! Сам он, небось, плясал-плясал, а теперь сапожником заделался.

— Твой дядя чудак,— хмурился Суворов.— Он изменил святому искусству.

— Так что же, всю жизнь плясать, что ли?— насмешливо и сердито перебивал Евся.— Этим всегда кормиться не будешь. Ремесло неподходящее.

— А как же в балете?— тоже сердился Суворов.— До седых волос пляшут, и ничего!

Но Евся упорно стоял на своем:

— Это не работа. Надо работу настоящую сыскать.

— Сделайся сапожником,— усмехался Суворов.— С дядей на пару и стучите.

— Я бы с удовольствием, да он не желает.

Евся оглядывал свой костюм плясуна и говорил с искренней досадою:

— Нарядил вот, будто дурака какого, клоуна! Эх, мать честная! В деревне бы кто посмотрел, засмеяли бы до смерти, ей-богу!

В другое время Суворов прочел бы ему целую лекцию об изящном искусстве, рассказал бы о классических плясунах, а также о себе и своем учителе, Косте Черемушкине, но теперь всем этим он делился с человеком, чутко воспринимавшим все нежное и изящное, с человеком, о котором только и думал и о ком писал недавно в белую ночь, душную и безмолвную ночь, какая бывает только на окраине, на берегу Негодяевки.

Правда, написано было всего несколько строк, но сколько было вложено чувства!

Полюбил я девушку чудную,
Она тоже влюбилась в меня.
У нее глаза нежные, грустные.
Будто небо майского дня.

Дальше не клеилось. Но и эти четыре строки наполнили сердце Суворова нежной радостью, и он старательно вписал их в заветную тетрадь, озаглавленную «Различные мысли и сочинения Евгения Никаноровича Суворова, составленные в минуту жизни трудную, а также в часы досуга».

В любви Суворова к Зоичке была только одна большая горделивая радость и совершенно отсутствовал элемент страдания.

Вероятно, оттого, что он был уверен в ее любви.

Да и какие могли быть сомнения?

Она завела с ним знакомство, ежедневно проводила с ним свободное время за официантским столиком.

А вечные просьбы сыграть «Муки любви» или «Разбитое сердце»?

Это уже не намек, а полное признание в любви!

А грустные, страдающие глаза? Жалобы на ужасную тоску?

«Слишком много фактических данных,— радостно думал Суворов.— Влюбилась девочка, определенно».

Но он не разобьет ее сердца!

Он уже решил сказать и свое слово, то слово, какого она ждала, страдая и надеясь, боясь и радуясь.

Но нужен подходящий момент и соответствующая обстановка.

Не в ресторане же, за официантским столиком, разбросать цветы любви?

По утрам Суворов особенно тщательно умывался, причесывался, жирно фиксатуарил усы.

По часу не отходил от зеркала.

Из зеркала на него глядело сорокалетнее помятое лицо, мутные пустые глаза с водянистыми мешочками, рябоватый нос.

«Солидное лицо,— думал Суворов.— Вроде как у бывшего полковника».

Прищуривался. Откидывал голову. Слегка выпячивал губы и уже находил, что похож на артиста, на музыканта.

«Благородная внешность»,— решал окончательно и шел в кухню, где тетя Паша гремела чайной посудой.

А однажды, за чаем, сказал тете Паше:

— Скоро, Прасковья Петровна, меня собственная хозяюшка станет поить чаем.

— Неужто женишься?— удивилась тетя Паша и даже бросила пить чай.

Сгорая от любопытства, принялась расспрашивать как и что.

— Женюсь,— важно отвечал Суворов.— Красавица, можно сказать, редкая. Зоичка — зовут, Зоя Васильевна. Нежная девица. Девятнадцатый год пошел. Чуткая душа. Влюбилась в меня до потери сознания. Прямо, можно сказать, находится на пути к самоубийству.

«На меня, говорит, такие знаменитости, как вы, и смотреть-то не пожелают».

Потер руки:

— Эх, елочки зеленые! Вот-то обрадуется, бедняжка, когда я произнесу свое решающее слово!

И он залился счастливым смехом.

9

Дни стояли веселые, солнечные.

Солнечными были и мысли Суворова о женитьбе на Зоичке.

И уже близился момент, когда он должен будет сказать свое решающее слово.

В самом деле, Зоичка уж очень страдала. Это видно было по ее безнадежным глазам, обведенным тенями. Безнадежность слышалась и в голосе.

«Почему она не признается?— думал с досадою Суворов и решал: — Девичий стыд не позволяет, определенно».

Вспоминались слова девушки о том, что знаменитости и разговаривать-то с нею не захотят.

Становилось жаль ее и вместе с тем было радостно.

«Не чует, елочки зеленые, что ей небесная манна заготовляется».

И ласково и таинственно говорил:

— Погодите, Зоя Васильевна, не волнуйтесь! Близится момент исполнения вашего главного желания.

Она вспыхивала, глаза загорались:

— А разве вы знаете мое главное желание?— взволнованно произносила.

Суворов отвечал многозначительно:

— Комментарии излишни. Помолчим до наступления долгожданного момента.

И момент наступил.

Приблизили его обстоятельства.

Так было...

Однажды Евся, в присутствии Суворова, объявил Барану, что завтра уезжает в деревню.

И Баран, и Суворов удивились.

— С чего ты так, вдруг?

Евся спокойно рассказал, что получил письмо от товарища, который предлагал работать в совхозе.

— А какая работа-то?— спросил Баран.

— Известно, по крестьянству,— ответил Евся.

Суворов увел его в «артистическую» и долго разубеждал:

— Чудак! Имеешь талант и все данные для артиста. Потерпи! Скоро ринемся на Волгу, на Кавказ. Только вот справлю дела серьезного значения.

Под делами серьезного значения он подразумевал женитьбу.

Но Евся был непоколебим.

— А чего мне делать на Кавказе да на Волге? Плясать? Спасибо. И здесь наплясался.

— А в деревне, в совхозе-то в своем, в навозе копаться будешь?— раздражался Суворов.

— Ну и в навозе! По крайности — работа. А пляшут только на гулянках,— насмешливо ответил Евся.

— Ну и копайся в навозе, елочки зеленые! Дураку талант достался!

— Сам ты дурак,— спокойно сказал парень и пошел производить денежные расчеты с Бараном.

В этот вечер Евся не плясал. Ушел, сухо простясь только с Бараном и Суворовым.

Суворову, игравшему по просьбе Зоички «Танго смерти», пьяные голоса, из публики, кричали:

— Вали «Русскую»! Плясуна даешь! Шкета!

А потом Баран, звеня в кармане деньгами и не глядя на Суврова, объявил ему, что так как плясун взял расчет, то гармонисту в ресторане делать нечего.

— А в сольном исполнении не нуждаетесь?— спросил Суворов, едва сдерживая гнев.

— Музыки у нас достаточно, сами видите. Скрипка и все прочее. К чему же еще гармошка?

— Не гармошка, а хроматическая гармония баян, уважаемый Петр Петрович,— внушительно произнес Суворов.

Баран сильнее зазвенел деньгами:

— Можно и пианиной назвать, а все равно та же гармошка и останется. Неинтересный инструмент.

— Если вы хотите знать, то в гармонии сосредоточена музыка всех категорий,— закипел Суворов и добавил задрожавшими губами,— к тому же играет на ней в данном случае профессор-самородок Евгений Суворов, елочки зеленые!

Но бесчувственного Барана не тронули даже такие веские данные.

Он откровенно зевнул и сказал с убийственным равнодушием:

— Суворов или Кутузов — нам все равно. А только гармошка без пляски — одна меланхолия. Пиликает-пиликает, а в чем дело,— неизвестно.

После разговора с Бараном Суворов почувствовал непреодолимое желание сказать Зоичке «решающее слово».

Провожая ее, как всегда, до трамвая, он мучительно думал: «А как сказать ей? Прямо «люблю»? Или назначить свидание, а к тому времени обдумать?»

Остановился на последнем.

— Хотелось бы увидеться с вами, Зоя Васильевна! — начал он, но Зоичка вдруг перебила:

— Я только что об этом думала. Знаете, Евгений Никанорыч, приезжайте ко мне завтра вечером. Я в ресторан не пойду. Хочу отдохнуть. Только захватите и баян. Хорошо? Поиграете,— она грустно улыбнулась.

— «Муки любви»?— пошутил Суворов.

Лицо Зоички стало серьезным:

— Да, «Муки любви».

10

— Вы раскаетесь, что пришли,— сказала Зоичка, когда Суворов вошел в ее маленькую чистую комнату с одинокой кроватью, с таким же, как у него, розоватым одеялом.

— Почему раскаюсь?— спросил Суворов, ставя гармонь на пол, у дивана.

— Разговоры у меня будут невеселые.

— Развеселим!— сказал Суворов.

— Полькою «Чародейкою», что ли?

И не понять, насмешка в голосе или грусть.

— Может быть, чем-нибудь другим.

— Вы всегда говорите непонятное.

— А вот разгадайте, чем я вас развеселю.

Суворов хитро улыбнулся. Зоичка посмотрела на него с удивлением. Затем опустила глаза, вздохнула, сказала задумчиво:

— Ничем.

Суворов прошелся по комнате, остановился у дверей, посмотрел на Зоичку.

Она сидела на диване, подобрав ноги. В гладком коротком платье, туго обтягивавшем ее маленькую, тонкую фигурку, с волосами, подстриженными челкою, она походила на мальчика.

«Изящная девица, миниатюрная»,— подумал Суворов.

Не торопясь, начал:

— Дело, Зоя Васильевна, в следующем. Когда-то я говорил, что настанет время исполнения вашего желания.

— Помню, но...

— Извиняюсь! Момент этот близок...

Увидел ее удивленные, как бы испуганные глаза и тревожно подумал: «Нельзя так, сразу... Может губительно на нее подействовать».

Улыбнулся, быстро сказал:

— Я шучу. Давайте говорить о чем-нибудь потустороннем. Или сыграть?

— Сыграйте.

Зоичка опустила глаза.

— Что же именно? «Муки любви»?

— Можете «Разбитое сердце»,— горько усмехнулась.

«Потеряла всякую надежду»,— подумал Суворов, перебирая басы.

Ему захотелось подойти к ней, обнять, рассказать всю правду: как он, непонятый толпою, великий артист, горячо ее любит, как с первой же встречи с нею понял, что им суждено вместе свершать великий жизненный путь.

Под его нервными пальцами дрожали голоса баяна.

«Шикарно играю. Плачет баян, прямо плачет!»

Суворов закрыл глаза. Вздрогнул.

Плакала уже не гармония, а кто-то живой.

Открыл глаза.

Зоичка сидела, закрыв обеими ладонями лицо. Плечики вздрагивали.

— Зоя Васильевна! Зоичка!— вскрикнул Суворов, поднимаясь с места.

— Иг... райте!— задыхаясь, прошептала она, не отнимая рук от лица.

«Пусть поплачет — легче будет. Сердце отмякнет»,— подумал Суворов и снова закрыл глаза.

«Надо на непрерывных аккордах, в высоком тоне».

Нажал несколько клапанов. Вздохнули басы.

И вдруг услышал голос Зоички:

— Евгений Никанорыч!

Стояла близко, в двух шагах. Смотрела странными, немигающими глазами.

Ему стало не по себе.

Быстро поднялся, не сводя с девушки глаз. Положил на стул баян.

— Где же ваш момент?

Голос ее прозвучал ровно и четко.

— Какой момент?— не понял Суворов.

— Момент, который... Ну, момент исполнения моих желаний!— голос уже был недовольный, нетерпеливый.

«Теперь пора! Больше ждать нечего!»

— Дорогая Зоя Васильевна! Когда я это говорил, я не смеялся. И теперь...

— Неправда! Вы смеялись!— вскрикнула она с отчаянием.— Так смеяться — жестоко!

— Слушайте, Зоя Васильевна, Зоичка!— быстро заговорил Суворов.— Уверяю вас, я видел, как вы страдаете, я боялся признанием нанести вам гибельный удар. Резкий переход от горя к радости может...

— Радости?

Глаза Зоички округлились.

— Радости? Какой радости? Да говорите же! Он... не уехал, да?— вдруг прокричала она так сильно, что Суворов вздрогнул.

— Кто не уехал?— с удивлением спросил Суворов.

И вдруг все понял.

— Ко... ноплев?— губы едва выговорили.

— А то кто же?— удивилась Зоичка.

Суворов, не отвечая, опустился на стул. Ноги дрожали. Похолодело в груди.

Зоичка что-то быстро спрашивала. Он, не понимая, глядел на нее. Слабость легкая и приятная охватила все тело.

Потом поднялся. Долго укладывал гармонь в футляр. Зоичка, бледная, сидела в уголке дивана.

Испуганно смотрела на него.

Только на улице очнулся.

Остановился. Хотел вернуться, но потом быстро пошел вперед.

И походка была не танцующая, как всегда, а неровная, порывистая.

А навстречу шли люди. Обгоняли люди.

И молодые из них: юноши, девушки и дети — все непонятно напоминали Евсю.

И еще почему-то казалось, что ему некуда идти.

А «они» шли.

Было жарко, солнечно.

Многие из них почти полуголые, многие — босиком. Загорелые тела золотились от лучей солнца.

Вот посреди дороги — колоннами, с пением. «Почему они поют?»— не понимал Суворов.

И все смутно и непонятно напоминали Евсю Коноплева, плясуна, разбившего его жизнь.

«Опять забрал запой»,— подумала тетя Паша, когда Суворов, слегка пошатываясь, пришел домой.

Прошел к себе. Щелкнула задвижка.

А спустя несколько минут раздались звуки гармонии. Играл беспрерывно. Тихо и печально. И неуверенно. Словно разучивал трудную песню.

Тетя Паша собирала чай. Постучалась к жильцу.

— Чай пить, Евгений Никанорыч!

— Не... надо!— не сразу пришел ответ.

И снова — печальная, неуверенная музыка.

А потом — стихла.

Тетя Паша несколько раз подходила к дверям, прикладывала ухо.

«Спит»,— решила. Ушла к себе.

Ночью ей виделись страшные сны: Суворова убивают грабители. У самого мостика на Негодяевке. Он кричит истошным голосом. Кричит и она. Но никто не прибегает на помощь. И грабители режут его спокойно, не торопясь, нанося удар за ударом.

Тетя Паша в страхе просыпалась. Прислушивалась, но было тихо. Только жужжали мухи в душных углах. И тикал будильник.

Утром, отправляясь стирать, долго стучала к жильцу.

— Евгений Никанорыч!.. Я ухожу!.. Слышь ты?

Стучала кулаком, потом поленом, но за дверью было странно тихо.

Вышла на улицу. Подошла к окну. Оно было открыто. Занавески спущены.

— Евгений Никанорыч!— крикнула тетя Паша.— Евгений Никанорыч! Ухожу. Дверь за мной заприте!

И вдруг перестала кричать.

Ветер колыхнул занавеску, и так и осталась она отдернутой, зацепилась за носок лакированного сапога, повисшего над горшочком герани.

Тетя Паша смотрела на блестевшую на солнце лакированную кожу и ничего не могла понять.

Только сердце отчего-то замирало.

Ветер сильнее качнул занавеску.

На мгновение стали видны два лакированных носка, широко раздвинутые в стороны.

Где-то близко загремели колеса и прокричал гнусавый голос:

— Мороженое!

Этот крик вывел тетю Пашу из оцепенения.

«Висит»,— ясно представилось ей.

— Ай!— тихо вскрикнула и отступила от окна.

Заметалась, побежала, не понимая, что надо делать.

И опять, уже дальше, уныло прогнусавил голос:

— Мо-ро-женое!..

Ленинград
Январь — март 1927

СЕРЫЙ КОСТЮМ

Повесть

1

РОМАН РОМАНЫЧ

Роман Романыч Пластунов так говорил о себе:

— Я по наружному виду вроде как барышня или, можно сказать, цветок, а в результате обладаю энергией. Работа у меня в руках, понимаете ли нет, кипит на все сто процентов.

И работал он, правда, быстро, стремительно, с какой-то даже свирепостью, искусно замаскированной ловкостью умелых рук и вежливостью обхождения.

— Будьте ласковы, голову чуточку повыше!

— Чем прикажете освежить?

Пока подмастерье Алексей копается с одним клиентом, Роман Романыч успевает отпустить двух.

Если посетитель обращал внимание на быстроту работы Романа Романыча, то Роман Романыч считал долгом обязательно упомянуть, что учился в свое время у знаменитого мастера Андрея Ермолаича Терникова.

— А у Терникова, понимаете ли нет, постоянными клиентами числились графы и князья и вообще нaивысший свет,— говорил Роман Романыч.

А если клиент замечал, что при быстрой работе легко можно порезать, Роман Романыч снисходительно усмехался, блестя золотым зубом, встряхивал задорными кудрями, а затем быстро, не прерывая работы, рассказывал, как знаменитый Терников брил графа Семиреченского:

— Уселся Семиреченский, граф, лейб-гвардии уланского полка, в кресло, кладет револьвер на под-

зеркальник и делает предупреждение: «Ежели порежешь — застрелю»'. А у самого, понимаете ли нет, лицо все как есть в прыщах, живого места не сыскать. Ну-с, Андрей Ермолаич говорит: «Будьте ласковы, не извольте беспокоиться». Направил бритву. И — раз, раз — выбрил, понимаете ли нет,— в одну секунду. Граф ему: «Удивительно, говорит, храбро вы работаете. Даже оружия не побоялись. Ну а если бы порезали — тогда что?» А Андрей Ермолаич Терников вежливо заявляет: «Резать, говорит, мы не приучены, а если бы по причине трудности вашего лица и произошел какой независящий инцидент, то опять же оружия бояться нам нету никакого резона, ибо, пока вы за револьвер хватаетесь, я, говорит, извините за фамильярность, три раза успею вам горло перерезать». С тех пор Семиреченский, граф, понимаете ли нет,— перестал револьвером стращать.

— Очень был уверен в своей руке Андрей Ермолаич Терников,— заключал свои рассказ Роман Романыч.

Однажды какой-то посетитель, выслушав рассказ Романа Романыча, насмешливо улыбнулся и сказал:

— Это, милый друг, есть такая статейка в книжке. В романе, понял? Только там никакого графа Семиреченского нету. И Терникова — тоже. А описан там факт из жизни крепостного права. Про буржуя-помещика и евонного дворового цирюльника. А ты, друг, слышал звон, да не знаешь, где он.

Роман Романыч не смутился.

— Как же не Семиреченский? Помилуйте! Слава тебе господи, очень даже отлично его знали. Много этой аристократии у нас перебывало. И граф Семиреченский, лейб-гвардии поручик, как же-с. Высокий такой. Лицо строгое, в угрях. А в книжке, конечно, и граф, и Терников иначе представлены. Писатели вообще всегда псевдонимы придумывают и себе, и про кого пишут. Чтобы скандала не получилось.

И обстоятельно пояснил:

— Псевдоним — это вроде как фальшивый паспорт, имя придуманное, понимаете ли нет. Скажем, существует такой писатель — Пушкин. Какая же это фамилия? Пуш-кин. Пушка. Ясное дело — псевдоним. И в нашем деле частенько так же. На вывеске, например, «Жан», а в результате — Иван Иваныч. На Вознесенском проспекте два зала держал Иван Иваныч Ку-

голову, постольку надо подходить хладнокровно, а не пороть горячку.

— Горячку,— кипятился Роман Романыч.— Ты вот работаешь хладнокровно, а бывает — режешь. А я столько лет обладаю бритвою, а не запомню ни одного неприятного эксцесса. За всю эпоху своей практики, понимаете ли нет, ни разу не обращался за содействием к квасцам. Вот вам, понимаете ли нет, и горячка!

Но как-никак, а Роман Романыч опять-таки лукавил, объясняя торопливость в работе пылкостью своего темперамента и школою Терникова.

Ни характер его, ни Терников были совершенно ни при чем, а просто Роман Романыч не любил своего ремесла, стыдился и презирал его, а потому и работал так поспешно и ожесточенно.

«Раз и квас»,— думал он, а иногда и шептал, энергично брея или молниеносно намыливая щеки и подбородок клиента.

Особенно нервничал и втайне негодовал Роман Романыч, когда попадался взыскательный, капризный клиент.

Бывают такие.

Постригут его, побреют — лучше не надо: хоть на свадьбу ступай или в фотографию, а он вертит головою перед зеркалом и брюзжит:

— Некрасиво постригли. Вот тут еще надо подровнять, на висках.

— Невозможно, гражданин,— отвечал Роман Романыч, маскируя досаду полупоклонами и ласковостью голоса.— Везде, понимаете ли нет, взято, как полагается. И на висках никакого недоразумения. А если тут вот еще снять, тогда безобразный вид получится.

Встанет такой клиент и деньги уже заплатит и оденется, а потом снова вплотную к зеркалу, рот разинет и пальцем в уголках губ щупает — чисто ли выбрито, не осталось ли какого волоска.

Да еще вздохнет:

— Эх-хе-хе...

Дома, поди, картошкой бреется — безопасной бритвой, а тут обрили даже и не «Рыбкою», которой обычно хвалятся мастера, а самим Бисмером, а он вздыхает.

тепов, а на вывеске стояло: «Жан». Понимаете ли нет? И Терников, Андрей Ермолаич, никогда себя подробно не обозначал, а было на вывеске золотыми буквами: «Андрей»— только и всего.

После, когда Роману Романычу случалось рассказывать о Семиреченском и Терникове, он постоянно добавлял:

— Об этом факте было и в книжках напечатано. Один гражданин здесь подтверждали. Только в книжках другие фамилии проставлены. Во избежание недоразумений, понимаете ли нет.

Роман Романыч лукавил, называя знаменитого мастера Терникова своим учителем.

У Терникова он работал мальчиком: отворял двери посетителям, подметал пол, сменял воду во время бритья. А парикмахерскому ремеслу обучался у малоизвестных мастеров.

Но, во всяком случае, ни Терников и никакой другой мастер не могли обучать быстро работать.

Наоборот, пользуя клиента, ухаживая за его усами или за прической, каждый парикмахер действует плавно, ритмично, баюкающе: никаких резких, торопливых движений не допустит.

На что подмастерье Романа Романыча, Алексей, большую часть жизни проработавший в банях и на рынках, под открытым небом, и тот о своем ремесле рассуждал так:

— Наш цех — то же самое художество. Даже больше — скульптура. Клиент дает в наше распоряжение свою голову — стало быть, рвать и метать не приходится, а надо действовать хладнокровно и обдуманно.

На это Роман Романыч возражал с легкой поучительностью:

— Все зависит, товарищ дорогой, от прирожденного характера личности и пройденной школы. Я, понимаете ли нет, с малолетства обладаю внутренней энергией, а тут еще — плюс школа Терникова, основанная на принципе быстроты.

Но Алексей твердил свое:

— Парикмахер — не пожарный. Поскольку клиент вручает нам часть своего организма, короче говоря —

Всею душою ненавидел Роман Романыч подобных клиентов, а также и свою работу, но так тщательно это скрывал, что даже очень наблюдательный человек, войдя в его парикмахерскую, никак не подумал бы, что владелец ее не любит своей профессии, ни в грош ее не ставит и стыдится, как чего-то неприличного, позорного.

Наоборот, все в парикмахерской Пластунова носило следы заботливости, аккуратности и, казалось бы, любви.

Небольшой двухзеркальный зал всегда чисто подметен; стены оклеены обоями хорошего сорта: веселенькими, но не яркими, а мягких тонов; на стенах — литографские копии картин Маковского: «Гусляр» и «Гадание», а под ними, на темно-зеленом картоне,— надписи тиснеными серебряными буквами: «Если вы довольны — скажите другим, если недовольны — скажите мне». И подпись: «Владелец».

При стрижке подтыкают за воротник кусочки гигроскопической ваты, при бритье предлагают дезинфицированные кисточки.

Хозяин и подмастерье — опрятны: в чистых, без пятен балахонах; перед работою ополаскивают под умывальником руки.

А девушка, которой Роман Романыч и Алексей то и дело кричат: «Таиса, смените воду» или односложно: «Прибор»,— такая рослая и толстая, с наливными, вздрагивающими при ходьбе щеками и икрами, что посетители невольно окидывают ее взглядом с головы до ног, а Алексей обязательно шепнет, подмигивая знакомому клиенту:

— Кусок, а?

На что Роман Романыч неопределенно встряхивал пышными волосами и усмехался, блестя зубом:

— Деревенское происхождение.

И не понять, в похвалу это девушке или в насмешку.

— Вот и становись лицом к деревне,— опять подмигивал Алексей, веселя посетителей.

2
МОЛОТ И КИРКА

Иногда Роман Романыч покидал мастерскую часа за полтора до окончания работы.

Сперва говорил Алексею:

— Ты здесь, Алексей Степаныч, понимаете ли нет, орудуй, а мне надо справить кой-какие делишки.

Затем обращался к девушке:

— Смотрите, Таисия, закройте, как следует быть! Ужинать не ждите. Приду не скоро.

Девушка жила у него домашней работницей.

Дома Роман Романыч быстро переодевался, чистил и без того чистый выходной костюм, доставал из шкафа круглую картонку, вынимал из нее фуражку с голубыми кантами и значком, изображающим скрещенные молот и кирку.

Расчесав густые, непокорные волосы, надевал фуражку, неторопливо, благоговейно, как епископ — митру.

Выйдя на улицу, шел сперва поспешно, прятал глаза и остро чувствовал на себе взгляды людей, но чем дальше отходил от дома, тем тверже и ровнее становилась походка.

И смотрел на встречных уже спокойно, несколько надменно.

В центре города, на расстоянии по крайней мере двух кварталов от своего дома, заходил в парикмахерскую.

— Побрить?— угодливо спрашивал парикмахер.

— Очевидно, придется,— солидно отвечал Роман Романыч.

Когда на щеках появлялась белая, тихо шипящая пена, Роман Романыч начинал:

— Ужасно трудно здесь у вас в квартирном смысле. Две недели как приехал, и приходится, понимаете ли нет, ютиться в Европейской гостинице.

— С квартирами — беда!— соглашался парикмахер.— Въездные надо платить, а нет, так с ремонтом большим.

И вежливо осведомлялся:

— А вы, извиняюсь, издалека изволили прибыть?

Роман Романыч небрежно отвечал:

— Нет, с Урала. И в Донбассе был, проездом. По службе. Я, понимаете ли нет, горный инженер... Ну, так вот и приходится... разъезжать то туда, то сюда.

Устало вздыхал:

— Утомительная наша работа. Беспокойная.

— Ответственная,— кивал головою парикмахер.— Интеллигентный труд.

— М-да,— говорил Роман Романыч.— Без высшего образования в нашем деле никак невозможно. Во всем у нас, понимаете ли нет, математика. Что твои шахматы — одно и то же.

Выбритый, напудренный, довольный, Роман Романыч давал на чай и выходил из парикмахерской, но, отойдя несколько шагов, записывал адрес парикмахерской на тот случай, чтобы не зайти в нее еще раз.

Спустя полчаса Роман Романыч, сидя в ресторане, беседовал с официантом.

Начинал с квартирного вопроса, кончал Донецким бассейном или жалобой на утомительность своей ответственной работы.

В зале стоял нестройный шум, говор, звон посуды; тонко, истерично плакала скрипка, и ее в чем-то убеждала печальная виолончель, как успокаивает больного капризного ребенка ласковая мать.

Голова Романа Романыча слегка кружилась, а лицо становилось радостным и кротким.

Если кто-нибудь просил разрешения присесть за столик, Роман Романыч указывал на стул точно таким же изысканно-вежливым жестом, каким предлагал садиться клиенту у себя в парикмахерской.

Потом, вглядываясь в лицо соседа внимательно-ласковыми глазами, откашлявшись, нерешительно начинал:

— Извиняюсь, вы не были случайно на Урале или... в Донбассе? Очень, понимаете ли нет, личность ваша знакомая.

Независимо от того, был ли ответ утвердительным или отрицательным, Роман Романыч поспешно доставал из кармана маленькую, с золотым обрезом, карточку и протягивал ее соседу:

— Извиняюсь! Честь имею представиться. Это, понимаете ли нет, моя визитная карточка.

На карточке стояло: «Горный инженер Роман Романович Пластунов».

Карточки эти Роман Романыч заказал после того, как девушка, за которой он ухаживал, усомнилась в том, что он инженер.

Тогда, показывая девушке только что приобретенные карточки, Роман Романыч сказал с восторгом и гордостью:

— Видите — черным по белому: «Горный инженер Роман Романыч Пластунов». Никуда, понимаете ли нет, не денешься. Назвался груздем — полезай в кузов.

После девушка сошлась с рабфаковцем, и хотя Роман Романыч никогда не мог иметь ее своей женой, так как признаться в том, что он парикмахер, было свыше его сил, он все-таки считал себя жертвой измены.

Музыка, говор, шум накатываются волнами.

«Я пьян»,— думает Роман Романыч, чувствуя, как тяжелеют веки.

Лицо соседа расплывается, мутнеет. И не понять: мужчина это или женщина?

Роман Романыч громко говорит через стол:

— В нашем деле, в инженерном то есть, главный вопрос, понимаете ли нет, математика. Без нее, как без рук.

«А может, и не математика»,— опасливо шевелится мысль.

Снова наклоняется над столом и говорит уже тихо и вкрадчиво:

— Извиняюсь... А как ваше убеждение: что самое важное в инженерном...

Подыскивает слово:

— ...в инженерном... искусстве.

Но напротив, за столом,— никого.

Роман Романыч поднимается, идет, задевая за стулья, и поминутно прикладывает пальцы к козырьку.

— Извиняюсь!

Уступая дорогу женщинам, улыбаясь, шепчет:

— Будьте ласковы!

Холодный воздух и уличный шум освежают его.

Он снимает фуражку.

Освобожденные кудри весело рассыпаются вокруг лба.

Ветер ласкает их.

Летом, в дни отдыха, Роман Романыч обыкновенно гулял в скверах или увеселительных садах.

Рестораны же, как дорогое удовольствие, предназначались им для пользования в холодное и ненастное время года.

Не торчать же в сквере в октябре под проливным дождем или зимою в мороз, в метель — на скамеечке, в фуражке!

В летние жаркие дни тянуло за город, на травку, в прохладный лес.

Но вместо того шел в пыльный городской сквер, потому что перед кем же в лесу щеголять инженерской фуражкой и портфелем — перед малиновками какими, что ли, или перед кукушками?

Отправлялся в сад, где нестерпимо пекло солнце и пылили бегающие дети, но где зато было людно.

Выбрав место на скамейке, рядом с какой-нибудь хорошо одетой интеллигентной женщиной, Роман Романыч доставал из портфеля книгу на неизвестном ему языке.

Книгу он купил на улице у букиниста.

Была она пожелтевшая, затхло пахнущая и, видимо, для людей «с высшим образованием» и, «конечно, на английском языке», как решил Роман Романыч.

О том, что книга для образованного читателя — Роман Романыч судил по переплету: тяжелому, с золотым тиснением, а что она английская — ясно было видно по буквам. Буквы строгие, словно крученые, похожие одна на другую. У англичан во всем строгость и дисциплина. И в книгах — также.

Солнце жарило.

Роман Романыч поминутно отирал лоб и шею платком, но фуражки не снимал.

Как человек, занятый серьезным чтением, он хмурил брови, кусал губы, часто подчеркивал карандашом строчки, делал пометки на полях страниц книги и в то же время украдкою бросал быстрые взгляды на соседку.

Однажды, заметив, что соседка, хорошенькая женщина, несколько раз внимательно на него посмотрела, Роман Романыч улыбнулся и заговорил:

— Извиняюсь, мадам... Вот я, можно сказать, истинно русский человек, а не люблю, понимаете ли нет, русские книжки. Пустяковину всякую пишут. А как вы, мадам, смотрите на данный вопрос?

Незнакомка вспыхнула и растерянно улыбнулась, а Роман Романыч, поймав ее улыбку, окончательно осмелел и, галантно приподняв фуражку, протянул женщине визитную карточку, игриво говоря:

— Разрешите представиться на всякий пожарный случай.

В последнем слове сделал ударение на «а».

Женщина покраснела до слез, дернула плечами и, быстро поднявшись с места, пошла через сад к выходу.

А Роман Романыч думал, глядя вслед незнакомке: «Стеснительная дамочка. Ожидает мужа, не иначе. Вот и опасается флиртовать. Муж-то, поди, старикан, ревнивец».

Затем снова уставился в книгу.

Одно время Роман Романыч часами просиживал в саду с иностранной газетой в руках.

Иностранная газета придает более солидности, нежели книга.

Названия газеты, а также и того, на каком она языке, Роман Романыч не знал и, покупая газету, просто указывал на нее пальцем и говорил продавцу:

— Дай-ка, понимаете ли нет, вот эту самую!

Но от газеты пришлось отказаться после такого случая.

Как-то, когда Роман Романыч сидел в сквере с газетой в руках, сидевший рядом белоглазый, с трубкою в зубах, человек вдруг обратился к Роману Романычу с вопросом на нерусском языке. А когда смущенный Роман Романыч промолчал, незнакомец пососал всхлипывающую трубку и, выколачивая ее о край скамейки, сказал:

— Я думал, ви тоша финн...

Глубоко вздохнув, добавил:

— Как же ви читайт, когда не понимайт?

3

ВЫБОР РОЛИ

Инженерным делом Роман Романыч ничуть не интересовался, к инженерам ни симпатии, ни зависти не чувствовал.

Он более был бы удовлетворен, если бы его принимали за хирурга или, еще лучше, за юрисконсульта.

Само слово «юрисконсульт» звучит так красиво и величественно.

И Роман Романыч, прежде чем начать изображать инженера, выбрал именно роль юрисконсульта.

Но каковы из себя юрисконсульты?

Царских Роман Романыч представлял себе, как ему казалось, ясно: это представительные пожилые люди

с осанкою если не министров, то, во всяком случае, крупных чиновников.

А вот советские?

Чем они отличаются от прочих граждан? А главное, какую они носят форму?

Эти вопросы поставили Романа Романыча в тупик.

За необходимыми по этому поводу сведениями Роман Романыч обратился к своему постоянному клиенту двоюродному дяде Таисии портному Сыроежкину, хотя не особенно доверял этому пьянице, лгуну и хвастуну.

Сыроежкин действительно с первых же слов понес чепуху. Именно: что юрисконсульты носили мундиры с золотым шитьем на груди, белые штаны с золотыми же лампасами.

Роман Романыч нетерпеливо перебил болтуна:

— Ты скажи мне про нынешних, что ты меня, понимаете ли нет, николаевскими-то пичкаешь! Тех-то получше тебя знаем. У Терникова, Андрея Ермолаича, слава тебе господи, каких только зверей ни насмотрелись. Все исключительно из высшего света общества. А нынешние — вот главный вопрос. Какая у них форма, понимаете ли нет, и все прочее?

— Нынешние,— хитро прищурился Сыроежкин,— знаем и нынешних... Советский ирисконсул, известно... гм... определенно: френчик, это... Ну, и кубики, безусловно... Три кубика — вот и вся песня.

— Ты, дядя Николай, видно, на покойников халаты шил, а теперь, поди, мешки под картошку изготовляешь — кооперацию обслуживаешь,— вмешался в разговор Алексей,— липовый ты портной, по всему видать.

Сыроежкин загорячился, принялся хвастать, что он не только первоклассный портной, а вообще «мастер на все на восемь ремеслов», и уже совсем не по существу добавил, что он «непосредственный герой русско-японской кампании».

Малорослый и тщедушный, выпячивая петушиную грудь, грозно хмуря косматые брови, неуместные и смешные на крошечном, с кулачок, лице, Сыроежкин кричал пискливым голосом:

— Меня за геройство из Маньчжурии на руках принесли.

Что означала эта величественная, но неясная фраза, никто не интересовался узнать, так как обыкновенно спешили ответить герою:

— Лучше бы и не приносили.

А Алексей теперь, чтобы подтрунить над хвастуном, сказал, махнув рукою:

— Брось! Знаем. Я, мол, такой да сякой, японский герой, а сам у женки под пятой. Молчал бы уж, богатырь Бова — пришивная голова, не то баба твоя услышит — вихры надерет.

А тут еще Таисия подлила масла в огонь.

Она заерзала на стуле, затрещавшем под тяжестью ее могучего тела, и, хихикая в красный, мясистый кулак, спросила:

— Дядя Коля, а почто тетя Даша тебя сморчком зовет, коли ты сыроежка?

Сыроежкин, трясясь от гнева, закричал на нее:

— Дурища толстомясая! Лопнешь скоро. В аккурат такая же коровища, как и тетка твоя.

Затем, обратясь к Алексею, указал на него пальцем и произнес торжественно, как проклятие:

— Сибирский цирюльник!

И вышел, выразительно плюнув на пороге под смех Алексея и восторженное визжание толстой Таисии.

Таким образом, Роман Романыч не узнал от Сыроежкина того, что хотел.

Несколько времени спустя Роман Романыч, брея солидного, прилично одетого клиента, после краткого замечания о погоде нерешительно заговорил:

— Извиняюсь, гражданин. Разрешите задать вам вопросик. У меня, понимаете ли нет, с одним человеком разгорелся спор на почве, какую форму имеют юрисконсульты. До революции-то я знаю, какая была, а вот...

Но солидный гражданин перебил недовольным голосом:

— Юрисконсульты никакой формы не носили и сейчас не носят.

— То есть как же это так-с?— недоверчиво и обиженно возразил Роман Романыч, положил бритву на подзеркальник и уставился на клиента недоумевающим взглядом.

— Очень просто,— буркнул тот и нетерпеливо пошевелился на стуле.— Да вы брейте, товарищ!

«Ни черта ты не знаешь,— подумал Роман Романыч, берясь за бритву и с ненавистью глядя на угрюмого клиента.—«Формы не имеют». Сам не имеешь, так и люди не должны иметь. Спекулянт, поди, какой, растратчик. Сразу видно — гусь...»

И, намыливая клиенту усы, залепил мылом ноздрю и мазнул по губам кисточкой.

Черный юркий человек пришел в дождливый день.

Отряхивая у порога пальто и вымокшую, с поникшими полями шляпу, он бросил на стул мокрый портфель и сказал, весело улыбаясь:

— Какая погода, а? Это же, я вам скажу, кошмар, а не погода.

Роману Романычу было ясно, что перед ним — интеллигентный человек, чему доказательством являлись туго набитый портфель и бойкость клиента, а главное, что клиент, судя по виду, был еврей. По мнению же Романа Романыча, еврей не мог быть человеком необразованным.

А потому, учтя все эти обстоятельства, а кроме того и то, что в помещении не было подмастерья, Роман Романыч, накидывая на плечи клиента пеньюар, заговорил:

— Извиняюсь! Вы, гражданин, наверно, знаете... Скажите, пожалуйста, существуют сейчас, понимаете ли нет, юрисконсульты?

Клиент приподнял черную круглую бровь и пожал плечом:

— Ну а как же нет? Они всегда были и будут.

Посмотрел на Романа Романыча и быстро засыпал вопросами.

— А вам нужна помощь юрисконсульта? Что? А какое дело? Тяжба? Ну а с кем, а? Что?

— То есть,— замялся Роман Романыч,— у нас, понимаете ли нет, спор...

— Э, так это же и называется — тяжба,— опять быстро прервал клиент.— С вас ищут или вы ищете? С учреждением у вас спор или с частным лицом?

Роман Романыч смутился.

— Да ничего подобного. Понимаете ли нет, я говорю, спор на почве... Ну, одним словом, относительно формы. То есть какую, значит, форму имеют юрисконсульты. Значок, например, какой на фуражке, по-

нимаете ли нет,— закончил Роман Романыч, еще более смущаясь.

Клиент плотно сжал губы и опять поднял бровь и плечо:

— Форма? Шляпу — видите? Пальто — видите? Что? Ну, так вот это моя форма.

Роман Романыч почти с испугом взглянул на клиента, затем перевел глаза на мокрую, с уныло поникшими полями шляпу и на потертое демисезонное пальто и, окончательно теряясь, прошептал:

— Значит... так.

Клиент пристально посмотрел на растерянное лицо Романа Романыча и, вздохнув, сказал:

— Значит.

А на следующий день после разговора с клиентом Роман Романыч уже стоял в шапочном магазине перед большим зеркалом.

На голове его была фуражка с голубыми кантами и значком в виде скрещенных молота и кирки.

Сердце Романа Романыча сладко ныло.

4

ИУДА КУЗЬМИЧ МОТОРИН

Случалось, правда довольно редко, что Роман Романыч загуливал с приятелями.

И если при этом выпивал больше, чем ему надо, то принимался чересчур беззастенчиво говорить о своих природных качествах: о красоте и безукоризненном голосе.

— Ни для кого из вас, друзья, не секрет,— говорил Роман Романыч, обводя собеседников снисходительно-ласковым взглядом,— что я, так сказать, форменный красавец. Прямо, понимаете ли нет,— приторно красив. А из этого само собой вытекает, что я могу иметь колоссальный успех у особ женского рода, будьте ласковы.

Возражений Роман Романыч не встречал, так как обычно беседовал на подобные темы с людьми, пьющими за его счет, а к тому же в его словах имелась некоторая доля правды.

Именно: наружность Романа Романыча была не лишена привлекательности.

Роскошные волосы, нежно-розовое, почти юношеское для его тридцати трех лет лицо, стройная и крепкая, хотя и не крупная фигура, приобретенная в работе эластичность движений — все это могло нравиться женщинам с невзыскательным вкусом.

Говоря о другом своем качестве — безукоризненном голосе,— Роман Романыч неизменно жаловался на судьбу, клял свое ремесло.

— Окончи я, понимаете ли нет, гимназию или по крайней мере среднее заведение, я давным-давно гремел бы где-нибудь в итальянской опере, а тут, понимаете ли нет,— знай вози бритвою по адамке да прыщавые физиономии освежай одеколоном.

На это также не имелось возражений, ибо Роман Романыч слыл среди приятелей за отменного певца.

И действительно, голос имел хотя и не какой-нибудь особенный, но довольно-таки приятный: тоже — юношеский, нежно-серебряный, волнующий.

Для домашнего пения, во всяком случае, неплохой.

Петь Роман Романыч любил. И поэтому частенько приглашал к себе Алексея с гитарой и старого знакомого, тоже владельца парикмахерской, Иуду Кузьмича Моторина.

Роман Романыч и Иуда Моторин пели, а Алексей подыгрывал на гитаре.

Иуда Кузьмич Моторин был пожилой, высокого роста мужчина, с английским пробором и небольшими пушистыми бакенами. Одевался он по моде и со вкусом и вид имел в высшей степени солидный и величественный.

Но стоило Иуде Кузьмичу раскрыть рот — впечатление у всех моментально менялось.

Дело в том, что Иуда Кузьмич всегда говорил или что-нибудь совершенно бессмысленное, или в лучшем случае — до тошноты пошлое.

Серьезных разговоров не только с самим Иудою Кузьмичом, но и ни с кем в его присутствии вести было невозможно, так как Иуда Кузьмич, прицепляясь к самым обыкновенным словам, прерывал говорившего совершенно нелепыми фразами.

Достаточно было кому-нибудь произнести самое обыденное и общепринятое «в чем дело?», как Иуда

Моторин выпаливал: «Дело было не летом, а в деревне».

И, зажмурив глаза, оскалив крепко сжатые зубы, долго трясся от мучительного, похожего на плач смеха; потом, утирая слезы, облегченно вздыхал:

— Фу-у... Спаса нет.

На приветствие «здравствуйте» Иуда Кузьмич отвечал: «Барствуйте». На «до свидания»—«Не забудь мои страдания».

И гоготал долго и мучительно, точно плакал, и наконец заключал свой тяжелый смех обязательным «Спаса нет».

Иуда Моторин любил детей и обыкновенно рассказывал им сказки в таком роде:

«Жили-были старик со старухой у самого синего моря, стало быть, на Фонтанке, на Васильевском славном острове. У них не было детей, а третий сын был дурак и звали его, понятно, Матреной. Был он писаный красавец: ростом — великан, без вершка — аршин с шапкою; круглолицый, что петух; белый, как голенище; кудрявый, что солома; правым глазом не видел, а левого вовсе не было...»

И так далее, вся сказка — нелепость на нелепости.

Смеялся при этом Иуда Моторин больше, чем самые смешливые дети.

Впрочем, смеялся он по всякому поводу, а также и без повода.

Мог смеяться, глядя на газетчика, мороженщика, на горбатого урода и на красавицу, на мчавшийся трамвай и на недвижный монумент.

На всякое явление и событие Иуда Кузьмич первым долгом реагировал смехом.

Когда опускали в могилу его горячо любимую жену, могильщик, случайно оступясь, чуть не свалился в яму.

Убитый горем Иуда Кузьмич, за секунду до этого плакавший навзрыд, не утерпел и бросил по адресу неловкого могильщика:

— Вали валом — после разберем.

И, сморщась и сотрясаясь от смеха, прошептал свое неизменное: «Спаса нет». Даже когда увидел возмущенные и испуганные лица родственников жены, не смог сдержать непристойного смеха и был вынужден симулировать истерический припадок, дабы сгладить неловкость создавшегося положения.

5

«ЗВЕНИ, БУБЕНЧИК МОЙ...»

Вечера, на которых Роман Романыч и Иуда Кузьмич Моторин услаждались своим собственным пением, обыкновенно сопровождались выпивкою.

Выпивали не спеша, с церемониями: с приветливыми улыбками и полупоклонами протягивали друг другу рюмки, чокались.

— Будьте ласковы, Иуда Кузьмич, Алексей Степаныч,— говорил Роман Романыч с учтивой важностью.

— За всех пленных и за вас, не военных!— усмехался Алексей.

— За плавающих и путешествующих!— подхохатывал, подмигивая, Иуда Моторин.

Но сперва выпивали немного.

После третьей-четвертой рюмки, когда водка слегка ударяла в голову, Роман Романыч, потирая руки и ясно улыбаясь, обращался к гостям:

— Что ж, друзья, откроем наш очередной музыкально-вокальный вечер, а?

— Вечер с участием,— вставлял Иуда Кузьмич и, оскаливая зубы, приготовлялся к смеху.

Алексей настраивал гитару, брал несколько негромких аккордов, и Иуда Кузьмич, едва сдерживая смех, начинал подпевать что-нибудь нелепое:

> Водочки хвативши,
> Важнецки закусивши,
> Сизый селезень плывет.

Или:

> Хорошо тому живется,
> У кого одна нога...

И, не кончив песни, давился смехом.

Роман Романыч, снисходительно улыбаясь, выжидал, когда Иуда Кузьмич перестанет дурачиться, и лишь только тот успевал произнести: «Спаса нет»— он, слегка хлопнув в ладоши, говорил:

— Итак, граждане, приступаем. Начнем с легонького. Романсик, что ли?

Песен и романсов, как старых, так и новых, Роман Романыч знал уйму; немало их знал и Иуда Кузьмич.

Роман Романыч любил щегольнуть «оперным репертуаром», как он называл слышанные им в кинема-

тографах и увеселительных садах романсы и песенки, а Иуда Кузьмич отдавал предпочтение таким старинным вещам, как «Забыты нежные лобзания» или «Глядя на луч пурпурного заката», а также исполнял с удовольствием старые русские народные песни.

Гвоздем вечера Роман Романыч считал свои сольные исполнения и приберегал их к концу, а потому сперва охотно пел дуэтом с Иудою Кузьмичом все, что тому нравилось.

Пели много.

В антрактах, не торопясь, промачивали горло водкою или пивом, причем Иуда Кузьмич, многозначительно подмигивая, напевал вполголоса:

> Помолимся, помолимся, помолимся творцу,
> Приложимся мы к рюмочке, потом и к огурцу.

Затем, закусывая, Иуда Кузьмич рассказывал удивительно бессмысленные анекдоты и сам искренно хохотал, да, глядя на него, смеялась Таисия, а Роман Романыч улыбался только так, из любезности, Алексей же угрюмо косился на рассказчика.

Иуда Кузьмич пил неумеренно и оттого быстро пьянел, становился ленивым от выпитого вина.

Петь ему уже не хотелось, и тогда он обращался к Роману Романычу:

— Ну-ка, сам Романов Николай, загни оперу, а? Из Собинова, знаешь: «Она в костюме Аргентины и с веером в руках», или что-нибудь вроде Володи, на манер немецкой лошади.

— «Турка»,— говорил Алексей, тихонько перебирая струны гитары.

— Правильно. «Турку». Просим!— выкрикивал, хлопая в ладоши, Иуда Моторин.

— Спойте «Турку», Роман Романыч,— просила и Таисия, страшно краснея.

Роман Романыч выходил на середину комнаты и, улыбаясь так, как улыбаются взрослые, исполняя прихоть детей, говорил:

— «Турок» так «Турок». Только вещица-то, понимаете ли нет, легкомысленная, пустячок.

Но боясь, что гости перестанут упрашивать, шутливо обращался к Алексею:

— Маэстро, прошу!

Прищурясь и склонив голову набок, Роман Романыч внимательно прислушивался к звону струн, слегка по-

качивая головою в такт музыке, затем, тряхнув золотистыми кудрями и лукаво улыбаясь, начинал:

Зашла я в склад игрушек
И разных безделушек
    Вечернею порою как-то раз.
Из тысячи фигурок
Понравился мне турок.
    Глаза его горели, как алмаз.

Чистое женственное лицо Романа Романыча казалось совсем юным, нежно и молодо звучал голос:

Я не могла налюбоваться
На бравый вид.
И вдруг мне турок с улыбкой говорит:
«Разрешите, мадам,
Заменю я мужа вам,
Если муж ваш уехал по делам.
Без мужа жить ведь скучно вам,
А с мужем жить — один обман.
Со мной беспечней, веселей...»

Роман Романыч, широко раскинув руки, делал порывистый шаг вперед, словно бросаясь в чьи-то объятия.

И трепетал в стеклах окон его серебряный голос:

«Эй, турок! Целуй меня скорей-ей».

Этот припев повторялся после каждого куплета, и когда Роман Романыч заканчивал песню, слушатели не выдерживали и подхватывали припев: Иуда Кузьмич несколько сиплым, но приятным баритоном, Алексей неопределенным голосом и фальшивя, а Таисия, приложив ладонь к щеке и покачивая головою, перевирая слова и мотив, визгливо и скорбно тянула во всю силу своей мощной груди:

«Э-эх, да ты, мой ту-у-урак, ца-алуй да миня да
па-ска-аре-ей»...

Роман Романыч исполнял еще несколько вещей, а под конец, опьяненный вином и успехом, с торжественностью, плохо замаскированной шутливостью тона, объявлял:

— Граждане, внимание! Следующим номером нашей программы знаменитый артист первый тенор Пластунов исполнит, понимаете ли нет, коронную роль: «Звени, бубенчик мой, звени...» Из оперы... гм...

Уверенно добавлял:

— «Гугеноты».

— Правильно,— пьяно вопил Иуда Моторин.— Просим!

— Просим!— кричала и Таисия, уже не конфузясь, так как Иуда Кузьмич успевал ее, под шумок, слегка подпоить.— Просим, Роман Романыч!

И шептала Иуде Кузьмичу:

— Ах, «Звени, бубенчик»— моя любимая...

Но тот перебивал ее, тихо давясь смехом:

— Любимая... мозоль.

Песню «Звени, бубенчик мой, звени» Роман Романыч неоднократно слышал в исполнении известного эстрадного артиста и перенял у него манеру петь, мимику и позы.

Песня была о шуте и короле: шут-певец любит королеву; однажды королева, слушая песню тайно влюбленного в нее шута, дарит его мимолетной любовью; паж, также влюбленный в королеву, в припадке ревности доносит королю об измене его жены; шут погибает на эшафоте.

Роман Романыч пел эту песню всегда с большим чувством: любовные томления и тоска влюбленного шута, злая его судьба — все это трогало и волновало Роман Романыча.

Неподдельной тоской звучал его голос:

Вот снова ночь. И шут — один.
По королеве он тоскует...

И, как рыдания, припев:

Звени, бубенчик мой, звени-и...

Потом — в позе и голосе Романа Романыча мрачная торжественность, когда король, прямо с места казни шута, идет, в сопровождении палача, в покои королевы:

«Я тоже песни полюбил,
Я также внял его напеву...»

Роман Романыч делает эффектный жест рукою, также перенятый у эстрадной знаменитости, словно бросает на пол что-то страшное и омерзительное:

«...смотри: тут — голова
Шута, что любит королеву».

Нежно стихают рыдания — серебряный голос певца:

Звени, бубенчик мой, звени-и-и...

Роман Романыч бессильно роняет голову на грудь и стоит так несколько мгновений.

— Браво! Би-ис!— бешено аплодировал Иуда Кузьмич.

Таисия улыбалась и всхлипывала. Сдержанно хлопал в ладоши Алексей.

Роман Романыч вскидывал голову, словно очнувшись от сна.

Лицо его слегка бледно, красивые глаза в слезах, а на губах — счастливая улыбка.

— Ты, Романыч, настоящий Шаляпин, честное слово! Куда! Тот — хуже,— говорил растроганный Иуда Кузьмич.— Ей-богу, хуже!

Роман Романыч как бы с сожалением покачивал головою:

— Петь трудно. Опера требует соответствующих условий. А тут, понимаете ли нет, «Гугеноты»— и вдруг под гитару, ха-ха! Нужно рояль, а главное — партитуру. Без партитуры, понимаете ли нет, как без рук.

— Нету партитуры — пей политуру,— силился засмеяться Иуда Кузьмич, но вместо смеха у него получилась икота.

А Роман Романыч, пьяный, а потому беззастенчивый, брал гитару и, любуясь на себя в зеркало, говорил с довольным видом:

— Мне бы где-нибудь в Италии походить с гитарой под полою, понимаете ли нет, накинув плащ. Ей-богу, весь бы тамошний женский персонал посходил бы с ума. Что, не верно?

И неумело щипал струны.

— Трактир «Италия» сейчас не существует — осталась «Бавария»,— говорил Иуда Кузьмич, но так как смеха у него опять не получилось, то он поднимался из-за стола:

— Надо ползти... Я пьян, как...

Громко икал:

— Как... гугенот.

Жмурясь и оскаливаясь, добавлял:

— Который лает у ворот...

6

СНЕГУРОЧКА И ЛЕЛЬ

Вполне искренне считая себя замечательным красавцем и превосходным певцом и твердо веря, что эти два природных дара являются абсолютной гарантией успеха у женщин, Роман Романыч тем не менее не только не мог похвастаться хотя бы одной победой над женским сердцем, но даже легким флиртом с интересной женщиной.

А в то же время какой-то Иуда Кузьмич Моторин слыл за настоящего донжуана.

Сам он неоднократно, полушутя, бахвалился перед приятелями:

— У меня от баб отбоя нет. Кручу и наворачиваю с ними, можно сказать, с младенческого возраста. Я и на белый-то свет заявился не как-нибудь, а с сестренкою на пару. Вместе с бабой и в могилу лягу — это уж как пить дать.

Похвалялся Иуда Кузьмич Моторин не без основания: одну жену он схоронил, с двумя развелся; одна молоденькая девушка, дочь частного торговца-бакалейщика, из-за несчастной любви к Иуде Кузьмичу, который, кстати сказать, был старше девушки по крайней мере вдвое, хватила уксусной эссенции, хотя, впрочем, выжила и благополучно бракосочеталась с милиционером.

На улицах, в кинематографах, в увеселительных садах, где только не видели люди Иуду Кузьмича Моторина то с одной, то с другой женщиной!

А дома у него масса любовных писем и свыше десятка женских портретов с соответствующими надписями на обороте: «Славненькому Иудушке — с нежным сердцем — Катя Свечкина», «Дарю тому — кого люблю», «Не забудь и помни обо мне», и т. д.

Читать письма своих возлюбленных и рассматривать их фотографические снимки Иуда Кузьмич давал с большой готовностью всякому любителю чужих сердечных тайн.

Многим знавшим Иуду Кузьмича было совершенно непонятно, почему он пользовался симпатией и даже любовью женщин.

Больше всех недоумевал по этому поводу Роман Романыч, считавший своего приятеля не могущим возбуждать в женщинах нежных к себе чувств, так как, по

мнению Романа Романыча, Иуда Кузьмич имел одни только отрицательные качества, именно: красотою Иуда Кузьмич, несмотря на видную фигуру, не отличался, годами был не молод — уже перевалило за сорок; красноречием не блистал — кроме глупостей да «спаса нет», ничего от него не услышишь.

Даже имя у него — и то несуразное. Таким именем ведь только ругаются:

— Эх ты, мол, Иуда проклятый!

А тут — законное имя: Иуда, да еще Кузьмич, и что всего нелепее — Моторин.

Всем и каждому известно, что во времена Иуды люди ходили голыми и босыми, ездили исключительно на ослах или, как пишут в евангелии, «на осляти».

А тут здравствуйте, пожалуйста — Иуда и вдруг — Моторин. Мотор.

Это уж прямо глупо и смешно.

Рассуждая так, Роман Романыч, может быть, и был во всем прав, но, с другой стороны, сам же он не мог отрицать и следующего факта: Иуда Кузьмич Моторин все-таки, несмотря на отсутствие привлекательности, был кумиром женщин, несуразный Иуда, не взирая ни на что, царил над женским полом и преспокойно поплевывал в потолок, а вот он, Роман Романыч, признанный красавец и отличный певец, да еще в инженерной фуражке, а женщины к нему без всякого внимания.

Иуде и письма, и фотографии с любовными надписями, и девицы из-за него эссенцию пьют, а Роман Романыч в кои веки чуть не силком сведет в кино какую-нибудь знакомую девушку, самую простенькую и неинтересную, и то для него это достижение.

А от такой немудрящей девицы большей частью, как говорится, ни шерсти, ни мяса — ни слова путного и ничего приятного.

Только уписывает пирожные да шоколад и лимонадом надувается за счет, конечно, кавалера, а что касается пикантности — поцелуи или что-нибудь в этом роде,— так извини подвинься!

Была одна, Нюра, продавщица из кондитерской, которая позволяла себя чмокать. И девочка хорошенькая: беленькая, пышечка, но зато такая невозможная соня, что неловко с нею было ходить в кино.

На всех видовых и производственных картинах она засыпала безмятежным сном.

Храпит, качается на стуле. Люди, глядя на нее, шушукаются, смеются.

А тут сиди, точно дурак, и карауль, как бы не свалилась со стула.

Нечего сказать, веселое времяпрепровождение!

Сердцеедство Иуды Кузьмича только удивляло Романа Романыча, но зависти к удачливому приятелю он ни капли не чувствовал. Не волновало его и то, что самому ему никак не удавалось завести интрижку. Считая себя неотразимым мужчиною, он непоколебимо верил, что со временем найдет достойную спутницу на жизненном пути — женщину необыкновенной красоты.

А потому был чрезвычайно разборчивым в женщинах. Искал красавицу.

Светлый образ прекрасной дамы носил в своем сердце с отроческих лет, с тех лет, когда он был еще просто Ромашкою — мальчиком при шикарном зале знаменитого мастера Андрея Ермолаича Терникова.

Тогда он впервые попал под обаяние женской красоты.

Четырнадцатилетний Ромашка влюбился.

Произошло так. На масленой неделе мальчик отправился на балаганное гулянье.

Прокатившись раз-другой с ледяных гор, послушав прибаутки веселого «деда», Ромашка увидел толпу, тискавшуюся в двери деревянного, похожего на большой сарай, театра, и устремился туда же, благо в кармане еще звенела серебряная мелочь чаевых и хозяйских «праздничных».

В нетопленном театре было холодно, как на улице; люди стучали коченеющими ногами, заглушая слова актеров.

Только Ромашка не чувствовал холода.

Он весь горел, пот струился по его лицу. Разинув рот от изумления и восторга, не дыша и не мигая, смотрел Ромашка на сцену, где двигалась и говорила или томно распевала песенки девушка невиданной красоты.

Белое платье девушки сверкало как снег, а на русокудрой головке ее, словно льдинки в лучах солнца, горели серебряные звезды; щеки и губы были алы как кровь, а под тонкими, бархатными дугами бровей нежными цветочками голубели глаза.

Таких красавиц Ромашка не видал ни во сне, ни даже на раскрашенных картинках сказок.

Правда, щеки этой красавицы были так же старательно раскрашены, как и щеки красавиц на картинках, а когда она говорила или пела, то из ее рта, как папиросный дым, клубился пар; правда, девушка поминутно ежилась от холода, и голос ее, простуженный и дрожащий, был совсем уж не сказочный,— но всего этого не замечал очарованный мальчик из парикмахерской, впервые попавший в театр.

Публика кашляла, топала озябшими ногами, звонко щелкала орехи; пьяные вставляли свои замечания, вызывая то одобрительные смешки, то сердитые окрики; маленькие дети ревели на руках матерей,— но все это не отвлекало внимания Ромашки, он не отводил восторженных глаз от красавицы и мысленно называл ее «прекрасной царевной».

Человек в богатой одежде — царевич или князь — прямо сходил с ума по красавице, но когда старый бородатый царь призвал к себе красавицу и спросил ее: «Кого ты любишь»?— она ответила: «Никого».

И это было приятно Ромашке, которому почему-то не хотелось, чтобы царевна полюбила князя или вообще кого-нибудь.

Но потом все-таки царевна согласилась стать женою князя и вот, когда уже нужно было идти венчаться, произошло что-то непонятное.

Послышались звуки пастушеской свирели. Празднично разодетая толпа весело запела:

Здравствуй, солнышко,
Здравствуй, красное!

Яркие лучи света озарили прекрасную царевну. Она засверкала, заискрилась своей снежной одеждою, и звезды вокруг ее русой головки превратились в радугу, и красавица заметалась, испуганно крича.

И вот одна за другой, быстро-быстро, стали спускаться на царевну тонкие нити, словно струи воды.

Померкли сияющие радугой звезды в волосах красавицы, сверкающая одежда ее потускнела, потемнела, как тающий снег.

А нити все спускались, и казалось, что это льются весенние бурные потоки.

Уже не разглядеть прекрасного лица царевны, и вот уже чуть-чуть видны очертания ее фигуры.

Толпа оцепенела от удивления и страха.

А жених красавицы схватился за голову и, взбежав на высокий берег реки, с отчаянным криком кинулся в воду.

Занавес опустился.

— Баста... растаяла,— промычал позади Ромашки чей-то пьяный голос.

Публика шумно поднималась с мест, задвигалась к выходу.

Тискаясь в толпе, Ромашка прислушался к разговорам.

— Мама, а она растаяла, да?— спрашивала женщину маленькая девочка.

— Растаяла,— отвечала женщина.

— Она Снегурочка потому что, вот и растаяла, да, мама?

Ромашка не пошел ни на карусели, ни на перекидные качели, не остановился и у «деда», кричавшего охрипшим голосом в гогочущую толпу:

— Эй, рыжай! Ты опе-еть к карману бли-ижа?

Ласковый пушистый снег кружился, тихо шелестя, приятно холодил горячие щеки Ромашки, быстро шагавшего по улицам.

Сзади неслись, все отставая, отрывистые, замирающие звуки карусельных шарманок.

Вот совсем затихли. Только шуршал кружащийся снег.

Издалека послышался тихий-тихий, дремотный звон бубенчиков, и казалось, что это звенят густо сыплющиеся снежинки.

Ночь для Ромашки прошла в сладостных мечтах и небывалых сновидениях.

Он представлял себя женихом царевны Снегурочки, но не князем, а тем юношей, почти мальчиком, пастушком, игравшим на свирели. Пастушок был розовощекий, золотоволосый, в белой вышитой рубашке — таким же розовым и кудрявым был и Ромашка. И рубаха у него была коломянковая, вышитая.

Ромашка говорит Снегурочке: «Я люблю тебя, Снегурочка, прекрасная моя царевна». А она отвечает: «И я тебя люблю». И они целуются так крепко, что дух захватывает. Того и гляди, выскочит из груди сердце. «Я без тебя не могу жить»,— говорит Ромашка. «И я без тебя»,— отвечает Снегурочка. И они снова целуются, целуются без конца.

Мечты сменялись реальными планами: завтра он опять пойдет в театр, а после окончания представления дождется, когда она выйдет из театра, и тогда признается ей в любви.

Смелости у него, конечно, хватит. Тем более что без нее он все равно не может жить. Завтра прощеное воскресенье. Завтра последний день открыты балаганы. Значит, если пропустить завтрашний день, то все пропало.

Можно, конечно, и не просто, с бухты-барахты, объясниться. Он сначала подойдет к ней и скажет: «Как вы отлично представляли Снегурочку». А потом дальше — больше. Мало ли о чем можно говорить? Впрочем, можно и прямо сказать: «Я вас люблю, жить без вас не могу»». И стать перед нею на колени.

Как в горячке, метался на одинокой своей постели Ромашка, сбрасывая с жаркого тела одеяло, переворачивал подушку прохладной стороной и, припадая к ней пылающим лицом, думал: «Снегурочка, холодненькая, милая»».

Так и заснул, обнимая подушку.

Во сне видел красавиц. В разноцветных одеждах, с распущенными волосами, они ходили, обнявшись, и шептались между собою. И солнце ярко светило, и пели птицы. Он шел навстречу красавицам и спрашивал, еще не доходя до них: «Где же Снегурочка»? А они убегали, смеясь. Он бежал за ними. Забегал в какие-то избушки, в сараи. В избушках плакали грязные, босоногие ребятишки, в сараях мычали коровы. Ромашка выбегал на улицу и там снова видел красавиц. При его приближении они кричали: «Вот он! Вот он!» И разбегались в разные стороны.

Но наконец он нашел Снегурочку.

Она сидела на скамейке, у избы.

На голове сверкали звезды, а одежда ее была из чистого снега.

— Снегурочка,— тихо сказал Ромашка.

Она опустила глаза. Лицо ее — без румянца, белое-белое, как снег. И вся она — как неживая.

— Снегурочка,— еще тише, с тоскливым страхом позвал ее Ромашка.

И проснулся...

Отправляясь на «балаганы», Ромашка надел коломянковую с вышитым воротом и подолом рубашку.

Глядя на себя в зеркало, Ромашка нашел, что он гораздо красивее пастушка.

И его ночное решение признаться в любви артистке, игравшей Снегурочку, окончательно окрепло.

День был ветреный, но Ромашка не застегнул пальто.

Шел, засунув руки в карманы брюк, и глядел на расшитую грудь и подол рубахи.

В театре по-вчерашнему топала ногами публика, мальчишки нетерпеливо хлопали в ладоши и кричали:

— Время!

Наконец занавес поднялся.

По сцене расхаживал человек, какого не было вчера.

У него — смешная черная угловатая шляпа, зеленый мундир и сапоги, похожие на охотничьи. Белые волосы человека завиты и заплетены в косу.

Ромашка тихо и тревожно спросил соседа:

— Дяденька, разве это „Снегурочка“?

Сосед, рыжеусый, красноносый, отрицательно помотал головою и, не удостоив Ромашку взглядом, произнес важно и строго:

— „Царская трость, или Деревянный ходатай“.

От этой фразы, особенно же от непонятного слова «ходатай», произнесенного с внушительным ударением на последнем слоге, мальчику стало грустно и обидно.

7

ВЕЛИКОЕ И СМЕШНОЕ

Один европейский монарх, как повествует история, увидя Наполеона Бонапарта и удивившись, что стяжавший всемирную славу завоеватель ростом двух аршин с небольшим, воскликнул с разочарованием, а возможно, и с насмешкой:

— Такой великий человек и такой маленький!

А если уж, по мнению европейского монарха, великий человек должен отличаться и высоким ростом, то нет ничего удивительного, что жители заставской Бутугиной улицы решительно не признавали героем

русско-японской кампании маленького тщедушного портного Сыроежкина.

И как бы он горячо ни рассказывал о том, как «брал Путиловскую сопку» и «загонял япошек в реку Шахэ», которую он, кстати сказать, иногда переименовывал в озеро Ялу, и как бы Сыроежкин при этом ни двигал косматыми бровями,— одни из слушателей недоверчиво и презрительно усмехались, другие же, оскорбленно хохоча прямо в глаза Сыроежкину, подтрунивали:

— А как ты, герой, с бабой со своей воюешь, а?

— Повоюй с Елисейкой! Сейчас его позовем.

Насмешки попадали в цель: жена Сыроежкина, значительно превосходящая мужа в росте, весе и силе, держала его в страхе и трепете и била по всякому поводу, а также и без повода; Елисейка же, шестнадцатилетний татарчонок из конской мясной Сулейманова, здоровый жирный мальчишка, большой любитель бороться, особенно с теми, кто послабее, неоднократно схватывался с пьяным Сыроежкиным и неизменно подминал худосочного героя под свой плотно упитанный кониной живот.

Напоминания о жене и Елисейке вызывали со стороны Сыроежкина целый поток изощренных ругательств.

Ругаться Сыроежкин вообще любил и ругался со смаком и даже с какой-то торжественностью.

— Ловко,— восторгался кто-нибудь из любителей сквернословия.— А ну-ка еще, дядя Николай, по-геройски, а! Как ты этак можешь, специально?

Сыроежкин презрительно сплевывал в сторону и, глядя на спрашивающего, глубоко вздыхал:

— Эх, товарищ дорогой! Тебе эта музыка в новинку, а я уже ее забывать стал. Ты бы послушал, как я раньше крыл... Я, милуша, на весь наш восемьдесят девятый Беломорский полк единственный был спец, ей-богу. Бывало, ротный, поручик Агапеев, красавец-мужчина, призовет меня в канцелярию: «Демонстрируй»,— говорит. То есть, значит, крой. Я и загну от всего сердца. А он вынет золотые часы: «А ну-ка, говорит, по часам. На три минуты». Я дую, дую... «Стой, говорит. Правильно — три. Молодец Сыроежкин».— «Рад стараться».—«А теперь, говорит, заведи на пять минут. Промочи сперва глотку». Водчонки нальет. Тяпну. И понесу. А он командует: «Вали в рифму». Это

значит — стихами. Я и стихами режу, для меня все равно... А один раз пьяный был ротный здорово — я изобразил что-то этакое особенное, единственное в своем роде, он ну меня целовать, а сам плачет. «Прямо, говорит, ты меня воскресил, жизни мне надбавил, ты, говорит, Сыроежкин, феномен». То есть, значит, спец. И рубль дал, честное слово.

— Тебе, поди, и Георгия-то за матюги дали,— смеялся какой-нибудь балагур, а Сыроежкин на это отвечал витиеватым матом.

Если кто постепеннее укоризненно замечал:

— Не стыдно тебе, Николай? Пожилой ведь ты человек. Тут дети вертятся, а ты — мать да мать!

Сыроежкин, насмешливо присвистнув, вскидывал задорно головою.

— Фью-ю! Сказал: дети. А дети-то, по-твоему, не от матери родятся, что ли? Вот чудак.

— Не от такой матери родятся,— возражал степенный человек.

— В аккурат от этой, брат, от самой,— сплевывал Сыроежкин и лихо сдвигал кепку набекрень.

— Правильно,— ржали «любители».— Молодец, Сыроежкин! Крой!

А Сыроежкин продолжал, обращаясь к степенному собеседнику:

— Ты, чудак-человек, «матушки» не бойся. С ней мы всю жизнь существуем. Горе ли, веселье — все «мать». С матерщинкою и помирать веселее. Я как смерть зачую, так обязательно буду крыть до самого последнего воздыхания. Ей-ей! Приходите слушать — вход свободный. А матерщинка, браток, с сотворения мира в полном ходу, все равно как и солнце. И все святые крыли почем зря. Не читал? То-то и оно. А как мой тезка, Никола-угодник, одному какому-то в церкви по моське съездил! Так что же, по-твоему, молча? Как бы не так! Спервоначалу обложил по существу, а уж опосля — в рыло. Ясное дело.

Был у Сыроежкина когда-нибудь Георгиевский крест или его вовсе не было — все равно, крест этот, действительный или воображаемый, оказался для него очень тяжелым.

Где бы ни появлялся Сыроежкин, все, и взрослые, и дети, называли его «героем», но это величественное

слово, сказанное по отношению к Сыроежкину, принимало такой же обидный смысл, как по отношению к карлику слово «великан».

— Герою — почтение!

— Как, герой, живешь?— приветствовали Сыроежкина знакомые.

— Герой идет. Герой!

— Герой, поборись с Елисейкой! — кричали ребятишки, гурьбою двигаясь за пьяным Сыроежкиным.

— Пошли, черти! Хулиганье!— оборачивался Сыроежкин.

Мальчишки, смеясь, отбегали, а кто-нибудь из них, побольше и посмелее, отступал всего на шаг и вызывающе кричал:

— Чего надо? Скажу вот Елисейке, он тебя сомнет в два счета.

Если поблизости оказывался Елисейка, мальчишки звали его, и он появлялся перед Сыроежкиным и, раскинув грязные, в конской крови руки, говорил горячо и торопливо:

— Ну, герой, боремся! Ну?

Сыроежкин отступал, испуганно бормоча:

— Не трожь, голубчик, не надо!

А Елисейка, таращa черные раскосые глаза и раздувая широкие ноздри, свирепо торопил:

— Боремся, живо. Ну? Цычас давлю. Пузом давлю.

И напирал на Сыроежкина широкой грудью и тугим животом, топоча от нетерпения дюжими ногами.

Если Сыроежкин бывал не слишком пьян, то старался избежать схватки с крепкотелым татарчонком, откупаясь папиросами или деньгами; в сильном же опьянении, когда притуплены чувства стыда и боязни, вступал с толстяком Елисейкой в борьбу и неизбежно следуемое за ней свое поражение объяснял тем, что «пьяного любой каждый сомнет очень свободно», на что победитель важно и строго возражал:

— Пианый нэ пианый, все равно мну. У мине жиру много, сила много, у тебе — кожа и кость. Ты — слабый-сильный. Нэ вэрно, ну?

Сыроежкин, несколько отрезвевший от борьбы и опасавшийся, что Елисейка, подуськиваемый мальчишками, станет снова проявлять на нем свою силу, говорил покорно и заискивающе:

— Сила у тебя большая, ничего, брат, не скажу. Вона ты какой здоровяк!

И получал в ответ оскорбительное:

— А ты — клоп.

Если бы Сыроежкин не величал себя героем и не претендовал так упорно на это звание, то вряд ли какой-то Елисейка решился бы попробовать на нем свою силу, а также и жена Сыроежкина, Дарья Егоровна, не так широко пользовалась бы своим физическим превосходством над мужем.

Дарья Егоровна верила или, во всяком случае хотела верить, что муж ее действительно отличился на войне и был награжден крестом, и ей доставляло особенное удовольствие властвовать над героем, над Георгиевским кавалером.

— Будь хоть герой-разгерой, а меня слушайся,— неоднократно говорила Дарья Егоровна, сидя у ворот с соседками и лузгая семечки.— Чтобы я сморчку покорялася — упаси меня, господи! Он у меня пикнуть не смеет.

— Боится?— спрашивали соседки.

— Ужасно как боится,— самодовольно отвечала толстуха, стряхивая с высокой груди шелуху подсолнухов.— Прикрикну — так весь и затрепещется, а ножищей топну — прямо, милые, обмирает, ей-богу! И смешно, и жалко на него, на козявку, глядючи.

— Больно ты с ним строгая, Егоровна.

— А иначе, милые, и нельзя. Строгостью только и беру. Такого человека надо завсегда держать под пятой. А дай ему волю, так он и себя, и меня пропьет. Да и очень уже большое понятие о себе имеет. Даже противно. «Я, мол, мастер на все на восемь ремеслов, я, мол, герой». А я иной раз и посмеюся: «Сморчок ты, говорю, а не герой. Карлик». Озлится, милые, даже с лица сменится, а я потешаюся: «Не злись, не то до основания иссохнешь, а я и так, мол, толстущая, а еще более растолстею от твоей от злости». Так, милые, и закипит весь, а ничего не смеет. Только одно твердит: «Ладно, толстей. Обрастай мясами».

— Чистое у вас кино,— смеялись соседки.— И бедовая же ты, Егоровна. Нынче и нам-то, женщинам, полные права дадены, а ты мужика правов решила.

— Правов от него никто не отымал. Пользовайся, чем полагается. А только из-под начала моего не выходи. А не нравится, ступай на все четыре стороны. Только ему не уйти. И машинка, и вся принадлежность, и мебель — все мое. Евонной и иголки-то и той нету.

Так, лишенный физической силы и имущественных прав, смирялся перед суровой женой Сыроежкин и боялся открыто роптать.

Только один раз, доведенный насмешками приятелей до белого каления, Сыроежкин решил объясниться с женой серьезно, несмотря ни на какие последствия, но пока шел от пивной до дома, решимость его угасла, уступив место обычной робости перед женой.

И объяснения были похожи на мольбу.

— Дарья Егоровна, видишь ли... Ты только не сердись, ради бога... А все-таки, того... обидно, знаешь! Люди в глаза тычут: «Женка, говорят, забрала тебя под пятку и не дает тебе никакого дыхания».

Сыроежкин сам испугался своей смелости и с замирающим сердцем приготовился ко всему, но Дарья Егоровна не закричала и не затопала ногами, а, поставив на стол чашку, из которой только что пила с наслаждением чай, отерла рукавом лицо, напоминающее арбуз в разрезе, и широко улыбнулась:

— Чего же ты, клоп, расстраиваешься? Под моей пяткой — благодать. Места много, тепло и не дует.

И, довольная своим остроумием, толстуха принялась так хохотать, что на кофте ее от волнения могучей груди оторвались пуговицы.

Сыроежкин заплакал от обиды, но Дарья Егоровна не смутилась, так как была уверена, что «это вино плачет», и строго приказала мужу ложиться спать, что тот и исполнил немедленно.

Свою горькую долю непризнанного героя и раба жены Сыроежкин старался утопить в вине.

Выбрав в пивной незнакомого, одиноко сидящего человека, Сыроежкин присаживался к нему и, обменявшись несколькими незначительными фразами, переводил разговор на любимую тему.

— Нынче, товарищ, люди разве что понимают? Тьфу!— презрительно сплевывал Сыроежкин.— Я вот, можно сказать, старый рубака, непосредственный герой японской кампании. Награжден Георгием четвертой степени. Вот... За смелую и бесстрашную разведку... А теперь разве понимают?.. Я, товарищ, и под Шахэ был и Путиловскую сопку брал. То-то и оно... Я восемьдесят девятого пехотного Беломорского полка. А наш Беломорский полк покрыл себя несмертной славой. Вот, товарищ. А они что видели? Тьфу!

Сыроежкин постепенно входил в роль, грозно двигая нависающими бровями, восторженно взвизгивал:

— Ночь. Темь. Метель — с того света. А они прут на нас. Чертова гибель. В три раза больше, чем нас. Понятно: «Банзай!» А мы держим ответный тост. Ура!.. А тут пулеметы, орудия, земля дрожит. Лед на реке, на Шахэ, весь разбит снарядами. А мы без внимания. «Ура» — и никаких данных. А их в пять раз больше. А наш полковой командир, красавец-мужчина, полковник Мансветов Родион Антоныч... Ух, герой был. Единственный, можно сказать, в своем роде. «Братцы, говорит, орлы-беломорцы! Ежели на то пошло, заройте меня в могилу». Ну, мы тут и двинули... Мать честная! Сам Мансветов на белой лошади командует: «В штыки! Вперед, орлы-беломорцы!» Мы — раз! Всех этих самых япошек — в реку, в Шахэ. Всех начисто. Штыковой атакой. Понял, товарищ?

Грозные брови Сыроежкина шевелились над слезящимися, жалостными, как у щенка, глазами, а руки свирепо кололи воображаемым штыком:

— Всех начисто. Раз-з!

Затем боевые эпизоды шли один за другим, повторялись, варьировались.

Река Шахэ превращалась в озеро Ялу, лошадь Мансветова меняла масть, становилась вороной или в яблоках, а сам герой-полковник то поздравлял «орлов-беломорцев» с лихой победой, то, раненный шрапнелью, падал на руки рассказчика, который и выносил его под убийственным огнем неприятеля; а в конце концов уже сам рассказчик вел в атаку славный Беломорский полк, так как полковник Мансветов оказывался убитым наповал пятью разрывными пулями.

Закончив цикл боевых воспоминаний, Сыроежкин упоминал о том, что его «на руках принесли из Маньчжурии», и выходил из пивной, пошатываясь на кривых портновских ногах, а выйдя на Бутугину улицу, начинал петь тонким детским голосом:

> Куропаткин генерал,
> Предводитель всем войскам.
> Он свободно службу знает,
> Сидит браво на коне,
> Сидит браво, смотрит прямо,
> Шашку держит хорошо.
> Он вскричал: «Здорово, братцы,
> Беломорские орлы!»

— Герой идет, герой!— кричали мальчишки, маршируя за Сыроежкиным.

— Эй, клоп, иди бороться!— звал татарчонок Елисейка, высунув из дверей сулеймановской лавки широкоскулое, мясистое лицо.

— Смотри, орел, женка из тебя цыпленка сделает,— хохотал подмастерье из парикмахерской Пластунова.

А Сыроежкин, тряся головой, словно отгоняя эти крики или тяжелые мысли, запевал пьяным дискантом, вздрагивающим от затаенного страха:

Наши... жены —
Пушки заряжены,
Вот где наши... жены.

8
ВЕРА

Любовь чаще всего является внезапно, как счастье и беда.

Внезапно полюбил и Роман Романыч.

Знакомство с девушкою, для которой открылось его сердце, а также и обстоятельства, при каких это знакомство произошло, были необычными.

Так было. Как-то на пасхе Роман Романыч возвращался домой от Иуды Кузьмича.

Временем, проведенным в гостях, он был чрезвычайно доволен: гости Иуды Кузьмича восторженно принимали пение Романа Романыча, а песню о шуте «Звени, бубенчик мой, звени» он даже был принужден спеть несколько раз, «на бис», и все наперебой советовали ему не зарывать таланта и серьезно заняться пением.

А Иуда Кузьмич так прямо говорил:

— Ты, Ромка, простокваша, а не человек! Я бы на твоем месте давно заимел оперную квалификацию. Прямо бы заявил, куда следует: «Даешь, мол, бенефис, а нет — так гастроль». И баста.

Растроганно добавлял:

— Ты себе цену снижаешь. Ты думаешь — ты парикмахер и все? Брось! Ты — талант. Ты — светоч. Понял? Све-точ!

Роман Романыч жал руку пьяному приятелю и с удовольствием думал: «Когда и ерунду говорит, а иной раз очень даже дельно рассуждает».

Итак, опьяненный успехом и похвалами, Роман Романыч покинул гостеприимный кров Иуды Кузьмича.

Роман Романыч был не прочь посидеть еще, но начались танцы, а он не умел танцевать и стыдился в этом признаваться, а кроме того, ему, мечтательно настроенному, изрядно-таки надоел сильно подвыпивший Иуда Кузьмич, певший одно и то же:

> Не пиши, милый, записки,
> Не пиши печальных слов,
> Не трать денег на бумагу —
> У нас покончена любовь.

Улица, на которой Роман Романыч очутился, выйдя от Иуды Кузьмича, была глухая, скудно освещенная; с одной стороны — неогороженная узкая прямая канавка, с другой — пустырь.

Обыкновенно Роман Романыч побаивался ходить в поздние часы по пустынным улицам, но теперь, возбужденный вином, успехом и похвалами, шел весело и бодро, мысленно напевая «Звени, бубенчик». Иногда любимую песню сменял вдруг возникавший в памяти мотив надоевшей за вечер песни Иуды Кузьмича. Тогда Роман Романыч встряхивал головой и ускорял шаг.

Впрочем, шаги его ускорялись еще и по другой причине: впереди шла женщина: торопливый стук каблучков, отдававшийся в ушах Романа Романыча, и заставлял его идти быстрее.

«Вероятно, хорошенькая»,— думал об идущей впереди женщине Роман Романыч.

На тот случай, если бы женщина оказалась молодой и хорошенькой, Роман Романыч уже составил план знакомства: первым долгом он извинится за фамильярность и спросит женщину, не страшно ли ей ходить в одиночестве по кошмарным районам; затем отрекомендуется горным инженером и скажет несколько слов о Донбассе; далее заговорит о погоде, например: несмотря, мол, что пасха ранняя, а атмосфера абсолютно майская.

Вообще, только бы клюнуло, а уж он за словом в карман не полезет.

Но вот тут-то и произошло то, что в дальнейшем повело к целому ряду событий, направивших жизнь Романа Романыча на новые пути.

Когда Роман Романыч был уже шагах в двадцати от женщины, с нею поравнялась шедшая навстречу темная мужская фигура.

Мужчина, преградив женщине дорогу, вдруг запел так громко и дико, что женщина, вскрикнув, шарахнулась с панели, а Роман Романыч вздрогнул и остановился как вкопанный, но в следующее же мгновение, видя, что человек снова двинулся к женщине, продолжавшей испуганно кричать, Роман Романыч поспешно достал из кармана свисток, который он постоянно носил на всякий случай, и стал свистать.

Человек, спотыкаясь и шатаясь, побежал через пустырь, а Роман Романыч, еще держа в руке свисток, подошел к женщине и, приподняв шапку, произнес давно заготовленную фразу:

— Извиняюсь, мадам! Как это вы рискуете ходить в полном одиночестве по таким мрачным и кошмарным районам?

Сказано это было с исключительной нежностью, на какую вообще был способен Роман Романыч, когда приходилось разговаривать с женщинами.

Женщина подняла на Романа Романыча совсем юное лицо и вздрагивающим от недавнего испуга голосом пробормотала что-то о хулиганах, а Роман Романыч, довольный удачным началом, продолжал:

— Очень, очень рискованно молоденьким барышням прогуливаться в этих Палестинах. Разная тут публика шляется: хулиганы, налетчики, а то, понимаете ли нет, и гнусные насильники. Я уже на что человек бывалый, одно слово — горный инженер, приходилось обретаться и на Урале, и в Донбассе, всякого народу перевидал на своем веку и в каких только переделках не бывал, а все-таки, понимаете ли нет, принимаю меры предосторожности: свисток, как видите, постоянно имею при себе, а иной раз и револьвер, и форму не надеваю, а так, по-простецки, в кепочке.

И хотя было очевидно, что пристававший к девушке прохожий — просто-напросто пьяный безобразник, Роман Романыч между тем развивал мысль, что спас девушку от рук грабителя.

— Хорошо, понимаете ли нет,— говорил Роман Романыч, идя рядом с девушкою,— что я тут на счастье подвернулся, а то вы, определенно, оказались бы жертвою бандитизма. Они, налетчики-то, постоянно так: прикинется, понимаете ли нет, чудачком, пьянчужкою, горланит: «Не пиши, мол, записок, на бумагу не траться», да вдруг: «Здрасте, пожалуйста! Руки вверх, кошелек или жизнь». А то и без предупрежде-

ния — бах из нагана, и вся недолга. Слава те господи, мне благодаря своей инженерской профессии со всяким народом случалось сталкиваться и попадать, понимаете ли нет, в самые непромокаемые переплеты. Даже самому дивно, как цел остался, ей-богу!

Девушку Роман Романыч проводил до дома, настойчиво вручил ей визитную карточку и узнал имя девушки. Звали ее Верой.

Домой Роман Романыч вернулся в радостно-возбужденном состоянии.

Курильщик, лишенный табака, или чистоплотный человек, почему-либо с утра не умывшийся, чувствуют, что чего-то недостает, что-то важное не сделано.

И это ощущение портит настроение, мешает работать, сосредоточиться.

Подобное же ощущение досадливой неловкости, неудовлетворенности стал испытывать Роман Романыч со следующего же дня после случайного знакомства с девушкою.

А от этого ощущения и работа не клеилась: Роман Романыч то забывал предложить «освежить», «положить пудры», то вовсе не правил бритву или, наоборот, принимался править два раза подряд, а один раз даже порезал клиента, и когда тот слегка упрекнул его в неосторожной работе, Роман Романыч не извинился, а, ткнув пальцем в темный, с серебряной надписью плакат, сказал довольно резко:

— Тут, понимаете ли нет, черным по белому объявлено, как надо реагировать. Вот и реагируйте!

— Я понимаю и реагирую, а вы нервничаете,— резонно возразил клиент, но Роман Романыч, не слушая его, раздражительно продолжал:

— Удивительная публика! Черным по белому сказано как и что, а они не понимают.

Чувства досады и неудовлетворенности не покидали Романа Романыча все время и нередко переходили в сильное, как голод и жажда, желание увидеть девушку, встреченную вечером на пасхе.

Мысли о ней не давали Роману Романычу покоя. И он ежедневно по вечерам отправлялся гулять около дома, где жила девушка, в надежде встретить ее.

Чуть не каждую женщину он издалека принимал за Веру и тогда, замирая от радостного испуга, чувствуя,

как кровь заливает лицо, торопливо шел навстречу идущей. Когда же уверялся, что это не та, кого он искал, то сразу начинал чувствовать усталость и даже озлобленность.

А однажды так обознался, что подошел к какой-то девушке, ожидавшей трамвая, и, приподняв инженерскую фуражку, произнес радостно и развязно:

— Наконец-то повстречались! Сколько лет, сколько зим!

— Что такое?— испугалась девушка и попятилась от него.

— Извиняюсь, я, понимаете ли нет, ошибся,— смутился Роман Романыч.— Очень ваша личность схожая с одной знакомой девицей.

После неудачных поисков Веры Роман Романыч приходил домой совершенно разбитый и упавший духом, но на следующий день снова радостно и бодро шел искать и возвращался опять разочарованный.

Роман Романыч не мог ясно представить лицо и фигуру Веры. Тогда, при скудном свете фонарей, он различил только, что девушка роста среднего, стройная; лицо у нее очень молодое, белое, с темными тонкими бровями.

Думая теперь о ней, он находил, что она похожа на ту виденную им в детстве красавицу Снегурочку, а временами ему даже казалось, что Вера и есть та самая Снегурочка.

И хотя сознавал, что этого никак не может быть, радовался, что как бы нашел ту, которую искал.

Веру ему напоминало все: улицы, люди, блеск солнца в стеклах витрин, свет фонарей, разноголосые шумы и гулы города и случайные звуки откуда-то прилетевшей музыки.

Еще: первая встреча с Верой напоминала то, когда он впервые услыхал «Звени, бубенчик» в исполнении известного эстрадного певца.

Тогда, силясь припомнить мотив песни и то находя его, то снова теряя, он испытывал то радость и наслаждение, то страдание и тоску.

Может быть, было так оттого, что музыка, мелодии имеют нечто общее с чувством любви, с влюбленностью.

Когда долго ищешь что-нибудь и никак не можешь найти, то лучше всего на время прекратить поиски, а потом снова начать искать, не думая, что найдешь, так, не волнуясь, не спеша, как бы нехотя. И найдешь.

И большей частью там, где раньше особенно тщательно искал.

Так вышло и у Романа Романыча: он уже потерял всякую надежду встретить девушку, не дежурил у дома, где она жила, а случайно, проходя мимо дома, встретил ее, направляющуюся в сопровождении молодого человека к воротам дома.

Роман Романыч страшно смутился и хотел отвернуться, но, заметив, что девушка пристально на него смотрит, раскланялся с нею.

Она улыбнулась и остановилась, остановился и ее спутник. Оба глядели на Романа Романыча.

Роман Романыч не знал, что дальше делать. Уже хотел пройти мимо, но вернулся и, подойдя к девушке, вторично приподнял фуражку.

— Извиняюсь. Вы меня признаете?

— Как же!— улыбнулась девушка. И обратилась к молодому человеку.— Это, Володя, и есть инженер Пластунов. Знакомьтесь. Это мой брат, Владимир. Лучше зовите Вовка,— улыбнулась она.

Роман Романыч вежливо и солидно раскланялся с молодым человеком.

Ему особенно понравилось, что девушка многозначительно подчеркнула слово «инженер».

— Зайдите к нам!— предложил брат Веры.

— Что вы! Зачем же?— опять смутился Роман Романыч.

Девушка весело рассмеялась:

— Боитесь? Разве мы такие страшные?

— Что вы! Наоборот,— пробормотал Роман Романыч.

Он зашел к ним. Просидел весь вечер.

Вера и ее брат разговаривали с Романом Романычем, как со старым знакомым, так что под конец вечера он перестал смущаться и чувствовал себя как дома.

Говорили о театре, о кино, о последнем боевом фильме, о певцах.

— Я, понимаете ли нет,— говорил Роман Романыч, слегка кокетничая,— ужасно обожаю театр. Особенно оперу. Меня, что называется, хлебом не корми, а дай послушать какую-нибудь вещицу. Вот, например,

«Звени, бубенчик мой, звени» очень, понимаете ли нет, превосходная оперная ария. Я ее сам прекрасно исполняю.

Упомянул вскользь и о Донбассе, и об инженерстве. По обыкновению, пожаловался на труд инженера.

— Заработок, слов нет, великолепный, а вот работа беспокойная. Разъезжай то туда, то сюда. Нервы издергивает здорово. И ответственность большая. Чуть что не сообразил, не взвесил, как следует быть — ну, понимаете ли нет,— и пропало дело.

Уже поздно вечером Роман Романыч собрался домой.

Брат Веры просил его заходить по четвергам с восьми часов.

Мать, пожилая женщина с приветливым лицом, тоже сказала:

— Заходите, Роман Романыч!

Прощаясь, Роман Романыч с чувством поцеловал руку Веры.

Подойдя к ее матери, подумал: «Старым целовать не принято».

И крепко пожал старушкину руку.

9

ТРИГОНОМЕТРИЯ

Каждый четверг, ровно в восемь часов вечера, Роман Романыч дергал медную ручку звонка у двери, на которой белела приколотая кнопками самодельная визитная карточка: «Владимир Валентинович Смирин».

Дверь отворяла мать Смириных, Любовь Васильевна.

Кутаясь в пуховую косынку, она говорила, приветливо улыбаясь:

— Здравствуйте, Роман Романыч!

Роман Романыч почтительно пожимал ей руку.

— Проходите! Володя дома,— приглашала Любовь Васильевна.

Роман Романыч вежливо отвечал: «Очень приятно» и проходил по темноватым комнатам в самую заднюю, большую и тоже полутемную комнату, где, кроме брата и сестры Смириных, всегда находился кто-нибудь из молодых людей — приятели Владимира или подруги Веры.

Знакомя Романа Романыча с гостями, Владимир и Вера постоянно к его имени, отчеству и фамилии прибавляли — «инженер», что отчасти смущало Романа Романыча, но в то же время и весьма льстило его самолюбию.

Комната, где собирались гости, была обставлена хорошо: кожаные кресла и стулья, большой, с высокой спинкой, кожаный диван, массивный письменный стол, на стенах несколько картин непонятного содержания, оленьи головы, портреты Владимира, Веры и их покойного отца, гвардейского полковника с пушистыми усами. А над письменным столом — портрет длинноволосого худого человека, устремившего куда-то вдаль безумные глаза.

За несколько четвергов Роман Романыч поближе познакомился с гостями Смириных.

Почти все очень молодые люди.

Роман Романыч считал их учащимися. Большинство из них приносило с собою солидные портфели. После и Роман Романыч стал приходить с портфелем. В портфеле лежала вечерняя газета и иностранная книга, с которой Роман Романыч раньше сиживал в скверах.

Гости Смириных разговаривали большей частью о книгах, о стихах, спорили; иногда говорили о кино.

Тогда Роман Романыч поддерживал разговор: хвалил или ругал, как и все, какой-нибудь последний фильм.

Впрочем, гости Смириных Романа Романыча не интересовали.

Интересовала его только Вера.

Вера действительно была очень недурна.

Прелестные светло-серые с каким-то особенным, словно внутренним блеском глаза; стрельчатые шелковистые ресницы; тонкие правильные дуги темных бровей красиво выделялись на лице изумительной белизны и свежести, и, что редко бывает у женщин, — красивые ноги: полные, но очень стройные, точеные, с небольшими, плотными ступнями. Обтянутые белыми чулками ноги Веры напоминали ноги мраморных статуй.

Не портила девушку и некоторая полнота.

Но особенно в ней привлекало сочетание чего-то нежно-детского с величественно-женственным.

Из подруг Веры были еще две недурненьких: Тамара — черненькая, бойкая, прозванная Чертенком, и Любочка Волкова.

Но у Тамары был некрасивый подбородок, острый и великоватый, и узкая втянутая спина, а Любочка Волкова, хорошенькая лицом, имела такие короткие ноги, что, когда она стояла, было похоже, что сидит.

Любочку всегда сопровождал, не отходя от нее ни на шаг, единственный пожилой гость Смириных, очень болтливый и всегда нетрезвый человек, до смешного гордящийся тем, что носит фамилию последнего министра последнего царя.

Любочка в болтовне не уступала старику с фамилией министра, но его болтовня была язвительна и желчна, а Любочкина — вздорна и всегда неуместна.

Любочка все время смеялась, даже тогда, когда ела и пила.

Она была здорова, как рыба, и, как рыба,— глупа.

Самые глупые шутки она принимала всерьез и задавала такие нелепые вопросы, до каких не додумывался даже Иуда Кузьмич Моторин.

Так, Любочка Волкова вполне серьезно могла спросить:

— Почему летом жарко, а зимою холодно?

Или:

— Что было бы, если бы люди не умирали?

Роман Романыч мысленно называл Любочку дурочкой. На Веру же смотрел со скрытым восторгом, ловил каждое ее движение, жесты. И был убежден, что вся молодежь ходит к Владимиру исключительно из-за Веры и что все безумно в нее влюблены. И поэтому всех их Роман Романыч считал своими соперниками, не сближался с ними и втайне гордился своей красивой наружностью, обеспечивающей, по его мнению, победу над сердцем красавицы Веры.

Верой Роман Романыч тоже гордился. Особенно после такого случая. К Смириным ходил известный, выпустивший в свет несколько книг писатель. Однажды он пришел пьяный, стал перед Верою на колени и просил, чтобы она позволила поцеловать ее ногу. Получив отказ, он стал просить разрешения поцеловать ее туфельку, а когда ему и в этом было отказано, пытался выброситься за окно.

Тогда Вера, уйдя за ширму, выбросила оттуда туфельку, которую сумасбродный писатель принялся страстно целовать.

Вспоминая об этом случае, Роман Романыч думал:

«Писатель не писатель, а ничего, брат, не попишешь: туфель поцелуй и считай за счастье неземное. Ловко!»

А спустя несколько времени, встретив писателя уже значительно пьяного, пригласил его в ресторан и там осторожно заговорил о Вере Смириной.

Писатель уставился на него мутными, пьяными, измученными глазами и заговорил, морщась как от боли:

— Я горд, самолюбив. Я невозможен: дик, необуздан в страстях. Я — пьяница, развратник, дебошир. О моих скандалах в газетах писали. Но сердце у меня детское: дикое и чистое, как у Дмитрия Карамазова. И о ней, о Вере, скажу словами Мити Карамазова: «Царица души моей».

И, криво усмехнувшись, добавил:

— Все под Достоевским ходим, верно?

Роман Романыч не понял, о каком Карамазове говорит пьяный собеседник, и еще более было неясно, почему все должны ходить под каким-то Достоевским, но утвердительно кивнул головою.

А писатель продолжал тихо и раздумчиво:

— Первый раз я увидел ее, когда ей было лет двенадцать, не больше. Да, лет двенадцать. Она и тогда была красива и стройна. Я сразу ополоумел. Понимаете... Я ночи не спал, стал писать стихи. Чуть не ежедневно ездил к ним. Просиживал часами с Владимиром и его матушкой. А Верочка играла в соседней комнате с подругою. Вот с этой же, с Чертенком. А я сидел как дурак. Чтобы только слышать ее детский смех, почувствовать в своей руке ее ручку при встрече и при прощании. Дома я негодовал на себя, презирал. Но я ее чисто любил. Мне только хотелось смотреть и смотреть на нее. Я стихи тогда писал. Дурацкие, как гимназист. А был женат уже, имел ребенка.

Писатель засмеялся горько и зло:

— Слушай, какие я писал стихи. Постой... Как это? Да:

Хочу я смотреть без конца
На то, что так дорого мне:
На юную нежность лица
Хотел бы смотреть без конца.

Какая глупость, пошлость! Вроде тех стихов, что читает этот дурак, министр Любочки Волковой... Но она, Вера, прекрасна и чиста. Душа у нее белоснежная. Она — Снегурочка. Помнишь? Как это?..

Роман Романыч почти испугался, когда писатель упомянул о Снегурочке.

Затаив дыхание, ждал, что тот еще скажет, но писатель из полной кружки отпил глоток пива, поморщился, зажмурясь, потряс головой, а затем швырнул кружку под стол и тяжело выругался.

— Роман Романыч, у меня к вам большая-большая просьба. Вы, конечно, ее исполните, хорошо? Для вас это пустяк, а для меня кошмар.

Глаза у Веры были просящие и вместе обиженные, как у избалованного ребенка; полные щеки слегка зарозовели.

«Богиня красоты»,— умильно подумал Роман Романыч и нежно спросил:

— В чем дело?

Вера дотронулась до его руки:

— Видите ли, у меня зачет. А я совсем не знаю тригонометрии. Как пробка, ей-богу. Вы мне поможете, хорошо?

У Романа Романыча упало сердце. С трудом вымолвил задрожавшими губами:

— С удовольствием.

А Вера продолжала:

— Вы меня второй раз спасете. Я вам так буду благодарна. Ведь вы по воскресеньям, конечно, не заняты. Так вот, приходите в это воскресенье, с утра. Обязательно. Часов в одиннадцать или даже в десять, хорошо?

Роман Романыч ушел от Смириных раньше обыкновенного.

Шел как лунатик.

Чуть не попал под трамвай.

10

НОЧЬ НА ПОЛУСТАНКЕ

В условленный день, в воскресенье, Роман Романыч пришел к Смириным и объявил Вере, что заняться с нею по подготовке к зачетам он, при всем своем желании, не может, так как уезжает в командировку

в Москву, а оттуда, вероятно, в Донбасс, а может быть, даже и на Урал.

Вера сделала обиженное лицо, а Роман Романыч пожал плечами и глубоко вздохнул:

— Ничего не попишешь. Известна наша инженерская доля: нынче — здесь, а завтра — там, как в песне поется, понимаете ли нет.

На вопрос Веры, когда он уезжает, Роман Романыч отвечал:

— Сегодня с вечерним поездом.

Смирины вызвались проводить его на вокзал.

Кроме портфеля Роман Романыч захватил маленький саквояж, в котором лежали: пеньюар, два полотенца, початая полубутылка водки, в портфеле же — старые газеты и неизменная иностранная книга.

— Это весь ваш багаж?— удивился брат Веры.— А где же подушка, одеяло? Неужели так?

— Э, чепуха!— небрежно махнул рукою Роман Романыч.— Инженер, известное дело, лег — свернулся, встал — встряхнулся.

Роман Романыч не доехал даже до первой станции, куда взял билет, а сошел на полустанке.

Роман Романыч после разговора с Верой о тригонометрии спросил у одного клиента: «Что за штука — тригонометрия?» — и клиент ответил, что это — научный предмет.

Больше Роман Романыч ничего не расспрашивал, так как решил, что этот научный предмет — та труба на трех высоких ножках, вроде тех, что бывают у фотографических аппаратов, в которую смотрят инженеры, когда вымеривают мостовые.

Конечно, он, Роман Романыч, ничего в такой трубе не смыслит, так как не имел практики, но зато тот же инженер, который трубою, то есть тригонометрией, управляет как хочет, не сумеет ни брить, ни стричь, мало того — может, и с безопасной бритвою не управится.

Сколько угодно есть таких, что режутся безопасными бритвами!

Так что кто чему обучен: один бритвою орудовать, другой — тригонометрией.

А от кого больше пользы — это еще бабушка надвое сказала.

Вот он, Роман Романыч, каждый день людей пользует, а перед праздниками так всю Бутугину улицу перестригает и перебривает, а инженер за всю жизнь проложит какую-нибудь железную дорогу, да и то на бумаге, а не на деле, так как строят-то фактически рабочие; большинство же из инженеров и того не делают, а так, мелочи разные чертят да через тригонометрию улицы рассматривают.

А сколько инженеров судится!

Парикмахеров что-то вот не слыхать, чтобы судили.

Потому что работа парикмахерская без всякой фальши и для всех приятная и полезная.

Так думал Роман Романыч, взволнованно расхаживая по ночной пустынной платформе полустанка.

И впервые за всю жизнь в эту весеннюю темную и теплую ночь на полустанке, заброшенном в печальной болотистой низине, ясно сознал Роман Романыч, что труд его нужен, необходим и ничуть не позорен, как и всякий другой полезный и честный труд.

Мучительно захотелось к людям, к Вере Смириной. Сказать ей все, без утайки; что он вовсе не инженер, а рабочий человек, парикмахер; что ни в какую Москву он не думал и уезжать; показать ей и содержимое саквояжа. «Для отвода, мол, глаз этот багаж». А книгу английскую бросить — пусть читает, кто умеет.

Главное же — сказать ей о своей любви.

Разве он не может любить и быть любимым?

Пусть он парикмахер. Зато очаровательно красив. И поет так превосходно, что люди его светочем называют.

— Светоч,— четко произнес Роман Романыч и горделиво огляделся.

Но кругом — непроницаемая тьма, звезд совсем не видно, и небо, казалось, нависло над самой головой.

Лишь вдали — бесчисленные огни города, неподвижные, как светящиеся пуговицы, а от них самое небо над городом горит голубовато-белым огнем.

Послышался шум идущего поезда.

В стороне, противоположной городу, засветились во тьме три ярких глаза. И громче, и громче шум и грохот.

Роман Романыч вспомнил, что надо взять билет. Поспешно задергал ручку двери домика-будки, но дверь была крепко заперта.

Грохот уже обрушивался на него.

Засвистел ветер.

— Откройте! Билет мне надо!— закричал Роман Романыч.

Но дверь глуха, и темны окна домика.

А поезд идет мимо, без свистка, не замедляя хода. Тяжко пропыхтел паровоз, гремя проплыли безглазые вагоны, площадки с досками, какие-то головастые громадины, похожие не то на исполнинские уродливые самовары, не то на слепых безногих великанов.

Когда постепенно затих шум уходящего поезда, тишина стала еще глуше и ночь еще темнее.

А вместе с тишиною и тьмой вошла в сердце Романа Романыча тоска.

Как-то без мыслей осозналось, что он одинок и никогда не увидит Веры.

Вспомнил о водке, торопливо достал из саквояжа бутылку и принялся пить прямо из горлышка, морщась и передергиваясь от захватывающей дух горечи.

Быстро охмелел. Но тоска одолевала сильнее. И все яснее стал сознавать Роман Романыч, что он одинок не только здесь, на полустанке, но и везде среди людей.

И Вера Смирина была и будет далека от него, сердце ее никогда не будет ему принадлежать.

И глядя на далекие огни города, единственно среди мертвой тьмы напоминающие о кипящей где-то жизни, Роман Романыч вскрикнул в тоске и отчаянии:

— Вера! Снегурочка моя! Любви хочу, любви!

Слезы брызнули крупными каплями.

Испугавшись этого против воли вырвавшегося резкого пьяного крика, оглянулся кругом и добавил смущенным шепотом:

— Понимаете ли нет?

11

КЛИЕНТ В СЕРОМ КОСТЮМЕ

На нем был серый, стального цвета, костюм, на левой руке синий плащ-пальто, в правой — черная, с костяной ручкой и костяным наконечником, гнущаяся, как рессора, трость; фетровая шляпа кофейного цвета.

Когда он вошел в парикмахерскую, Роман Романыч с удивлением спросил:

— Что угодно?

И услышав обычное: «Побриться», не поверил своим ушам. Ему почему-то казалось, что клиент должен говорить о чем-то другом, а не о бритье или стрижке. Он переспросил:

— Побрить?

А когда клиент сел в кресло, Роман Романыч не знал, что делать, и накинул на плечи клиента пеньюар, хотя этого при бритье не требовалось.

Бывает: в трамвае, поезде, театре или просто на улице какой-нибудь человек обращает на себя всеобщее внимание.

Все смотрят на него с каким-то особенным интересом, не похожим на то любопытство, какое возбуждает красивый или, наоборот, уродливый человек.

В таких людях главное — не внешность, а что-то другое, что не поддается определению.

И говорят о таких людях ничего не говорящее:

— Интересный человек.

Руки Романа Романыча дрожали, и брил он не лихорадочно и порывисто, как всегда, а медленно и неуверенно, словно работал в первый раз. Он сам удивлялся своему непонятному волнению.

С клиентом в сером костюме был еще человек. Он не брился и не стригся, а сидел и разговаривал с приятелем:

— Ты говоришь —«Заря Востока»?— спросил он, очевидно продолжая прерванный разговор.

Роман Романыч подумал: «„Заря востока"— пьеса так называется. Наверно, опера».

И обратился к клиенту, стараясь говорить как можно изысканнее:

— Извиняюсь за нескромный вопрос: в каком театре, понимаете ли нет, идет сейчас «Заря востока»?

Клиент удивленно приподнял тонкие, слегка срастающиеся брови, и белое лицо его порозовело.

Он хотел что-то ответить, но его приятель сказал громко и отчетливо:

— Конечно, в Большом оперном.

Брея, Роман Романыч терялся в догадках, кто его клиент, и ему хотелось узнать это.

Молодое бритое лицо, светлые, кудрявые волосы, элегантный костюм — по всему этому Роман Романыч заключил, что клиент — артист.

Приятель клиента тоже напоминал актера: толстый, бритый, с помятым лицом; голос громкий и звучный, хотя несколько сиповатый.

«Заграничный артист,— подумал Роман Романыч о клиенте,— немец, по всему видать».

Когда посетители уходили, Роман Романыч не утерпел и спросил:

— Извиняюсь, понимаете ли нет, вы — русские?

— Кто — я?— спросил клиент, а приятель его сказал:

— У него костюм парижский, шляпа из Лондона, а трость американская, но сам он чистокровный русак, но такой русак, что ай-я-яй! Отдай все, да и мало!

А когда оба они ушли, Роман Романыч вышел и, стоя у дверей, на ступеньке, стал смотреть им вслед.

Слегка вздернув голову, легко и пружинисто, словно танцуя, шел человек в сером костюме, отталкиваясь от земли вздрагивающей тростью.

Не только Роман Романыч, но и Алексей и Таисия были в некотором волнении.

— Откуда такие взялись?— говорил Алексей.— Это не из нашего квартала.

— У нас такой интеллигенции нет,— сказал Роман Романыч,— случайно сюда попали. Фланировали. Артисты. Свободный народ.

— А как он на вас похож, Роман Романыч!

Таисия зарделась и добавила:

— Будто ваш брат родной.

После слов Таисии Роман Романыч с радостным волнением вспомнил, что клиент действительно очень на него похож.

Такие же золотистые кудрявые волосы, светлые глаза, красивое, почти юношеское лицо.

Вспомнил, что когда брил его, наклонялся над ним, то лицо клиента напоминало что-то далекое и трогательно-дорогое...

Не детство ли?

Пухлые детские губы, лучистые глаза, веселые золотистые кудри — все это было так дорого, близко, что Роман Романыч несколько раз прерывал работу и задумчиво вглядывался в лицо клиента.

Теперь Роман Романыч подошел к зеркалу и, всматриваясь в свое отражение, подумал: «Такой бы вот костюмчик приобрести».

И ему стало трепетно-весело и легко.

12

СЕРЫЙ КОСТЮМ

Было воскресное утро.

Портной Сыроежкин проснулся с сильной головной болью.

Накануне Сыроежкин наделал дел: пропил два рубля, предназначенные для покупки саржи, набуянил в пивной и был оттуда выброшен официантом Спирькою, грубым детиной, носящим нежное прозвище Отец родной; дома, когда Дарья Егоровна, увидя, что муж — без саржи и пьян как стелька, принялась его ругать, он пытался совершить то, о чем раньше боялся и думать, а именно: побить жену.

Этот безумный, поистине геройский шаг оказался на деле покушением с негодными средствами и, погибнув в самом зародыше, повлек за собою все вытекающие отсюда последствия.

Так, Сыроежкин только сжал кулаки и заскрипел зубами, и на этом его роль кончилась.

Все же остальные действия, обыкновенно следующие за таким воинственным началом, производила уже исключительно Дарья Егоровна, а Сыроежкин, загнанный в угол, прятал голову от жениной туфли, слезно моля о пощаде:

— Егоровна! Золотце! Пожалей! По существу, бить-то некого, сама видишь.

Теперь, проснувшись и прислушиваясь, как шуршит по полу веник и грузно шлепают босые ноги жены, Сыроежкин припоминал подробности происшествий вчерашнего дня.

«Черт меня дернул сцепиться с этой лошадью,— думал Сыроежкин, укрываясь с головою и ощупывая запухший левый глаз.— Ишь топочется, толстопятая!»

Вспомнил, что жена вчера посулила с трезвым с ним поговорить по-настоящему.

«Неужели опять поднимет баталию? Это уж неправильно. За одно дело двух наказаний не полагается».

Эту мысль Сыроежкин скрепил одним из своих любимых выражений и, подбодренный им, как верующий молитвою, сбросил с лица одеяло, намеренно громко зевнул, сел, спустил с высокой кровати кривые, не достающие до пола ноги и, беззаботно болтая ими, сказал:

— Э-эх! Толково поспал!

Дарья Егоровна бросила подметать. Тяжело ступая по скрипящим половицам, не торопясь, приблизилась к кровати и, упершись в широкие бедра толстыми красными руками, в одной из которых был веник, устремила на мужа полный сурового презрения взгляд.

Глядя на веник, Сыроежкин подумал: «Веником еще туда-сюда, кулаком — хуже. Кулачища у ней — что булыжники».

Глубоко вздохнув, ежась под взглядом супруги, потянул к себе брюки, висевшие на спинке кровати.

Дальше пошел такой разговор:

— Ну что, хулиган несчастный? Очень хорошо поступаешь, да?

— Что такое?— удивленный вопрос.

— Что-о? Наклюкался, денежки профукал, а потом женке в морду лезешь!

— Оставь, Егоровна. Мало ли что по пьянке бывает. Известно, у пьяного разум ребячий.

— Нет, извини, милый мой! Небось, об стенку башкой не треснешься, а в харю норовишь заехать. Ты эту моду забудь. Я твое геройство живо из тебя выкурю.

— Ну вот! Теперь — геройство. Ну что я тебе мог сделать? Мне и до хари-то до твоей не достать. Вона ты какая! Прямо, можно сказать, памятник.

Самолюбию Дарьи Егоровны льстило признание мужем ее могущества; особенно понравилось сравнение ее с памятником, но она решила для блага будущего нагнать на мужа побольше страха, а потому подступила к мужу вплотную и сильно повысила голос:

— Так чего ж ты кидаешься на больших людей, карлик ты паршивый, заморыш? Это я тебе воли много даю! Извольте радоваться! Пошел за прикладом, а заместо того нализался да еще драться лезет, козявка! Я не посмотрю, что сегодня праздник! Я тебя, мыша такого, пяткой раздавлю!

Она угрожающе потрясла веником и так топнула своей могучей ногой, что в шкафу зазвенела посуда, а у Сыроежкина замерло сердце, из глаз закапали слезы, а в голове пронеслось: «Убьет, кобыла, раздавит».

Но в этот момент послышался стук в двери.

— Сейчас!— крикнула Дарья Егоровна и, поспешно всунув широкие ступни в туфли, зашлепала к дверям, раскачивая крутые, тяжеловесные бедра.

Дрожащий герой перевел дух и стал одеваться.

В комнату вошел Роман Романыч, празднично одетый, пахнущий одеколоном.

С Дарьей Егоровной он поздоровался галантно: шаркнул ногою и низко склонил голову, с Сыроежкиным — снисходительно.

— Мое почтение, уважаемый! Здрасте, мой дорогой!

Сел на предложенный Дарьей Егоровной стул и сразу приступил к делу.

— Хочу заказать, понимаете ли нет, костюмчик. Серый. Но чтобы фасон настоящий парижский. У меня один знакомый приехал из Парижа. И серый костюмчик у него — шикарный. Прямо, понимаете ли нет, крик моды.

— Парижского материала тут не достать,— угрюмо сказал Сыроежкин.

— Н-да,— вздохнул Роман Романыч.— Коверкот надо бы.

— Коверкот на костюм не годится. Толстоват. Шьют, правда, из коверкота. Но порядочный заказчик не закажет. Надо так называемый серый материал. А коверкот идет на дамские пальто. А материал серый очень даже прилично будет, ежели к тому же взять подороже.

— Мне главное, понимаете ли нет, чтобы фасон был настоящий парижский.

— А какой такой особенный фасон? У нас все фасоны парижские. Тебе пиджачную пару или тройку?

— Тройку?..

Подумал секунду. Закивал головою:

— Да, да, тройку.

— Что ж, сошьем специально. Не хуже Парижа сошьем. Ругаться не будешь. Слава тебе господи, пошили на своем веку всевозможные костюмы. И никто не жаловался. Покупай материал! Хочешь — вместе же и сходим.

Сговорились идти на следующий день за материалом и прикладом.

Столковались и о цене за работу.

Роман Романыч не торговался:

— Бери, сколько полагается. Только, понимаете ли нет, угоди. А главное: в какой срок сошьешь? Мне обязательно требуется к троице. А троица у нас в бу-

дущее воскресенье. Успеешь ли к троице, Николай Игнатьич?

Сыроежкин принял очень важный и глубокомысленный вид. Закрыл глаза и долго потирал лоб.

Наконец облегченно вздохнул:

— К троице, говоришь... Гм... К троице... Тэк-с... Что ж, ежели завтра купишь материал, то тогда к субботе можно поспеть. Правда, работать придется не покладая рук. А раньше субботы никак нельзя. Потому считай: первая примерка — через два дня, вторая — тоже через два. Ну да, к субботе можно. В аккурат к троице будет готово.

— Уж не жениться ли задумал?— спросила Дарья Егоровна, когда Роман Романыч стал прощаться.

— Может, впоследствии и женюсь,— кокетливо улыбнулся Роман Романыч.

— Бери в женки Таисию. Жалеть не будешь. Девка здоровая и старательная.

Роман Романыч неопределенно усмехнулся, а Сыроежкин, почувствовавший, по случаю получения заказа, что его положение в доме стало устойчивее, чем было несколько минут назад, угрюмо буркнул, покосясь на жену:

— Куда ему корову-то? Доить, что ли?

Желание иметь серый костюм возникло у Романа Романыча после того, как приходил к нему бриться так поразивший его человек в сером костюме.

Сначала Роману Романычу просто казалось, что в таком же, как у похожего на него «артиста», костюме он и сам будет похож на артиста, станет очаровательнее и интереснее, чем есть. И все.

Но потом мысль о приобретении серого костюма положительно лишила его покоя: выходя на прогулку в своем выходном, хорошем синем костюме, Роман Романыч чувствовал себя неловко, словно был полуодет или одет в лохмотья.

Он даже не пошел на вечеринку к Иуде Кузьмичу.

Собирался долго и старательно, два дня упражнялся в пении, но, перед тем как выйти из дома, посмотрел в зеркало. И остался.

А синий костюм к его белому лицу и золотистым волосам шел как нельзя лучше.

И сам Роман Романыч отлично знал это.

По утрам он просыпался с ощущением какой-то потери.

Но потом понимал, что это оттого, что недостает серого костюма.

Теперь, приходя к Сыроежкину на примерки, подолгу просиживал у него.

Одно сознание, что костюм шьется, один вид хотя еще недошитого костюма действовал на Романа Романыча успокаивающе.

Но так как неловко было сидеть над душою, то Роман Романыч делал вид, что интересуется портняжной работой, и расспрашивал то о том, то о другом, касающемся этого цеха.

А хвастливый и словоохотливый Сыроежкин старался поразить Романа Романыча разными тонкостями своего ремесла.

— Наша работка — с загогулинкой,— хитро подмигивал Сыроежкин.— Штучка, можно сказать, с ручкой. Кто незнающий, так в два счета заблудится, что в дремучем лесу.

Указывал на наметку на боках костюма.

— Вот, примерно, нитки белые. Нитки и нитки. А как, думаешь, эта музыка называется? Не знаешь? То-то и оно. А называется силочки. Во!

Он прищелкивал языком и, подняв лохматые брови, смотрел на Романа Романыча так, точно хотел сказать: «Что, брат, выкусил?»

Откладывал в сторону ножницы, втыкал иголку в бортик жилетки, долго, прищуриваясь, смотрел на Романа Романыча, а затем начинал вкрадчиво, с затаенным коварством:

— А вот на плече шов-с. Шов и шов, все так зовут. Верно?

Он поднимал кверху кривой от ножниц палец.

— А между прочим, есть этому шву такое наименование, что думай три года и каких угодно знаменитых ученых собери, и никто ни черта не надумает. А ну-ка?

Выдержав приличную паузу, страшно хмуря брови, выпаливал:

— Гривенка.

Затем, играя накинутым на плечи сантиметром, спрашивал уже тоном добродушного экзаменатора:

— А вот штучка! Это уж просто. Так, легонькая шарада: когда рукава шились длиннее — при царе или

сейчас? Что? Не знаете? Так и быть, скажу: при царе — короче, а сейчас — длиннее. А почему так, позвольте спросить?

— Не знаю,— пожимал плечами Роман Романыч.

Сыроежкин грубо кричал:

— А потому, что тогда манжеты носили! Так вот и короче, чтоб их видно было. Голова с мозгами!

По мере того как работа подходила к концу, Роман Романыч чувствовал вместе с нетерпением прилив радости.

Еще за два дня до того, как костюм был сшит, он купил фетровую шляпу кофейного цвета.

А вечером накануне троицы у себя в комнате Роман Романыч в сером костюме и с коричневой шляпой на золотистых кудрях подошел к зеркалу и вздрогнул — так поразительно был он похож на того клиента в сером костюме.

Долго не отходил от зеркала.

Принимал разные позы.

Слегка сдвинул шляпу назад, так что выбилась на лоб кудрявая прядь волос. Откинул голову.

И стал совсем как тот.

Глядя на свое отражение, ощутил, как и тогда, когда, брея, всматривался в лицо необыкновенного клиента, что вот-вот вспомнится что-то забытое, страшно знакомое, милое.

Вот почти вспомнилось.

Даже задрожал Роман Романыч, напрягая память,— боялся упустить. И упустил.

Стало до тоски досадно. И, мучительно силясь вспомнить, пристальнее смотрел в зеркало.

Так иной раз мучает забытый сон.

Забыт, не вспоминается совсем. Но осталось какое-то ощущение сна, и оно мучает. Все напоминает о сне: люди, свое собственное лицо и голос, свет, воздух, звуки — все напоминает и в то же время как бы и мешает вспоминать.

Но в конце концов какое-нибудь слово, звук, лицо представят сновидение во всей ясности.

Вот и теперь.

В раскрытую форточку ворвались звонкие детские голоса.

И когда откатились, звеня где-то вдалеке, Роман Романыч вспомнил, как он стоял так же перед зерка-

лом, но не в костюме парижского фасона, а в белой рубахе, расшитой по воротнику и подолу зелеными елочками и красными цветками.

13

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНЬЧЖУРСКОГО ГЕРОЯ

В ту же субботу перед троицей, когда Роман Романыч, облачась в новый костюм, чувствовал себя на высоте блаженства, с Сыроежкиным стряслась беда.

И виновником беды косвенным образом являлся тот же серый костюм.

Было так.

Роман Романыч весь этот день находился, в ожидании костюма, в непрерывном волнении и не дождался, когда Сыроежкин принесет костюм, а сам пришел за ним в тот момент, когда Сыроежкин увязывал костюм в платок.

Дома была и Дарья Егоровна, только что вернувшаяся из бани.

Так что Сыроежкин, получив деньги за работу, передал их из рук в руки жене.

Но, провожая заказчика до выходных дверей, Сыроежкин успел шепнуть ему, что не мешало бы, дескать, спрыснуть обновочку.

Роман Романыч расщедрился и тайком от Дарьи Егоровны сунул Сыроежкину рубль.

— Выпей, миляга, один! А мне, понимаете ли нет, некогда. Делишки есть кой-какие.

Рублевка подмывала Сыроежкина идти в пивную.

Но вырваться из дому было не так-то легко.

Вечером, да еще под троицу, Дарья Егоровна ни за что не пустит.

Разве так, как есть, без шапки да в сандалиях на босу ногу, будто к воротам воздухом подышать?

Сыроежкин сделал пробу.

Потянулся, зевая:

— Уф! Замучился с этим костюмом несчастным. Хуже нет на спешку работать. Башка прямо не своя стала. Пойти на воздух, что ли? У ворот посидеть?

Проба не удалась.

Дарья Егоровна, задрав на табурет исполинскую ногу, обрезала ногти, шумно посапывая.

Не поднимая головы, она сказала твердо, не допуская возражений:

— Знаю твой воздух. Отдохнешь дома. Вот скоро поужинаем да и спать. Нечего шляться.

Ужинал Сыроежкин без всякого аппетита.

В окна неслись шум улицы, веселые певучие голоса детей, звуки гармоники печника Столярова, живущего по соседству.

От всего этого тянуло на предпраздничную улицу, в пивную, где, как дома сейчас, березки по углам.

«Что такое придумать конкретное?»— шевелилось в голове Сыроежкина.

И хотя придумать ничего не мог, но почву на всякий случай подготавливал:

— Хорошо этот заказец подвернулся. По крайности деньжата к троице есть. А на днях Поляков, газетчик, брюки принесет в переделку... Гм... Да... Недельку я не пил. И еще с месяц надо продержаться. Давеча Романыч, как я его провожал: «С меня спрыски, говорит, приходятся. Хочешь, говорит, сейчас принесу?» А я ему: «Не надо. После как-нибудь. Не желаю, говорю, соблазняться».

— Уж ты, пожалуй, откажешься!— усомнилась Дарья Егоровна.

— Ей-богу! Спроси у самого Романыча, если не веришь.

Дарья Егоровна вдруг вспомнила, что собиралась вернуть долг своей сестре.

— Ах ты, шут возьми! Совсем из головы вон. Варваре-то нужно бы восемь рублей отдать. Ведь скоро год, как брали. Бабе-то к празднику деньги во как пригодились бы!

— После праздника еще нужнее будут,— дипломатично заметил Сыроежкин.

Он знал, что жена с ним не согласится. Но и сама к сестре денег не понесет, так как еще не было случая, чтобы она куда-нибудь ходила после бани.

Ленилась даже выходить к воротам.

А сестра Дарьи Егоровны жила далеко, в другом районе города.

Расчеты Сыроежкина оправдались.

Дарья Егоровна принялась кричать, что не после праздника, а именно сегодня нужно отдать Варваре деньги, что еще времени немного, только девять ча-

сов, и кооперативы торгуют долго, так что сестра успеет купить, что ей надо.

— Только ведь тебе, чучелу такому, денег-то доверить нельзя,— горячилась Дарья Егоровна.

На это Сыроежкин с невозмутимым спокойствием отвечал:

— Что, я их съем, твои восемь рублей?

— Не съешь, а пропьешь, пьяница несчастная!

— Пропьешь,— пожимал плечами Сыроежкин.— Сегодня человек, вот Романыч-то этот, можно сказать, прямо в глотку лил, и то я отказался. А тут возьму да и пропью. Что у меня, две головы, что ли?

— Ни одной у тебя нету, у дурака такого.

В конце концов Сыроежкин, напутствуемый добрыми словами, вроде: «Если подлость сделаешь, так лучше глаз домой не кажи», «Чтоб я тебя, мерзавца, тогда и не видела больше», вышел из дома, тайно ликующий.

Никакого злого умысла в голове Сыроежкина не было.

Восемь рублей он хотел честно доставить по назначению, а пропить собирался только свой рубль, да и то на обратном пути.

Но дело обернулось совершенно иначе.

Бывает, что человек с нетерпением ждет трамвая, но идут, как нарочно, не те номера, какие нужны, а потом пройдет служебный вагон или повезут какой-то там песок или иной строительный материал; а не то пролетят иллюминованные вагоны с кричащими «ура» ребятишками.

А нужного трамвая все нет и нет.

И кто знает, может быть, не дождавшийся трамвая нетерпеливый человек, отправляясь пешком, заходит по дороге в ресторан или клуб, пропивает, проигрывает казенные деньги или, оказавшись на глухой улице, становится жертвой грабителей.

Сыроежкин простоял на остановке минут десять, показавшихся ему целым часом, а когда наконец подошел нужный трамвай, стоящая на площадке вагона кондукторша закричала, махая рукою:

— Граждане! В парк идет! В парк!

«В парк так в парк»,— подумал Сыроежкин.

И пошел.

А по пути завернул в пивную.

Не потому, что уж очень тянуло, а просто захотелось пить.

В воздухе парило, как перед грозою.

Сидя в пивной, Сыроежкин долго вытирал платком лоб и шею и отдувался.

Потряхивая головою, несколько раз обращался к человеку, сидящему за соседним столиком:

— Ну и жарища! Прямо, можно сказать, сварился. Пивка холодненького хорошо выпить. Освежает.

Сосед кивал головою в знак согласия.

— А зимою, напротив, теплое лучше пить. Согревает,— говорил Сыроежкин, любовно глядя на тающую в стакане пену.

Выпил он всего одну бутылку.

«Надо сперва дело сделать».

Выйдя на улицу, быстро зашагал.

Прошел три пивных.

Но недалеко от дома, где жила сестра жены, Сыроежкин опять зашел в пивную.

Теперь уже не потому, что мучила жажда, а манил шум и гам, несшийся из растворенной двери заведения.

А затем произошло то, чего не случалось с Сыроежкиным за всю его почти пятидесятилетнюю жизнь.

Сперва Сыроежкину потребовался собеседник.

Долго искать не пришлось.

В задней комнате пивной за угловым столиком сидел молодой чистенький парень и пил лимонад.

Сыроежкин попросил у него разрешения присесть за его столик, и парень, приподнявшись на стуле, учтиво поклонился:

— Пожалуйста!

Сыроежкин ценил вежливое обхождение, а кроме того, ему понравились веселые ясные глаза и свежее лицо парня, а потому он сразу же заговорил с ним, как со старым знакомым:

— Деньжат сегодня заработал. Костюмчик сшил человеку. Я портной, можно сказать. Специалист своего цеха. Старый специалист.

Молодой человек ласково улыбнулся и закивал головою, точно ему было очень приятно, что Сыроежкин специалист — портной.

— Шикарный костюмчик сварганил. Настоящий парижский. Крик моды, можно сказать. А потому можно и пивка бутылочку пропустить. Правильно?

Молодой человек опять улыбнулся и закивал:

— Совершенно верно. Завтра праздничек — отчего не выпить?

Он помолчал и тихо добавил:

— Я вот думал водочки выпить, да одному полбанки много. И с финансами, знаете, у меня не густо. Не желаете ли войти в компанию на половинных началах?

Сыроежкин быстро рассчитал, что если заказать лимонад, который вдвое дешевле пива, а обратно опять идти пешком, то можно войти в долю на полбутылки, не трогая ни копейки из восьми рублей.

Парень же денег вперед не требовал, так что никакого обмана не предвиделось.

Парень сходил за водкой.

У него оказался и ножичек со штопором.

Он быстро разлил водку по стопкам.

— Лучше, чем пиво-то!— сказал он, чокаясь с Сыроежкиным.

Стал мизинцем вылавливать что-то из стопки.

Вероятно, кусочек пробки или сургуча.

— Ну, будь здоров, товарищ!— сказал Сыроежкин и, не дождавшись, когда парень станет пить, опрокинул в рот стопку.

А парень все еще вылавливал что-то из своей стопки.

Парень поднял голову, но все еще не пил, а устремил на Сыроежкина странный выжидающий взгляд.

«Чего он? Я же свою часть уплатил»,— подумал Сыроежкин.

И вдруг почувствовал, как внутри все стало неприятно неметь.

Мгновенно прервались говор, гвалт, звон посуды, словно их кто отрезал.

В глазах заколыхались столы, сидящий напротив человек.

И страшно, до боли, отяжелели веки.

— Понимаешь, сынок? Как хватил, так и сознания решился.

Босой, рослый мальчишка посмотрел на Сыроежкина скучающим взглядом и продолжительно зевнул:

— Подсадил на малинку. Ясное дело.

— Это что же за малинка такая?

Мальчишка, даже не взглянув на Сыроежкина, буркнул:

— Какая? А вот та самая, что ты пил.

Завидя идущего человека, сделал строгое лицо и, выпятив губы, запел сильным, несколько сиплым альтом:

— Булочки с колбаской, с яйцом, пожалуй-те-е!

Улица скучна. Прохожие редки. Не гремят трамваи. Изредка пронесутся грузовые безглазые вагоны, автомобиль с ночными гуляками.

Полусумрачная летняя ночь на исходе.

— Чего домой не идешь?

Сыроежкин обрадовался этому вопросу.

Оживился:

— Прямо, сынок, не знаю, что и делать. К женке идти — значит, под верный мордобой. Она у меня ничего не сознает. А чем я виноват, что меня обобрали?

Случившееся с Сыроежкиным несчастье пробудило в нем страстное желание открыться, поговорить по душам.

И здесь, на подоконнике магазинного окна, чужому босоногому мальчишке он рассказал свою невеселую семейную повесть.

Первый раз за много лет, а может быть и за всю жизнь, он не лгал, не хвастал, а, наоборот, не боясь насмешек, говорил, ничего не скрывая.

А мальчишка вставлял свои замечания серьезно и бесстрастно, как судья:

— Значит, держит тебя под каблуком? Понятно. Раз у ней сила — она над тобой и издевается. Что же ты можешь сделать, когда она большая и здоровенная? Тебе приходится ее слушаться. Правильно. Захочет — побьет, захочет — помилует. Такое дело.

— Вот в этом-то и суть,— оживлялся Сыроежкин.— Ты, сынок, с понятием. Может, и смешно, что я бабы боюсь и что она меня бьет. А ты видишь, что я за человек. Разве я могу совладать с такой бабищей? Силы у меня, дружок, что у мухи. Меня, веришь или нет, мальчишка один, Елисейка такой, татарин,— ему всего шестнадцать лет, а как сгребет, так я и под ним моментально. Сказать кому, так не поверят.

— Что же не верить? Ничего нет удивительного,— спокойно и бесстрастно сказал мальчишка.— Мне тоже шашнадцать, семнадцатый, а я старшего братишку как хочу побрасываю. А ему уж двадцать пять лет. А тоже маленький, все равно как ты. Ничего нет удивительного. Другой мальчишка — это медведь, а мужчина — никудышный.

— Вот видишь. Ты с понятием. Люди разные бывают. Ты, можно сказать, мальчишка, а больше меня. А ноги-то у тебя какие. Что у богатыря.

Мальчишка вытянул ногу, пошевелил черными от загара и грязи толстыми пальцами, сказал равнодушно:

— Ноги, верно, подходящие. Большие очень. Босиком много хожу, вот и большие оттого. Нога свободу любит, разрастается.

Сразу потемнело.

Подул сильный ветер. Зашелестели по панели бумажки. Закрутились в вихре. Одна понеслась высоко над улицей. Пошел дождь. Сперва редкий, пестрящий панель крапинками, потом хлынул потоком. Загрохотал гром.

Мальчишка торопливо накрыл корзину клеенкою. Побежал, шлепая по лужам, поскальзываясь на мокрых камнях.

Сыроежкин не отставал от него. Оба они спрятались от дождя в разрушенном доме.

Сидя на груде битых кирпичей и прислушиваясь к шуму дождя, Сыроежкин опять заговорил, вздыхая:

— Кабы выпивши, тогда шут с ней! Пошел бы домой. Драка так драка — наплевать. Пьяному все ладно.

Мальчишка вдруг перебил:

— Слушай, дядя! А я бы на твоем месте так сделал. Шапку у тебя украл тот-то парень? Ну вот. Я бы и толстовку загнал. Так мол и так. Напали грабители, с револьверами. В масках, сказал бы, чтобы скорее поверила.

— Не поверит,— уныло отмахнулся Сыроежкин.— Скажет — прогулял.

— Прогулял,— загорячился мальчишка.— Восемь рублей, да шапка, да толстовка! Разве ты мог бы столько пропить? Ты бы тогда и раком не пришел бы. Сам пойми, голова садовая!

Сыроежкин задумался.

А мальчишка шире развивал свой план. Он загорелся. Недавнего холодного равнодушия как не бывало.

— Я бы залил так, что кто хошь поверил бы. Не беспокойся. Морду бы себе поцарапал. Очень просто, для виду. Напали, мол, налетчики, и все. А тут и толстовку загнать можно. Особенно ежели за водку.

— Где загнать-то?

— А у вокзала. Тут завсегда шинкари, будь ласков.

При упоминании о водке Сыроежкину стала нравиться мальчишкина идея.

Действительно: шапка, толстовка да плюс восемь рублей. Разве он мог столько пропить? Тем более что вещей он с себя никогда не пропивал. Да разве у него хватило бы смелости это сделать — неужели она этого-то не может понять?

А выходной костюм есть. Да и старый пиджак еще хороший, так что без толстовки жить можно.

А мальчишка, словно читая его мысли, весело подмигивал черным плутовским глазом и смачно причмокивал:

— А у меня и закусочки сколько хошь, во! Полкорзины.

Откинул клеенку.

— С краковской есть. С чайной. С яичками.

Сыроежкин покосился на булочки, вспомнил о водке и стал нерешительно расстегивать пуговицы рубашки.

А мальчишка, захлебываясь, сыпал:

— Полтора целковых я тебе оставляю, чтобы ты не думал, что я смоюсь. И малинки никакой не бойся. Первый буду пить, сам посмотришь. И мятных лепешек достану, чтобы женка твоя не расчухала, когда станешь с ней балакать. Со мной, дядя, не пропадешь на свете. Будь ласков...

Дождь лил по-прежнему.

Сыроежкин с мальчишкой уже по нескольку раз потянули из горлышка бутылки.

Захмелевший Сыроежкин воспрянул духом.

От уныния не осталось и следа.

Он встряхивал головой, двигая косматыми бровями, часто вскакивал с груды кирпичей.

И, выставляя то одну, то другую ногу, уже сыпал рассказ за рассказом о своих маньчжурских подвигах.

А мальчишка, тоже опьяневший, раскрасневшийся сквозь грязь и загар, весело смеялся лукавыми черными глазами.

Потом Сыроежкин, старательно хрупая мятные лепешки, дышал в лицо мальчугану:

— Ну как, сынок? Не пахнет? Все в порядке?

— Все в порядке,— отвечал пьяный мальчишка.— Можешь... топать к бабе. Опре... деленно.

Дарья Егоровна обычно спала без снов.

Но в ночь под троицу перевидала их много.

То снился ей муж, раздавленный трамваем, и она плакала, глядя на его кровавые обрубки вместо ног. То била его туфлей за пропитые деньги, а он кричал, как всегда:

— Егоровна! Не бей! Бить-то ведь некого!

То дралась с накрашенной девкой, которая обнималась с мужем.

Слышала сквозь сон дребезжание звонка.

Но сон так долил, что не было мочи подняться.

Вот зашлепала по коридору квартирная хозяйка.

Заскрипела комнатная дверь.

Дарья Егоровна открыла глаза. Сон сразу слетел с нее.

Она поднялась с постели, но еще ничего не могла толком разобрать.

Муж стоял среди комнаты, переступая неверными ногами, стараясь удержать равновесие.

Он был без шапки, в нижней рубахе, грязной и мокрой. Брюки сползли.

Он громко икнул и, тараща посоловелые глаза, заговорил, еле-еле ворочая языком:

— Ты думаешь — я пьян?.. Ничего... подобного... Вот... дыхну и... и... и... ничем... не пахнет... Я — жертва... ппло... няла... Жертва... банди... тизма. В аккурат. Прра... вильно. Наганы... Ну, а мне жизнь... дороже. Вот... В масках... все честь честью. Как полагается... И восемь целковых и толс... товку — начисто... Все в порядке.

Дарья Егоровна вышла из оцепенения.

Взвизгнула:

— Мерзавец! Ты — опять?..

Метнулась в угол, где стояла новая, еще не бывшая ни в каком употреблении швабра.

Симуляция вооруженного грабежа не удалась.

14

ЗЕРНА ГРАНАТА

Серый костюм, как когда-то в ранней юности рубашка с вышитым воротом, придал Роману Романычу решимость и непоколебимую веру в успех в любви.

И в троицу, то есть на другой день, как костюм был сшит, Роман Романыч отправился к Смириным.

Его уже не смущала история с тригонометрией.

Да и что — тригонометрия. Разве эта глупая труба на трех ножках могла стать помехою его счастью?

А Роман Романыч был счастлив, так как глубоко верил, что любовь его встретит взаимность.

«Моя безупречная красота победит — иначе и быть не может»,— думал Роман Романыч, собираясь к Смириным.

Перед тем как выйти из дома, он проделал небольшую репетицию предстоящей встречи с девушкою.

«Сперва я, конечно, вхожу».

Роман Романыч легко, эластично, подражая походке того клиента, прошелся по комнате и остановился перед зеркалом. Снял шляпу и, улыбаясь, прошептал:

— Добрый день, Вера Валентиновна!

«Обворожительная улыбка»,— с удовольствием подумал, любуясь на свое отражение.

«Предложила, понятно, сесть».

Роман Романыч галантно поклонился, сел, слегка поддернув на коленях брюки, прикоснулся лакированными ногтями к белому галстуку-бабочке.

— Ну-с, как течет ваша жизнь молодая?— прошептал, делая томные глаза.

Шепотом приходилось говорить потому, что за стеною, в кухне, находилась Таисия.

На вопрос о командировке, который Вера, безусловно, задаст,— опять улыбка, но уже с оттенком грустного сожаления, многозначительная игра глазами и ответ:

— К чему эти мелочи? Командировка, понимаете ли нет, деталь. Что она значит в сравнении с вечностью? Побеседуем лучше о более нежных вещах.

Окончив репетицию, Роман Романыч вышел из дома, приятно взволнованный.

На улице ему казалось, что встречные, особенно женщины, смотрят на него с необычайным интересом, даже как бы с изумлением.

Это доставляло большое удовольствие, и, чтобы продлить его, Роман Романыч не сел на трамвай, а отправился пешком.

Шел, часто переходя с панели на панель, в зависимости от того, где было больше прохожих.

И смотрел на мужчин с милостивой внимательностью, а на женщин и девушек — с горделивой нежностью.

Веру Роман Романыч застал одну.

— Володя скоро придет. Подождите. И мама должна сейчас быть,— сказала Вера.

Роман Романыч прошел следом за нею в комнаты.

Если раньше Роман Романыч испытывал в присутствии девушки неловкость и смущался, когда она обращалась к нему с каким-либо вопросом, то теперь, наоборот, он сам повел непринужденную беседу.

Первый его вопрос «Как течет ваша жизнь молодая?» сопровождался, как и на репетиции, томной игрою глаз, а следующая фраза: «Вы цветете, как чайная роза» — обворожительною улыбкою.

Вообще, он страшно кокетничал: щурился, встряхивал веселыми кудрями, изящно опахивался цветным шелковым платочком, распространявшим запах тройного одеколона.

Говорил нежно и томно:

— Не правда ли, Вера Валентиновна, очень превосходная погода стоит на дворе? Надо будет ее использовать. На острова, например, прокатиться. На лодочке — очень великолепно. Вы, понимаете ли нет, любительница кататься на лодке?

— Люблю,— ответила Вера.

— Я сам большой любитель. Давайте как-нибудь сорганизуемся компанией. А еще в Петергоф хорошо съездить на пароходе. Я ужасно люблю стоять на палубе и вдыхать полной грудью аромат моря. А тут, понимаете ли нет, волны колыхаются. Красота, честное слово. И чайки летают.

Тема о морской прогулке иссякла.

Роман Романыч хотел перейти на разговор о кино. И уже начал:

— Видел нашумевший германский боевик...

Но пришла мать Веры.

Вера заторопилась идти к подруге.

Роман Романыч вышел вместе с нею, надеясь ее проводить, но подруга Веры жила напротив, через площадку лестницы.

В последующие посещения Смириных, по четвергам, Роман Романыч вел себя так же смело и непринужденно.

Стал общительным даже с гостями Смириных, которых раньше сторонился, считая своими соперниками.

Они ему уже были не страшны.

Он верил, что сердце любимой девушки будет принадлежать ему.

Победителем будет он.

Центральный ресторан, где раньше Роман Романыч беседовал с официантами и случайными соседями об инженерстве и Донецком бассейне, он посещал и теперь, когда заменил фуражку инженера фетровой шляпой кофейного цвета, а синий костюм — серым.

И вот как-то в августе он, идя от Смириных, зашел в ресторан.

Был уже поздний час.

В залах — людно и шумно.

Скрипки пели лихорадочно и резко, как всегда в ночное время.

Роман Романыч спустился в подвальный, наиболее уютный и тихий зал ресторана.

Спросил пива и бутерброд с сыром и в ожидании заказанного стал просматривать театральный журнал, заменяющий ему со времени приобретения серого костюма иностранную книгу.

Неподалеку от Романа Романыча сидела шумная пьяная компания.

Сначала он не обратил на нее внимания.

Но когда смолкла музыка, стало слышно, как один из компании говорил:

— Я льстить не умею, но прямо скажу: стоит тебе выйти на эстраду, и публика уже твоя. Что? Неверно?

В ответ что-то заговорили пьяные собеседники.

Тогда Роман Романыч посмотрел в ту сторону, откуда доносился разговор.

Сердце его забилось радостно и испуганно, как тогда, когда он после долгих томительных исканий встретил Веру.

Среди пьяной компании был тот клиент.

Он сидел, глубоко откинувшись на спинку стула.

Лицо его было бледно. Глаза смотрели неподвижно и, казалось, не видели ничего. Растрепанный чуб волос свесился над страдальчески сморщенным лбом.

Вдруг он выпрямился, подался вперед, вскинутая голова вспенила над белым лбом золотистые кудри; морщины исчезли — лицо стало юным.

Он встал, протянул вперед руку и, не опуская ее, заговорил как-то странно, нараспев.

Роман Романыч не мог уловить многих слов, они неслись и качались, как волны.

И казалось, их качала плавно махающая простертая рука.

Шум в зале смолк.

А голос становился громче, звончее. Слова уже не плыли, а рвались, как рыдания. Высоко простертая рука не плавала в воздухе, а металась, вздрагивала, словно раненая белая птица.

И слова — простые, обыкновенные — их уже ясно слышно — были в то же время необычайными в своем сплетении, в судорожном своем трепете.

Они, словно вопли раненого, сжимали сердце и вместе с тем чаровали, как прекрасная музыка.

Роман Романыч, затаив дыхание, не мигая, смотрел на необыкновенного человека в таком же, как у него, костюме. И от мысли, что этот, безусловно, знаменитый артист похож на него так, будто был его родным братом, от этой мысли горделивая ликующая радость охватывала Романа Романыча.

Взметнулся последний крик и замер. Опустилась измученная белая птица.

Отовсюду, из всех углов, от всех столиков, посыпались хлопки и долго дрожали под лепным потолком.

Пьяный голос прокричал несколько раз:

— Браво! Бис!

Но — взвизгнула скрипка, загудел контрабас, загрохотали аккорды рояля.

Над пьяными столиками, над отуманенными головами уже несся фокстрот, ломаясь, кривляясь, назойливо визжа и нагло хохоча в уши, жеманно замирая, вздыхая сладострастно.

Тот был пьян.

Вскакивал с места, натыкаясь на стулья, на столики, стремительно подходил к музыкантам, держа в одной руке бутылку, в другой — стакан.

Потом плакал. Целовался с толстым, бритоголовым (с ним вместе он был тогда в парикмахерской — Роман Романыч узнал толстого) и с другим: невысокого роста, черным, с лицом мальчика, но с глазами пожившего человека.

Толстого он называл дядей Сашей, черного мальчика — Вольфом.

Потом они стали подниматься из-за стола. Задвигались в узких проходах между столиками к выходу.

Тот пошел тоже, но вернулся к столу и снова сел.

Его товарищи, ожидая, остановились у выхода.

А он, наклонясь над столом, водил по нем полусогнутой рукою, точно широко и медленно выписывал что-то по всему столу.

А когда отошел от стола — Роман Романыч, сам не зная для чего, двинулся ему навстречу и пробормотал:

— Извиняюсь, гражданин!

На Романа Романыча в упор глянули синие холодные глаза, а над ними раскинулись, как крылья ласточки, сдвинутые, срастающиеся брови.

— Я, а не ты,— протянул пьяный, ломкий голос.— Понял? Только — я.

— Что-с?— прошептал, сильно смутившись, Роман Романыч.

Брови — ласточкины крылья — вздрогнули над ледяными глазами. Пышноволосая голова вскинулась гордо.

— До-рогу!— стеклом прозвенел голос.

Роман Романыч посторонился. Приподнял шляпу. Простоял, ошеломленный, несколько мгновений.

Затем шагнул к столу, за которым недавно сидел тот.

На столе лежал разрезанный гранат.

И на белой как снег скатерти крупно, почти во весь стол,— имя и фамилия из тщательно уложенных зерен граната, красных и мокрых, словно капли густой крови.

15

АРИЯ ЛЕНСКОГО

Что человек в сером костюме — знаменитый артист, и притом артист оперный, в этом Роман Романыч ничуть не сомневался.

Вспоминая случайную с ним встречу в ресторане, Роман Романыч думал: «Не пел, а вроде как напевал, и то всех прожег до основания. А исполнил бы арию, так на руках бы понесли, даром что в ресторане петь не разрешается».

Вспомнилась и фраза толстого дяди Саши, сказанная им в парикмахерской о своем приятеле: «Он —

чистокровный русак, но такой, что отдай все, да и мало».

Словом, ясно — знаменитый артист.

Тенор, понятно. По голосу слышно.

И Роман Романыч аккуратно каждую неделю прочитывал театральный журнал, надеясь встретить в нем среди имен артистов имя человека в сером костюме.

Но имени его не встречалось.

Искал же Роман Романыч это имя для того, чтобы узнать, где тот поет, и пойти его послушать.

Хотелось сравнить его пение со своим.

Пьяные слова артиста в ресторане, когда Роман Романыч к нему подошел, слова: «Я, а не ты» и «Дорогу», сначала ошеломившие Романа Романыча, были им после долгого размышления истолкованы так: «Артист как чуткая нежная душа почувствовал, что перед ним тоже артист. Стало быть, соперник, конкурент».

Ну и, ясное дело — озлился.

«Я, мол, один только артист. Дай, мол, дорогу».

А на самом деле неизвестно, кто еще лучше споет.

Роман Романыч без всякого образования и без оперной практики, а так поет, что все люди поголовно в восторг приходят.

А если бы ему настоящую школу кончить, так он бы прогремел на весь мир, не иначе.

Словом, встреча со знаменитостью послужила Роману Романычу на пользу. В свой талант певца и свою обаятельность Роман Романыч стал верить больше, чем когда-либо.

И на четвергах у Смириных Роман Романыч, считая себя центром всеобщего внимания, наслаждался своим положением исключительного человека: был развязен, снисходителен, добродушно кокетлив.

С товарищами брата Веры сошелся на короткую ногу, хотя в душе считал себя неизмеримо выше их.

С подругами Веры был ласково-фамильярен, с самой же Верой — сдержан и нежно-учтив.

Любил ее по-прежнему, но от любви не страдал.

Чувствуя себя неотразимым — верил в свою конечную победу над сердцем девушки.

Но ни словом, ни намеком, ни взглядом не давал ей понять, что сознает силу своего обаяния.

Наоборот, когда однажды Вера попросила его написать ей что-нибудь в альбом — Роман Романыч написал так:

«Вы прекрасны, как Снегурочка, но для меня вы растаете, потому что я для вас ни больше ни меньше как нуль».

А подписываясь: «Известный вам Пластунов» и делая прихотливый росчерк (в царской армии он был писарем), самодовольно подумал: «Побольше бы, черт возьми, таких нулей».

Такую скрытую игру он вел по совету Иуды Кузьмича Моторина, специалиста по амурной части.

Рассказав Иуде Кузьмичу, что он любит очаровательную девушку и намерен на ней впоследствии жениться, Роман Романыч, лукавя, польстил приятелю:

— Вот ты, Кузьмич, в таких делах собаку съел. Как ты, понимаете ли нет, на женский пол действуешь? В чем тут секрет?

Иуда Кузьмич, сложив ладони рупором около рта, таинственно прошептал Роману Романычу на ухо:

— Ин-кру-стация.

Подмигнул:

— Понял, где собака зарыта?

Подавился смехом. Затем продолжал:

— Шутки в сторону, как говорят французы. Слушай да на ус мотай! Говоришь — любишь девочку и она соответствует, но пока что любви своей целиком и полностью не выявляет? Та́к-с. Это вполне сверхъестественно. Редкая баба сразу откроется. Надо ждать. Время — деньги, говорят американцы. И они совершенно правы. Выждешь время и выгадаешь. А поспешишь — людей насмешишь, как говорят буры. Так вот, Романыч, совет мой таков: пока девочка себя не обнаруживает, будь с нею ни холоден, ни горяч, а так — чуть тепленький. А как начнет намеки давать: «Дескать, какое вы обо мне составляете самомнение?» или в альбомчик попросит написать — известны ихние бабские подходы,— тут ты немножечко и выявись: «Я, мол, вами очень заинтересован. Вы, мол, очаровательны. Только все это, дескать, ни к чему, ибо я для вас вроде как пустая атмосфера». Такую линию и веди. Станет она больше выявляться, а ты все свое: «Оставьте, мол, достаточно! Пропал я на белом свете, лучше б мне не родиться, а обождать». И все в таком масштабе. Не выдержит. На шею начнет кидаться. А ты все свое. На что хочешь пойдет. Пятки будет лизать, ножки мыть да эту воду пить. Верно тебе говорю.

И еще дал Иуда Кузьмич совет:

— Никогда раньше времени не оказывай перед своим предметом того, что умеешь. Талантов не выявляй. Береги для последнего боя. «Сим победиши»,— говорил Суворов. Скажу, например, о себе. Я, можно сказать, остряк в мировом масштабе, сам знаешь. Ну так вот. Ходил я в одно общество, подсыпался к хозяйской дочке. Так-с. А там тоже объявился остряк. Анекдотики разные, штуковинки забавные отмачивает. А я себя не оказываю. Все хохочут, а я больше всех. Вот хожу я к ним, хожу. И тот балагур ходит. Вижу, девица моя прямо глазами его жрет, а сама тает. «Ну, думаю, пора, Иуда Моторин, карты раскрывать». Начал я им загибать такого Петра Первого с бородой, что прямо очумели. А тот, мой соперник, тоже загибает. Пошел у нас с ним настоящий, можно сказать, шахматный турнир на первенство мира. У обоих чепухи — воз. Гнем и гнем. И вот сморозил он какую-то препотешную историю. А у меня нет ответа. Кончился временный запас. Но я не растерялся. «Ладно, думаю, не мытьем возьму, так катаньем». А дело было на масленой. Беру я, значит, блин, обмазал сметаной. А сам глаза скосил, вот так вот. И блином будто в рот никак не попаду. Мажу себе физию сметаной. Что тут было! Девчонкин отец пивом захлебнулся, матка блином подавилась, а гостья одна, здоровеннейшая, что тетка Таискина, пудов на девять без костей бабища, от смеха свет потеряла: села на старушонку, что рядом с нею на диване помещалась; та под нею чуть не кончается, а бабища от смеха ничего не соображает, давит, толстомясая, бедную старушку, с якоря сняться не может. Старушка, говорят, потом с месяц хворала — толстуха ей что-то повредила. А девица так в меня с того раза втюрилась, что после эссенцией травилась. Сам, поди, слыхал! Так вот что значит, вовремя себя оказать.

Затем Иуда Кузьмич осведомился:

— А ты уверен, что твоя девица реагирует?

Роман Романыч даже изумился.

— А как же! Вот чудак! Определенно реагирует. Обхождение, чарующие взоры, вздохи томления и вообще, понимаете ли нет, чувствуется влечение сердца. Слава богу, не первый день живем на свете. Кое-что в этом деле тоже понимаем.

Под конец Иуда Кузьмич полюбопытствовал — кто избранница Романа Романыча.

А тот, закатив глаза и прижав руки к сердцу, заговорил нежно и мечтательно:

— Ах, Иудушка, милый! Такой девицы ты, ручаюсь, даже и во сне не видал, даром что ты спец в указанной области. Это, понимаете ли нет, это... не девица, а... девиз красоты и небесной грациозности — вот что о ней можно сказать. И еще — плюс: из высшего света общества.

И Роман Романыч для большего эффекта тут же повысил в чинах покойного отца Веры, полковника Смирина:

— Отец ее был заслуженный боевой генерал... от кавалерии.

Но на Иуду Кузьмича это сообщение произвело обратное действие.

Он разочарованно вздохнул и махнул рукою.

— Знаем таких! Была у меня графская дочка. Ну и что же! Две недели с ней прожил — на два года намучился. Я ей про Фому, она про Ерему. Я — про Ерему, она, обратно, про Фому. Бился-бился, насилу отбился. Нет, брат, Романыч! Чем брать из прежних, лучше поискать из настоящих. Вот Таиска твоя, например. Что? По крайности девица с весом: в загривке пуда полтора, а мадам сижу — четыре. Идет — что трактор по синим волнам океана.

Роман Романыч не на шутку рассердился:

— Таиска! Да ты с ума спятил? Скажет же тоже, понимаете ли нет... Ему о божественной красоте, а он... о кобыле... Тьфу!

Роман Романыч ожесточенно плюнул.

А Иуда Кузьмич потрепал его по плечу и сказал наставительно и строго:

— Не плюй в колодец — атаманом будешь!

Кроме альбома, Вера Смирина никаких «намеков» больше не делала.

Роман Романыч снова советовался с Иудою Кузьмичом. Что предпринять? Не сделать ли самому осторожный подход?

Но специалист по сердечным делам замахал руками:

— Не дури! Чего спешишь? Действуй по-американски.

И Роман Романыч действовал: время шло, кончилась зима, прошла пасха.

Впрочем, Роман Романыч был пассивным не только из-за советов Иуды Кузьмича.

Главная причина того, что он не предпринимал решительных шагов на пути к завоеванию сердца девушки,— это его профессия.

Как ни сильна была уверенность в своей обаятельности, как ни надежна броня против неудач — серый костюм, но мысль о том, что в случае согласия Веры на брак — а в согласии ее Роман Романыч был уверен — придется открыть свою профессию,— эта мысль приводила Романа Романыча в смущение и уныние.

Правда, когда сама любовь заставит девушку броситься в объятия возлюбленного, тогда никакие профессии не будут иметь ни малейшего значения.

Известно — с милым рай и в шалаше.

Но кто может сказать, когда дело дойдет до шалаша. Да и дойдет ли?

Есть такие женщины — сто лет любить будет и не откроется. И умрет — не скажет.

Вот тут и жди шалаша.

Так, вполне логично, рассуждал Роман Романыч.

И каждый четверг, идя к Смириным, думал о том, что если подвернется удобный момент, то можно объясниться с Верой.

А четверги у Смириных стали более оживленными, чем раньше.

Кто-то, вернее всего писатель, безнадежно влюбленный в Веру, завел моду приносить с собою водку.

С его легкой руки и другие гости делали то же.

Происходили складчины, затем попойки.

Мешали водку со сладким вином и называли эту смесь непонятным словом «квик».

Трезвым писатель бывал тих и нерешителен, пьяный — преображался: становился надоедливо-болтливым, без конца читал на память стихотворения, плясал «Русскую», плакал, грубо ругался.

Гости фокстротировали. На пианино играл некто Николай Иваныч.

О нем говорили, что он сам сочиняет фокстроты и даже написал оперу.

Пели хором.

Роман Романыч в пении не участвовал. Следуя совету Иуды Кузьмича, он не обнаруживал пока что своего таланта.

К тому же из всех песен, что пелись у Смириных, он знал всего одну: «Вот на пути село большое». И то не всю.

Приятели брата Веры были с Романом Романычем, как и он с ними, ласково-фамильярны.

Называли его не по имени и отчеству, а просто инженер. При встречах спрашивали:

— Ну, инженер, как живем?

— Живем, понимаете ли нет, великолепно,— отвечал Роман Романыч.

— А в шахты скоро полезем?

Роман Романыч лукаво усмехался:

— Без нас, понимаете ли нет, дело обойдется.

Однажды во время подобного разговора Роман Романыч заметил, что Вера пристально на него смотрит.

Роман Романыч был слегка пьян.

Улучив удобный момент, он подошел к Вере и заговорил:

— Все инженер да инженер. А в действительности никто не знает, кто я такой есть. А я, понимаете ли нет, вовсе и не инженер.

— Я в этом и не сомневаюсь,— спокойно сказала девушка.

И, насмешливо улыбаясь, спросила:

— Только для чего вы носили фуражку инженера? А визитная карточка?

Роман Романыч лукаво засмеялся.

— Это, понимаете ли нет, просто-напросто милая шутка. Скажу только вам, Вера Валентиновна, по секрету. У меня есть приятель. Тоже большой шутник. Он — горный инженер и тоже — Роман Романыч и, представьте, даже и фамилия Пластунов. Прямо, понимаете ли нет, удивительно. Одним словом, игра природы... Так вот, карточка-то визитная не моя, а евонная. Я у него ее взял. И фуражку. «Сыграем, говорю, тезка, веселую комедию. Я буду вроде инженер, а ты, наоборот, певец оперный».

— Почему певец? Разве вы артист оперы?— спросила Вера.

— К сожалению, да,— кокетливо улыбнулся Роман Романыч.— Я и не в Донбасс тогда ездил-то, помните?

А в Москву, на гастроль. Пел в опере «Заря востока»... Персидского царя представлял...

Вера вздохнула:

— Вас не разберешь, кто вы такой. Самозванец какой-то!

Этот разговор слышала Тамара Чертенок.

Она поспешила в соседнюю комнату, где уже разливали «квик», и зашептала:

— Слушайте, слушайте! Роман Романыч признался, что он не инженер.

— Это и без него всем известно,— перебил ее брат Веры.

— Нет, вы слушайте! Оказывается, он — оперный артист,— продолжала, смеясь, Тамара.

Но в комнату вошел Роман Романыч. Разговор прекратился.

— Уважаемые граждане и уважаемые гражданки! Внимание! В будущий четверг знаменитый первый тенор Пластунов, понимаете ли нет, в своем репертуаре. Просьба не опаздывать.

Несколько секунд длилось молчание.

Затем брат Веры протянул Роману Романычу стакан:

— По этому случаю, инженер, надо квикнуть.

А в соседней комнате Вера и Чертенок затыкали рты платками. Плакали от смеха.

А на другой день Роман Романыч перебирал у Иуды Кузьмича граммофонные пластинки и укоризненно вздыхал:

— Эх, Кузьмич, Кузьмич! Любитель ты пения и поешь, можно сказать, все-таки прилично, а ничего серьезного не имеешь, все, понимаете ли нет, «Ванька Таньку полюбил» да «Голова ль ты моя удалая». Разве это репертуар?

— А я бы на твоем месте исполнил «Бубенчик» да «Турка», ну а если мало — еще что-нибудь,— заметил Иуда Кузьмич.

— Не понимаю, понимаете ли нет,— закричал Роман Романыч, чуть не плача,— как можно так легкомысленно относиться к серьезным вопросам! «Звени, бубенчик мой, звени»— моя коронная роль. Значит, ясно и понятно, что я исполняю ее на бис. А что для начала? «Турка»? Благодарю покорно. Там писатели, понимаете ли нет, музыканты, интеллигентные дамы и девицы, а я с «Туркой» выступлю. Я, понимаете ли

нет, жизнь ставлю на карту и вдруг — какой-то «Турок». Тут арию нужно обязательно, а не ерунду.

— Ну успокойся, вот тебе ария,— сказал Иуда Кузьмич, разыскав пластинку, лежащую отдельно от прочих,— вот ария Ленского, мужичка смоленского, «Куда, куда вы удалились»— в пивнушку, что ли, закатились.

И он так затрясся от смеха, что чуть не уронил пластинку.

Роман Романыч испуганно выхватил ее из рук Иуды Кузьмича.

Шесть вечеров Роман Романыч разучивал с граммофона арию Ленского.

Мелодии он всегда улавливал быстро, но слова запоминал с трудом.

Из-за этого теперь волновался, нервничал. Ругал Иудин граммофон.

— Черт его знает, что за проклятый инструмент! Слова выражает неясно, хрипит. Переврешь еще из-за него.

— И переврешь, так не беда,— возражал Иуда Кузьмич.— Думаешь, артисты не врут? Еще, брат, как! Ведь артист, может, в ста операх выступает. Так неужели всех их и помнит? Ведь у него, слава богу, не дюжина голов.

Роман Романыч снова кипятился.

— Чудак же ты, Иуда, шут тебя знает! Театр и домашняя обстановка — две большие разницы. В театре, понимаете ли нет, первым долгом — суфлер. Чуть забыл — он напоминает. А партитура? Да и вообще, все там к твоим услугам. И рампа, и все. А тут все в голове держи. За все, понимаете ли нет,— отвечай.

Но в конце концов со своей задачей Роман Романыч справился блестяще.

Накануне выступления он устроил у Иуды Кузьмича репетицию.

На репетиции Роман Романыч перещеголял даже граммофон.

Пел с большим чувством и выражением.

Не только пел, но и играл.

Так, например, при словах: «В глубокой мгле таится он» Роман Романыч, хмуря брови и оскаливая зубы, отчего лицо принимало злое и коварное выражение, делал несколько хищных шагов, так что похоже было, что это крадется ночной злодей.

А когда пел: «Паду ли я, стрелой пронзенный», схватывался за грудь и шатался как раненый. И лицо выражало смертельную муку.

Иуда Кузьмич, изрядно подвыпивший, целовал приятеля, называя его талантом, светочем.

— Ромка, выпьем за твою победу! Завтра ты себя окажешь. Ока-жешь, верь моему слову. На свадьбу, смотри, позови.

Роман Романыч, плача от счастья, говорил, захлебываясь:

— Спасибо, друг Иудушка! Теперь я себя окажу. Чувствую, что окажу. Время настало. Только до ейного сердца добраться, а потом можно и всю правду выложить. Потом — не страшно. Верно, Кузьмич, дорогой?

— Правильно. Завтра окончательно пронзишь ейное сердце. «Сим победиши» — знаешь, по-суворовски. А уж там бери и веди хоть на Северный полюс, а не только в парикмахерскую.

— Хоть легонький аккомпанементик! Жаль, понимаете ли нет, не захватил партитуру.

— Ладно. Сегодня как-нибудь, а завтра — блины.

Николай Иваныч тронул клавиши.

Народу было значительно больше, чем обыкновенно бывало у Смириных, но Роман Романыч не смущался.

Наоборот, чувствовал необыкновенный подъем духа.

Голос его зазвучал уверенно:

> Куда, куда, куда вы удалились,
> Весны моей златые дни?

Видел серьезные, внимательные лица. Заметил, как брат Веры одобрительно кивнул головою.

Роман Романыч встретился глазами с Верою.

И жарко, словно из самого сердца, полился его голос:

> Что день грядущий мне готовит?

И еще жарче и проникновеннее:

> Чего мой взор...

Но вдруг Тамара Чертенок шумно сорвалась с места и, хохоча, выбежала из комнаты. А следом за нею — Вера.

И Николай Иваныч, опустив крышку пианино и откинув голову, долго и тихо смеялся, повторяя сквозь смех одну и ту же фразу:

— Тяжелый случай.

У Романа Романыча задрожали руки и колени, а внутри стало неприятно пусто.

Он сел на диван и непонимающими глазами окидывал присутствующих.

Но те старались не встречаться с ним глазами.

«В чем дело?»— тоскливо думал Роман Романыч.

И вот писатель, сидевший с закрытыми глазами и, казалось, дремавший, поднял голову и обратился к брату Веры:

— Ну, Володенька, номер! Уж каких чудаков у тебя не перебывало, а этот всех хлеще. То он инженер, то тифлисскую газету «Заря Востока» на оперу перекладывает и играет в ней персидского царя. А теперь вот «чаво» загнул.

Перевел мутный, пьяный взгляд на Романа Романыча и сказал зло и грубо:

— Ну, «чаво»! Пой, смеши людей, коли взялся. Артист!

16

МОСТ

Роман Романыч запил.

После рокового четверга он пошел к Иуде Кузьмичу поведать свое горе.

Застал приятеля пьющим в компании двух женщин и трех мужчин. Ни с кем из них Роман Романыч не был знаком.

Иуда Кузьмич был уже в солидном заряде.

Пока Роман Романыч здоровался с ним и знакомился с его гостями, Иуда Кузьмич уже успел дважды чему-то посмеяться и дважды произнести: «Спаса нет».

А когда Роман Романыч на его вопрос: «Ну как, лорд, делишки на счет трудкнижки?»— уныло ответил:

— Все мои радужные надежды, понимаете ли нет, рухнули. Остался я, короче говоря, с носом,— Иуда

Кузьмич прыснул, захлопал в ладоши, словно чему-то чрезвычайно радуясь, а затем, касаясь поочередно груди каждого из сидящих за столом, захлебываясь и чуть не валясь со стула от смеха, заговорил:

— Шла японка с длинным носом, подошла ко мне с вопросом: «Как избавить этот нос, чтобы больше он не рос?» Я японке отвечаю, головой притом качаю: «Очень глупый ваш вопрос. А на что же купорос? Вы купите купоросу, приложите его к носу, а потом, потом, потом отрубите топором».

Иуда Кузьмич долго и мучительно смеялся сквозь крепко сжатые зубы.

Изнемогая, прошептал:

— Спаса нет!

А затем, обратясь к Роману Романычу, сказал:

— Ты, Ромка, не обижайся! Это просто к слову пришлось. Ребятишки у нас на дворе так считаются, когда играют. Понял? А забавно все-таки. Топором, а?

Он снова было заржал, но сдержался.

Роман Романыч, видя, что с Иудой Кузьмичом в настоящую минуту говорить о серьезных вещах более чем когда бы то ни было бесполезно, решил залить горе вином и присоединился к выпивающим.

С этого раза он стал ежедневно по вечерам приходить к Иуде Кузьмичу с предложением составить компанию.

Иуда Кузьмич, способный пить во всякое время дня и ночи и при любых обстоятельствах, без лишних слов принимал предложения приятеля.

Пили когда где: в квартире Иуды Кузьмича, в пивных и ресторанах.

Напиваясь, Роман Романыч забывался. Тоска утихала.

Но по утрам, после пьянства, тоска усиливалась. А кроме того, появлялось чувство угнетенности, тревоги и неопределенного страха.

Однажды Роман Романыч и Иуда Кузьмич зашли в тот самый ресторан, где когда-то Роман Романыч встретил клиента в сером костюме.

Было еще рано. Часа четыре дня.

Музыка не играла. Посетителей было немного.

Тишина пустынных зал, пустые эстрады, небьющий фонтан, в бассейне которого, в темной воде, неподвижно мокли лепестки мертвых цветов и окурки; чахлая, словно неживая, запыленная зелень вокруг бас-

сейна — все это напоминало позднюю осень, умирание, навевало тоску и усталость.

Чтобы утихла тоска, Роман Романыч выпил подряд две рюмки. В голову ударило, но тоска не проходила.

А Иуда Кузьмич был, как всегда, весел.

Смотрел смеющимися глазами на официантов и посетителей. Выпивая, крякал и говорил:

— Первая — колом, вторая — соколом.

Подмигивал:

— А ты, Ромка, не вешай голову, не печаль хозяина. Пей, пока пьется,— все позабудь!

Связался с мальчишкою-газетчиком. Задал ему загадку: «Без окошек, без дверей — полна комната людей».

— Угадаешь — двугривенный огребешь.

Мальчишка несколько секунд напряженно думал, краснея до волос, сопя широким носом.

Выпалил с торжеством:

— Тюрьма. Ага!

Иуда Кузьмич захохотал, ткнул вилкою в огурец.

— Чудак! Огурец, а ты — тюрьма.

— Какие же в огурце люди? Сам ты чудак,— обиделся мальчишка и отошел от стола.

— Разрешите получить, граждане! Сейчас сменяюсь,— сказал подошедший официант.

Приятели расплатились.

Затем Иуда Кузьмич подозвал нового официанта.

— Тут, друг ситный, все в порядке. А теперь дай парочку пива, чтобы жить не криво!

Он подхохотнул, подмигивая.

— Слушаю,— улыбнулся официант.

И вдруг обратился к Роману Романычу:

— Здравствуйте, гражданин! Я вас было не признал. Давненько не были-с.

Роман Романыч недоумевающе посмотрел на официанта, а тот продолжал:

— Никак с прошлого года. С осени. Ну да-с. Вы еще тогда за тем вот столиком расписались. Помните? Семечками от этой, как ее, от гранаты.

Роман Романыч вздрогнул, а Иуда Кузьмич хохотнул:

— Значит, знакомы. Товарищи по несчастью.

— Кто же не знает гражданина...

И официант назвал фамилию, от которой Роман Романыч опять вздрогнул, а Иуда Кузьмич сморщился и оскалил сжатые зубы.

А когда официант ушел, он затрясся от смеха:

— Спаса нет, Ромка! Как он тебя назвал-то, а? Потеха. Знакомые. Друзья с полночи.

Роман Романыч еще не успел ничего ответить, как к столу подошел человек и остановился около самого Романа Романыча.

Роман Романыч взглянул на подошедшего и узнал в нем, толстом и бритоголовом, приятеля клиента в сером костюме.

«Дядя Саша»,— подумал Роман Романыч, смущаясь и чему-то радуясь.

А тот бесцеремонно придвинул стул к столу и грузно сел.

Роман Романыч молча, выжидающе смотрел на него, а Иуда Кузьмич, оскаливаясь и осторожно подмигивая, толкал под столом своей ногой ногу Романа Романыча.

Дядя Саша глубоко вздохнул.

Улыбнулся жалко и вместе насмешливо, слегка выпячивая нижнюю губу.

И, не спуская глаз с Романа Романыча, заговорил сипловатым, но звучным голосом:

— Похож. Замечательно похож. Действительно, можно обознаться.

Вдруг схватил руку Романа Романыча пухлой горячей рукою, задышал пивом:

— Похож. Но не он. Его нет. Слышите? Нет его больше.

Задышал тяжело, словно поднялся в гору.

Продолжал жалобно, как будто собирался заплакать:

— Умер этот великий человек. Умер страшной... трагической смертью.

— Как? Убили?— прошептал, пугаясь, Роман Романыч.

— Сам себя убил... Сам... Не в этом дело.

Дядя Саша снова схватил руку Романа Романыча и, все сильнее волнуясь, зашептал плачущим голосом:

— Нет его! Нет! Понимаете? И не явится взамен его никто. Вот в чем дело. Ник-то!

Лицо его исказилось мучительной гримасою.

Маленькие, заплывшие глазки остро впились в лицо Романа Романыча.

— Понимаешь,— продолжал он, переходя на «ты».— Не будет другого. Второго Пушкина — нет. Лермонтова кто заменил? И его не заменят. Отзвучала нежная скрипка. Скрипка умерла. Понимаешь? Скрипки больше нет.

«Музыкант,— подумал о приятеле дяди Саши Роман Романыч,— заслуженный скрипач филармонии».

— Отзвучал его необыкновенный голос,— продолжал дядя Саша.— Умолк певец, и замолчала лира.

«Певец»,— подумал Роман Романыч, и сердце его сладко замерло.

Он нетерпеливо зашевелился на стуле и смущенно начал:

— Извиняюсь, гражданин...

Но дядя Саша выкрикнул, и по голосу его было слышно, что он крепко пьян:

— Он ошибся!

И уже тише:

— Он не те песни пел. Новые люди — новые песни. А у него не было новых. А надо новое, новое и только новое. В нашу эпоху — вчерашнего не существует. В нашу эпоху каждый день — эпоха. И еще: надо уметь и любить, и ненавидеть. Это старая истина. А что-нибудь одно — нельзя. Иначе тюрьма, более страшная, чем каменные замки и крепости. Тюрьма собственного одиночества. Выход из нее только...

Дядя Саша провел ребром ладони вокруг шеи.

— Вот... Или с моста — в воду.

Он усмехнулся и указал пальцем на графин:

— Или — вот. А это — та же петля.

— Извиняюсь,— опять начал Роман Романыч, но дядя Саша слегка дотронулся рукою до его плеча.

— Одну секундочку. Я говорю все это вам, как это ни странно, потому что вы похожи на него. И не только лицом и волосами...

Он пристально посмотрел на волосы Романа Романыча и раздумчиво продолжал:

— Даже пробор, как у него. С правой стороны. Это редко бывает у мужчин.

Встряхнул головою и расширил глаза, точно борясь с дремотой.

— Да... Не только, повторяю, лицом... А костюм? А шляпа? Это же ваша шляпа?

— Моя,— опустил глаза Роман Романыч.

— Ну вот... Я и говорю... Он избрал себе сценою мир. Но не вышел к людям, а остался за кулисами. В гриме, в костюме, но за кулисами, перед зеркалом. И от зеркала так и не отошел. И не разгримировался. Занавес опущен. Значит, грим, костюм, бутафорию — прочь. Иди к людям. Узнай их. Полюби и возненавидь. Возненавидь и полюби — иначе нельзя. А не стой перед зеркалом. Не плачь под гитару, под гармонику. И не люби только лошадей и собак. А он, к голосу кого, затаив дыхание, с перебоями сердца прислушивались люди, не любил людей. И поэтому был одинок. Он, которого знал весь мир, был одинок. От нелюбви одинок. Добровольно одинок. А разве так можно? Если не любовь, то тогда что же? Любовь — жизнь... А он не мог. Он одинокий был. Даже во внешности его, в заграничном его костюме, в американской палке и в такой вот шляпе — во всем этом чувствовалась эта одинокость, обособленность, не нужная никому. И даже ему...

Дядя Саша опустил голову и замолчал.

Роман Романыч воспользовался паузой:

— Извиняюсь... Ведь они... ваш товарищ покойный были... оперный?

Дядя Саша поднял голову, брезгливо поморщился.

— Какой оперный? Он же не был актером. Ты — его двойник и не знаешь, кто он был. Костюм, шляпу носишь, как у него, и не знаешь, кто — он...

Дядя Саша поднялся, шумно отодвигая стул:

— Довольно! Не желаю метать бисера. Адью...

Иуда Кузьмич подмигнул ему вслед.

— Кланяйтесь нашим, когда увидите своих!

Роман Романыч взялся за шляпу.

— А ты куда?— удивился Иуда Кузьмич.

— Домой. Дело есть.

— Брось! Я же еще пару заказал. И музыка уже пришла. Оставайся. Чего ты?

Но Роман Романыч отрицательно мотнул головой и подал приятелю руку.

Глаза у него были совсем трезвые.

Роман Романыч шел быстро.
Сердце билось учащенно. Но был спокоен. Голова ясна.
Думал только об одном: «Надо переодеться».
Оставаться в таком, как у того, костюме нельзя.
Надо как можно меньше быть на него похожим.
Старался не смотреть на встречных.
Казалось, что все глядят на него с удивлением, чуть не со страхом.
Вспомнив, что хотел недавно продать синий костюм, подумал: «Хорошо, что не продал. Этот продам».
С моря дул сильный ветер.
Прямые твердые поля шляпы вздрагивали от ветра.
«Шляпу тоже не надо»,— подумал Роман Романыч, всходя на мост.
Мост — длинный, с четверть версты, высокий. Середина — как холм.
На мосту ветер дул сильнее. Было трудно идти.
Пешеходы, наклонив головы, крепко придерживали головные уборы.
Сильный порыв ветра чуть не сорвал шляпу с головы Романа Романыча.
Он придержал шляпу, но сейчас же отнял руку.
Остановился у перил. Нагнул голову, потряхивая ею.
Шляпа все слабее держалась на голове.
Сильнее потряс головою.
Подумал, даже вслух сказал: «Сейчас».
Ветер сдернул шляпу.
Роман Романыч пошел. Не посмотрел, как шляпа долетела до воды.
Оттого ли, что непокрытую голову освежал ветер, мысли стали яснее и спокойнее.
Встретилась девушка. Чем-то напомнила Веру.
Потом вспомнился последний позорный четверг у Смириных.
Мысль о том, что Веру не придется больше видеть, не пугала, не нагоняла тоски, как все это время.
Подумал: «Разве она — одна? Можно еще много встретить прекрасных девушек».
Вспомнились слова дяди Саши: «В нашу эпоху — вчерашнего не существует».
Стало совсем легко.
Пошел еще быстрее.

Ветер трепал кудри, то взбивал их над лбом, то сбрасывал на глаза.

Роман Романыч поминутно откидывал их со лба.

И вдруг подумалось, что волосы делают его особенно похожим на того клиента в сером.

«Даже пробор на правой стороне»,— как говорил дядя Саша.

К себе в магазин Роман Романыч пришел переодетым в толстовку и синие брюки.

Алексей только что отпустил единственного клиента.

— Ну-ка, Алеша,— сказал Роман Романыч, садясь в кресло, перед зеркалом,— пока свободен, сними-ка, понимаете ли нет, мою шевелюру. Волос страсть как лезет. Бритвою, понимаете ли нет, лучше всего. Наголо.

Далее Роман Романыч видит в зеркало, как Алексеева машинка оставляет среди густых волос дорожку за дорожкою. Ряд за рядом, как скошенная рожь, уныло падают тяжелые пряди золотистых волос на грудь, прикрытую белым пеньюаром, с груди — на колени.

Движением колен Роман Романыч сбрасывает их на пол.

И ему становится необычайно радостно.

Такую необычайную радость он испытывал давно, еще мальчиком.

Тогда он только что перенес серьезную болезнь: скарлатину или дифтерит.

Тогда все, что видел, слышал, казалось новым, необыкновенным, радостным.

Чахлый городской сквер с десятком деревьев и пыльной травой, в котором он и раньше сто раз бывал, после болезни поразил его.

Он ходил в нем, как в сказочном лесу.

А вечером, когда сад закрылся, мальчик перелез через ограду и с бьющимся от страха и радости сердцем срывал единственные цветы захудалого сквера — кашку.

Вспомнив теперь о кашке, Роман Романыч сказал Алексею:

— Завтра — праздник. Поедем сегодня, понимаете ли нет, за город. С ночевкой. На вольный воздух. Чего тут киснуть? Покупаемся, на солнышке пожаримся.

Добавил тихо, мечтательно:

— Цветов, понимаете ли нет, наберем.

1929

ИГАРСКИЙ БАЛОК

Полярная быль

Участник недавней Карской экспедиции, корреспондент одной из московских газет, делясь со мною впечатлениями от поездки, рассказывал между прочим о порте Игарка (на реке Енисее, в Туруханском крае).

— Я не по своей воле с 1910 по 1913 год жил в Туруханском крае; несколько раз бывал и в станке (селении) Игарка.

В те годы, при царе, в Игарке было всего два дома, принадлежавшие мелкому торгашу Суркову или Сушкову.

А теперь Игарка — порт!

Я спросил участника Карской экспедиции:

— Кто первый житель Игарки? Так сказать, ее основатель?

На это он небрежно ответил:

— Вероятно, какой-нибудь туземец, по имени — Егорка.

Но если бы московский корреспондент был более любознательным, то туруханские старожилы рассказали бы ему занятную, страшную и романтическую историю о первом игарском жителе, не Егорке, а Степане Середе, убийце, каторжнике и палаче.

Это было в 90-х годах. Тогда политических ссыльных было мало в Туруханском крае. Были преимущественно уголовные, отбывающие после каторги поселение, и лишенцы или общественники, то есть высланные по постановлению сословия, к которому они принадлежали.

Царем и богом дикого тогда Туруханского края был пристав, он же наместник края и он же судья, Беневский.

Царское беззаконие и произвол особенно ярко олицетворились в этом диком, сумасшедшем человеке.

Беневский ездил на людях, как на лошадях, в буквальном смысле слова (впрочем, это производили в Туруханском крае и до него, и после полицейские и чиновные власти), ямщиков, даже несовершеннолетних и любого пола, Беневский бил плеткою, выбивал зубы. «Везти» Беневского считалось страшным несчастьем, при Беневском, и только при нем, мог безнаказанно творить зверства купец Сотников, прозванный инородцами Ло́ндуром (то есть человек-зверь), отрезавший должникам носы и уши. И Беневский однажды ударом шашки отсек ухо восьмидесятилетнему крестьянину.

Впоследствии за отрезанные уши, за езду на людях, за выбитые зубы и Беневского, и Сотникова постигла кара: спящего зверя-пристава зарубил топором пятнадцатилетний его лакей и любовник, крестьянский мальчик; Сотникова убил его работник-якут.

Так вот, в страшную эпоху правления Беневского в Туруханский край прибыл, отбывший срок каторги, убийца и каторжный палач Степан Середа, родом из Белой Церкви, Киевской губернии.

Сопровождали Середу его жена и теща.

Зверь Беневский отнесся к палачу снисходительно. Рыбак рыбака видит издалека.

Он предложил поселенцу по доброй воле избрать местожительство.

Середа поехал искать себе подходящее место.

В станках, с людьми, он почему-то жить не захотел и поставил землянку на высоком левом берегу Енисея, далеко за Северным полярным кругом.

А вскоре выстроил и избу.

А затем как-то быстро приобрел лодку, ружье, рыболовные снасти, то есть все необходимое для местного жителя.

Туруханцы говорили, что Середа изготовлял и сбывал фальшивые деньги.

По их мнению, он потому и не захотел жить в деревнях, вместе с людьми.

Возможно, это так и было.

Во всяком случае, Середа вскоре по приезде стал процветать: завел мелкую торговлю разным товаром

и более крупную — спиртом, нанял в работники остяка. Словом, зажил припеваючи.

А кроме торговли и местного промысла Середа занимался еще промыслом «повсеместным» — игрою в карты, для чего специально ездил в тундру в тунгусские чумы и в соседние станки.

Этот промысел давал Середе по-видимому наибольший доход.

Брал он проигрыши и деньгами, и натурою: пушниной, оружием, порохом, дробью, съестными припасами, одеждою.

Однажды выиграл у урядника револьвер (не казенный, а лично принадлежащий уряднику); другой раз приобрел, также посредством игры, бало́к.

Балок — это нечто вроде кибитки, но защищен балок от ветра и холода со всех сторон; стенки его и верх — из оленьих шкур в несколько рядов — холода почти совсем не пропускают; в сильные морозы можно находиться в балке без верхней одежды; балки — не особенно высоки, в них можно только сидеть и лежать; залезать в балки надо через маленькую дверцу, которую затем можно закрыть изнутри на задвижку или на крючок.

Своим приобретением Середа очень гордился.

В то время в Туруханском крае было балков очень мало: у пристава, у миссионера-попа, у катехизатора и у двух-трех купцов.

Середа выиграл балок тоже у купца. Купец Далуцкий много раз за хорошие деньги пытался выкупить у Середы бало́к, но Середа никак не хотел с ним расставаться.

В нем же Середа страшно окончил свою жизнь.

Было так. В край прибыли поселенцы, бывшие каторжники — Поддубный, Дубенецкий и Глинка.

Все трое — родом из Белой Церкви, земляки Середы, вместе с ним были и на каторге.

Всех троих связывало кошмарное преступление: Поддубный заподозрил или уличил свою жену в измене и, при соучастии своих друзей Дубенецкого и Глинки, наказал изменницу: забил деревянный клин несчастной женщине пониже живота.

Прибывшие трое поселенцев не понравились приставу Беневскому.

Они были неуважительны и грубы, изъяснялись исключительно на каторжном диалекте.

— Я вас пошлю туда, где вы жизни не рады будете,— посулил им пристав.

— Дальше солнца не пошлешь,— ответил за всех Поддубный.

По описанию туруханцев, Поддубный — чистый «варнак» (разбойник): глаза у него были «кровяные», усы висели до самой груди.

Беневский сдержал обещание: отправил поселенцев к Середе, в нынешнюю Игарку, причем послал ему, все равно как своему стражнику, предписание, в котором говорилось, чтобы он, Середа, «утихомирил» всех троих и держал их в ежовых рукавицах.

Недавний палач не постыдился земляков и, хвастая, показывал им приставское письмо.

Надежды Беневского Середа оправдал: сделал жизнь землякам второй каторгой.

Лишенные всяких жизненных средств, Поддубный, Дубенецкий и Глинка вынуждены были работать на Середу, за что получали жалкие объедки с его стола. Одежда, которую он им дал, когда наступили холода, была настолько плоха, что все трое еще до наступления настоящей зимы поморозились.

За леность, непослушание, дерзость, а иногда и ни за что Середа жестоко избивал своих земляков и товарищей по каторге.

На стороне Середы были все шансы: физическая сила, которой он в высшей степени обладал, оружие, работник-остяк, такой же дикий и сильный, как Середа, и преданный ему как собака. Главное же: поддержка пристава, и вообще полиции, и источники существования, находящиеся в его руках.

С осени до весны, в мучениях голода и холода, часто избиваемые, прожили Поддубный, Дубенецкий и Глинка у страшного своего земляка.

Однажды, избивая провинившегося в чем-то Дубенецкого, Середа, в припадке гнева, выстрелил в него из выигранного от урядника револьвера.

Привезенный в город Туруханск в больницу раненый стал жаловаться приставу на самоуправство Середы, но Беневский, прервав его жалобы, спросил:

— Куда ранен?

— В грудь, ваше благородие, в самую грудь,— ответил Дубенецкий.

— Жаль, что не в самую голову,— сказал пристав и не стал составлять протокола по поводу происшедшего.

Дубенецкий выздоровел, но начал чахнуть. Он был ранен навылет в левое легкое. Пристав снова отправил его к Середе.

Разговор пристава с Дубенецким дошел до Середы. Жизнь Поддубного и его товарищей стала еще невыносимее. Середа широко пользовался правом безответственности, данным ему приставом. Для земляков он ввел настоящий каторжный режим и играл в домашней каторге роль начальника. Разговаривая с ним, земляки должны были держать руки по швам, при входе его в лачугу, где они помещались, они должны были вставать и стоять «навытяжку». Издевались над ними и жена Середы, и его работник.

Последнему Середа не раз говорил:

— Ежели что заметишь — бей в голову. Я отвечаю.

Положение Поддубного и товарищей было безвыходным. Бежать некуда: «наниз» (то есть вниз по Енисею), к Ледовитому океану,— безумие, «вверх», к Туруханску,— схватят стражники, в глубь берега, в тайгу,— опять гибель.

Единственно, что можно было сделать, это — убить Середу. Но это уже только месть, а не спасение. После этого — опять каторга.

Но лучше каторга, чем такая жизнь,— такое мнение особенно поддерживал Дубенецкий, пострадавший от Середы больше других: он харкал кровью.

Приступать к действиям земляки пока не решались, но уже таили где-то добытые или самодельные ножи.

А Середа, как бы нюхом зная об их замысле, усилил бдительность.

Приближаясь к землякам, он уже не командовал, как раньше: «Руки по швам!», а «Руки вверх!» Затем работник обыскивал их.

На ночь, по приказанию Середы, работник связывал всех троих и спал с ними в их лачуге.

Но все эти меры не помогли.

Весною, когда открылась вода и пришел из Енисейска первым рейсом пароход «Туруханец», привезший в край вместе с «легальными» продуктами и тайный — водку, участь Середы была решена.

Середа грузил на пароход пушнину, рыбу и дрова, перевозил с парохода продукты и, конечно, спирт

и вино; к нему, кроме того, наехали знакомые, в том числе и бывший владелец балка купец Далуцкий, играть в карты.

За хлопотами Середа не заметил, как исчезли трое его земляков.

Они вместе с ним грузили на пароход его товар и перевозили купленный им с парохода на берег и както вот исчезли. И унесли с собою две бутылки спирта, принадлежащие Середе.

Гости Середы, в частности и Далуцкий, впоследствии рассказывали, что исчезновение земляков Середы подействовало на него сначала удручающе: он прямо высказал мысль, что Поддубный и товарищи что-нибудь затевают против него, и не верил, что они удрали на пароходе.

— Куда им бежать? Что они, сами не понимают, что ли? Все равно же их пригонят ко мне.

Унесенный земляками спирт также убеждал Середу в том, что они ушли недалеко, на время.

— Для храбрости им нужен спирт...

Середа нервничал и играл плохо. Жена открыто выражала свою досаду и несколько раз, увлекшись и не замечая игроков, чуть не показывала ему, как надо передергивать, но вовремя спохватывалась.

В этот день Середа был в большом проигрыше. Первый раз за все время пребывания в Туруханском крае.

К ночи он напился, и состояние его стало бодрым.

Об исчезнувших земляках он говорил:

— Никуда не денутся. Мои будут. Не сегодня завтра Казимир Ромуальдович их мне доставит.

По-видимому, опьянев, он верил в то, что «враги» уехали на пароходе.

А гости, вероятно, все-таки опасались остаться у Середы. Ночью они все уехали на прибывших за ними лодках.

Берега огласились пением и криками гармоник.

Звуки эти послужили невольным сигналом таившимся невдалеке в лесистых берегах Поддубному и двум его товарищам.

Еще чернели вдали, на далеко видной поверхности реки, точки уплывших лодок, а пьяный работник Середы был разбужен грозным шепотом:

— Где хозяин, говори?

Три ножа блеснули перед сонными глазами остяка.

Он клялся, что не знает,— они его душили, резали и жгли огнем. Весь пол в избе был залит кровью. Пахло жженым мясом. Наконец остяк уже не отвечал ни слова.

Та же участь постигла и тещу Середы. Но она тоже ничего не знала.

Старая ее кровь смешалась с кровью богатыря-остяка.

Поддубный и его двое друзей тихо, без сапог, рыскали по всем закоулкам.

Зверь спрятался, притаился, но он — жив, он, может быть, следит за ними.

Недаром исчезли ружья: и его, и остяка.

И они, выйдя из дома, не шли, а ползли. Боялись неожиданной пули врага. И дрожащий от гнева и неудачи длинноусый Поддубный клялся шепотом, что выпустит себе кишки и выбросит их в Енисей.

Он жаждал крови, хотя бы это даже была его собственная кровь.

Но вот ползущий впереди Глинка шепнул, указывая пальцем на стоящий балок:

— А не там?

И все как-то сразу вспомнили, что Середа, нередко даже вместе с женой, спал в балке.

Совсем бесшумно, не дыша, подползли к балку и притаились, стараясь не проронить ни единого звука.

И вдруг в балке что-то зашевелилось, проворчал сонный голос. И сразу же, как по сигналу, воткнулись в кожаные стенки балка три ножа. Выдернулись, опять воткнулись. И опять. И опять...

Раздался дикий, заглушенный меховыми стенами женский крик:

— Степан! Ай!

А ножи втыкались, выдергивались. Опять втыкались. Из балка — выстрел, второй, третий.

Нападавшие, прячась от выстрелов, плотно прильнули к земле, но ножи их, подгоняемые яростью и страхом, все кололи и кололи.

А из балка уже не выстрелы, а ненавистный, но не грозный, как раньше, а умоляющий голос:

— Братцы! Возьмите все. Женку даже возьмите. Что хотите с ней делайте...

...Четверых зарезанных: Середу с женой, его тещу и остяка Поддубный с товарищами свезли на середину реки и выбросили в воду.

Трупы с камнями на шее пошли ко дну... «Рыбам на закуску»,— как сказал Поддубный.

А потом пили и пили. Сожгли дом Середы со всем имуществом и свою лачугу.

А потом их везли к приставу, скованных по рукам и ногам.

Жители станков выбегали на берег поглядеть на «варнаков» с «кровяными» глазами...

Дом Середы со всем скарбом сгорел дотла.

Остался один балок, изрезанный, прорванный ножами, внутри залитый и забрызганный кровью, смешавшейся с вином.

У Середы в балке был маленький бочонок с красным вином. Он им защищался, подставляя бочонок под удары. Бочонок был проколот, вино вытекло.

Балка никто не взял. Даже бывший его владелец, Далуцкий, отказался.

И балок стоял очень долго на высоком безлюдном берегу.

Издали он походил на могилу без креста.

Теперь балка — могилы — давно нет.

Могила полиции, каторги и палачей — затоптана.

Теперь Игарка — советский порт.

⟨1930⟩

КОМРОТЫ ШЕСТНАДЦАТЬ

Повесть

1

Шестнадцатая, она же штрафная, рота, особо выделенная из полка, была как бы гауптвахтой, но с той разницей, что если содержащиеся на гауптвахтах проводили время праздно и если лодыри шли «на губу» отдыхать, то в шестнадцатой все без исключения работали, труд был положен в основу дисциплины. Так что лодырей шестнадцатая отнюдь не прельщала, а, наоборот, отпугивала. И охотников попасть в нее не находилось.

Шестнадцатая не только заменяла полковую гауптвахту. В ней главным образом содержались штрафни-

ки, присылаемые из ревтрибунала и особого отдела N-ской армии.

Помещалась она в отдельном здании, служившем при царе казармой одному из гвардейских конных полков.

В шестнадцатой было четыре взвода.

Первый взвод составляли трудноисправимые, иначе — злостные штрафники, второй — исправляющиеся, третий — почти исправившиеся, четвертый — караульный — взвод состоял из бывших штрафников и кадровых красноармейцев.

Рота производила городские ремонтные работы, а кроме того, работы за городом — заготовку дров для Петрограда.

Городок, где стояла шестнадцатая рота, не являлся ни военным, ни торговым, ни промышленным.

В нем были лишь красивые здания, дворцы, парки с многочисленными фонтанами, статуями.

Большинство зданий пришло в ветхость, парки были запущены, фонтаны не били.

С первых же дней своего пребывания в городе шестнадцатая рота заставила заговорить о себе. Ею быстро исправлялся пришедший почти в полную негодность городской водопровод, чинились мостовые, по которым местами невозможно было ходить, ремонтировались здания.

Некоторые из жительниц города даже спрашивали командира роты о том, будут ли действовать фонтаны.

Если такой вопрос задавала девушка или молодая женщина, комроты, обнажая улыбкой сверкающие на смуглом лице зубы, ласково произносил:

— Со временем усе будет действовать.

Когда же спрашивала о фонтанах какая-нибудь из «бывших барынь», командир хмуро отвечал:

— Фонтаны — плешь, мадам.

О шестнадцатой роте говорили всюду. По ней проверяли время. Все знали, в какие часы в ней побудка, вечерняя поверка, когда штрафники идут на работу и с работы, когда обедают, пьют чай.

Жителями часто и в шутку и всерьез произносились такие слова, как «саботажник», «дезертир», «злостный штрафник».

Расшалившимся ребятам взрослые говорили:

— В шестнадцатую бы вас, озорников!

Или:

— К комроты шестнадцать — на выучку.

Даже те, кто знали фамилию командира, называли его в глаза: комроты шестнадцать.

Называли его так и ребятишки.

Они играли «в шестнадцатую».

Крупные и сильные из мальчуганов, исполняя в игре роль командира, подражали его мерной военной походке и кричали товарищам, изображавшим штрафников:

— У первый взвод отправлю!

2

Был послеобеденный час майского солнечного дня.

В канцелярии шестнадцатой роты остро пахло селедками. Четвертый день на обед давали селедочный суп.

После «куриного бульона», как в шутку прозвали похлебку из куреной воблы — блюда, с месяц не сходившего с ротного стола, селедочный суп всем, за исключением каптенармуса и переписчика, очень нравился.

Каптенармус отдавал свою порцию супа вестовому роты, добровольцу из пригородного селения, а переписчик ел суп только холодный и то чаще всего довольствовался выловленной из него селедкой.

И теперь на подоконнике нестерпимо сверкал на солнце медный бачок переписчика с еще не тронутой обеденной порцией. Поверхность супа в бачке была мутно-лиловой.

У окна, за большим столом, сидели командир и переписчик.

Комроты подписывал бумаги.

Это было для него самым неприятным делом. Все эти арматурные списки, рапорты и препроводительные записки писались из экономии на маленьких листиках бумаги. Места для подписи оставалось мало. К тому же и перо плохо слушалось командира: делало кляксы, зацепляло за мохнатую бумагу.

Поза у комроты напряженная, наморщенный лоб в поту, губы крепко сжаты, дыхание задержано.

Комроты всегда расписывался не дыша.

Переписчик Тимошин, невысокий, молодой, с мелкими чертами лица, чистенький, приглаженный, скуча-

юще смотрел, как из-под пера комроты робко выползали уродливые буквы.

Несколько поодаль, за столом поменьше, на табурете, вплотную придвинутом к стене, сидел вестовой — белобрысый, веснушчатый подросток, крепко сбитый из широких костей и толстого мяса.

Толстяк только что съел две порции супа — свою и каптенармусову — и, приятно отяжелев, боролся с дремотой: таращил слипающиеся глаза, терся о стену спиной, о ножки табурета босыми квадратными ступнями. При этом издавал крошечным вздернутым носиком такое мощное сопение, что комроты сказал:

— Прошка, сопи культурнее!

Замечание командира ненадолго отогнало дремоту. Прошка, ухмыляясь, повторил несколько раз про себя показавшиеся ему забавными слова командира, но затем веки снова стали тяжелеть, истома охватывала тело. И опять начиналось почесывание и сопение.

Переписчик, уставший наблюдать за мучительной работой командира, зевая, сказал:

— Расписывались бы, Иван Афанасьевич, не полностью. Вот как адъютант полка. Две буквы и росчерк.

Комроты закончил подпись на арматурном списке, сделал выдыхание, поднял на Тимошина очень светлые, немигающие глаза, резко выделяющиеся на смуглом лице.

Несколько секунд молчал, словно вспоминая что-то, и не отводил глаз от лица переписчика. Потом глубоко вздохнул и произнес отчетливым, но слегка сиплым голосом:

— Адъютант когда и разговаривает — у глаза не смотрит. А по-моему, говоришь — глаз не прячь, расписываешься — ставь фамилию полностью. Надо честно!

Комроты отыскал на столе среди бумаг деревянный мундштук с криво сидящей в нем цигаркой, вычиркнул спичку и отвел ее в сторону, чтобы не ударяла в нос вонь. Закурив, продолжал:

— Ты, товарищ Тимошин, имеешь образование, прошел пять классов гимназии. А меня учил старикашка лет восьмидесяти с гаком. Больше матерился, чем учил. Ругаться научил по-настоящему, а читать — кое-как. Арифметику до умножения не дошли — ослеп мой учитель. Ну, а писать не на чем было, да и нечем: ни бумаги, ни карандашей. Да и учитель мой, кажется,

писать не умел. После, как он помер, сообразил я на земле писать. После дождика очень отлично выходило. Да глуп я был — усе имя писал. Надо бы фамилию. Впрочем, ведь не знал я, что буду командиром шестнадцатой,— усмехнулся комроты и потер бритую, отливающую серебром голову,— да... Так и писал на земле, не имея таковой,— ткнул он пальцем в бумагу,— оттого и не наладился писать мелко и связно, усе с интервалами получается. Буква — интервал, буква — интервал. А бумажонки маленькие, поместиться на них трудно.

Опять усмехнулся, сказал раздумчиво:

— Знаешь, товарищ Тимошин, когда я эти бумажки подписываю, мне иной раз вспоминается история о том, как старорежимный генерал Суворов воевал со сладким стюднем. Слыхал такую историю?

Переписчик отрицательно качнул головой и положил перед командиром новую бумагу для подписи, а вестовой, окончательно поборовший дремоту, заранее улыбаясь, насторожился.

— Был Суворов у дворце, на обеде,— начал комроты, пыхтя цигаркой.— Ну, там, понятно, князья, княгини, царь Николашка...

— Суворов не при Николае был,— заметил переписчик.

— Не Николашка, так другая сволочь. Ты чего?— посмотрел комроты на прыснувшего в кулак вестового.— Еще рано смеяться... Ну, значит, сидит уся эта шпанка, музыка жарит «Боже, царя» и усе, что полагается, официанты подают на стол. На первое, конечно, не наш вот суп с селедкой, а настоящий бульон с пирожками, на второе тоже не свинина с картошкой, а антрекот с фрикадельками — или как там? Одним словом, соус провансаль.

Прошка, зажав ладонями рот, задрожал от смеха. Таких смешных слов, как «антрекот», «фрикадельки» и «соус провансаль», он отродясь не слыхивал.

— На третье — сладкое,— продолжал рассказчик.— И опять же не компот, а какой-то сладкий стюдень. Забыл, как называется.

— Наверно, желе,— сказал Тимошин.

Прошка не выдержал, не ожидая и от Тимошина смешных слов. Он упал грудью на стол, зашаркал ногами, визжа:

— Жиле... жилетка! Ой, не могу!

— Эка дурень,— спокойно сказал комроты и выбил из мундштука окурок.— Так вот эту желе Суворову, понимаешь, никак не поддеть ложечкой. Ложечка-то — блоху кашей кормить. Старается Суворов, серчает, а желе — шлеп да шлеп обратно у тарелку. Не выдержал Суворов — пьяный был,— бросил ложку и выругался. «Сколько, говорит, городов узял, а такого дерма узять не могу»».

Комроты замолчал, стал крутить цигарку. Прищурясь, посмотрел на чуть усмехнувшегося Тимошина, потом на Прошку, удивленно раскрывшего рот. Спросил его:

— Чего ж не смеешься?

Тот нерешительно ухмыльнулся:

— А как воевал-то... со стюднем?

— Вот так и воевал.

Прошка разочарованно вздохнул.

— Нескладная сказка.

— Расскажи складнее,— насмешливо сказал комроты и обратился к Тимошину.— Мне эту историю один старикашка рассказывал. Он служил у Суворова ординарцем.

— У Суворова?— засмеялся Тимошин.— Да ведь Суворов-то лет полтораста назад умер. Соврал ваш старикашка.

— Может, и соврал,— спокойно согласился комроты,— старики — любители врать. От скуки врут. Только я тебе к тому это рассказал, что, по-моему, лучше воевать, чем с разной мелочью возиться, с бумажками вот с этими... Однако заболтались! Какое там еще желе осталось?

— Вот приказ по роте. Больше ничего.

Комроты прочитал поданную ему переписчиком бумагу.

— Надо отдать у приказе,— начал он, но в это время в канцелярию вошел грузный человек в щегольском френче с ремнями, в узких синих брюках с красными кантами, в светлых сапогах офицерского фасона.

— А, товарищ Любимов!— сказал комроты.

Лицо вошедшего было красно, потно. Смущенно улыбаясь, он почтительно пожал руку командира, раскланялся с переписчиком, сел на придвинутый им табурет.

— Редко, редко к нам заходите,— ласково улыбнулся комроты.— У меня, кстати, к вам просьба, товарищ Любимов.

— Слушаю.

— На будущей неделе, у воскресенье, у театре будет концерт. Перед началом, понятно, митинг. Хотелось бы оркестр. Как бы это, товарищ Любимов?

— С огромным удовольствием,— улыбнулся тот.

— Ну и прекрасно. Спасибо. А у вас ко мне дело? Я и не спросил.

— Я... видите ли...

Любимов нерешительно кашлянул, оглянулся на переписчика, придвинулся вместе с табуретом к комроты.

Тимошин отошел в сторону, Любимов что-то зашептал.

— А препроводительная?— громко спросил комроты и через секунду — еще громче:— Встать!

Тимошин удивленно взглянул на поднявшегося с места и ставшего, как на учении, Любимова.

— Прошка!— сказал комроты.— Комвзвода три, живо!

Паренек, стуча твердыми пятками, выбежал из канцелярии.

— Иван Афанасьевич,— тихо произнес Любимов.

— Комроты шестнадцать,— так же тихо поправил комроты.

— Товарищ комроты...

Не слушая его, комроты обратился к вошедшему командиру третьего взвода:

— Товарищ Панкратов! Отправь штрафника Любимова у вверенный тебе взвод! Пять суток, согласно распоряжению командира полка.

Любимов шагнул было к нему, но четко, как по команде, повернулся кругом, щелкнул каблуками и вышел из канцелярии.

За ним последовал Панкратов.

Стоящий у дверей Прошка, пропуская выходивших, смотрел на них смеющимися глазами, прикрыв рот толстой веснушчатой рукой.

Комроты, машинально перекладывая на столе бумаги, тихо говорил:

— Пришел, как у гости. Без конвоира, препроводительная у кармане.

Встряхнул головою, громко спросил:

— Что у нас там, товарищ Тимошин? Приказ? Ах да! Надо отдать у приказе о переводе Суркова Николая из второго взвода у первый. Пиши!

Он побарабанил пальцем по столу.

Переписчик приготовился писать.

— Пиши,— повторил комроты,— штрафник второго взвода Сурков Николай за саботаж у работе переводится у первый взвод...

Подумал секунду, добавил:

— ...с возложением на него, Суркова, самых дивных работ.

— Дивных?— усмехнулся переписчик.— Непонятно и смешно.

Комроты подождал, пока переписчик допишет, потом сказал строго:

— Когда этого пресловутого Суркова пошлют у нужниках очки чистить, ему усе будет понятно и не смешно.

Он вобрал в себя воздух и стал подписывать приказ, крупно, криво, с кляксами и с «интервалами».

3

Вечером того же дня, когда начальник полковой музыкантской команды Любимов получил пять суток ареста, в шестнадцатую звонил по телефону командир полка.

Произошел такой разговор:

— Комроты шестнадцать? Говорит Горбулин. Я отправил к тебе Любимова.

— Он сам пришел. Без конвоира.

— Это все равно.

— Нет, не усе равно. Штрафники как таковые направляются у шестнадцатую роту под конвоем.

— Брось формальности! Где он сейчас?

— На ремонте мостовой.

— Эх! Разве нельзя было использовать его иначе? В канцелярии, например.

— Он тоже просил. Только у канцелярии сейчас мало работы. Товарищ Тимошин один справляется.

— Знаешь, товарищ комроты шестнадцать, Любимов просрочил увольнение, пробыл два лишних дня в Петрограде. Вот и вся его вина.

— Товарищ комполка! Просрочить увольнение усе равно что дезертировать из части.

— Да, но запасной полк — тыловая часть. Не забудь это, товарищ комроты.

— Не забудьте, товарищ комполка, что вы и поступили с Любимовым как с тыловиком — дали усего пять суток.

Комроты слышал, как комполка проворчал: «Черт».

— Алло! Я слушаю,— сказал комроты.

Ответа не было. Подождал с минуту. Повесил трубку, усмехнулся.

— Серчает наш Горбулин.

— Товарищ командир,— нерешительно сказал переписчик.— У нас нашлось бы дело для начальника музыкантской команды.

— А тебе одному не управиться?

— Нет, не в этом дело... А только можно и для него подыскать.

— Не годится,— покрутил головой комроты.— Чем другие штрафники хуже его? Пришлось бы нам с тобой — и мы бы узяли у руки кирку или лопату. Что, не узял бы?

— Конечно, взял бы.

— То-то и есть. Так же и Любимов. А ты чего зубы скалишь? — спросил комроты ухмыляющегося вестового.

— Ничего,— ответил тот, но не выдержал, прыснул в кулак.

— Ничего, а ржет. Что смешного?

— На товарища Тимошина. Лопату, говорит, взял бы.

— И ты возьмешь, если надо будет.

— Я-то возьму, а он что с ней стал бы делать?

И мальчишка опять прыснул.

— Дурень! Что надо, то и делал бы. Вот субботник будет — увидим, кто из вас кого переработает.

— Я его загоняю,— уже не смеясь, уверенно произнес мальчуган.

Вошел комвзвода Панкратов.

— Вернулись?— обратился к нему комроты.— Как работали?

— Хорошо работали.

— Усе хорошо?

— Все.

— И Любимов?

Панкратов улыбнулся.

— Любимов старался. Только ему тяжело. Жир-

ный. А старался. Глядя на него, и лодыри эти — Постоловский и Фролкин — стали нажимать. Все хорошо работали.

— Вот,— сказал комроты, слегка дотрагиваясь до руки переписчика,— компола да ты говорите: «Дать Любимову дело у канцелярии». А выходит, что когда у него у руках лопата — пользы больше. Лицо командного состава у рядах красноармейцев и показывает пример. Молодец, товарищ Любимов!— горячо сказал комроты, оборачиваясь к Панкратову.— Скажи ему, что я благодарю. И прошу стараться усе пять суток... И... пущай не серчает. С ним поступлено справедливо.

По уходе Панкратова комроты говорил переписчику:

— Ведь у чем суть, товарищ Тимошин? Дай мы Любимову работу у канцелярии — что тогда скажут штрафники? Начальству, мол, везде хорошо, даже у шестнадцатой. Сидит, мол, перышком водит, а мы у земле копаемся.

— Это верно,— согласился Тимошин.

— Вот! Сам понимаешь. А тут усе на одном положении: и комсостав, и красноармейцы. Тому — лопату, этому — кирку, и дело в шляпе. Да и Любимов, спасибо ему, не подкачал. Даром что жирный, а сознательный.

Он засмеялся, довольный своей шуткой.

Он был в веселом настроении. Но продолжалось оно недолго.

Из штаба полка принесли бумагу.

Комполка писал:

«С получением сего немедленно освободить начальника музыкантской команды товарища Любимова».

— Та-ак,— протянул комроты, вертя в руках бумагу.

Глянул потемневшими глазами на штабного вестового, сутулого парня с лукавым лицом, глухо спросил:

— Командир в штабе?

— Никак нет!

— Домой ушел?

— Никак нет! Сейчас в парке видел их, с женой.

— Под душистой веткой сирени или... под белой акацией?

— Никак нет! Сидели у пруда, на зеленой скамеечке.

— Это то же самое... Прошка!— позвал комроты.

Паренек подбежал, застыл, выпятив грудь, вскинув осыпанное веснушками лицо.

— Позови Панкратова!

— Комвзвода три?— угодливо вопросил Прошка.

— Командарма четыре!— бешено крикнул комроты.— Дурень! Сколько у нас Панкратовых?

— Один,— прошептал оторопевший Прошка.

— Одного и позови,— неожиданно спокойно сказал комроты.

Панкратову он молча показал предписание комполка.

Панкратов пожал плечом и вышел.

С Любимовым, пришедшим проститься, заговорил ласково:

— Спасибо, товарищ Любимов, за добросовестную работу.

— Помилуйте! Работал-то всего два часа. Да и работа — пустяки. Трамбовал,— показал Любимов руками, как утрамбовывают, и тихонько засмеялся.

— Дело не у часах, а у качестве,— слегка наставительно сказал комроты.

Проводил Любимова как гостя. Вышел на площадку лестницы, а когда тот с нижней площадки откозырял ему, комроты помахал рукой:

— Усех благ.

Вернувшись в канцелярию, молча просидел за столом добрых четверть часа. Медленно свернул толстую цигарку, прикурил, закашлялся, бросил цигарку в консервную банку, служившую пепельницей, сказал с досадой:

— Испортил Горбуля усю обедню.

4

Прошка бесшумно вошел в канцелярию, сел на свой табурет и засопел.

Веснушчатое толстощекое лицо его было как распаренное, пухлые малиновые губы выпячены. Казалось — вот-вот заплачет.

— Чего дуешься?— спросил Тимошин.

Сопение усилилось. Наконец Прошка угрюмо пробасил:

— В третьем взводе болтают.

Комроты выдохнул из груди воздух, точно вынырнул,— он расписывался. Отложил перо.

— Что болтают?

— Про меня сперва,— чуть слышно пробурчал мальчуган,— дескать, толстомясый.

— Факт! Еще?

— Ему, мне то есть, в канцелярии благодать, умирать, говорят, не надо.

— Правильно говорят. Зачем умирать? Дальше?

— Про вчерашнего, про начальника... Как его?

— Любимов? Ну?

— Недолго, дескать, мурыжили. Часок поработал — и свободен.

— Ну?

— Ну и все. Смеются.

— Пройдись у штаб,— сказал комроты и сердито добавил:— Тут бумаги срочные, а ты по взводам шляешься, дурацкие речи слушаешь. Смотри, попадешь у два счета у первый взвод.

Прошка хмуро принял бумаги от улыбавшегося Тимошина и неторопливо, вразвалку вышел из канцелярии.

По улицам он обычно ходил распевая или посвистывая. Сегодня же ему было не до песен. Проклятые штрафники испортили настроение! И чего смеялись? Толстомясый! Что ж из этого? Он не виноват, что таким уродился. Люди разные бывают: толстые и тонкие. А каким лучше быть, еще не известно. Вот штрафник Прыгунов, что больше всех дразнится,— тощий, зато как схватится бороться — всегда под низом. А ведь Прыгунову двадцать пять лет, а Прошке — четырнадцать.

Такие мысли бродили в белобрысой, круглой, как шар, Прошкиной голове, не защищенной от лучей майского полуденного солнца.

Прошка свернул в парк. Здесь было прохладно, сильно пахло сиренью и еще чем-то хорошим.

Прошка так глубоко вздохнул, что воздух, как ему показалось, проник даже в живот. Замедлил шаг и, зажмурясь, сильнее втянул в себя воздух. Стало приятно и так радостно, что захотелось смеяться и петь.

Прошка уже затянул было: «Соловей, соловей, пташечка», но, увидя сидевших на скамейке мальчишек, громко о чем-то спорящих, принял деловой вид и пошел быстрее.

При его приближении мальчишки замолчали, а когда он прошел мимо, зашушукались. Затем один из них пропел:

Чудный месяц плывет по дорожке.

«Чудный месяц — по дорожке. Никак меня разыгрывают?— подумал Прошка.— Я ведь по дорожке иду. Не иначе как про мою это харю, про толстую».

Услышал сзади шаги, тихий смех. Обернулся.

Мальчишки, шедшие за ним скорым шагом, сразу остановились, запели хором:

— Толстый, жирный — поезд пассажирный!

Кровь горячо прилила к Прошкиным щекам.

Он погрозил кулаком:

— Я вам!

Один из мальчуганов, ростом с Прошку,— остальные были поменьше,— выступил вперед, крича с напускным задором:

— Даешь сюда, толсторожий!

А в грудь Прошки стукнула еловая шишка, брошенная кем-то из ребят.

Задирания пятерых мальчишек только рассердили, но не испугали Прошку. Городских мальчишек он не боялся, считая их «воздушными», «тонконогой командой» и «негожими на кулак».

Поэтому, сунув в карман штанов бумаги и тетрадь, заменяющую рассыльную книгу, Прошка двинулся на обидчиков с угрозой:

— А вот я с вас макарон наломаю, тонконогая команда!

Мальчишки бросились бежать.

Впереди всех понесся главный забияка, только что вызывавший Прошку на бой.

Прошка от неожиданности опешил, разинул рот.

«Эва, как толстомясого забоялись»,— подумал удивленно.

Злость и обида мгновенно испарились. Прошка погнался за ребятами, крича во всю силу своих здоровенных легких:

— Тю-у-у!

Так, бывало, кричал в деревне, пася овец.

А мальчуганы и бежали, как овцы: жались друг к дружке, толкались.

Один из них стал отставать, оглянулся на Прошку, шмыгнул с дороги в кустарник.

Прошка устремился за ним. Бегал он быстро, а его босым твердокожим ногам было не больно ступать по сухим веткам, шишкам.

Мальчик же, тоже босой, бежал неуверенно, поминутно спотыкался, отдергивал от земли, словно ожигаясь, то одну ногу, то другую.

«Непривычный босиком»,— сразу определил Прошка и усилил погоню.

Выбежали на поляну.

Мальчик, настигаемый Прошкой, кидался то вправо, то влево.

— Умаешься, зайчонок!— весело покрикивал преследователь.

Он почти схватил мальчугана. Тот отпрыгнул в сторону, споткнулся и упал.

Прошка с разбегу плюхнулся на него, вскрикнул торжествующе:

— Есть!

Мальчуган отчаянно забарахтался под ним, закряхтел, суча ногами по земле.

— Ша-лишь,— протянул Прошка, тяжело наваливаясь на него грудью.

Мальчик перестал барахтаться, прохрипел:

— Пусти! Больно.

Прошка поднялся. Встал и мальчуган, содрал с головы кепку, устало вытер ею лицо, потное, обрызганное ржавой водой.

Дышал он порывисто, раскрытым ртом. Глядя на Прошку робко и удивленно, тихо пробормотал:

— Тяжелый очень... Чуть не задавил.

«Притворяется»,— подумал Прошка и закричал деланно-сердито:

— А ты чего задирал, тонконогая команда?

Черные глаза мальчика испуганно дрогнули.

— И не думал даже,— заговорил он слезливо,— честное слово, мальчик, не думал! И ребят отговаривал. Я не дурак задевать деревенских, да еще таких здоровяков, как ты.

— А зачем бежал?

— Испугался... Думал, бить будешь.

— Буду!— нахмурясь и подступая к мальчугану, сказал Прошка.

— Бей!— сказал с безнадежной решимостью мальчик.— Бей, силы у тебя много. Только не за что! Да и что тебе меня бить,— беспомощно развел он ру-

ками,— на одну ладошку посадишь, другой придавишь — и мокренько будет.

Прошка, чтобы скрыть улыбку, вызванную словами мальчугана, медленно провел мясистым кулаком под маленьким носом. Под ним, кстати, было мокро.

«Занятный»,— подумал он о мальчике. Не хотелось с ним расставаться. Старательно ковырял ноздрю круглым и красным, похожим на морковь пальцем, раздумывая, что сказать, что делать, но придумать ничего не мог.

Вспомнил, что надо идти в штаб. Вытащил из кармана смятую тетрадь, разгладил на коленке.

— Заболтался с тобой, а тут — срочные дела. Идем!— слегка толкнул мальчугана.— Марш!

Тот покорно пошел, опустив голову, потом уныло спросил:

— Куда идем-то?

— Куда велю,— строго сказал Прошка.— Направо! Марш!

Когда вышли на аллею, крикнул:

— А ну, шагай веселей! Не то раздавлю.

Мальчик испуганно оглянулся, пошел быстрее.

Прошке стало жаль его, поравнялся с ним, обнял за шею, сказал ласково:

— Боязливый очень.

У подъезда здания, где находился штаб, велел мальчику дожидаться. Выйдя, удивился, что тот стоит на прежнем месте, похвалил:

— Молодец, что не убежал. Теперь за это я тебя не трону. Пойдем к домам. Как звать-то?

— Колька.

— А лет сколько?

Прошка засмеялся, что складно вышло. Улыбнулся и мальчик:

— Четырнадцать.

— Не похоже. От силы можно дать двенадцать,— с сожалением вздохнул Прошка,— мне тоже четырнадцать, а вона я какой. Толстомясый, верно?

Ему уже нравилось, что он толстомясый.

— Деревенские вообще здоровые, толстые,— сказал Колька.

— От воздуха. Воздух в деревне пользительный.

На улице, недалеко от казарм шестнадцатой роты, Прошка, прощаясь с новым приятелем, погладил его по плечу:

— Ты хороший, Колька, смиренный, не хулигания. Хочешь, будем товарищами?

— Будем,— согласился Колька, и черные глаза его весело блеснули.— А звать тебя как?

— Прошка... Знаешь, когда тебя кто тронет из мальчишек, скажи мне.

— Ладно! Ну, прощай! Надо домой.

Колька побежал. Прошка посмотрел ему вслед, потом исступленно замаршировал и запел весело, но необычайно фальшиво:

Соловей, соловей, пташечка,
Кинареечка жалобно поет!

Подходя к казармам шестнадцатой роты, оборвал пение и с разинутым ртом поспешил во двор казармы — там выстроились штрафники, а вдоль шеренги расхаживал комроты.

Прошка захватил только заключительные слова его речи:

— Итак, повторяю: Любимов отозван у вверенную ему команду по случаю срочных делов. И еще повторяю: он с фронта не дезертировал, а просрочил увольнительную по независящим обстоятельствам. Так что стыдно третьему взводу как самому сознательному сеять провокаторские слухи.

Комроты остановился, кашлянул, сделал два шага назад, скомандовал:

— Смирно!

Шеренга застыла.

— Налево! Ать, два!

Горнист затрубил.

Третий взвод возвращался в казарму.

5

Начальник полковой музыкантской команды Любимов сдержал обещание — дал оркестр для митинга в городском театре.

Спектакли ставились бесплатно для военных и детворы, с взрослых вольных взималась грошовая плата. Но, попросясь, мог и взрослый без денег пройти в театр. Красноармейцы, дежурившие у входа, обычно пропускали безбилетных.

Шестнадцатая рота всегда присутствовала на спектаклях. Кадровый ее состав и даже штрафники считались или, во всяком случае, считали себя почетными зрителями.

На это имелись основания: театр многим был обязан шестнадцатой роте. Она отремонтировала театр, из штрафников были театральные рабочие — плотники, уборщики и монтер, кудрявый злостный дезертир, называвший себя электриком; из штрафников же набирались статисты, изображавшие толпу, солдат и т. д.

Пьесы ставились фронтовые, с битвами, расстрелами. Во время хода действий неумолчно гремели выстрелы, одиночные и пачками.

Первое время стрельба в театре тревожила живущих в ближайших домах людей, но скоро жители привыкли к стрельбе и, заслыша ее, говорили:

— Спектакль начался.

Городская публика охотно посещала театр, когда даже не было постановок, а происходили только митинги.

Теперь у входа в театр и на стенах близлежащих домов пестрели аляповатые афиши работы штрафника Сашки Пухова, «художника от слова „худо"», как его называл комроты шестнадцать; вообще же Пухов был известен даже за стенами ротной казармы под прозвищем «малохольного».

Афиши вещали: «В воскресенье, 16 мая с. г., в городском театре состоится концерт силами красноармейцев стрелкового запполка N-ской армии. Играет духовой оркестр. Перед концертом — митинг».

Внизу малохольный Пухов счел нужным приписать: «После митинга — концерт». И поставил три восклицательных знака: красный, зеленый и фиолетовый.

За полчаса до митинга оркестр, расположась у театра, привлекал публику музыкой; с улицы неслись пение и свист красноармейцев, направлявшихся под командой в театр.

Театр помещался в здании бывшего манежа, который мог вместить половину населения городка.

Поиграв несколько песен, музыканты прошли в театр. Прошла шестнадцатая рота, стала набираться вольная публика.

Оркестр — уже перед сценой — играл вальс. Несколько пар закружилось в некотором отдалении от мест для публики, по усыпанному песком манежу.

Клубилась пыль, поднятая танцующими. Тут же кучка мальчишек, хохоча и визжа от восторга, наблюдала за неравной борьбой тщедушного парня с здоровенным мальчуганом — штрафника Прыгунова с Прошкой.

Но вот музыка смолкла. Поднялся занавес. Парочки прекратили танцы, стали занимать места. Прошка очищал вываленного им в песке Прыгунова и говорил с досадливым сожалением:

— Силенка комариная, а завсегда лезешь. Скажи спасибо, что я добрый. Другой бы не дал пощады.

Мальчишки оставили борцов, уже не представлявших для них интереса, и поспешили к сцене, перестреливаясь сухими головками вобл.

Посреди сцены, за столом, обтянутым кумачом, сидело четверо военных. Из них публика знала двоих: командира и комиссара шестнадцатой роты.

Командир поднялся, опираясь руками о стол, произнес глуховато, но внятно:

— Митинг шестнадцатой штрафной роты стрелкового запполка N-ской армии считаю открытым. Слово имеет комиссар вышеизложенной роты товарищ Нухнат.

Нухнат только накануне вернулся из отпуска. Это был молодой красивый блондин с глазами небесного цвета.

Из-за цвета волос и глаз комиссара многие не верили в его еврейское происхождение, а штрафник Рубашкин прямо утверждал, что Нухнат — сын попа из Великих Лук.

Но Рубашкин слыл за несусветного враля, и над ним смеялись.

Комиссар Нухнат был хорошим оратором и обладал необычайно сильным голосом. Когда голос его гремел на митингах, не верилось, что говорит этот низкорослый, с узкой, почти детской грудью человек.

И теперь гремящая речь комиссара была покрыта рукоплесканиями; кричали «браво», а чей-то восторженный женский голосок крикнул «бис».

Комиссар пользовался расположением и симпатией женщин; получал массу писем от влюбленных в него незнакомок.

Сперва вскрывал письма и рвал их не читая, а потом стал рвать не вскрывая, уже по почеркам определяя, что корреспонденция не деловая и ему не нужная.

Сейчас, когда комиссар кончил говорить и, спеша на другой митинг, спрыгнул со сцены, к нему подошел мальчик и, краснея, подал маленькую записку.

— От кого?— спросил комиссар, не принимая записки.

— От тетеньки,— прошептал мальчик и стал совсем пунцовым.

— От родной?

— Нет... От чужой.

Комиссар погладил мальчика по плечу:

— Отнеси обратно! И никогда не служи вестовым у тетенек, даже у родных. Понял?

Мальчик надвинул на глаза кепку и убежал, окончательно пристыженный.

А на сцене уже расхаживал комроты шестнадцать, сжимая в руке фуражку, остановился, заговорил глуховато:

— Товарищи! Моя речь будет немногосложна. Я только постараюсь обрисовать наглядную картину, как относятся некоторые элементы к текущим событиям дня. Вам небезызвестно, товарищи, что сейчас наши геройские красные части бьются, как львы, с белыми бандами. И вот у тот момент, когда рабоче-крестьянская Красная Армия с беззаветной храбростью отражает натиск врагов и бьет золотопогонную сволочь, у этот исторический момент, товарищи, существуют у нашей республике такие позорные типы, каких нельзя отнести ко львам, а, наоборот, к зайцам.

Комроты обвел вспыхнувшими глазами первые ряды, где сидели штрафники.

— Котельников!— крикнул он гневным голосом.— Фролкин.

С первой скамейки быстро, один за другим, поднялись двое штрафников, а комроты так же гневно выкрикнул еще несколько фамилий, затем, взмахнув зажатой в руке фуражкой, скомандовал:

— Марш сюда!

Когда же вызванные штрафники появились на сцене, комроты выстроил их в шеренгу лицом к зрителям.

Отступив на шаг от шеренги, заговорил снова, и голос его зазвучал почти исступленно:

— Товарищи! У то время, когда невообразимые поля Советской России орошаются драгоценной кровью рабочих и крестьян, у то время этот заячий элемент забился под ракитовый куст. Мало того! Даже

здесь, у тылу, у красной шестнадцатой, этот элемент продолжает лежать под тем же ракитовым кустом. Короче говоря, саботирует у работе. Глядите усе! Запомните позорные имена и гнусные личности этих пресловутых дезертиров фронта и труда. Позор им, товарищи!

— Позор!— отозвались в публике.

— Позор!— подхватили мальчишки и пронзили воздух свистом.

Штрафники на сцене стояли неподвижно, опустив глаза. Головы они держали прямо, как полагалось по команде «смирно».

6

Немногосложная, как назвал свою митинговую речь комроты шестнадцать, произвела на штрафников желательное действие.

На другой день после митинга командиры всех трех штрафных взводов отмечали в докладах старательность штрафников в работе.

— Усе старались?— спрашивал комроты каждого комвзвода.— И эти... пресловутые?

— И пресловутые,— отвечали взводные командиры.

В следующие дни комроты, присутствуя на работах, убедился, что все без исключения штрафники честно трудятся, а отпетый из отпетых лентяев Фролкин работал даже особенно ретиво, хотя не то с досадой, не то с озлоблением: катя нагруженную булыжниками тачку, ругался на нее, как извозчик на ленивую лошадь; сваливая камни в кучу, сердито плевал на них, но не отдыхал, не закуривал, а поспешно катил тачку за новым грузом.

Комроты похвалил Фролкина. Тот поднял на него глаза цвета жидкого кофе и глубоко вздохнул, виновато разводя руками.

— Что ж делать, товарищ командир? Приходится стараться. А не то вы, чего доброго, опять, как в воскресенье, начнете крыть всенародно. Ведь готовы мы были сквозь землю провалиться от позора.

— Будете работать, как полагается, то всенародно смою с вас позор,— торжественно произнес комроты и добавил, уже весело усмехаясь:— И не потребуется

тогда у землю проваливаться. А главное, кто будет честно работать — скорее попадет у четвертый взвод, станет свободным гражданином. В свободное от занятий время иди куда хочешь, хоть к дивчине на свиданье, хоть у столовую пить чай с чайным ромом.

— Чайный ром — штука приятная, даром что на сахарине,— сказал Фролкин.— Да и любовь закрутить с хорошей девицей — дело не пыльное. Как в четвертый взвод попаду — обязательно закручу. Одежа у меня приличная: френч и галифе. Побреюсь, куплю на рынке папирос, а то самую что ни на есть гавайскую сигару — ни одна девица не устоит. Я уже знаю.

Кругом засмеялись, а Фролкин, поплевав на ладони, решительно взялся за тачку.

Два послеобеденных часа в роте — отдых. Можно спать, заниматься чем хочешь. Большинство обычно спало, остальные проводили время в разговорах.

Теперь, в дни после митинга, спящих в часы отдыха было мало. Многие толковали о речи комроты, о том, что из шестнадцатой никогда не выберешься.

Особенно волновался первый взвод, кроме Фролкина, уверенно твердившего:

— Ничего. В два счета доберусь до четвертого взвода.

— Ну и попадешь на фронт,— угрюмо басил Котельников, соратник Фролкина по дезертирству.

— Все будем там,— беззаботно отвечал Фролкин.— Такова судьба красноармейская. Да и что такое фронт? Ничего особенного. Я на фронте не скучал, сам, Котельников, знаешь.

— Ты от веселья и пятки, значит, смазал,— смеялись штрафники.

— Я пахать ударил домой.

— А теперь косить самая пора.

— А вы все-то из-за чего бегали?

Этот вопрос Фролкина всех поставил в тупик. Замолчали, тихонько посмеиваясь.

— Кто из-за чего,— наконец пробормотал один из штрафников, а другой, недавно прибывший в роту, Панюшин по фамилии, по кличке Бес, задумчиво сказал:

— Я так из-за любви с фронта смылся.

— Ишь ты!— засмеялись кругом.— Бес — так бес и есть.

— Соскучился по девочке,— не смущаясь, продолжал Бес.— Да... Из-за нее и дезертировал. А не от страха, нет. Я фронта не боюсь. И ничего не боюсь.

— Все мы храбрецы до первого выстрела,— пробасил угрюмый Котельников.— В бою-то бывал когда, Бес?

— Несколько раз.

— И не боялся?

— Видите, братцы, что я вам скажу,— сказал Бес, обводя всех серыми задумчивыми глазами.— Страха этого я правда никогда в бою не чувствовал. Хотите верьте, хотите — нет. Лежишь в цепи, стреляешь, и если неприятеля видно, то вся дума только о том, как бы не промазать, на мушку которого взять. А когда противник далеко и евонная артиллерия бьет, скажем, по цепи, тогда иной раз и о смерти подумаешь, но только не страшно станет, а вроде обидно. «Тю, бес,— думаешь в своей голове,— бьют тебя, угробить могут, а ты, бес возьми, не можешь соответствовать, потому — нету видимой цели».

— Это верно,— согласился Фролкин,— лежать дураком под снарядами — тошно. И злоба такая берет, не дай бог. Я один раз, вот Котельников знает, рукав гимнастерки зубами порвал.

— Да, обидно бывает,— продолжал Бес,— но опять же, братцы, если вникнуть в дело умственно, с сознанием, то поймешь, что не напрасно же в цепи лежишь под артиллерийским обстрелом. Испугайся снарядов, отступи — этого только врагу и надо. Из-за этого он и снарядов столько тратит. Так вот, братцы,— многозначительно поднял Бес палец вверх,— тут и думаешь: «Крой, бес, все равно не отступим. И ежели помрем, так на деле, а не зря». Подумаешь так — и обиды никакой уже не чувствуешь. Спокойнее станет.

— А в атаку-то ходил?— снова задал вопрос Котельников.

Глаза Беса повеселели.

— Атака! Атака, брат, чудесная штука! В атаку идешь — во!— Он крепко сжал кулаки, лицо его побагровело.— Во, бес! Все в тебе играет, каждая жилка трепещет от радости, от веселья. Ноги земли не чуют — идешь как по воздуху. Душа поет. Ну, будто великий праздник!

— А Бес верно говорит,— сказал штрафник Сухоруков.— Атака — дело большое. И большую радость она дает. Я ходил в атаку на Плесецкой, на архангельском фронте, несколько раз ходил. И каждый раз как двинемся — такая радость охватит, что сам потом дивишься: отчего, мол, это? Кажется — ведь в решительный бой идешь, смерти в глаза смотришь, а чувство такое, что будто, как вот Бес говорит, великий праздник встречаешь.

Сухоруков замолчал. И все молчали, задумались.

— Да,— вздохнул Фролкин,— надо добиваться четвертого взвода. Фронт — так фронт. Люди воюют, а мы, выходит, хуже их. «Заячий элемент», как говорит командир. Позорное прозвание, а ничего не сделаешь — заслужили такую марку. Нет, ребята, надо выбираться из позора, на ноги подняться.

Ему никто не возражал.

7

От туч, закрывших небо, было тревожно-сумрачно, как бывает перед грозой.

В растворенное окно канцелярии шестнадцатой роты тянуло влажной прохладой, предвещавшей дождь.

Срочных дел в канцелярии не было.

Комроты писал письмо, комиссар читал газету, переписчик — книгу. Прошка ловил мух, ползавших по столу вяло, полусонно, как всегда перед грозой.

Тимошин закрыл книгу, потянулся:

— Неважные стишата.

— Чьи?— спросил комиссар, не отводя глаз от газеты.

— Мея.

Прошка улыбнулся смешному слову: «Мея».

— Сравнить его стихи со стихами Пушкина — какая огромная разница!— сказал Тимошин.

Он любил декламировать отрывки из «Евгения Онегина», которого знал наизусть почти всего. И теперь он прочел вслух строфы две-три из Мея, а затем для сравнения начал читать на память из Пушкина, предварительно спросив командира и комиссара:

— Я не помешаю?

— Крой на здоровье,— ответил комроты.

Комиссар отложил газету, Прошка перестал ловить мух и, раскрыв рот, приготовился слушать.

Его всегда интересовало и поражало, как Тимошин может говорить складно без книги. К тому же нередко попадались смешные выражения и слова, а смешное Прошку забавляло.

Но на этот раз декламация Тимошина сорвалась.

Он складно сказал о каком-то дяде, наверно глупом человеке, который что-то «лучше выдумать не мог», но вдруг ветер сильно хлопнул рамой. Комроты выругался. Глухо проворчал вдалеке гром, забарабанил по стеклам дождь.

Тимошин откашлялся, хотел продолжать прерванное чтение, но в канцелярию вошел красноармеец, а за ним другой, с винтовкой — арестованный и конвоир.

Конвоир подал Тимошину бумагу, достал из-за пазухи смятую тетрадь.

— Расписаться надо.

— Откуда?— спросил Тимошин.

— Из тринадцатой роты.

Тимошин расписался в тетради. Конвоир ушел.

— Что там? Прочитай!— сказал комроты.

Тимошин стал читать бумагу:

— Командиру шестнадцатой штрафной роты стрелкового запполка N-ской армии — препроводительная записка.

Эти строки он пробормотал быстро, дальше стал читать медленно и отчетливо:

— Препровождается во вверенную вам роту стрелок второго взвода тринадцатой роты Сверчков Никита, отказавшийся взять оружие как баптист.

— Кто такой?— спросил комроты.

— Баптисты — религиозные сектанты,— сказал комиссар.

— Ты — Сверчков Никита?— обратился комроты к красноармейцу.

— Да,— ответил тот.

— Баптист?

— Я толстовец,— сказал красноармеец, как бы с некоторой обидой.

— А это еще что за плешь?— оглядел комроты всех, но ответил сам Сверчков.

— Толстовец — значит, тот, кто следует учению писателя и философа Льва Толстого.

— Значит, живешь по его уставу?

— Стараюсь так жить,— вздохнул Сверчков, словно ему тяжело было следовать толстовскому учению.

— Непротивление злу, смирение, прощение обид, нанесенных людьми,— гвоздь религиозной философии Толстого,— сказал комиссар.

Сумрачную комнату ярко осветила молния, бухнул громовой удар, похожий на ружейный залп, хлынул дождь.

— Бог орудует,— кивнул на окно комроты,— как думаешь, Сверчков Никита?

— Электричество,— ответил тот.

— А может, Илья-пророк?

Нездоровой белизны лицо Сверчкова, одутловатое, опушенное кудрявой мягкой растительностью, напоминало лицо монаха.

И заговорил он по-монашески: монотонно и гнусаво.

— Духовенство старалось представить господа карающим грозным существом, тогда как он любвеобилен и кроток. Бог есть любовь, сказал Иоанн Богослов.

— Оставим разговоры на любовные темы,— сухо произнес комроты, свертывая неуклюжую толстую цигарку,— скажи лучше вот что, Сверчков Никита. Согласно препроводительной записке комроты тринадцать, ты отказался узять винтовку как баптист. Так?

Сверчков кисло улыбнулся.

— Командир тринадцатой роты, куда я был переведен из полковой пекарни, назвал меня баптистом за отказ взять оружие. Я сказал ему, что я толстовец, а он говорит: «Никаких толстовцев нет, а существуют вредные секты: скопцы и баптисты. Скопцом ты быть не можешь, потому что у тебя есть жена; стало быть, ты баптист, и никаких гвоздей». Я не стал с ним спорить, а он так и написал, что я баптист. А я баптистом никогда не был. Я толстовец.

— Баптисты, толстовцы и разные твои скопцы — одна плешь,— недовольно махнул рукою комроты,— все дело твое в том, что ты не согласен иметь винтовку. Тут черным по белому сказано о тебе: «отказавший узять оружие». Вот! Я же тебе скажу следующее: какая там у тебя программа — толстовская или скопцовская,— здесь, у шестнадцатой роте, безразлично: должен работать — и никаких. Винтовки не получишь, дадут тебе лопату или киркомотыгу вообще, что полага-

ется. И действуй! Только не саботируй! Вы, толстовцы да скопцы, словом — попы разных мастей,— большие лодыри, саботажники. Вам бы только лежать на боку да мечтать о боге и о своей дурацкой божественной программе.

Он взял со стола препроводительную Сверчкова и, дав ее Прошке, сказал сердито:

— Отведи его преподобие толстовца Сверчкова Никиту у первый взвод.

Прошка расплылся в улыбке от «его преподобия» и сказал Сверчкову:

— Пойдем, преподобный.

По уходе Сверчкова комроты, продолжая волноваться, говорил комиссару:

— Еще плешь на нашу голову. Начнет этот поп наставлять штрафников на божественное. Ты, товарищ Нухнат, постарайся выявить сущность подобного элемента: насколько он вреден для советской власти, для рабоче-крестьянской Красной Армии. В общем, разбери по косточкам этого пресловутого толстовца. Я насчет религии, сам знаешь, ни в зуб ногой, а ты по божеству — мастер. Ты любого попа у щель загонишь и с Библией, и с «Часами», или как там называется ихняя литература.

Комроты волновало, как бы «пресловутый толстовец» не доставил много хлопот.

В тот же день ему пришлось поволноваться уже по другому поводу.

В роту были доставлены из военного трибунала четверо штрафников: трое — обыкновенные дезертиры, один — дезертир и подследственный.

Вновь прибывшие после регистрации были направлены в первый взвод.

Спустя немного времени в канцелярию пришел озабоченный комвзвода один и доложил, что один из новых штрафников не принимает казенной одежды и не сдает своей.

— Чем мотивирует?— раздраженно спросил комроты.

— Говорит, что он не осужденный, а подследственный, что знаком с видными ответственными работниками, что он не рядовой красноармеец, а комиссар какого-то края.

— Что не помешало ему попасть у штрафную роту,— прервал комроты и добавил:— Пошли его сюда.

Когда командир первого взвода вышел, комроты обратился к Тимошину:

— Что в бумагах этого комиссара, подследственного? Скажи кратко.

Тимошин пробежал бумагу.

— Подозревается в незаконной продаже воинских лошадей в Степном крае.

— Достаточно,— сказал комроты и уставился потемневшими глазами на входившего в сопровождении комвзвода один штрафника.

Тот подошел ленивой, развалистой походкой к столу, за которым сидел комроты.

— Вы — командир этой роты?

— Командир этой роты,— глухо отозвался комроты шестнадцать, не отводя от лица штрафника все более темневших глаз.

— Видите. Мне не хочется сдавать обмундирование. Френч и бриджи из очень хорошего материала, сшиты на заказ. В цейхгаузе, боюсь, одежда попортится.

— В цейхгаузе не попортится, а на работе — определенно,— сказал комроты.

— Вы, надеюсь, дадите мне чистую работу,— приятельски улыбнулся штрафник.— В канцелярии найдется дело... Или, например, отмечать на работе.

— Табельщиков нам не нужно. У нас не фабрика и не завод.

— Да... Но ведь я не просто красноармеец...

— Что значит — просто красноармеец?— спросил комроты.

Штрафник поспешно достал из грудного кармана большой, желтой кожи, бумажник, стал в нем рыться, говоря:

— Я комиссар Степного края. Вот документы. Потрудитесь взглянуть.

Он положил на стол несколько бумажек, заложил руки за спину и, снисходительно усмехаясь, смотрел на комроты.

А тот, не читая бумаг, отложил их в сторону, раздельно полувопросительно произнес:

— Ты комиссар... Степного... края?

— Да. Посмотрите документы,— раздраженно сказал штрафник.

— Стань, как полагается! Вынь руки из-за задницы!— вдруг гневно вскричал комроты звонким, задребезжавшим в стекле окна голосом.

Круто обернулся к комвзводу и, бледнея под смуглотою, сказал уже тихо и, как всегда, глухо:

— Чтобы больше не было разговоров о несдаче в цейхгауз обмундирования. Что это за новости? Я не узнаю вас, комвзвода один.

Тот молчал, красный до слез.

— Выдать ему,— указал комроты пальцем на штрафника,— лапти, порты и усе, что полагается. И послать его у нужники очки чистить, ибо потому что он не просто красноармеец, а комиссар-дезертир плюс подозреваемый в конокрадстве.

— Послушайте...— начал штрафник.

— Инцидент исчерпан,— спокойно перебил комроты, но, подумав секунду, добавил еще спокойнее.— Для первого раза очки с вас снимаются, пойдете на огород полоть гряды, но у дальнейшем не козыряйте. Мы козырей не любим — они нам не у масть. Ступайте!

И он кивнул головой.

8

Как и предполагал комроты шестнадцать, штрафник Сверчков доставил ему и комиссару много хлопот.

Сверчков списался с женой, живущей в Петрограде, и она привезла ему его документы, по которым выяснилось, что зарайский мещанин, пекарь по роду занятий, Сверчков Никита Иванов — член религиозного общества толстовцев, что он, при царском режиме призванный к отбыванию воинской повинности, отказался принять оружие, за что и был осужден в арестантские исправительные отделения сроком на четыре года и по отбытии наказания убеждений своих не переменил, а потому был навсегда лишен права жительства в столице и ее пределах.

— Десять с лишним лет назад я познал истину,— говорил Сверчков,— и с тех пор убеждения мои не поколебались и не поколеблются. Я против пролития чьей бы то ни было крови, даже против убийства насекомого.

— И вшу не убьешь?— спросил Сверчкова комроты.

— Не убью, ибо все живое должно жить. Я никому не дал жизни, а стало быть, не имею права и отнимать ее у кого бы то ни было...

— Значит, оставишь жить вшу — распространительницу заразы, не убьешь и ядовитого гада, к примеру змея?— опять задал вопрос комроты.

Сверчков уныло развел руками:

— Я им не дал жизни, не смею ее и отнимать.

— Ну ладно, Сверчков,— горячился комроты,— оставим ползучих гадов и кинем взор на гадов двуногих. Усе эти гады, с которыми нам приходится драться на фронтах, поверь мне, вреднее гадюки и твоей этой тифозной вши. Так рассуди, Сверчков Никита, сознательно: ежели уся Красная Армия не возьмет у руки винтовок и пулеметов, по твоему примеру,— то что тогда будет?

— Война прекратится, ибо никто не тронет безоружных.

— Фью!— свистнул комроты.— Видно, что ты на фронтах не бывал, а потому не знаешь, что там творится. Плохо ты, Сверчков Никита, учитываешь психологию золотопогонников. Да знаешь ли ты, что безоружных и беззащитных женщин и детей эти гады мучили и убивали! Нет,— приходя в азарт, вскрикнул комроты шестнадцать,— твое это скопцовское или толстовское учение — вредная и глупая плешь, только и усего! Комиссар с тобой бился и сознания не добился. Я с тобой канителюсь, а толку никакого. Закрутили твою голову твои толстовские попы, и перестал ты рассуждать нормально.

Успокоясь немного, комроты тихо добавил:

— Здесь, у шестнадцатой, оружия штрафникам не выдается, как ты и знаешь. Но по пекарской части работу дать тебе не можем. Пекарни ротной нет, есть полковая, где ты раньше и работал. Так что уж не взыщи, Сверчков, придется работать, что велят.

— Я ни от какой работы не отказываюсь. Но больше пользы мог бы принести на вашем ротном огороде,— сказал Сверчков.— Огородное дело я знаю и люблю.

— Ну, дуй на огород!— махнул рукою комроты.— Только знай, что огородная работа — не вечная и у конце концов попадешь у четвертый взвод, а там придется узять в руки винтовку.

Сверчков слабо улыбнулся и отрицательно качнул головой.

Беседуя о Сверчкове с комиссаром, комроты высказывал опасения, что толстовец начнет вести среди штрафников религиозную пропаганду, но скоро он убедился, что беседы толстовца со штрафниками не нашли среди них отклика.

Собственно, Сверчков сам и не начинал бесед по поводу своих религиозных убеждений и взглядов на войну, а вызванный на разговоры большей частью шутками, отвечал на задаваемые штрафниками вопросы как бы нехотя и кратко.

Влияния на штрафников он не имел. Одни смеялись над ним, считая «чудаком», «ненормальным» и «малохольным», другие же относились к нему подозрительно и очень недружелюбно.

Угрюмый первовзводник Котельников сердито говорил о Сверчкове:

— Хитроват мужик, а совсем не малохольный. Мы вот, дураки, с позиций бегали, а все равно воевать будем. А этот и не побежит, и не навоюет — божественностью отделается.

— Правильно!— смеялся Фролкин.— Сочинит что-нибудь из божественного посмешнее — за дурачка и сойдет. Я и то его спрашиваю: «Значит, мол, фронты, по-твоему, не нужны?» А он: «Если бы на фронте воткнули штыки в землю, никакой бы неприятель драться не стал».

— Как же!— воскликнул Котельников.— Ты штык в землю воткнешь, а «беляк» тебе — в пузо.

— То-то и оно. А он, Сверчков-то этот, не сознает.

— Святым прикидывается. Тьфу!— неожиданно плевался Котельников.— Какого только народа не повстречаешь в жизни!

— Ну, такого-то, небось, первого встретил?

— Хоть бы и не встречать больше таких. Не люблю святош.

— А кто их любит? Ихнее время теперь отошло. Святые да попы «белякам» нужны. А нам их, паразитов, кормить не за что.

— Он, видишь ли,— сердился опять Котельников,— всякую живность жалеет. И клопа, и комара. А ежели на него медведь нападет, он тогда с ним про религию заговорит: дескать, я тебя не трогаю, потому

что бог жизню дал, ну и ты, Мишенька, меня не ломай — я тоже божья тварь.

— Неужели так и станет рассуждать?— залился Фролкин смехом.

— Чудак! А как же иначе? Ведь по его программе кровь проливать нельзя. Тогда, значит, и с медведем объясняйся про религию.

— Да, уж и вера у Сверчкова!

— Хитрит он. Поверь моему слову. Не дурак он, чтобы в такую чепуху верить и следовать ей. Вот как на фронт попадем и если он не отвертится, посмотришь, какая у него будет святость после первых же боев. Весь свой толстовский устав переведет на «Полевой устав службы».

9

Комроты вставал до общей побудки. Когда играли зорю, он уже сидел в канцелярии одетый, застегнутый на все пуговицы. Когда рота выстраивалась повзводно на дворе, он выходил к ней и, приняв рапорты комвзводов, отдавал приказание произвести поверку. Затем переписчиком зачитывался вслух приказ по роте.

Приказы по роте не были обязательными, как приказы по полку. Это было введено комроты по собственной инициативе. Вводя их, он согласовался с комиссаром.

Комиссар сперва не понял, для чего это нужно.

— Напрасная трата времени, труда и бумаги,— сказал он с неудовольствием.

— Ты, товарищ Нухнат, сам знаешь, что я противник бумажной волокиты,— заговорил комроты,— но тут дело вот у чем: у приказах мы будем писать, сколько и чего намечено работать, а также сколько сработано за истекший день, у приказах же будет объявляться благодарность тем, кто старался, и порицание лодырям, с предупреждением, что при повторном саботаже будет применено соответствующее дисциплинарное взыскание. А нужную бумагу тратить не к чему. Вот тут товарищ Тимошин набрал в архивах разную божественную чепуху. Описание Соловецкого монастыря, горы Афона и прочей плеши. А бумага-то какая! Прямо что у игральных картах высшего сорта. Поперек печати и этих разных картинок и будем писать.

— Тогда можно,— засмеялся комиссар,— а то на нужную вещь — на газету — и то нет хорошей бумаги. Как же ее тратить на ротные приказы?

Приказы по роте выслушивались штрафниками внимательно.

Благодарность, объявленная перед лицом всей роты за хорошую работу и зафиксированная на бумаге, удовлетворяла отличившихся и заставляла их и в будущем стараться, чтобы не попасть в приказ как лодыри.

Лодыри, получившие предупреждение, что при повторном саботаже они будут нести наказание, начинали работать лучше.

Так же всем нравилось, что в приказах отмечалось, что именно сделано взводами.

Взводы, не выполнившие нормы, подвергались насмешкам со стороны выполнивших и перевыполнивших.

А когда оглашалось, что какая-нибудь долгодневная работа закончена, штрафники с гордостью говорили:

— Канализацию закончили. Это, брат, не фунт изюма. Теперь все с водой будут.

Или:

— Эшелон дров в двенадцать вагонов отправлен в Петроград. Людей отогрели.

Толстовец Сверчков получил в приказе благодарность за хорошо поставленную работу по огороду.

— Ишь ты! Поп, а не лентяйничает!— смеялся недавний лодырь Фролкин.

А его товарищ Котельников бурчал:

— Поповская повадка известная. Огород — для брюха, штука сытная. Не то что улицы мостить. Вот и старается.

А когда Сверчков был произведен в старшие огородники, Котельников возмутился.

— Какой с него старший огородник? Ведь он пекарь. Ему — тесто месить да буханки делать, да для себя лишнюю прихватить. Ох уж эта поповская братия! Куда хочешь без мыла влезут. Он и на фронт не попадет, попомни мое слово. Будет копаться где-нибудь...

— Во саду ли, в огороде,— перебил, смеясь, Фролкин.

— Чего смеешься?— загорячился Котельников.— И садовником заделается. Вот в этих самых царских парках. У него нахальства хватит.

Сверчкова он спросил:

— Хорошо в огороде работать?

— Хорошо,— ответил тот,— землю я люблю.

— Кто ее не любит,— насмешливо сказал Котельников.— На земле живем.

— И живем на ней, и умрем — в ней окажемся,— бледно улыбнулся Сверчков.— Дело не в том. Люблю я работать на ней потому, что видишь, как от твоих трудов произрастает, например, овощ или ягода.

Котельников раздраженно заметил:

— А я думаю, что по твоей вере тебе и овощей нельзя употреблять. Потому овощ — та же живность,— зло усмехнулся он.— Родилась, значит, картошка, а ты ее — в котел, а потом съешь. Значит, жизни лишаешь.

— Овощи и животное — не одно и то же,— вздохнул Сверчков.— Картошку я режу или варю — она боли не чувствует, и сознания жизни у нее нет никакого. И понятия о смерти она не имеет. У нее нет души.

— А ты почем знаешь?— сердился Котельников, не любивший Сверчкова.

— Это и ты знаешь,— спокойно гнусавил тот.

— А вот не знаю. Может, овощ и боль чувствует, и сознание имеет, может, и душа есть у той же картошки.

— Эх ты, картофельная душа!— хлопнул горячившегося Котельникова по плечу Фролкин.— Завел ерунду на постном масле.

Котельников смутился и больше уже не начинал бессмысленных разговоров о душе в овощах.

«Заячий элемент» все лучше и лучше работал. За ним едва могли угнаться даже бывшие первыми по работе.

Только один «степной комиссар» работал лениво, ежеминутно вступая в пререкания со взводным. Но вскоре он был вызван на суд ревтрибунала, и в роте не осталось ни одного саботажника.

И шестнадцатая рота выполнила раньше намеченного срока работы.

Она получила благодарность в приказе.

Кроме того, командир роты сдержал обещание — «всенародно смыл позор» с бывших лодырей.

Он устроил в воскресный день «грандиозный митинг-концерт», как гласили афиши работы малохольного Пухова.

Митинг происходил опять в городском театре.

Выстроив бывший «заячий элемент» на сцене, как и на первом митинге, командир, указывая на них, произнес вздрагивающим от искренного волнения голосом:

— Вот эти указанные товарищи долгое время работали плохо, короче говоря — лодырничали. И по справедливости пришлось бросить им у глаза позорное звание «заячьего элемента». Теперь они подтянулись и доказали хорошей работой, что они такой же трудящий элемент, как и прочая многомиллионная масса населения Советской России. И если, повторяю, им еще недавно было брошено у глаза позорное слово, то сейчас, наоборот, всенародно скажем им товарищеское спасибо.

Он пожал руки бывшим лодырям.

Музыка заиграла туш. Публика неистово зааплодировала, послышались крики «браво!» и «ура!».

Радостно взволнованные штрафники спускались со сцены по приставной лестнице.

Фролкин утирал слезы.

А комроты продолжал:

— То же товарищеское спасибо и усей уверенной мне роте, потому что благодаря ейному старанию по ремонту мостовых у настоящее время усе граждане, не исключая и особ прекрасного пола, могут смело ходить по улицам, не боясь поломать ног.

Он отмахнулся от аплодисментов. Голос его стал твердым и торжественным.

— Слушай, шестнадцатая!— прокричал он, словно командуя.— Вы, показавшие себя на работе красными львами, останьтесь ими же и тогда, когда у ваших руках будут не лопата и лом, а винтовка и пулемет. Вы уже не будете хорониться под ракитовый куст, как пресловутые зайцы. Не нужно обещаний и клятв. Я знаю, что вы по первому зову пойдете у бой и, если надо, примете смерть.

Взгляд его случайно упал на Сверчкова, и ему показалось, что в глазах толстовца была насмешливая грусть.

— Я уверен,— повысил голос комроты,— что и такие, кто по заблуждению отказываются от войны, также возьмут винтовку и не выпустят ее из рук до тех пор, пока враг не будет сломлен!

10

Получив за хорошую работу благодарность и на митинге, и в приказе, шестнадцатая рота удвоила энергию.

Отстающих подгоняли свои же товарищи, говоря:

— А ну, поднажми! Не позорь красную шестнадцатую!

Вновь прибывающих также принуждали равняться со всеми.

Один из новых не захотел подчиниться требованию товарищей, сказав:

— Как захочу, так и буду работать.

И работал лениво, отдыхал, когда хотел, и отдыхал подолгу, закуривал не в одно время со всеми, как установили сами штрафники, а когда вздумается. И больше курил, чем работал.

В послеобеденный час все три штрафных взвода открыли собрание во дворе казармы и стали обсуждать поведение новичка.

— Наша рота,— сказал Фролкин, первый взявший слово,— работает как один человек, а вот новый товарищ вносит беспорядок, срывает работу. Предлагаю, товарищи, не иметь с ним никаких делов, пока он не станет с нами работать вместе, дружно. Мы, можно сказать,— одна семья,— вдохновился оратор,— спаялись и в работе, и в жизни.

— Правильно!— сказал кто-то.

— Вот!— продолжал Фролкин.— А он, если с нами слиться не желает, пущай будет одиночкой.

— Правильно!— сказал Котельников.— На отшибе.

— Постой!— остановил его Фролкин.— И предлагаю, товарищи, как и говорил, ничего с ним не иметь.

— Бойкот, значит, наложим!— крикнул Бес.

— Да, бойкот,— согласился Фролкин.— Одним словом, не знаем его, раз он нас не хочет знать.

Новенький презрительно усмехнулся и отошел в сторону.

Но бойкот он выдержал всего два дня: у него кончились спички, и никто не давал прикурить.

На третий день он уже работал наравне со всеми, отдыхал, когда отдыхали все, свертывал цигарку по команде «закуривай!».

Прикуривать ему давали — бойкот был снят.

Все штрафники, как сказал Фролкин, действительно как бы представляли одну семью.

Различия между взводами уже не существовало.

Слово «первовзводник» сейчас уже не означало — «злостный штрафник». В первый взвод зачислялся каждый вновь прибывший в роту.

Комиссар Нухнат почти ежедневно стал проводить собеседования с штрафниками.

Говорил о значении гражданской войны, о предательской роли дезертиров и саботажников, сознательно или бессознательно помогающих врагу.

На одном из таких собеседований постановлено было всеми силами бороться с саботажем в роте.

В каждом взводе был выбран старший, на обязанности которого ложились заботы о том, чтобы во взводе все работали как один, чтобы соблюдался порядок в казарме и вне ее.

Каждого нового старший знакомил с условиями жизни в роте.

Он говорил приблизительно следующее:

— Мы, товарищи, представляем здесь как бы одну семью, артель, коллектив. Назови как хочешь. Главное условие — точное исполнение требований ротного начальства. А требуют от нас немногого, именно: чтобы не было никакого саботажа, никаких склок, чтобы соблюдался порядок как в казарме, так и вне ее. Одним словом, живи, как живут в хорошей рабочей или крестьянской семье, ибо ты сын рабоче-крестьянского государства.

Фролкин, один из старших, составивший, коллективно с Котельниковым и Бесом, эту речь, обычно добавлял:

— Главное, браток, не плошай в работе: не ловчи, не фальшивь, дуй, что называется, самосильно. Урок нам дается нетрудный, так что выполнять его нужно честно, а не ждать, чтобы за тебя работал дядя.

Иногда добавлял еще:

— Самому, браток, лучше! Скорее будешь пить чай с чайным ромом.

Нередко какой-нибудь наивный парень из новичков с любопытством спрашивал:

— А что это за чайный ром?

Фролкин прищелкивал языком:

— Эх! Это, браток, штука такая, какой ты и не пробовал.

Он глубоко, как бы с сожалением, вздыхал и отходил от парня.

Особенно назойливым, добивавшимся узнать, что же такое чайный ром, он отвечал почти сердито:

— Работай подходяще, так все узнаешь. А будешь лодырничать — не видать тебе чайного рома, как своих ушей.

Как-то, во время подобного разговора, происходившего во дворе казармы, подошел комроты.

— Ты что о чайном роме толкуешь?— спросил он Фролкина.

Тот вытянулся, смущенно улыбнулся:

— Так что, товарищ командир, пристал парень: «Что за чайный ром?» А я и говорю: «Будешь, мол, лодырничать, саботировать — никогда его не попробуешь».

— Правильно,— усмехнулся комроты и прошел мимо.

А Фролкин говорил обступившим его штрафникам:

— С прошедшего года, с марта месяца, у меня его во рту капли не было.

— А очень тебе его хочется?— спросил один из штрафников.

— Страсть!— зажмурясь, потряс головой Фролкин.— Во сне, бывает, вижу.

Кругом засмеялись.

— Смейтесь!— обиделся Фролкин.— В прошедшем году сколько я на нем денег пропил, господи! Стояли мы, перед отправкой на фронт, в бывшем кадетском корпусе, на Васильевском, в Петрограде. А там, угол Большого проспекта и Кадетской линии, столовая была. Шикарная. Чистая. Белые скатерти на столах. Девчата — услужающие — тоже в белом. И вот этот ром там, чайный. Так, бывало, чуть свободная копейка — туда. Много наших ребят, второго стрелкового, ходило. Денег не было — так не только сахар, а хлеб загоняли на Андреевском рынке. А другие, случалось, белье загоняли, казенное. Ну, а я-то — нет! Хлеб, сахар — другое дело!

— А хмельной этот ром здорово?— спросил один бородатый штрафник.

— Совсем не хмельной. Что ж тебе в столовой будут самогон продавать?— покосился на бородача

Фролкин.— Не хмельной, а сладкий. На настоящем сахарине. Без чаю его и пить нельзя — глотку обдерет от сладости. Да и не в этом дело. Главное, сидишь ты, сладкий чай пьешь. На салфетке. Бабешки подносят. А то еще пирожок закажешь. Картофельные были. Ржаных, правда, не было. Сидишь. Люди сидят. Разговор. Вот в чем дело.

Прибежал Прошка, крикнул:

— Фролкин! Командир требует!

Фролкин двинулся за Прошкой.

— Чай с ромом зовет пить!— крикнули ему вслед штрафники.

— Напоит, как же,— пробурчал Котельников.

— Нас, Фролкин, угости!— смеялись штрафники.

В канцелярии, куда привел Фролкина Прошка, были комроты, комиссар и переписчик.

Комроты и переписчик писали и даже не взглянули на вошедших. Комиссар читал газету. Отложил ее, сказал Фролкину:

— Пойдем, товарищ!

Голос его показался Фролкину сердитым. И взглянул на него как-то странно.

Фролкин встревожился.

«Куда это он меня?— подумал он, когда проходили через двор, к воротам.— В штаб полка, что ли? А зачем?»

Комиссар, обычно веселый и разговорчивый, сейчас был серьезен и молчалив.

Во дворе штрафники с удивлением смотрели на них. И не смеялись.

Когда выходили из ворот, комиссар, пропуская вперед Фролкина, сказал:

— Налево.

Шли так же молча. Фролкин не решался заговорить.

«В штаб, не иначе,— опять подумалось,— куда же комиссару больше ходить?»

Дошли до перекрестка.

— Прямо,— сказал комиссар.

Пошел рядом с Фролкиным.

— Сюда,— указал на открытую настежь стеклянную дверь в небольшом двухэтажном белом доме.

Фролкин, подталкиваемый комиссаром, вошел, и тревога сменилась удивлением.

Прямо против двери — буфетная стойка, столики. Девушка в белом фартуке расставляет тарелки перед сидящими за столом людьми.

Комиссар взял Фролкина за локоть.

— Садись. Здесь, у окна, веселее.

Над окном в клетке пела канарейка.

Фролкин удивленно смотрел на комиссара.

Тот, садясь за столик, широко улыбнулся:

— Садись! Чего стоишь?

Фролкин сел, вытер рукавом вспотевший лоб.

— Чаю,— сказал комиссар подошедшей девушке, посмотрел на Фролкина смеющимися глазами,— с ромом?

Фролкин сконфузился, но повеселел.

— Никакого рома нет. Монпансье,— ответила девушка.

— Экая беда!— вздохнул комиссар.— А мы хотели с ромом. А у вас что-нибудь едят?

— А что хотите?

— А что есть, все хотим.

— Селедка. Картошка. Больше ничего нет.

— Слышишь, товарищ Фролкин? Селедка да еще с картошкой. Это получше, чем чай с ромом, а?— засмеялся комиссар.

— Все хорошо,— засмеялся и Фролкин.— Селедка с картошкой, конечно, сытнее, товарищ комиссар.

— Комиссар здесь — она,— показал Нухнат на девушку.— А я — там, в шестнадцатой.

Девушка улыбнулась.

— Что же вам подать?

— Селедки с картошкой, ясное дело.

— Селедка — отдельно, картошка — отдельно. Картошка — на фунты. Сколько вам?

— Три фунта. Четыре!— махнул рукой комиссар.— Все равно пропадать.

Когда съели большую селедку и четыре фунта картошки, комиссар, разливая чай, говорил задумчиво:

— Не чай с ромом важен, товарищ Фролкин, а свобода. Ты потому чай с ромом помнишь, что пил его, когда был свободен. Что? Не верно?

Он пристально посмотрел на Фролкина прекрасными, небесного цвета глазами.

Фролкин вздохнул.

— Верно, товарищ...

— Нухнат,— докончил комиссар.

11

Газеты сообщали о героической смерти бывшего генерала Николаева, служившего в Красной Армии, взятого в плен белыми во время первого похода Юденича на Петроград и казненного ими в Ямбурге. Перед казнью Николаев воскликнул: «Да здравствует советская власть!»

На ротном митинге командир и комиссар шестнадцатой останавливались на этом факте.

Комроты говорил:

— Бросим взор, товарищи, на этот исторический пример. Перед нами — бывший царский генерал,— стало быть, человек, не принадлежащий к классу рабочих и крестьян. Но, как человек честный и сознательный, он понял, что единственная справедливая власть — это власть Советов. Он, бывший генерал, наш товарищ Николаев, на предложение генералов служить у их частях ответил отказом и, идя на казнь, перед смертью сказал: «Да здравствует советская власть!» Бывший генерал умер как красный герой. А вы, товарищи, предавали советскую власть — власть рабочих и крестьян. Да, предавали! Дезертирство — предательство. Дезертируя, вы ослабляли красный фронт, вы облегчали белым борьбу с нами, вы предавали своих братьев и товарищей — красных бойцов. Теперь, товарищи, вы сознали свое тяжкое преступление, вы, работая в красной шестнадцатой, показали себя героями труда, хотя и были сначала дезертирами труда — ленились и саботировали. Вы теперь — герои труда. Но это — половина задания. Вам еще остается смыть с себя пятно позора. Бывшие шкурники, дезертиры фронта, вы должны себя показать с другой стороны: когда будете у рядах красных бойцов, грудью отражающих напор белогвардейской сволочи, то у красных рядах вы должны быть не последними, вы должны, подобно вашим товарищам — красным львам, быть такими же красными львами. Иначе что каждый из вас скажет своим детям, вообще подрастающему поколению, когда они вас спросят: «А что, отец, ты делал у гражданскую войну?» Что ты скажешь? Скажешь: «Я лежал под ракитовым кустом. Потом отбывал наказание за дезертирство у штрафной роте». У тебя язык не повернется сказать это, и ты бу-

дешь молчать и краснеть. Даже не у светлом будущем, а теперь — вернись вы домой прямо из штрафной роты, что вы скажете своим деревенским, а городские — городским знакомцам? Что вы скажете тем, кто вернется с фронта, вернется, может быть, с орденом Красного Знамени на груди или с иной какой наградой? Нечего вам, товарищи, сказать. А вы, молодые ребята, что скажете дома своим невестам? Нечего вам сказать. Поэтому, товарищи, вы должны смыть пятно позора. Мало того, что вы должны идти на фронт, но там вы должны с беззаветной храбростью биться за власть Советов, за свою, рабоче-крестьянскую власть, и если придется, то отдать за нее и свою жизнь.

В таком же духе была и речь комиссара Нухната, только говорил он красивее.

Митинги стали теперь происходить в шестнадцатой роте чуть не ежедневно.

Некоторые из штрафников сперва ворчали на то, что «зря теряется время», а потом скучали, когда назначенный митинг почему-либо откладывался на другой день.

Митинги заканчивались пением «Интернационала» и красноармейских песен.

Комроты, дирижируя, вдохновенно пел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов.

Гремящим голосом, но не в тон, из-за отсутствия слуха, пел комиссар Нухнат, и небесные глаза его горели голубым огнем.

— Дружнее, братцы,— сипловато кричал комроты.— Сильней! Чтобы небо дрожало.

Отыскивал глазами толстовца Сверчкова, кричал ему:

— Сверчков Никита! Дуй от всей души! Это тебе не аллилуйя!

И толстовец подтягивал гнусавой фистулой:

Смело мы в бой пойдем...

Фролкин заливался тонким голосом, чуть не дискантом, Котельников гудел угрюмым басом.

И резко, но не в тон, как и комиссар, орал, терзая уши, толстый Прошка.

На одном из митингов Фролкин и его односельчане Котельников и Григорьев подали заявления, прося отправки на фронт.

Фролкин выступил с речью.

— Товарищи,— сказал он,— вот вы смеялись над чайным ромом! Что я, дескать, скучаю по нем. А дело, братцы, не в чае и не в роме. Когда товарищ комиссар угощал меня чаем в здешней чайнушке — кафе она называется,— то он правильно сказал, что не чайный ром важен, а важна свобода. И я это понимал сам, только раньше разобраться не мог. Вот я сидел с комиссаром за одним столом, услужающая барышня подавала нам картошку и тому подобное. Словом, будто я свободный человек, посетитель, как и все прочие, что там сидели. Но это не так. Я все-таки штрафник, дезертир. Посетители и услужающая барышня и буфетчик — свободный элемент. И все они могут честно смотреть людям в глаза. А появись я или любой из вас, товарищи, в своей деревне,— можем ли мы честно взглянуть людям в глаза? Нет, не можем! И правильно говорит товарищ командир, что сказать нам будет нечего молодежи, когда они нас спросят: «Что ты делал во время гражданской войны?» И будем мы краснеть. Это верно. Ведь домой вернутся и наши деревенские. Который, может, явится без руки или без ноги, а другой с орденом, а кто и совсем не явится — убит. Так как же мы этим фронтовикам да ихним родным в глаза посмотрим? Разве возможно тут в глаза людям взглянуть? Опять — от своих деревенских дезертируй. Беги в лес, прячься под куст. Вот какие дела. Выход, братцы, только один — фронт. Только на фронте мы, бывшие зайцы, как правильно называл нас товарищ комроты, только на фронте можем мы заслужить звание человека. Тогда не только чайный ром, а деревенский кислый квас сладким покажется.

После заявили о своем желании попасть на фронт штрафники Бес и недавно прибывший в роту молодой парень Березкин.

Бес говорил:

— Я дезертировал не со страху, а по глупости. Стосковался по девочке, по невесте. Бои у нас шли здоровые. «Убьют, думаю, бес возьми, и не успею сказать Насте всего, что лежит на сердце». А что на

сердце лежало? Любовь. И сейчас она тут,— показал Бес рукой на грудь, и никто не смеялся.— Она тут,— повторил он, и голос его слегка дрогнул.— Ну, значит, и бежал. Но ничего, что хотел, не сказал Насте. Спрашивает она: «Как у вас там на фронте? Бьете белых?»— «Бьем».—«А как, говорит, ты домой попал? Уж не бежал ли?» Сказала и так строго смотрит. Стыдно мне стало. «Не бежал,— говорю, а по увольнительной». И старое удостоверение показываю. А она неграмотная, поверила. Так что бежал ей сердце открыть, а вместо того с первых же слов обманул... Да, товарищи,— продолжал Бес, и голос его задрожал сильнее,— любовь во мне — та же. Да отдаст ли Настя свое сердце дезертиру, штрафнику? Нет, не отдаст! Фронтовику отдаст, а не мне. А потому я и прошу отправить меня на фронт, чтобы фронтовиком вернуться.

— К Насте?— негромко спросил комиссар.

— К Насте,— тихо ответил Бес и взглянул на него серыми, грустными глазами.

Штрафник Березкин сказал:

— Я получил письмо из деревни. Всех моих родных белые убили. Мучили, повесили. Даже десятилетнего братишку. Я прошу послать меня на фронт. Я должен отомстить за своих...

Он кончил свою короткую речь слезами и руганью по адресу белых.

Затем выступил комиссар Нухнат.

— Несколько товарищей,— сказал он,— просят отправки на фронт. Это естественно. Скоро и все, кто находится здесь, в штрафной роте, захотят искупить свою вину участием в боях. Но выступавшие здесь товарищи указывали не на главную причину, заставляющую воевать. Один стыдится своих деревенских, от которых со стыда хоть снова дезертируй — беги в лес под куст. Другой боится, что невеста предпочтет ему, дезертиру, фронтовика. Третий рвется на фронт, чтобы отомстить врагу за своих родных. Все это, конечно, причины, но не главные. А главное то, что вы должны искупить свое дезертирство участием в боях не потому, что иначе стыдно будет перед своими деревенскими и перед невестой, а потому, что стыдно будет перед всем многомиллионным народом, перед всей нашей страной. Оружие мы возьмем в руки и взяли для того, чтобы отстоять свои законные человеческие права. Мы, трудящиеся России, защищаем с оружием

в руках свой труд, свои города и деревни, свои фабрики и заводы, землю свою и свободу. Вот для чего мы воюем. Вот почему все, кто в силах, должен идти на фронт.

А потом всех удивил толстовец Сверчков, выступивший с такой речью.

— Я, товарищи,— тихо заговорил он,— чувствую, что нужно переменить веру, вернее — убеждения. Лев Николаевич Толстой,— продолжил Сверчков, слабо улыбаясь,— жил не в такое время. Тогда можно было проповедовать непротивление злу. И опять-таки, когда, например, на меня нападает разбойник, убийца — ну, пусть убьет, но когда вот, как говорил Березкин — и я читал письмо, которое ему писали,— когда мучат и вешают десятилетних детей, тогда какое же непротивление?

— Годовалых шашками рубили!— крикнул кто-то из толпы штрафников.

— Какое же тогда непротивление?— повторил Сверчков, и мутные глаза его засверкали, а голос стал чистым, не гнусавым.— Значит, если я отойду в сторону, откажусь взять винтовку, то я предатель, я соучастник злодеев и убийц? Конечно, так! Я понял, что так. Давно уж понял, а теперь это письмо Березкину окончательно убедило меня: бездействовать нельзя, воткнуть штык в землю — то же самое, что воткнуть его в грудь своего брата.

— Браво, Сверчков Никита!— крикнул комроты и хлопнул в ладоши.

— Браво!— закричали штрафники и оглушительно захлопали.

Сверчков замахал руками — хотел продолжать. Крики смолкли.

— И вот,— закричал Сверчков,— я отказываюсь от своих убеждений. Я прошу отправить меня на фронт красноармейцем.

Он кончил.

— Качать святого!— весело закричал Фролкин, подбежав к Сверчкову.

— Качать!— отозвались штрафники.

Сверчков взлетел несколько раз на воздух, подброшенный десятками рук.

12

Желающим отправиться на фронт комроты объявил, что как только в полку будет формироваться маршевая рота, он направит туда всех, подавших заявление.

Он мог бы отправить и раньше, каждого в свою часть — все штрафники были из фронтовых частей,— но еще выдерживал их.

— Сгоряча поедут, а потом опять сбегут,— говорил он комиссару.— Надо, чтобы действовали вполне сознательно, чтобы не из-за соседей и не из-за невест на фронт шли, а за родину и за революцию. И надо еще, чтобы по-настоящему засвербило, чтобы без фронта жизнь стала не мила. А пока пускай поработают. Труд — самый хороший лекарь от усех болезней. И от дезертирства помогает, дисциплинирует человека. Верно, комиссар?

Нухнат был согласен, что с отправкой можно пока было повременить и что от работы штрафникам будет только польза.

— Надо бы субботник организовать,— сказал комиссар.— Давно собираемся. И чтобы весь командный состав роты принял деятельное участие в субботнике.

— Правильно,— согласился комроты.— У эту же субботу организуем. Идет?

— Идет.

Субботник был назначен: погрузка в вагоны дров для Петрограда.

Накануне комроты созвал комвзводов и объявил им, что в субботнике должны принять участие все, за исключением часовых и дневальных при казарме.

— Так что, товарищ Головкин,— обратился комроты к каптенармусу,— выдай усем лапти, порты и усе, что полагается.

— Я в лапти не обуюсь,— сказал переписчик,— и портов не надену. Гимнастерку только старую.

— Модничать, товарищ Тимошин, не приходится. У лесу работать будешь, а не у канцелярии. Дрова грузить станешь у шикарных сапогах да у галифе? А впрочем,— махнул рукою комроты,— дело твое.

Утром в субботу шестнадцатая в полном составе, кроме нескольких красноармейцев, отбывавших наряды при казарме, вышла на работу.

Все, как и штрафники, были в лаптях и в рабочей одежде, состоящей из старых парусиновых гимнастерок, таких же штанов и бескозырок.

Тимошин тоже в рабочей одежде и даже в лаптях — пожалел трепать хорошие сапоги. Но зато на голове его была не парусиновая, блином, бескозырка, а кожаная фуражка, правда изрядно потертая.

Он оказался в одном ряду с Фролкиным. И тот обратился к нему с деланной почтительностью:

— Вам бы, товарищ, прилично впереди идти. Потому что вы заместо комиссара.

Многие засмеялись. Тимошин не обиделся на насмешку и засмеялся тоже, но не нашел, что ответить Фролкину.

Шли повзводно, с песнями. Впереди роты — командир и комиссар.

Несмотря на ранний час из окон многих домов смотрели люди. Многие уже знали о субботнике.

Из жителей нашлись любопытные, не поленившиеся сопровождать роту до места кладки дров, километра за три за городом. Хотели воочию убедиться, действительно ли будет работать ротный комсостав, особенно командир и комиссар шестнадцатой.

Любопытным предложили принять участие в субботнике. Они стали отказываться, ссылаясь на то, что одеты в неподходящий костюм, но комроты, ласково улыбаясь, сказал:

— А вы поможете подвозить вагонетки. Не запачкаетесь и одежды не порвете.

Дрова были на порядочном расстоянии от железнодорожного полотна и подвозились к нему по двум узкоколейным путям.

— А шестнадцатая рота в долгу не останется,— важно вставил Фролкин.— Накормит вас, граждане, настоящим «куриным бульоном».

В роте уже два дня опять была на обед куреная вобла.

— Мы знаем, из каких кур у вас бульон,— засмеялся один из граждан,— кура не простая, в матушке Волге водится.

— Вот, вот!— радостно вскрикнул Фролкин.— Коли знаете, так не о чем и толковать. Значит, парни свои.

И граждане согласились принять участие в работе, сперва неохотно, но потом, заражаясь общим усерди-

ем, веселостью, подбодряемые шутками и песнями, они не отставали в работе от всех.

Хорошее утро и лесная свежесть также располагали к труду.

— Глядите, какие чурки ворочает сам товарищ командир роты,— указал Фролкин на комроты, укладывавшего на вагонетку толстое полено «девятку», и обратился затем к нему с вопросом:— Товарищ комроты, в лапотках-то удобно ли? Поди, склизко без каблуков?

— Я, дорогой товарищ, лапотков-то побольше тебя стоптал у своей жизни. Так что они мне не у диковинку,— ответил комроты, берясь за новое бревно.

— Знаем, товарищ командир. За это и любим вас, и ценим. За то, значит, что кровь в вас течет наша, крестьянская,— торжественно произнес Фролкин.

Комроты, уложив на вагонетку бревно, сказал:

— Кровь у всех красная. А ты шевелись, Фролкин. Меньше языком действуй, а больше — руками.

Фролкин смутился и слегка обиделся.

— Я языком действую от чистого сердца,— вздохнул он, выбрал бревно потолще и, с трудом взвалив его на вагонетку, продолжал:— От чистого. Потому вот вы с нами сравнялись, со штрафниками, и в работе, и в одежде. И всех сравняли, всю роту.

— Дурень!— усмехнулся командир.— Одежда эта — для работы. Не рвать же хорошую. А ну, командуй лучше: «Закуривай!»

— Слушаю, товарищ командир,— вытянулся и блеснул кофейными глазами Фролкин, а затем, вобрав в себя воздух, пропел нестерпимо звонко:— За-ку-ри-вай!

То, что на субботнике вся рота была в одинаковой рабочей одежде, понравилось не только Фролкину, но и остальным штрафникам.

Главное, все оценили, что командир и комиссар были в лаптях.

По этому поводу никто из штрафников даже не отпускал ни шуток, ни острот.

И угрюмый, недоверчивый Котельников не увидел в этом никакого дипломатического шага со стороны начальства, хотя и отнесся к нему равнодушно.

— Раз пошли на работу, то и оделись не по-праздничному, только и всего,— сказал он.

— Но они могли бы не в лаптях идти, а в старых ботинках. Есть у них, поди. Да и каптер разве бы не нашел для них?— возразил один из штрафников.

— Хотели по правилу. Чтобы все — как один,— сказал Котельников.

— А это плохо?— задал ему вопрос Фролкин, на что тот ответил вопросом же:

— Разве плохо, коли по правилу?

— Вот в этом и дело, что начальство у нас правильное. Особенно командир.

— Настоящие люди и он, и комиссар,— сказал бывший толстовец и, вздохнув, добавил:— С ними бы я и на фронт пошел.

— И без них пойдешь, когда пошлют,— засмеялся Фролкин.

— С ними бы — с радостью.

Фролкин стал серьезным.

— Ты это верно говоришь, Сверчков,— сказал он,— с ними, особенно с командиром, я бы хоть сейчас в бой. В самую горячую кашу ежели б он повел — пошел бы, ни о чем не жалея. Честное слово!

— И всякий из нас пошел бы с ним,— убежденно произнес Бес.

С этим согласились многие штрафники. И не было никаких возражений.

13

Прошка, как и штрафники, относился к комроты тепло и доверчиво, как к честному товарищу, за строгость же уважал его. Говорил своему приятелю Кольке:

— Понимаешь, ведь командир, а в лаптях пошел, в портах и во всем, что полагается. Так сам для всей роты постановил. То есть, понимаешь: что он, что штрафник — не распознать. А работал лучше всех. Такие бревна толстущие подбрасывал — любо поглядеть. Вот человек — так человек. Вот командир — так командир.

— Сердитый он у вас,— сказал Колька.

— Нет!— затряс головой Прошка.— Где надо — строгий, это верно, а сердца у него нет. За дело — та-

кого страху напустит — я те дам. Горячий, да глазами как глянет — думаешь, убьет. А он сейчас же спокойненько заговорит. Нет, сердца у него нету,— убежденно повторил Прошка.

— Хорошо тебе,— вздохнул Колька.

— Чем хорошо?

— Да вот, в роте служишь.

— Сирота я. В роту сюда и взяли. Он же опять, командир, спасибо ему.

— Ну так что ж? Все равно — хорошо. Интересно у вас. Люди. Командир у вас такой, сам хвалишь.

— А тебе разве плохо? С матерью живешь, в родительском доме.

— Ну так что ж? Мама моя больная, скоро умрет. А братишка старший злой, ядовитый. Я с ним жить не буду, как мама умрет.

— К нам поступай, в шестнадцатую.

— Если бы взяли — поступил бы. Да не возьмут. Ты есть — куда же двух?

— Может, возьмут.

— Хорошо тебе. Народу у вас много разного. Со всеми можно говорить, разного наслушаться. А у меня мама умирает, стонет все. И жалко ее, и думаешь: «Хоть бы умерла, чем так мучиться». А братишка все сычом смотрит. Буркнет что-нибудь со злости, только и всего. Я уж давно уйти хотел из дома, да мамы жалко. Не она — ушел бы обязательно.

— А куда ушел бы?

— Куда глаза глядят. На фронт бы, добровольцем.

— На фронт,— засмеялся Прошка,— помнишь, меня забоялся в парке? Будто заяц от меня скакал по всему парку.

— Ну так что ж? Ты вон какой медведь. Думал, будешь драться, потому и побежал.

— Чудак! А на фронте — не дерутся?

— Сам чудак. На фронте у всех — оружие. На фронте я бы пулеметчиком заделался. Тогда бы таких, как ты, сотни не испугался бы,— засмеялся Колька.

Прошка удивленно смотрел на него несколько секунд, потом сказал:

— Ты это верно говоришь. На фронте все с оружьем. А с пулеметом если — ничего не страшно.

Как-то Прошка, вызвав Кольку из дома — как всегда свистом,— волнуясь, сказал:

— Знаешь, что я тебе скажу?

— Что?— тоже, еще не зная в чем дело, заволновался Колька.

— Только никому ни слова.

— Никому. Ну?

— Побожись, что никому не скажешь.

— Бога нет. Честное слово — другое дело.

— Скажи: честное слово.

— Ну, честное слово.

— Наша рота,— таинственно зашептал Прошка,— наверно, пойдет на фронт. Командир с комиссаром говорили про отправку какую-то. А отправка ясно — на фронт.

— А когда отправка будет?— спросил Колька.

— Не знаю. Я только слышал, как командир говорил, что надо отправлять людей. Я спросил его: «А на какой фронт?» А он так сердито крикнул: «Чего болтаешь? Какой тебе, дурню, фронт?» И больше ничего не говорил. Потом я комвзвода Панкратова спрашивал, а тот говорит, что ничего не знает. Да врет, поди. Как ему не знать? Ты, Колька, тоже, смотри не болтай никому. Ведь дал честное слово, не забудь.

— Я понимаю. Разве можно болтать? За это не похвалят. Ведь это — военная тайна,— с важностью произнес Колька.

— То-то и есть. Тебе-то я потому сказал, чтобы ты приготовился. Как будем отправляться — и ты просись. Скажи: сирота.

— Как же сирота? Мама у меня еще жива. Я уйду, так она сразу умрет. Она меня любит. Мне ее жалко.

— А может, она к тому времени помрет.

— Может быть. А только мне ее жалко. Я ее люблю.

— Что ж делать?— вздохнул Прошка.— Ты ведь сам говорил, что она очень мучается.

— Это-то верно. А все-таки жалко.

— Еще бы. Родная мать, как же не жалко. Чужого человека — и то жалко. Я вот всякую животную — и то жалею.

— Я тоже. А вот белогвардейцев — нет.

— И я их не жалею, гадов. Наш командир их все гадами называет. Они гады и есть.

— Даже хуже гадов.

— И правда, хуже,— засмеялся Прошка.— Вот лягуха — гад, а она лучше любого белогвардейца. Верно, лучше?

— Конечно, лучше.

— Ну, Колька, мне надо идти в роту. В штаб полка пошлют с бумагами. Тимошин, переписчик, говорил, что бумаги будут. Ну, Колька! На фронт когда поедем — и ты просись. Все равно мать умрет так и так.

— Все равно-то все равно,— нерешительно сказал Колька,— а только ей очень тяжело будет, когда я уйду. Она меня любит.

Прошка вздохнул и сказал:

— Ну ладно. Побегу в роту.

И он тяжело зашлепал толстыми ногами по пыльной мостовой.

14

Когда Прошка после разговора с Колькой пришел в канцелярию шестнадцатой, там шла лихорадочная работа по составлению необходимых бумаг для отправки людей.

Тимошину помогали писать бумаги комиссар и двое штрафников.

Комроты говорил по телефону с адъютантом полка.

— Нет, товарищ адъютант, это не работа,— раздраженно говорил он,— за такую работу попадают у шестнадцатую. Да, да!.. Такую работу, дорогой товарищ, я называю саботажем. У вас дюжина штабистов, а затребование из дивизии проболталось целые сутки в штабе. Теперь за один час времени надо оформить бумаги и отправить людей. Пустяки? Нет, дорогой товарищ, не пустяки! Ведь на тридцать пять человек. Не шутите. С одними арматурными сколько возни. Что говорите? С другим поездом? А другой поезд будет только в десять вечера. Это не годится. Надо обязательно с этим поездом. Тогда у три будут в Петрограде и на шестичасовой попадут не торопясь.

Он повесил трубку и сказал комиссару:

— Безобразие! Мариновали затребование сутки, а теперь за час надо и бумаги заготовить, обмундирование проверить, и произвести посадку людей на поезд. Видишь, комиссар,— добавил он, усмехаясь,— я даже расписываться стал по-адъютантски, не полностью, как советовал мне давно Тимошин.

И он показал только что подписанную им бумагу.

— Что ж, приходится спешить,— сказал комиссар.

Бумаги заготовлялись сравнительно быстро, но много времени отняла проверка обмундирования.

Каптенармус спорил с теми, у кого не хватало кое-каких вещей.

Наконец все было готово.

Прошка тихонько спросил каптенармуса:

— Товарищ Головкин, на какой же фронт отправляют? И почему только тридцать пять человек?

— Какой фронт? Чего чудишь?— недовольно сказал каптенармус.— В село Медведь, в штрафной батальон отправляют.

— Ну? Теперь усе?— спросил комроты Тимошина.

— Все-то все,— ответил тот,— а только на этот поезд не попадут.

— Как? На часовой-то? Сейчас без десяти час.

— Ну, а поезд идет без восьми.

Комроты позвонил на вокзал.

— Алло! Когда идет поезд на Петроград? Алло! Двенадцать пятьдесят две? Через минуту? Дайте коменданта вокзала. А, он самый? Товарищ, задержи поезд на пятнадцать минут. Что? Нельзя? Говорю, задержи! Что? Чье приказание? Не разговаривай! Задержи на пят-на-дцать минут. Ну и усе! Усе в порядке,— сказал он, повесив трубку, и повеселел.

— Не похвалят тебя,— покачал головой комиссар,— комендант будет жаловаться.

— С какой стати?— удивился комроты.— Соглашается задержать, а потом жаловаться?

Команда в тридцать пять штрафников и восемь сопровождающих благополучно выехала в Петроград.

А полчаса спустя звонил комполка:

— Комроты шестнадцать? Приди сейчас ко мне. Немедленно!

Комроты сказал комиссару:

— А ты, комиссар, кажется, прав. Нажаловался комендант. Чувствую, что нажаловался. Горбуля чего-то злится.

— Может быть, не насчет этого вызывает,— успокоил комиссар.

— Не знаю. Только Горбуля злится, по голосу слышно. Ну, я пошел. Благословляйте!— сказал комроты, туго затягивая широкий кожаный пояс.

— Ни пуха ни пера,— улыбнулся комиссар.

Войдя в кабинет командира полка, комроты убедился, что предстоит нагоняй.

Комполка что-то писал. Не взглянул на вошедшего и не ответил на его приветствие.

«Нажаловался»,— подумал комроты о коменданте вокзала.

Прошло несколько томительных минут.

Комполка отложил перо, поднял на комроты глаза, такие же, как у него, очень светлые. Белая повязка на шее оттеняла смуглоту худощавого бритого лица.

— Ну?— прохрипел он и дотронулся до повязки смуглыми нервными пальцами.— Безобразничаешь, комроты шестнадцать?

— У чем дело, товарищ комполка?

— Не знаешь?— хрипло крикнул комполка, и по лицу его прошла мелкая судорога.— Поезда задерживаешь? Как ты смел задержать поезд? Под суд отдам! В трибунал пойдешь, командир штрафной роты!

Он вскочил, с шумом отодвинул тяжелое кресло, подошел к комроты. Молча, в упор посмотрел на него.

— Товарищ комполка,— начал тот.

— Молчи! Никаких оправданий не может быть! Превысил власть. Ясно? Пять суток. Понял?

Он подошел к столу и, не садясь, стал писать, бросив: «Погоди!»

— На!— дал бумагу, добавил насмешливо.— Без конвоира дойдешь.

Придя в канцелярию шестнадцатой, комроты молча показал комиссару бумагу.

— Э-э!— досадливо покрутил головой комиссар.— Переборщил Горбулин. Неужели не мог отделаться выговором?

— Ничего,— сказал комроты.— Пять суток — немного. И Горбуля прав: я не должен был так поступать. Как-никак — превышение власти.

— Да,— вертя бумажку в руках, задумчиво сказал комиссар,— ну ничего. Пять суток не будешь подписывать бумаг. Только и всего. Передать роту на пять суток комвзводу один.

— А сам — у третий взвод.

— Зачем?— удивился комиссар.

— Отбывать взыскание я должен во взводе, со штрафниками.

— Брось! Не обязательно.

— Иначе какое же это взыскание?— Не, товарищ Нухнат, надо действовать по правилу! Пять суток я штрафник. И усе у порядке.

Уговорить его не могли ни комиссар, ни переписчик.

Он вызвал командира первого взвода, сдал ему дела роты, а сам, облачась в рабочую одежду, отправился в третий взвод.

Командир третьего взвода Панкратов, увидя его в лаптях, в старой гимнастерке и в заплатанных штанах, смутился и не мог произнести ни слова. Прочтя предписание комполка об аресте комроты шестнадцать, еще больше смутился, даже вспотел.

— Не забудь, товарищ комвзвода, зачислить меня у вверенный тебе взвод на довольствие,— сказал комроты.

— Разве во взводе будете находиться?— спросил, тяжело дыша, Панкратов.

— А то где же? И прошу, товарищ командир взвода, не делать для меня никаких исключений. Посылайте на работу, как и усех прочих. Надо делать по правилу. Я преступил правило и теперь законно несу взыскание.

И он прошел в помещение взвода. Штрафники обступили его, сочувственно спрашивая:

— Товарищ командир, что случилось?

— На пять суток я такой же командир, как и вы,— усмехнулся комроты.

Никто из штрафников не смеялся, не отпускал шуток.

В дверях, не решаясь от смущения войти в казарму, стоял, притулясь, Прошка, утирая время от времени слезы.

Комполка на другой день снял арест с командира шестнадцатой роты. Заменил наказание выговором в приказе по полку.

Комроты уже успел дважды побывать на работах по канализации. И ночь проспал в помещении третьего взвода.

Два месяца спустя на Петроград наступали банды Юденича.

Из штрафников требовалось выделить отряд для посылки на фронт.

После комиссара выступил с речью комроты. Он сказал немного:

— Я думаю, товарищи, вы усе захотите загладить свою старую вину — дезертирство. И усе, как один, пойдете на фронт. Я иду тоже. И думаю, из вас не будет ни одного зайца.

Шестнадцатая пошла на фронт как один человек. Пошел и несовершеннолетний Прошка. Приятель его Колька не пошел, мать у него еще болела.

«Зайцев» не было ни одного.

⟨1937⟩

К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА

С неослабевающим волнением вглядывается читатель 80-х годов в прошлое советской литературы, которое, как всплывающая со дна Атлантида, открывает нашим глазам все новые и новые очертания, оживляя все новые пространства исторического бытия, не известные ранее фантастические и узнаваемые миры. На огромный многоцветный холст истории отечественной литературы сегодня, благодаря обилию публикаций, ложатся грозовые краски «Котлована» и «Ювенильного моря» Андрея Платонова, мозаика гоголевской глубины обобщения сатиры в прозе Михаила Булгакова, заостренные молнии антиутопии Евгения Замятина. Все продолжающийся процесс выявления новых пластов из толщи нашей культуры XX века настоятельно требует осмысления как всего корпуса истории литературы, так и отдельных его составляющих звеньев.

Альпинисты или топографы? Этот вопрос, обращенный сегодня к литературной науке, подразумевает выбор самих подходов: осваивать историю литературы советской эпохи по привычным вершинным явлениям или же вовлечь в рассмотрение максимальную полноту, «топографию» литературной жизни, ход литературного развития, ту самую поднимающуюся со дна Атлантиду, значение отдельных построек, башен, храмов которой мы сможем оценить лишь по мере того, как ознакомимся с общим масштабом этого феномена.

Ясно, что далеко не всегда возвращенные из прошлого явления, имена, произведения равновелики тем названным большим художественным мирам. Однако есть еще одна ни с чем не сравнимая ценность прикосновения к произведениям ушедших десятилетий: звучание подлинных голосов, атмосфера самой жизни, духовный климат 20—30-х годов, художественно реализованные неповторимые черты этих «дискуссионных» десятилетий.

Именно поэтому сегодня внимания читателей заслуживает проза Василия Андреева (1889—1941), возвращение которой происходит почти через пятьдесят лет после последних публикаций.

Литературная судьба Василия Михайловича Андреева, как и его человеческая судьба, окрашены чертами неординарности, а подчас и загадочности. В справочнике «Ленинградские писатели-фронтови-

ки» (составитель В. Бахтин, Л., 1985) сделана попытка прояснить некоторые легенды, связанные с биографией писателя. Так, составитель обращает внимание на ошибку, допущенную в новом издании «Литературной энциклопедии», утверждающей, что В. М. Андреев родился 28 декабря 1899 (9 января 1900) года, а в 1912—1914 годах находился в ссылке (то есть с двенадцати лет), бежал, во время Великой Отечественной войны погиб на фронте. С помощью дочери писателя составитель уточняет год рождения В. М. Андреева — 1896-й, и становится более убедительным другой факт его биографии: ссылку в Туруханский край (куда он попадает за то, что убил жандарма, прикрывая своего товарища — распространителя листовок) писатель отбывает в возрасте 16—18 лет.

В данной книге принят во внимание ответ на анкету, заполненную рукой писателя, где он называет (анкета относится к 1928 году) датой своего рождения 28 декабря 1889 года [1].

С 1924 по 1937 год было издано несколько сборников рассказов и повестей Василия Андреева: «Канун» (Л., 1924), «Расколдованный круг» (Л., 1926), «Славнов двор» (Л., 1927), «Гармонист Суворов» (М.; Л., 1928), «Преступления Аквилонова» (Л., 1929), «Повести» (Л., 1936, в сборник вошли: «Глушь», 1935; «Серый костюм», 1929; «Гармонист Суворов», 1927), документальная повесть «Товарищ Иннокентий» (Л., 1934) и некоторые другие издания. Произведения писателя в 20—30-е годы часто появлялись в популярных у читателя журналах «Звезда», «Стройка», «Ленинград», «Смехач».

О творчестве В. Андреева сочувственно отзывался Горький, его пьеса «Фокстрот» с успехом шла на театральной сцене Ленинграда середины 20-х годов, а книги писателя вызывали неподдельный интерес, ибо на них лежала печать неповторимости его таланта, новизны материала, «своей» тематики.

Далеко не все загадки творческой биографии Василия Андреева удается разрешить и сегодня. Так, известно, что писатель находился в ссылке в Туруханском крае в одно время с большевиками И. Ф. Дубровинским и И. В. Сталиным. Однако биографическая повесть В. Андреева «Товарищ Иннокентий» с предисловием Н. К. Крупской [2] о Дубровинском, опубликованная в 1934 году, никогда больше не увидела свет, как исчезли и воспоминания В. Андреева о ссылке, законченные в 1940 году. На основе впечатлений из времен ссылки писатель опубликовал повесть «Глушь» (1935). Самой большой, трагической и невыясненной загадкой выглядит строка из справочника, подводящая черту под биографией писателя: в декабре 1941 года в дни блокады Ленинграда погиб при невыясненных обстоятельствах. Как свидетельствует дочь писателя, отец ушел из дома и не вернулся.

Перелистывая сегодня пожелтевшие страницы журналов, альманахов, сборников 1920-х годов, видишь, сколь обильно представлена в них проза ленинградских авторов. Ленинградская периодика

---

[1] Рукоп. отдел ГПБ, ф. 103, ед. хр. 11.

[2] В ходе подготовки повести к изданию писатель имел переписку с Н. К. Крупской, два письма которой к В. Андрееву сохранились и опубликованы в журнале «Коммунист» (1979, № 3).

завораживает обилием неповторимых писательских имен; в этот общественно-литературный контекст вписывалось, не повторяя собратьев по перу, творчество Василия Андреева.

Очевидно, молодому писателю было непросто соперничать с такими яркими творческими личностями, как К. Федин, Л. Леонов и Н. Тихонов, Ю. Тынянов, М. Слонимский и В. Каверин, М. Зощенко и Б. Лавренев, С. Семенов и К. Вагинов, М. Шагинян, М. Казаков и Н. Никитин, А. Толстой, В. Шишков, А. Белый, Вс. Иванов, Б. Пильняк и многие другие.

Интенсивный писательский труд В. Андреева, острота затрагиваемых им проблем, обращение к необычному, не освоенному литературой материалу не сразу приводят к профессиональному признанию плодотворности его поисков.

Один из современников В. Андреева Л. Радищев вспоминает 1923—1924 годы, литературные вечера в большом нетопленном зале Пролеткульта. В перерыве возле единственной буржуйки публика отогревает закоченевшие пальцы.

«Здесь в числе многих начинавших Василий Андреев читал свои первые рассказы. Однажды некий Чертков, выступая в прениях... о рассказе Андреева... отозвался как о «слабом, мрачном и реакционном». Андреева это расстроило всерьез и надолго, заставило сильно призадуматься... Совершенно болезненно он воспринимал уход публики до обмена мнений. Один раз он не выдержал и крикнул: „Куда же вы уходите, сейчас ругать будут!"» [1].

В период формирования общих контуров литературного процесса 20-х годов его творчества коснулось холодное веяние официальной критики, отбросившее писателя на периферию литературы. В оценках критикой отдельных его произведений слышны интонации политического неудовольствия, жестко-официозного неприятия, когда писателю-«попутчику» рекомендуется ни много ни мало — преодолеть в себе отчужденность от революции [2].

Позже, уже в 30-е годы, когда за плечами писателя около десятка изданных книг, где заговорила разными голосами беднота городских окраин, где в анализ мощи революционного разлива вовлечены до тех пор неведомые литературе массы социальных низов,— нормативная критика все еще продолжает возводить стену между «нашей» и не совсем нашей литературой. «Конечно, вся эта галерея типов, великолепная сама по себе, очень далека от современности,— пишет критик З. Штейнман, призывавший обратить внимание на талантливого прозаика.— Андреевский герой еще за пределами этих интересов. Это в большинстве случаев человек «старого Петербурга», а не «нового Ленинграда», петербургский обыватель, а не ленинградский гражданин» [3].

Итак, с одной стороны, как пишет о жизни В. Андреева Л. Радищев: «Борьба с самодержавием. Ссылка. Гражданская война. Защита Петрограда. Он меняется и растет вместе со всей советской

[1] Лит. Ленинград. 1933, 17 сент.

[2] Соловьев Б. Василий Андреев. Расколдованный круг// Звезда. 1926, № 3. С. 255.

[3] Звезда. 1932, № 12. С. 192.

страной»[1]. С другой — трудная собственно творческая биография писателя, ее неровный шаг, ее невписанность в прославляющие хоры современной критики, отсутствие какого-либо видимого единства во мнениях современников о феномене прозы Андреева. Сегодня, с дистанции более чем полувека, мы видим, как своеобразный писатель, обладавший «лица необщим выраженьем», изолируется от русла литературного развития, признаваемого «магистральным путем» советской литературы. Самое парадоксальное, что речь при этом идет о писателе, обращающемся к осмыслению психологии масс городских и сельских низов, постижению мира русского обывателя и деклассированных элементов, всех тех, кого революция всколыхнула в масштабах России и без понимания настроений которых о социальной перестройке общества речи не могло быть.

Критик журнала «Стройка» (1930, № 27), рецензируя тонкую, в добрых традициях гоголевской «Шинели» выполненную повесть «Серый костюм», поучает писателя: «Современного обывателя нужно бичевать, нужно обнажать всю мелкость его переживаний, всю непривлекательность его серого существования в новом обществе... Писатель В. Андреев выбрал другой путь. Он сугубо «объективно» нарисовал обывателя, представил его „как он есть“».

Восторги другого критика, выразившиеся в весьма сомнительном комплименте,— свидетельство ошеломленности перед непривычной стихией рассказов В. Андреева, посвященных «атаманам», «казакам-разбойникам» и «фартовым» с Обводного, Лиговки, Екатерингофки: «Среди воров и налетчиков Василий Андреев чувствует себя совсем как дома. Будто в гопе родился»[2].

Действительно, яркие мазки, романтические краски щедро кладет писатель на полотна своих произведений, воспроизводя удалых молодцев, «шикарных парней», ищущих себя на «боецком пути», с глазами Иоанна Богослова, с губами — «цветик ал», ресницами стрельчатыми, волосами шелковыми. И правы были те современники, которые искали тут сравнение с бабелевскими героями, сопоставимыми по красоте, бесстрашию, лихой удали. «Андреевские хулиганы... точно уготованы для участия в русской народной опере»,— писал Леонид Радищев.

Однако все-таки оценить лишь знание стихии жизни городских низов, а также пластику, эстетику ее воссоздания в прозе В. Андреева явно недостаточно. Один из его героев, Гришка-Христос, доморощенный философ, считал хулиганство протестом против установленных порядков. «Не было ли это стремление узнать п р а в и л о, потребность бороться за правило — революционностью, бессознательным, вернее полусознательным, стремлением добиться воли, свободы?»— именно так ставит вопрос сам автор в первой редакции повести «Боецкий путь». И, показав стихийные, анархические формы этого протеста, не грешит против истины. С тревожным и целеуст-

---

[1] Р а д и щ е в Л. Долой обойму // Лит. Ленинград. 1933, 17 сент.

[2] П о л е т и к а Ю. О Василии Андрееве и его ворах // Жизнь искусства. 1926, № 13. С. 7.

ремленным вниманием всматривается писатель в сложные процессы развития пореволюционной России, где идет не только стремительная переделка общества, но делается ставка на переделку самой природы человека. Он видит, сколь труден этот процесс, драматичные исходы постоянно возникают на страницах его произведений. Его герои, в том числе ярые «ниспровергатели» классовых основ общества, городская беднота, хулиганы, воры, поприветствовав революцию радостными криками, потом сходят со сцены, спиваются, гибнут.

Близкая по материалу леоновскому «Вору» повесть В. Андреева «Волки» (1924) и раскрывает, как в стихии городского дна, где волчьи законы жестокости, обмана уродливо сочетаются с мечтой о новой красивой жизни, у наиболее сильных людей возникает тяга к участию в переустройстве жизни. Благородное слово «товарищ», обращенное к деклассированной личности, может на время заставить ее распрямиться в романтическом порыве. Однако обыденная сторона революции, ее будни оттолкнут главного героя повести Ваньку-Глазастого от революции, сделают жертвой самосуда.

Живые характеры В. Андреева, неординарные судьбы, как свидетельствуют современники, обновили нашу прозу, углубили многие линии освоения жизненного материала. Современник конца 80-х, несомненно, обратит внимание на драматизм освещения революционной действительности в повести «Расколдованный круг» (1924). Простое, естественное, целостное кредо жизни главного героя Андрея Тропина, умещающееся в прямые формулы «да» и «нет» без всяких оттенков, проверяется в огне гражданской войны. Этот сероглазый, сильный и справедливый русский богатырь как бы должен исполнить высокое призвание: расколдовать свою родину, сотни лет сжатую «кандальным кольцом, безысходностью заколдованного круга». Как видим, в достаточно прозрачные аллегорические формы облечена проблема призвания, испытания личности, поставленной между добром и злом. Этот мотив волнует многих писателей в 20-е годы.

Писательской интуицией ощутил В. Андреев и запечатлел еще в середине 20-х годов трагическое раздвоение личности, разрушающейся под давлением жестокости, зла, творимого ею даже во имя высокого дела. Андреевский военкомбриг Тропин во время боев с белыми за деревню Кедровка, когда всё гибнут и гибнут вокруг него люди, вдруг испытывает утрату понимания смысла всего происходящего. Глобальным, мучительным вопросом возникает перед ним слово «зачем?». «Чудилось: ноги его, ноги богатыря, отрывались от земли... Или — богатырь перестал верить в землю?» Эти душевные колебания далее подавляются бескомпромиссной жестокостью, когда героя не останавливают рыданья невесты, брата которой, контрразведчика, он собственноручно расстреливает как врага революции.

В качестве антипода Тропина в повесть введен другой герой — Евгений Голубовский, человек «с кремневым сердцем», несущий идею неизбежности революционного насилия. Однако вопреки замыслу этот характер отторгается самой образной системой произ-

ведения. Автор как бы вступает в спор с самим собой, когда рисует конкретные ситуации с участием Голубовского, которые разрушают в глазах читателя нравственную привлекательность этого героя: в детстве — склонность к издевательству над слабыми; в годы гражданской войны — жестокий акт расправы над человеком во имя слепого исполнения приказа. Это, естественно, лишает убеждающей силы жизненное кредо, носителем которого выступает герой; и даже страшная смерть, которую принимает комполка Голубовский, не меняет отношения к этому человеку.

Трагический театр, в котором каменеют или разрываются людские сердца, разыгрывается на страницах повестей и рассказов В. Андреева, погружающих читателя в саму стихию жизни тех трудных лет.

В ряде произведений В. Андреев обращается к теме вины и покаяния. Историческая вина перед народом — за его беды и страдания — в основном пронизывает произведения, обращенные к дореволюционному прошлому (казни народовольцев, жертвы Кровавого воскресенья, разгон демонстраций, ссылки и тюрьмы). Тема покаяния вошла в произведения В. Андреева, посвященные современности. Так, в основе рассказа «Праздник» (1924) история одного предательства. Михаил Троянов, в молодости став революционером, не выдержал пыток в царской охранке (его пытали методом «конвейера», сутками не позволяя спать, передавая на следствии из рук в руки). Троянов предал своих товарищей. В годы гражданской войны очередной жертвой стал друг, которого он выдал белым.

Потребность публичного покаяния настигает провокатора среди первомайских колонн демонстрантов. Охватившее его ощущение, что мир раскололся, а люди делятся на «праздничных и непраздничных», «живых и мертвых», привело Троянова к самоосуждению, полному признанию своей вины. Рассказ «Праздник»— одно из свидетельств того, что наша литература очень рано начала осваивать проблему «чистых рук» на древке революционных знамен.

Произведения В. Андреева не во всем убеждают. Пожалуй, самые серьезные возражения вызовет у современных читателей повесть «Комроты шестнадцать». Опубликованная отдельной книгой в 1937 году, событийно связанная с эпохой гражданской войны, она, несомненно, несет на себе печать 30-х годов. Повествование о штрафной роте, солдаты которой в окрестностях Петрограда отбывают воинскую повинность за дезертирство из Красной Армии; массовая перековка людей, которая проходит под знаком трудового и идейного перевоспитания, конечно, вызовут в сознании читателя ряд литературных ассоциаций и такие факты исторической действительности, как победоносно (по словам публицистики тех лет), силами заключенных, завершенное строительство Беломорско-Балтийского канала. Для писателя это был мир окружавшей его реальности; в нем он черпает концепцию своего произведения: веру в возможность вовлечения миллионных масс народа в процесс «перековки», переделки человеческого материала в нужном революции духе.

Однако трудно освободиться от чувства изумления перед наивностью веры в простоту процесса «перековки», как это предстает на

страницах повести. Чтобы сделать из штрафника активного революционного борца, достаточен стимул: будешь пить чай с ромом и иметь девочку, а наиболее трудно перевоспитуемым обещано еще и самое дорогое — свобода! Апофеоз повести в финале, когда штрафники объединяются в трудовом порыве на субботнике со своими охранниками. «Всех сравняли!»— восторженно оценивают они этот незабываемый миг.

Эта наивная вера в подвластность человеческого материала, в элементарные истины, за которыми пойдут люди,— вера, пронизывающая повесть, конечно же, вступает в противоречие с тем, что несут в себе ранние тревожные, жизненно-наполненные вещи писателя. И когда в повести комиссар Нухнат, молодой красивый блондин, гремящим голосом, но не в тон, из-за отсутствия слуха, поет перед штрафниками «Смело мы в бой пойдем», то невольно возникает соблазн эту окрашенную иронией ситуацию отнести ко всему замыслу писателя.

Стихия иронического сильна в прозе Василия Андреева. Иногда ирония становится структурообразующей, она пронизывает сюжет, характеры его произведений. Тогда возникают маленькие, изящные рассказы, новеллы, в которых звучит богатое русское многоголосие, непричесанная речь улиц, дворов, торговых рядов, осторожный говорок обитателей коммуналок, речь новоиспеченных советских граждан, «перековавшихся» из мещан. Волны здорового юмора не минуют и самых серьезных вещей писателя, лейтмотив «Ах, веселое... настало времечко!» («Про Мишу рассказ») звучит остро, озорно, беспокойно. Самое серьезное — описание эпохи, политических переворотов, оценка событий и т. д.— дано через найденное сатирическое, ироническое слово: «...Керенского свергли. Зарвался, заимператорился. Не по высоте — голова».

Конечно, в нашем сознании возникнут ассоциации с ранним Зощенко, с проблематикой повестей и рассказов Юрия Олеши, В. Катаева, И. Ильфа и Е. Петрова, но собственные интонации прозы Андреева — не заимствованы.

Критик 20-х годов замечал: «Обычно, когда пишут об Андрееве, то ссылаются почему-то на сологубовских или ремизовских мальчиков. Напрасно! Мальчики у Андреева собственные. Они живут, как хотят: не по-сологубовски и не по-ремизовски. Плохо живут — не спорю, но живут, а это главное» [1].

Своеобразен, неповторим воссозданный в произведениях В. Андреева мир детей, подростков, юношей. Его удивительность в том, что становление, душевное мужание, открытие вселенной детьми и молодыми людьми первой половины XX века раскрыто писателем (с большой долей фермента автобиографичности) в одном ритме с движением самой истории страны. Это — особенные дети особенного века, с его низвержением царских тронов, классовыми боями, электризующей энергией обновления. История разворачивается в их жизни прямо на улицах, под окнами домов: классовые противоречия решаются в компаниях дворовых мальчишек и девчонок, большин-

---

[1] Полетика Ю. Указ. соч. С. 8.

ство которых те, кто «с пасхи до снега не обуваются». Боящийся в младенчестве царских портретов, которыми его пугали, подрастающий ребенок уже различает, что царь «на портрете походил на старшего дворника Федора Захарыча, вечно пьяного, с подпухшими глазами, с бородой лопатою. Не страшный и не интересный!» (Роман «Дни и люди», оставшийся незавершенным).

Для андреевского подростка эта «борода лопатою» обретает уже зловещий смысл, ибо из веселого праздника 9 января, воскресного похода к батюшке-царю, вышла кровавая бойня, запавшая в мальчишеское сердце пронзительным кадром: лежит на снегу убитый на дереве выстрелом мальчик, его товарищ, тихий, задумчивый, — «слушает землю».

Если от писателей с «прошлым» требовалось в 20-е годы надолго забыть свое детство, то В. Андреев одним из первых вводит эту тему как тему истоков, начала всех начал, обобщая проявления детства, которые характерны именно для поколения современников трех революций.

Подростки у В. Андреева вырастают в атмосфере социальных потрясений, многие из них мечтают стать профессиональными революционерами или террористами (разницу они поймут позже). Они затевают уличные бои друг с другом, нередко оканчивающиеся жертвами, «очарованные жаждой свергать, рушить, подвергать себя опасности, смотреть смерти в лицо». А смерти в лицо приходилось смотреть и в буквальном смысле: «Голову неизвестного террориста в спирту выставляли для опознания в одном из полицейских участков Питера» («Дни и люди»).

На страницах произведений В. Андреева воссоздаются своеобразные «университеты», которые проходят его герои, от дворовых, уличных университетов до ссылки, уроков участия в революционной борьбе (повесть «Товарищ Иннокентий»). Судьба революционера Иосифа Дубровинского, мотивы, по которым он пришел в революцию, а затем стал членом ЦК партии большевиков (встреча с Лениным, близкое общение с ним в Швейцарии, ссылка на четыре года в Туруханский край Енисейской губернии),— прочитываются сегодня как повествование о выборе жизненной позиции, как один из «уроков по отечественной истории» (так называется глава повести).

Конечно, историческая ситуация 20-х годов, ситуация «выбора пути», четкой поляризации в отношении к жизни сказалась на всем образе детства, формируемом писателем. Страстное сочувствие обиженным, ненависть к тупой, подавляющей силе, готовность к самопожертвованию во имя подчас абстрактной романтической идеи таила в себе и некие «рецептурные» элементы, давшие впоследствии в детской литературе свои догматические ростки. Однако в произведениях самого В. Андреева дети и подростки были предельно натуральны, естественны, ясно возникает ощущение, что они взяты из самой жизни, и это не позволяло заподозрить писателя в ходульности.

Жанр зарубежных приключений в духе Ната Пинкертона, которыми был заполнен книжный рынок 20-х годов, требовал от писате-

ля состязательности подчас на той же динамичной, захватывающей воображение читателей литературной площадке.

Художественно воссоздавая действительность, писатель обладал даром растворить в самой стихии прозы черты «непридуманности», достоверности событий, фактов, узнаваемости явления как такового. Примеров этому очень много; они — в «пропитанности» всей ткани повествования автобиографичностью, в опоре на незаимствованные приметы своего времени. Петербург — Петроград — Ленинград возникает на страницах произведений Андреева как особый мир улиц, домов, дворов, органически вобравший в себя судьбы героев, сформировавшихся в районах Лиговки, Пряжки, Обводного канала, Коломны, Екатерингофки или Петроградской стороны. Его герои могут жить в доме у плаца, где по воскресеньям, «чтоб всякий мог пойти посмотреть», производятся публичные казни — например, Перовской, Каракозова; газеты после событий 9 января 1905 года пестреют сообщениями о массовых самоубийствах среди молодежи; а в магазинах города «не отпускают» уксусную эссенцию, средство чаще всего применяемое для этих целей ввиду его дешевизны. Город с его улицами, с людом городских окраин или, как писал В. Андреев, «столично-окраинный хаос» становился для его героев великой академией жизни: «И не только люди, происшествия, а даже самые улицы, базарная площадь, камни, в землю вбитые, вывески, фонари, товар на окнах магазинов, какие-нибудь там огурцы или артишоки на окнах зеленных или пузатые бутыли на окнах аптек, от которых на мостовую по вечерам падают красивые синие, красные и лиловые пятна,— все это книгами, учебниками было...» («Лицо огня»).

Эффект достоверности достигается писателем в большинстве его произведений и за счет опоры на мелодику устного повествования, на жанр «рассказывания», столь популярный в 20-е годы. В произведениях В. Андреева присутствуют многообразные способы звучания в тексте уличного многоголосия, языковой стихии различных социальных групп, низов, оказавшихся в центре социальных битв; будь то деклассированные элементы, или российские обыватели, или одетые в кожаные куртки комиссары и командиры фронтов гражданской войны.

Сам воздух города пропитан в прозе Василия Андреева напряженным гулом уходящего прошлого и рождающегося нового: пожарное пламя костров в октябре семнадцатого; пустынные, как бы остановившиеся мертвые улицы города, застывшего перед угрозой интервенции; кроваво-красные знамена в городе, разорвавшем кольцо. Музыкой революции звучат строки андреевской прозы: «Земля траншеями прорезалась... Каждый дом — крепость. Каждое окно — бойница. Ни одной пяди — т е м! Ни одного камня мостовой — т е м!» («Боецкий путь»).

Повествование многих произведений В. Андреева насыщено тревогой и ожиданием грядущих времен, «канунами», как определял это ожидание писатель. Одно из своих произведений он даже назвал «Канунный пляс». Тема канунов, острого предощущения, что

завтрашняя жизнь готовится сегодня, сейчас,— прямо или косвенно присутствует в наиболее значительных книгах В. Андреева.

Стилевые издержки, идущие от романтизации, от увлечения экспериментаторством, а то и просто — дань литературной моде, нередко встречаются на страницах прозы В. Андреева: «Куртка кожаная. Клеш — ступней не видать... Зорко смотрят серые, беззастенчивые глаза. Звать — Миша. Года — семнадцать. С малолетства — сирота. Родственников — никого»,— так рубленой прозой отчеканено, как ответ на анкету, начало рассказа «Про Мишу рассказ». Но тут же холодность анкеты перебивается живой интонацией: «У доброго человека жил. У сапожника Кузьмича. Но надоело. Ушел... Тайком. Без копейки. И в непогодь. Дождь. Ливень прямо. На улице и жить стал».

Издавайся В. Андреев чаще, не раз редакторский карандаш прошелся бы по его строчкам, причесал, пригладил. Однако есть в речи писателя хрестоматийная образная простота, она-то и несет в себе знак художественного качества. В маленьком абзаце такой речи может заключаться лирическое признание в любви к родному городу: «Тускло желтеют огни фонарей... Ноги ступают по сырым плитам панели. В кармане холодное яблоко» («Дни и люди»).

Очарование предельной приближенности к ушедшему времени, столь драгоценное для современных поколений читателей, возникает в прозе Василия Андреева постоянно. Рассказчик у Андреева выступает в роли достоверного свидетеля происходящего, эффект его присутствия в повествовании порождает особую свободу общения, растворенную в самом тексте: «А вот Андрюша-то что? В нем-то что особенного?.. Не музыкант какой, вундеркинд, не краснобай — философ малолетний — бывают такие! — вовсе не это... Но было ли что действительно замечательного в переплетчиковом сыне? Было, действительно» («Расколдованный круг»).

Со своим читателем В. Андреев искал самые демократические формы общения. Об этом свидетельствует и проблематика его произведений, и избираемые им художественные приемы. Доступность материала соответствовала избранной им позиции. В этом ключе «работают» и многочисленные литературные реминисценции в его произведениях: как правило, это переосмысление сложных проблем Достоевского, Толстого, Пушкина, Гоголя — для введения их в обиход демократического читателя.

У современного писателя несомненный интерес вызовет введенный в повесть «Серый костюм» (1929) образ Сергея Есенина. Не названный по имени, но абсолютно угадываемый, возникает этот образ на страницах повести в трагическом ореоле одиночества. Спившийся, разочарованный поэт, покончивший свои расчеты с жизнью, несомненно, важен в общем замысле этого произведения. А между тем критик 30-х годов, обстоятельно оценивший повесть, обошел полным молчанием эту линию:

«Есть у него чудесная повесть о парикмахере, который носил по вечерам форменную фуражку и сам себе казался инженером, «приехавшим с Урала через Донбасс», знаменитым певцом, популярным поэтом. Смешной анекдот, который перестает быть смеш-

ным, по мере того как приближается трагическая развязка: «инженера», «певца», «поэта» разоблачают жестоко и бессердечно. Человек, который наивно искал «красивой жизни», разбит, унижен, растоптан. Издавна русская литература занимается проклятым «разладом между мечтой и действительностью». Андреевская повесть еще один вариант этой темы. Но тема стара, а какой свежестью пахнет андреевская вещь!» [1]

А между тем герой-парикмахер примеряет к себе не только элегантный серый есенинский костюм, американскую палку и шляпу, но и сам тип жизни поэта, разочарованного и опустошенного. Именно на этом эксперименте обрывается серия маскарадов парикмахера. «Приговор» Есенину и «есенинщине» выносится в повести устами одного из персонажей совершенно в духе своего времени: «Он не те песни пел. Новые люди — новые песни. А у него не было новых. А надо новое, новое и только новое. В нашу эпоху — *вчерашнего не существует* (курсив мой.— *С. Т.*). В нашу эпоху каждый день — эпоха... Не плачь под гитару, под гармонику. И не люби только лошадей и собак. А он... не любил людей...» Есенинский костюм, как видим, оказался не по плечу не только парикмахеру Роману Романычу, но и самому писателю. Испуг перед опасностью «есенинщины», растворенный в атмосфере тех лет, можно в полной мере прочувствовать во всем строе этой оригинальной повести. В этом своем качестве она также несет в себе голоса ушедшей эпохи.

После 1937 года произведения В. Андреева перестали появляться в печати. Применительно к общественно-литературной ситуации конца 30-х годов восторженный возглас героев его повести «Комроты шестнадцать»: «Всех сравняли!»— явно не соответствовал настроениям многих писателей, пытавшихся в трудной ситуации сохранить человеческое и писательское достоинство. В обстановке, все более обращавшей людей в винтики большого механизма, андреевские «неудобные» герои не умещались в гнезда, заготовленные по стандарту времени. Они были приговорены уже в конце 20-х годов, когда критик Фома Новомирский среди произведений, «далеких от общественно значимых вопросов», называет повесть В. Андреева «Гармонист Суворов». Показателен критерий, примененный к подобным произведениям: в них слишком большое внимание к «*ненужным, убитым революцией людям и просто дореволюционным людишкам*» [2] (курсив мой.— *С. Т.*). Вот так начало складываться отношение к человеку как к «функции», соответственно нужной революции или безжалостно ею отбрасываемой!

Сухие строчки о финале жизни В. Андреева из писательского справочника: «ушел и не вернулся», к великому счастью, не распространяются на творческое наследие талантливого писателя. Книги возвращаются, обретают своих новых читателей, а вместе с тем и право голоса в иной эпохе, не порывающей со своими истоками, тревожно и пытливо всматривающейся в сам ход своей истории.

С. Тимина

---

[1] Штейнман З. О Василии Андрееве // Звезда. 1932. № 12. С. 191.

[2] Резец. 1928. № 45. С. 14.

ПРИМЕЧАНИЯ

Боецкий путь; Преступления Аквилонова.— Печ. по кн.: Андреев В. Преступления Аквилонова: Рассказы. Л., 1929.

Праздник; Пальто.— Печ. по кн.: Андреев В. Канун: Рассказы. Л., 1924.

Расколдованный круг; Волки; Ошибка; Про Мишу рассказ; Славнов двор.— Печ. по кн.: Андреев В. Расколдованный круг: Рассказы. Л., 1926.

Новорожденный Проспект; «Во субботу, день ненастный...» — Печ. по кн.: Андреев В. Рассказы. Л., 1926.

Лебедь.— Печ. по: Смехач. 1926. № 36.

Гармонист Суворов; Серый костюм.— Печ. по кн.: Андреев В. Повести. Л., 1936.

Игарский балок.— Печ. по: Звезда. 1930. № 6.

Комроты шестнадцать.— Печ. по кн.: Андреев В. Комроты шестнадцать: Повесть. Л., 1937.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Андреев Вас.

А 65 Канун: Повести и рассказы / Предисл. Д. Гранина; Сост., послесл. С. Тиминой; Подгот. текста М. Черняк.— Л.: Худож. лит., 1989.— 448 с.

ISBN 5-280-00880-X

Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны,— свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.

А $\frac{4702010201\text{-}075}{028(01)\text{-}89}$ КБ-53-64-88 ББК 84.Р7

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ АНДРЕЕВ

КАНУН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Составитель
Светлана Ивановна Тимина

Редактор Р. Игошина
Художественный редактор В. Лужин
Технический редактор М. Шафрова
Корректоры М. Зимина, Г. Щеголева

ИБ № 5647

Сдано в набор 16.01.89. Подписано в печать 01.09.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94. Уч.-изд. л. 24,24. Тираж 50 000 экз. Изд. № Л111-242. Заказ 1918. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.


2 р.